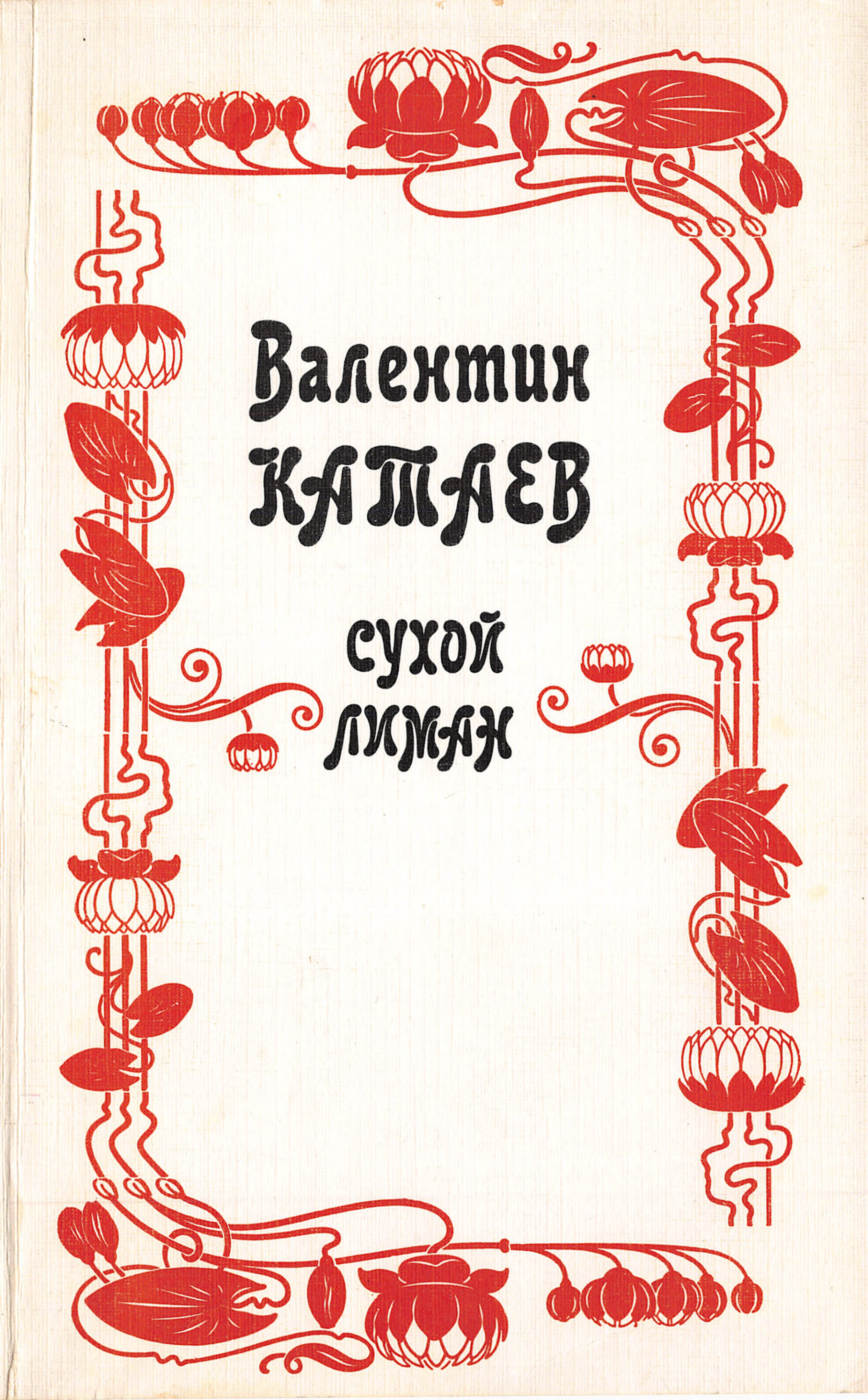
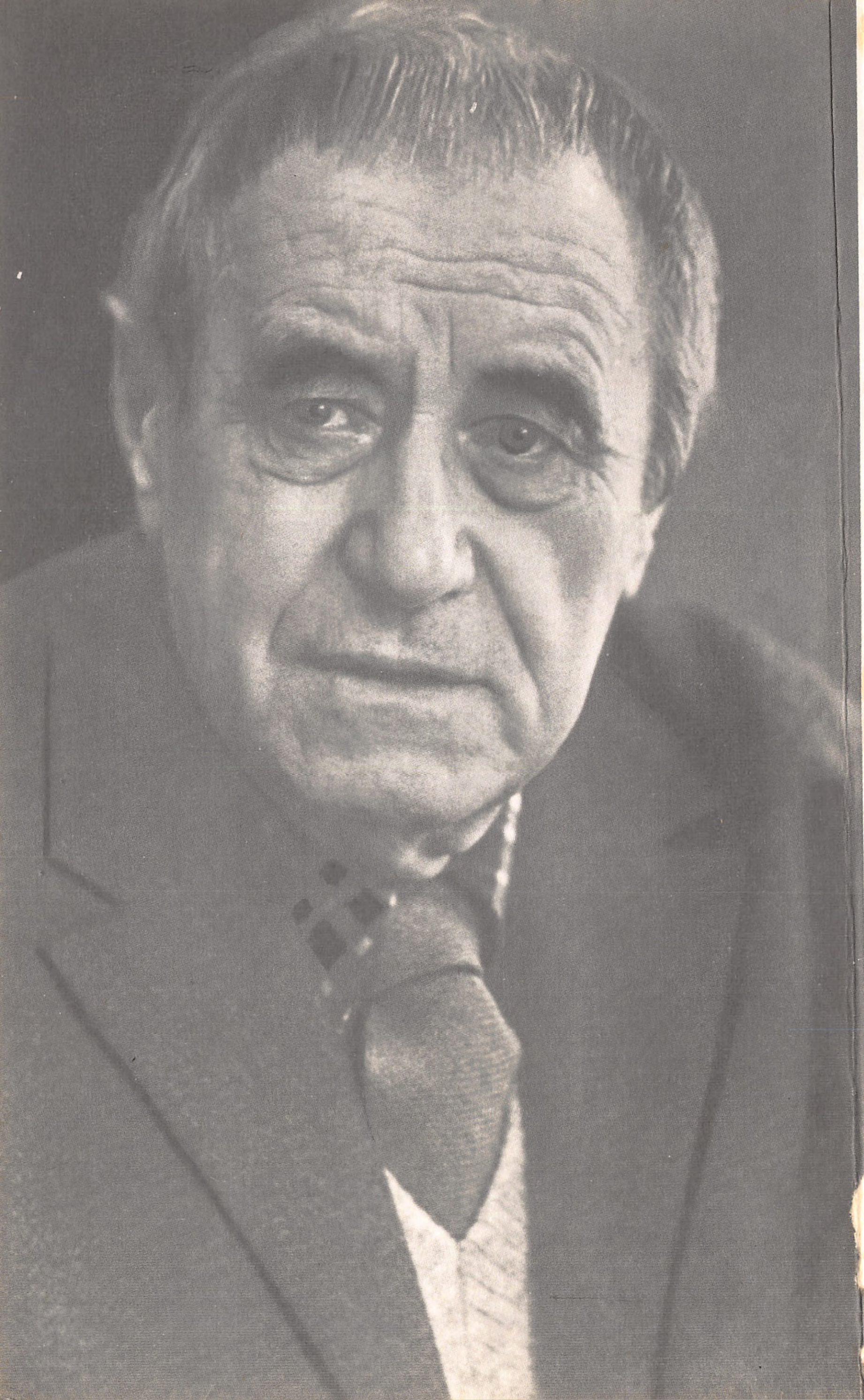


Валентин КАТАЕВ

СУХОЙ ЛИМАН





Валентин КАТАЕВ

СУХОЙ ЛИМАН

Повести

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84.Р7
К 29

Художник

Вл. МЕДВЕДЕВ

К $\frac{4702010200-290}{083(02)-86}$ 60–86



Юношеский роман

Я стоял в передней, уже окончательно откланявшись, но Миньона все еще одной рукой держала цепочку и не открывала дверь, чтобы наконец выпустить меня на лестницу, а другой рукой прижимала к груди пачку моих писем, накрест перевязанных не шелковой ленточкой, а простой тесемкой, как деловые бумаги.

Это было последнее свидание.

Наш платонический роман давным-давно уже кончился и был забыт. А за пять лет революции, гражданской войны и военного коммунизма, в течение которых мы не виделись, так много переменилось, что не стоило об этом и вспоминать.

Я знал, что после меня у нее был настоящий, глубокий, серьезный роман с одним из моих бывших гимназических товарищей, принужденным бежать вместе с белыми за границу, где он и умер от скоротечной чахотки в Шварцвальде.

У Миньоны с детских лет тоже были слабые легкие, а теперь у нее открылся туберкулез и принял угрожающие формы. На ее все еще прелестном лице уже лежали тени быстро развивающейся болезни.

— Вы же видите, что я погибаю!— почти с раздражением сказала она.

Я молчал. Лицо ее стало отчужденным: вероятно, она в этот миг подумала о смерти.

— Возьмите ваши письма. Может быть, они вам пригодятся.

Она сняла дверную цепочку, щелкнула американским замком и выпустила меня на площадку. Гул, наполнивший лестничную клетку, и в особенности бледно-зеленый декадентский цвет двери напомнили мне прошлое.

Сравнительно недавно мы тоже жили здесь.

Большая квартира в новом четырехэтажном корпусе.

...Вместо цинковой ванны — блестящая мальцевская. Всегда горячая вода. Электрическое освещение. Блестящие паркетные полы, источавшие запах свежего дуба и желтой мастики. Двери и венецианские окна были окрашены не обычной уныло-коричневой блестящей краской наемных квартир, а бледно-зеленой, матовой, свойственной новому стилю бельэпок, то есть прекрасной эпохе начала XX века. Вместо кафельных печей квартиру обогревали коленчатые радиаторы пароводяного отопления, окрашенные в тот же бледно-зеленый матовый декадентский цвет. Старая висячая керосиновая лампа в столовой, несколько напоминавшая своим белым куполом медузу, была переделана на электрическую. А новенькие бронзовые бра на стенах очень ярко светились своими молочно-радужными тюльпанами с ввинченными в них полуваттными электрическими лампочками марки «осрам», что никак не соответствовало маленькому провинциальному буфетику, круглому обеденному столу, венским стульям и железным кроватям. Стенные часы с римскими цифрами и музыкально-пружинным боем, согласно семейной легенде выигранные папой в лотерее, когда он еще был женихом покойной мамы, тоже не соответствовали новой квартире.

Купленный недавно в рассрочку гостиный гарнитур из обычной сосны, но выкрашенный под черное дерево, с двумя неудобными креслами, хрупким трехместным диванчиком, обитым золотистым шелком, с махровыми висюльками и парными тумбочками в виде как бы дорических колонок, предназначавшимися для установки на них мраморных бюстов великих людей или, на худой конец, фаянсовых цветочных горшков, которых у нас не водилось,— это все же как-то подходило к новой, богатой, но еще не обжитой квартире.

Гостиная мебель всегда стояла в холщовых чехлах, скрывавших ее роскошь, причем кресла и стулья напоминали нечто вроде сидящих привидений.

Именно в это время я начал писать роман о своей первой любви. Стихи и романы в те годы писали почти все гимназисты. В романе, который я писал, было такое место:

«...дом был новый. Его отстроили полгода назад, осенью, и он был первым из шести других корпусов общества квартировладельцев, которые еще строились и стояли в лесах, запачканных кирпичной пылью и потеками известки. Корпуса эти строились на пустыре, на окраине города, против военного госпиталя, где некогда работал сам Пирогов, недалеко от моря, в той местности, где уже начинались дачи и казармы.

Поздней осенью и зимой здесь было холодно, пустынно, и северный ветер норд-ост дул в желтые, еще не оштукатуренные ракушниковые стены, посвистывая и вереща в новых кирпичных трубах, а с нашего четвертого этажа через неоконченные постройки, за голыми садами еле виднелся кусочек штормового моря.

Когда же наваливало ненадежного южного снега, то и совсем становилось скучно. Знакомых поблизости не было. Город казался недоступно далеким. В новой квартире еще не было уюта. Электрические лампочки горели нестерпимо ярко. Веселых жарких печек не было, их заменили чугунные батареи, и всюду стоял еще не выветрившийся запах масляной краски»...

Шесть корпусов, расположенных как кости домино,— два против двух и по краям поперек еще по одному, так что в середине между ними получился длинный двор с газонами, цветниками, стриженым кустарником, совсем молоденькими, как тросточки, липками и посредине с круглым бассейном с фонтанчиком и даже золотыми рыбками.

Шестой корпус заселялся состоятельными семьями. Нарядные дети играли во дворе в мяч и ловили ясеневыми рапирами легкие кружки серсо. Мимо вас могла проехать на роликах стройная девочка, казавшаяся несколько выше, чем была на самом деле.

В последний корпус въехала семья полковника Заря-Заряницкого, в первый же день войны произведенного в генерал-майоры и назначенного командиром той артиллерийской бригады, где я впоследствии служил вольноопределяющимся.

Но тогда о войне никто не думал.

...и однажды я увидел трех девочек в кружевных платьицах, которые вышли погулять под присмотром своей

старшей, четвертой сестры, уже вполне взрослой девушки-курсистки. Одна из этих девочек, средняя, и была, как ее называли дома, Миньона...

Теперь, держа в руках пачку писем, я представил давнюю картину: четыре девушки в пасхальных платьях стоят возле рояля, держа в руках раскрытые ноты,— маленький хор ангелов — и поют под аккомпанемент домашнего учителя музыки о том, как наступила осень и улетели птицы,— щемящий душу романс Шопена.

Не так давно это было, но казалось, что прошла вечность.

Я шел по длинному дворовому садику и совершенно его не узнавал. Бассейна и фонтанчика уже не существовало. Бледно-зеленые скамейки у парадных входов исчезли, деревья разрослись и так вытянулись вверх, ища солнце, что некогда изящный скверик превратился в тесную липовую рощицу. Прежних квартировладельцев, рассчитывавших жить здесь вечно, я не обнаружил. Лишь кое-где на дверях квартир сохранились нечищеные медные таблички с их фамилиями, именами и отчествами, выгравированными прописью. Теперь здесь жили совсем другие люди, иногда по две или даже по три семьи в одной квартире.

Проходя мимо того корпуса, где несколько лет назад обитала моя распавшаяся семья, я посмотрел на балкон четвертого этажа и увидел детскую коляску и перекинутый через перила незнакомый потертый ковер.

Странно, что в моей душе ничто не шевельнулось — ни сожаления, ни грусти, а лишь всплыло воспоминание о гимназистке, жившей под нами, на первом этаже.

Ей было в ту пору лет пятнадцать: высокая, худая, стройная, длинноногая и длиннорукая, бойкая. У нее был прелестный цвет кожи несколько удлиненного лица, яркие глаза, коса до пояса. Все это могло бы сделать ее настоящей красавицей, если бы не досадная оплошность природы: нос. Нос портил все дело. Он был слишком большой, тонкий, ало просвечивающий на солнце, подобно тому как у маленьких детей просвечивают розовые ушки.

Это бы еще ничего.

Беда в том, что нос имел форму руля, того самого руля, который навешивался за кормой шаланды.

Когда она шла в гимназию, уличные мальчишки бежали за ней с криками:

— Носяра! Носяра!

Она гонялась за ними на своих длинных ногах, размахивая книгоноской, и если ей удавалось кого-нибудь из них поймать, то она, сжав книгоноску между колен, обеими руками драла мальчишке уши, не жалея своих красивых музыкальных пальцев.

Дело прошлое, но случилось так, что она влюбилась в меня. Хотя она это и скрывала, но все знали, что за нагрудником черного будничного передника кроме ученического билета с правилами поведения она всегда носила мою небольшую карточку, снятую в электрофотографии; так как она часто, иногда даже на уроках, вынимала карточку, рассматривала ее и даже, как говорили, целовала, то карточка имела потрепанный вид, мое лицо стерлось.

Встречаясь во дворе со мной, она преграждала мне дорогу, темный румянец заливал ее прелестное лицо с ужасным носом, и она говорила:

— Пчелкин! ты понимаешь? не будь каменным!

Я пытался улизнуть, не мог же я сказать ей, что если бы не ее нос, как руль...

Нет, я решительно не мог ответить ей взаимностью. Меня бы просто засмеяли товарищи. Кроме того, у нее было ужасное имя Калерия, с которым трудно было примириться.

Время шло, а любовь Калерии ко мне не проходила, хотя наши отношения стали менее драматичными. Мы были близкими соседями, как говорилось тогда, жили на одной лестнице и виделись ежедневно. Утром в одно и то же время мы выходили из дому, направляясь в гимназию. Она в свою, а я в свою. Встречались мы обычно на лестнице и затем некоторое время шли рядом по нескольким улицам, пока на одном из перекрестков наши пути не расходились.

Она была счастлива шагать рядом со мной, бесшабашно размахивая клеенчатой книгоноской, за ремешки которой был заложен пенал с переводной картинкой на крышке.

Разумеется, я втайне гордился, что в меня безнадежно

влюблена девочка, почти уже девушка, хотя и с чересчур большим носом и глупым именем, но все-таки...

Короче говоря, она меня любила, а я ее нет. В остальном же мы были добрыми друзьями. Совместное путешествие ранним утром, холодным и румяным, в гимназию не доставляло мне никакой неприятности, если, конечно, уличные мальчишки не бежали за нами следом с криками «носяра!» или, еще хуже, «жених и невеста, тили-тили тесто!».

Теперь в их квартире жили незнакомые люди, а куда девалась сама Калерия и вся ее семья, я мог только догадываться: бежали с белыми за границу, о них осталось только воспоминание.

Воспоминание тревожило меня, вызывая прилив тайной горечи. Воспоминание было связано не с носатой красавицей, влюбленной в меня. О ней я почти совсем забыл.

Но у нее была подруга...

Роковое слово «подруга»... Именно ей суждено было стать моей первой и единственной любовью.

Я был влюбчив. У меня постоянно были увлечения. Но как бы я ни увлекался, по-настоящему любил только ее одну.

Сейчас я снова проходил сквозь прозрачную, совсем неощутимую среду этой единственной любви, не имевшей никакого отношения к той последней встрече с Миньоной, которую я только что так легко пережил возле маленькой бледно-зеленой декадентской двери стиля бельэпок бывшей генеральской квартиры, а теперь коммунальной.

Миньона тоже была любовью, но любовью бывшей, кончившейся, как кончается все в мире, в то время как та, странная, необъяснимая, даже как бы выдуманная, никогда не кончалась. Может быть, эта любовь — как и все в мире — не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда.

Но ведь все-таки она как-то началась?

В то время я об этом совсем не думал. Я только испытывал неудобство от пачки писем, которые держал в руке. Я почему-то никак не мог сообразить, что письма можно

положить во внутренний карман пиджака. Я еще не освоился со штатским костюмом. Это был мой первый штатский костюм, недавно купленный на Красной площади в ГУМе, незадолго до приезда в родной город.

Пачка писем была не столь велика. Она свободно могла поместиться в боковом кармане нового моего пиджачка, немного великоватого. На груди этого смешного пиджачка виднелось пятно чернил от автоматической ручки. Мне не удалось вывести это пятно, отдав пиджак в химическую чистку. Пиджак был испорчен. Пятно хотя и слабо, но все же просвечивало возле наружного бокового карманчика, откуда торчала белая головка «Монблана», как у бухгалтера.

Письма тяготили меня.

В сущности, старые письма были мне не нужны. Я прекрасно помнил их содержание: описание фронтовой жизни, будни и боевые эпизоды действующей армии, туманные любовные признания, лирические отступления и так далее. Я не придавал им значения. Они казались мне не более чем обломками как бы некой канувшей в вечность древней цивилизации, где, однако, сохранилась часть моей юношеской души. Был момент, когда, проходя мимо розовой госпитальной стены — такой знакомой с детства,— я даже хотел избавиться от писем; например, просто потерять их или положить на уличную скамейку, сохранившуюся с «того» времени. Однако я этого не сделал.

Таким образом, письма сохранились, сопровождая меня вместе с разрозненными страницами незаконченного юношеского романа, который я писал еще не установившимся почерком повсюду, где мне ни приходилось бывать в течение всей моей не в меру затянувшейся жизни.

...И вот однажды я развязываю тесемку...

Только в конце жизни понял я ту общеизвестную истину, что появление мое на свет от меня не зависело, так же как от меня, от моей воли, в сущности, не зависело ничто. Даже моя свободная воля зависела не от меня лично, а от кого-то или от чего-то другого. Я зависел от обстоятельств и не имел никакого отношения к устройству мира, в котором мне предназначено было существовать, к вселенной,

к устройству человеческой жизни со всеми сопутствующими ей предметами и обстоятельствами.

Обстоятельства существовали сами по себе. Я — сам по себе. Но я был тем не менее полностью зависим от обстоятельств. А они от меня нет. Мне ничего не оставалось как только подчиняться, не делая попыток что-нибудь изменить. Каждая попытка вмешаться в судьбу кончалась для меня бедствием.

Даже постоянная влюбленность в кого-нибудь всегда зависела от случая, от обстоятельств времени года, погоды, растений, полета чайки, луны над морем, степного заката, или запаха духов, или особенностей речи, роста, сложения, возраста.

Неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, дюймовочкам. Может быть, я поэтому и не ответил на любовь прелестной носатой полудевушки-полудевочки Калерии.

Подобные мысли стали приходить в конце жизни, когда я сводил счеты со своей юностью, и в особенности тогда, когда я наконец нашел время перечесть свои старые письма, написанные в действующей армии то чернилами, то обыкновенным фаберовским карандашом, то карандашом анилиновым, то опять чернилами, но уже почему-то зелеными, то красными, если я писал письмо в бригадной канцелярии, то даже тушью — не помню уже, откуда она взялась на позициях! Письма писались на разной по качеству почтовой бумаге, и слова порядочно поистерлись.

Мне уже трудно теперь припомнить, где и при каких обстоятельствах они писались.

Чаще всего они были писаны в землянке на маленьком дощатом столике, при свете коптилки, а однажды в околотке, где я, болея ангиной, лежал на нарах, покрытых соломой, втиснутый в ряд других больных солдат, и, подложив под листок почтовой бумаги какую-то книгу, взятую у фельдшера по фамилии Шкуропат, писал свое очередное обстоятельное письмо из действующей армии. Были письма, написанные наспех на лафете трехдюймовки в перерыве между боями.

Последний год перед революцией.

«6 января 916 года. Действующая армия. Милая Миньона. Этой поездки я никогда не забуду. Незнакомая дорога на Бахмач, снежные степи, затерянные в снегах полустанки. Воинский вагон третьего класса, запах пота, сапог, махорки. Незнакомые люди и бесконечная нежная грусть, страх чего-то неизвестного... Потом Минск, обыкновенный губернский город... с деревянными домами, тройками, бубенчиками, морозом и скверными парикмахерскими...»

Прочитав это, я удивился. Мне всегда казалось, что в моих старых письмах как бы заключена легенда моей молодости. Но что же я нашел? Незрелые и даже не всегда правдивые заметки, полные умолчаний.

Разрушающаяся память все же сумела восстановить истину.

Все было взаимосвязано: зима шестнадцатого, Миньона, действующая армия и я сам — но совсем не такой, каким я хотел себя представить. А хотел я себя представить молодым патриотом, восемнадцатилетним юношей, рвущимся охотником в действующую армию; он бросил все, семью, гимназию, любимую девушку, удобства жизни, и вот теперь едет на позиции, для того чтобы разделить с народом, одетым в серые шинели, все тяготы и опасности войны с проклятыми швабами и тевтонами и, если будет угодно богу, умереть за веру, царя и отечество.

Все это было так, да не совсем так.

А собственно, что было? Грубо говоря, выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость гимназист-переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один выход. Обыкновенно в мирное время выгнанные гимназисты поступали в юнкера. В военное время они ехали на фронт. Однако для меня это оказалось не так-то просто. В пехоту — пожалуйста. Но в пехоте наверняка убьют. Чувство самосохранения навело меня на мысль об артиллерии, где неизмеримо меньше потерь и больше удобств. Конечно, все эти соображения были глубоко подсознательны, и я бы очень удивился и даже разгневался, если б кто-нибудь посмел заподозрить, что я думаю именно так. Я так не думал, за меня думал кто-то другой, неведомый мне, незримый.

...вообще артиллеристы более привилегированны...

И тут же обстоятельства стали мною распоряжаться. Отец Миньоны командовал артиллерийской бригадой.

Вместе с отцом я отправился на толчок покупать необходимое обмундирование. В сущности, это было не нужно. Меня и так должны обмундировать в действующей армии. Но мне до смерти хотелось хотя бы в течение нескольких дней покрасоваться в тылу в военной форме.

Уже само по себе идти на толчок считалось унизительным. Но еще более унизительно было идти по городу не в гимназической форме, на которую я уже не имел права, а в старом отцовском пальто и гимназической фуражке, где вместо сияющего герба виднелись две постыдные дырочки.

Наступали рождественские праздники и вместе с ними обычная оттепель, покрывшая слякотью тротуары. Гранитные мостовые блестели в тумане. Из темной тучи на миг выглянул желток солнца, после чего стал сеяться мелкий, как пыль, дождик пополам со снежинками, совсем скрыв от глаз прилегающие к толчку переулки рабочих окраин, заставленных чахлыми рождественскими елками, привезенными на продажу откуда-то с севера.

Небольшая площадь толчка, наполненная черной толпой продающих и покупающих, червиво шевелилась: старьевщики в котелках со своими холщовыми мешками, перекупщики, продавцы краденого, карманники, солдаты, сбывающие казенное бязевое белье с черными клеймами, марвихеры, чугунноногие инвалиды еще времен японской войны, старухи, торгующие с рук подержанными елочными украшениями — бусами, золочеными орехами, стеклянными шарами, бумажными цепями...

Папа совсем потерялся в несвойственной ему среде толчка. Он неумело торговался, опасливо вынимая портмоне, близоруко копался в нем, и в конце концов были куплены у солдата-инвалида юфтевые сапоги, кожаный пояс, гимнастерка из очень толстого японского сукна защитно-желтого цвета порт-артурских времен, белая меховая папаха и черная кожаная куртка на бараньем меху. Все эти вещи были хотя и целые, но явно поношенные. Их выбирал я сам, торопясь и делая вид знатока.

Отец только морщился и торопливо расплачивался, желая поскорее уйти из этого неприличного места.

В галантерейной лавочке приобрели защитного цвета погоны вольноопределяющегося первого разряда, обшитые оранжево-черным шнурком, а также две скрещенные латунные пушечки для этих погон.

Отец казался удрученным непредвиденными расходами, хотя и понимал, что это плата за мой патриотический порыв.

Господи, если бы обошлось только этим!

Отцу было страшно подумать, что война может не пощадить меня, его мальчика. При одной этой мысли его глаза краснели от скупых слез, и он, скрывая их, протирал пенсне носовым платком.

Превращение исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро. В новом своем качестве я успел до отъезда, как тогда говорилось, на театр военных действий показаться всем своим гимназическим товарищам и многим другим, в особенности знакомым гимназисткам, в том числе и Ганзе, которая не выразила по этому поводу никаких чувств.

Что касается Миньоны, то она на прощание меня перекрестила, но не поцеловала, на что я втайне рассчитывал.

Ганзя и Миньона не были знакомы, так как Миньона не училась в гимназии, а по состоянию здоровья получила домашнее образование.

Я не представлял, какой у меня странный, если не сказать идиотски-глупый, вид в больших, не по ноге сапогах, нелепой кожаной куртке и белой папахе, лихо заломленной на затылок, что не соответствовало ни общепринятой армейской форме, ни моему еще полудетскому прыщеватому лицу с узкими испуганными глазами.

В таком виде, не дождавшись ни елки, ни Нового года, я и появился в переполненном вагоне третьего класса.

Миньона навязала меня в попутчики офицеру, возвращавшемуся из отпуска в бригаду ее отца. Офицер ехал в вагоне второго класса. Я вообразил, что в качестве добровольца и спутника боевого поручика тоже смогу устроиться вместе с ним в мягком вагоне, и даже уже втиснул в ку-

пе свой клетчатый чемодан, но поручик, вежливо улыбаясь в подстриженные усики, выставил меня, заметив со строгой чисто армейской деликатностью, что нижним чинам, хотя и добровольцам, не положено по уставу ездить в мягких вагонах, а только в жестких третьего класса.

Я был неприятно поражен, но лихо откозырял поручику и перетащил свои вещи в воинский вагон третьего класса, сразу же окунувшись в его густую атмосферу пота, сапог и махорки. Подумав, не без горечи, впрочем: а ля гер ком а ля гер,— афоризм, весьма популярный в то время: на войне как на войне!

«Незнакомые люди и безотчетная грусть, страх... неизвестного... Потом Минск...» — писал я Миньоне.

Однако между безотчетной нежной грустью, туманно адресованной генеральской дочке, между страхом чего-то неизвестного и прибытием в тыловой город Минск произошли еще некоторые события, о которых я в своем письме Миньоне умолчал, а потом и вовсе забыл, а на склоне лет вспомнил.

Главное из этих событий было то, что я подружился с почтальоном, проводником и старшим кондуктором поезда, которые перевели меня в служебный багажный вагон в голове поезда, где я очень удобно устроился на большой казенной шубе почтальона, разостланной поверх железной клетки, предназначенной для перевозки по железной дороге собак и по случаю военного времени пустующей.

Дружба со старшим кондуктором завязалась еще в буфете на станции Бахмач, где я угостил старшего кондуктора бужениной и двумя бутылками довольно крепкого медового напитка, заменившего водку и вино ввиду все того же военного времени. К нам присоединились проводник и почтальон. Я всех угощал и сам порядочно выпил и рассказал своим новым друзьям, что еду на позиции поступать в артиллерийскую бригаду знакомого генерала, он отец барышни, в которую я влюблен. Новые друзья вполне одобрили мое намерение, а почтальон выразил здравое соображение, что в артиллерии куда меньше убивают, чем в пехоте, и что при тесте-генерале можно легко выйти в офицеры.

Эта мысль никогда явно не приходила мне в голову и показалась унижающей мой патриотический порыв, но все же незаметно мне польстила.

А в самом деле, чем черт не шутит, подумал я и купил еще две бутылки медового напитка.

Пока поезд стоял на этой новой узловой станции, я гулял с почтальоном и главным кондуктором по длинной дощатой платформе, наслаждаясь видом розового морозного заката над снежной равниной уже не Новороссии, а подлинной России. Я любовался елочными звездами станционных электрических лампочек, висящих в чистом, крепком воздухе и зажженных как бы только для того, чтобы еще более украсить зимний пейзаж.

У нас на юге я никогда не видел такого морозного вечера, а на север я ехал впервые в жизни.

Это было для меня так ново и так прекрасно, и так пригодились теплая кожаная куртка, белая папаха и кожаные меховые перчатки.

Я чувствовал себя свободным, готовым на любые воинские подвиги, и снег громко скрипел под моими юфтевыми сапогами.

Остальную дорогу до Минска я провел очень приятно в собачьем отделении багажного вагона, где всю ночь играл в двадцать одно со старшим кондуктором, проводником и почтальоном, который пики называл вини, бубны — буби, трефы — крести, королеву — краля и т. д., слюнил пальцы, прежде чем сбросить карту, и в конце концов выиграл у меня двенадцать рублей из тех двадцати, которые дал мне папа. За вычетом денег, потраченных на буженину и медовый напиток, у меня почти что ничего не осталось.

Меня это не беспокоило: на что мне деньги на позициях, тем более что, может быть, меня и убьют.

Северная зимняя ночь длилась бесконечно, и лишь в восемь часов утра в решетчатом окошечке багажного вагона слегка посинело.

На платформе минского вокзала еще горели электрические фонари совсем как ночью, я выпрыгнул из багажного вагона и оказался по пояс в лиловом снежном сугробе. С трудом вытаскивая из снега ноги в тяжелых сапогах, дыша снежной пылью, еще немного хмельной от медового напитка, утомленный бессонной ночью и проигрышем, я побрел к вокзалу.

«...Минск, обыкновенный губернский город, типичный для центральной России, с деревянными домами, тройками, бубенчиками... и скверными парикмахерскими...»

Так изобразил я, никуда еще до сих пор не выезжавший из родного города севернее Екатеринослава, белорусский город, удививший меня бревенчатыми особнячками, улицами, тесными от сугробов, бубенчиками санной езды.

Я дышал острым морозным воздухом темного зимнего утра, сожалея, что не догадался купить две пары погон, для того чтобы одну пару прикрепить к кожаной куртке, а то получалось, что я совсем не военный, не фронтовик-доброволец, а ни то ни се. Погоны с пушечками были никому не видны, так как находились под курткой, на гимнастерке. А без погон на куртке меня можно было принять просто за штатского молодого человека, одевшегося потеплее.

Что касается «скверных парикмахерских», то это было сказано для красного словца. Парикмахерские были как парикмахерские. Не хуже и не лучше, чем у нас. В одну из парикмахерских я зашел постричься и здесь снял кожаную куртку, так что белобрысый парикмахер-белорус мог увидеть погоны с пушечками и понять, с кем имеет дело. Парикмахер меня постриг, но не побрил, так как нечего было брить; зато попудрил мне шею и спрыснул постриженную голову одеколоном, после чего сдернул с меня простыню, стряхнув блестящие черные локончики моих молодых волос.

За все это удовольствие я заплатил двадцать копеек из последних восьмидесяти, оставшихся после поездки в багажном вагоне.

Но вот что удивительно. В своем письме я почему-то не упомянул о двух бревенчатых домах, которые я увидел на привокзальной площади. У них были провалены крыши, зияли черные дыры окон с вырванными рамами и кое-где обгорелые бревна срубов: следы недавнего налета на Минск немецких «цеппелинов», бомбивших железнодорожный узел. Впервые я увидел зловещие признаки нешуточной войны, дыхание смерти.

«От Минска я еду в воинском поезде. Поезд набит битком. В теплушках, где мне пришлось ехать вместе с другими нижними чинами, яблоку негде упасть. Смрад. Духота. Адский холод, потому что печей в теплушках нет, а снаружи двадцатиградусный мороз, хоть плачь!

На первой же станции прыгаю из теплушки и бегу к паровозу. Паровоз огромный, железный, весь как бы со-

чится кипятком. По сравнению с его колесами я кажусь себе совсем маленьким, как лилипут. Паровоз весь в жаркой испарине, как загнанная лошадь. Очень высоко в маленьком окошечке видно лицо машиниста. На подножке как бы висит в воздухе кочегар с жестяным чайником в руке. В чайнике кипяток. Чайник охвачен облаком пара.

— Дяденька! — кричу я снизу вверх.— Замерз! Возьмите меня к себе на паровоз!

Машинист смотрит на меня сверху строго, но тем не менее говорит:

— Лезьте!

Притащив из теплушки свои вещи, не без труда лезу вверх по железным ступеням и остальной путь совершаю на теплом паровозе, где пахнет машинным маслом и еловыми дровами (угля нет!). Снежная панорама. Поля, похожие на белые застывшие озера. Хвойные леса, подобные островкам среди этих озер. Небо такое же белое, как снег. Небо сливается со снегами. Трудно уловить глазом волосок горизонта. Циферблат возле кипящего котла показывает скорость. Стрелка колеблется от тридцати до сорока верст в час. Из Минска мы выехали в одиннадцать, а уже в два часа по пути попадаются проволочные заграждения, палатки каких-то войсковых частей, среди снегов — казачьи разъезды: мохнатые лошадки и коренастые фигуры всадников с пиками. Как отлитые из бронзы.

Наконец в четыре часа, когда уже начинает темнеть,— станция Молодечно. Здесь исчезают последние следы мирной жизни. Здесь уже война. В зале первого класса давка. Офицеры заполнили все помещение. Они с жадностью хлебают дымящийся борщ, пьют из кружек чай, жуют хлеб. Это уже не ленивое жевание мирной жизни, как на остальных станциях, а еда с настоящим волчьим аппетитом. Да еще бы! Ведь адски холодно! Да это уже вовсе и не станционный буфет, а так называемый питательный пункт.

Вместе с поручиком садимся в кибитку, присланную за нами на станцию, и едем в бригаду, до которой, говорят, верст десять — пятнадцать. Настоящая, хорошая, прекрасно накатанная санная дорога с высокими ольховыми деревьями по обочинам.

Попадаются халупы, обсаженные вокруг воткнутыми в сугробы срубленными елками: маскировка?

Морозный ветер нес снег и покрывал нас с поручиком ледяной корочкой.

Под дугой колокольчик звенит, звенит, звенит однотонным ладным звоном. Валдайский колокольчик... Все побрякивает колокольчик, все побрякивает, и кажется, конца не будет этому однообразному колдовскому побрякиванию.

Заслушаешься!

И под его однообразный однотонный звук начинаешь вспоминать... Хорошо вспоминать под звук дорожного колокольчика, в синий зимний вечер, едучи в опасное, неизвестное место,— вспоминать о ком-нибудь милом, близком, хорошем: чувствовать неопределенную грусть — светлую и нежную...»

Грусть эта была адресована Миньоне, но уж конечно не ей одной, ох не ей одной...

Может быть, это вообще была не грусть, тем более светлая и нежная, а тайная душевная тревога, смутная догадка, что я сделал что-то совсем не то, позднее сожаление об утраченном прошлом, которое уже больше никогда не возвратится. А будущее темно и безрадостно.

Впервые в жизни увидевши настоящую русскую зиму, я почему-то посчитал, что парные сани, в которых ехал с поручиком, есть не что иное, как кибитка, представление о которой заимствовал из «Капитанской дочки», отчасти представив себя чем-то вроде Гринева. А может быть, тут сыграл роль и Полонский с его волшебными стихами.

«Ночь морозная смутно глядит под рогожу кибитки моей».

Впрочем, никакой рогожи не было. Сани были тесные, и я изрядно стеснял своим чемоданом поручика. Я старался как можно больше потесниться, что еще больше раздражало молчаливого поручика, не чаявшего поскорее доехать до места и наконец отвязаться от меня, ряженого мальчишки, навязанного ему генеральской дочкой.

По пути попалась маленькая бревенчатая церковка и вокруг нее дремучий бор: совсем как декорации из «Жизни за царя» в той картине, где поляки убивают саблями Сусанина. Суровая простота столетних елей, заваленных подушками снега.

Нас все время обгоняют, и нам навстречу мчатся сани с бубенчиками.

Звенит, звенит, звенит...

«Сквозь сон вижу милое лицо, милые движения, милый голос. Однако утомительно.

— Ямщик, скоро доедем?

— Скоро.

— Сколько осталось?

— Верстов семь.

Ветер, ветер...

— Сколько?

— Верстов семь с гаком».

Оказывается, у них «с гаком» — это еще почти столько же или даже больше.

«Ветер мешает говорить. Губы еле открываются, как резиновые. Едем, едем. Думается, думается... Глаза сами собой закрываются. С трудом подымаешь веки, а вокруг все то же: бегущая назад дорога, ели, халупы, колокольчик. Словно только теперь его услышал. Да звенел ли он, когда я мечтал, когда дремал? Может быть, звенел, а может быть, и не звенел».

Помнится, изрядно укатала меня русская зимняя дорога, волнистый санный путь.

«Наконец приезжаем в селение Лебедёв, где стоит бригада. На въезде почему-то стоит высокий шест с желтым флагом. Едем по улице и останавливаемся перед бревенчатой избой, обставленной вокруг срубленными елочками то ли для маскировки, то ли по случаю святок.

— Ну слава богу,— говорит поручик,— наконец приехали.

Следом за ним я вношу свой чемодан в сени, а оттуда в большую светлую комнату. Посередине длинный стол, покрытый клеенкой. Три походные кровати с офицерскими вещами на них. На стене часы. Почему-то это меня поражает: на фронте — и стенные часы! Уютно. Хорошо. Никого из офицеров нет. Мы пьем с поручиком чай, и я, встав по уставу «смирно», говорю:

— Разрешите, господин поручик, пойти представиться бригадному командиру?

— Пожалуйста,— с облегчением говорит поручик и кричит в сени: — Эй, кто там! Проводите господина вольноопределяющегося в управление бригады!

Я надеваю перчатки, папаху и выхожу следом за денщиком на улицу, где уже совсем темно и на небе звезды. Сугробы. Крепкий мороз. Елки. Все какое-то странное, незнакомое. Денщик показывает мне, куда идти: прямо, потом направо, потом чуть-чуть в сторону. Ни черта не понятно. Но денщик уже исчез в темноте. Иду наугад, вязну в сугробах. Вырастает силуэт солдата.

— Скажите, пожалуйста, как мне пройти в управление бригады?

— А черт его знает. Може, гдесь коло костела. Пошукайте.— И тут же исчезает во тьме морозной ночи.

Иду, вязну в снегу, снег набивается за голенища сапог. Наконец на фоне звездного неба вырисовывается костел. Попадаю в какую-то канцелярию, где получаю от писарей, при свете керосиновой лампы играющих в дамки, точные сведения, как найти управление бригады. И вот — большая бревенчатая изба. У крыльца, как и всюду здесь, воткнутые в сугробы срубленные елочки маскировки. Стоит тройка. На облучке ямщик.

— Квартира командира бригады где?

— Должно, здесь. Я сам тута впервой.

Смело вбегаю на крыльцо, распахиваю дверь и попадаю в темные сени. Две двери. Одна направо. Другая прямо. Дверь, которая прямо, неплотно прикрыта, и ярко светится широкая щель.

Эх, чем черт не шутит!

Заламываю папаху и стучу в дверь, одновременно примечаю видную сквозь щель часть комнаты: большой стол, керосиновая лампа и стриженый затылок седовато-серебряной круглой головы генерала, в котором сразу узнаю Вашего папу.

— Войдите! — слышится его негромкий начальственно-властный голос.

Я разлетаюсь через всю комнату, останавливаюсь за четыре шага — строго по уставу,— неистово щелкаю каблуками своих юфтевых сапог... и все, что я приготовил отрапортовать, разлетается как дым. Генерал поднимает на меня свои зоркие, лиловатые, как у Вас, глаза, только сейчас в первый раз я замечаю, как Вы похожи на своего

отца — и небольшим ростом, и осанкой, и выражением круглого лица, которое может быть, если захотите, таким добрым, и таким милым, и таким отчужденным.

В платок закутанные плечи, в глазах то нежность, а то лень,— и я в огне противоречий горю сегодня целый день.

Ваш папа улыбается:

— А, это вы! А я уж думал, что вы не приедете, раздумали воевать. Что ж это вы так опоздали?

Докладываю, что так, мол, и так, трудно было быстро достать в штабе военного округа пропуск в действующую армию, свидетельство о политической благонадежности, нотариальную копию с метрического свидетельства... Всюду бюрократическая волокита... и вообще...

Ваш папа подает мне небольшую пухлую руку и еще более приветливо улыбается, как бы показывая свое сочувствие по поводу бюрократической тыловой волокиты.

От его поистине отеческой улыбки у меня на душе теплеет.

Потом он своим ровным негромким голосом начинает как бы сам с собой обсуждать вопрос, куда бы меня направить. Сначала хочет послать меня в шестую батарею. Берет трубку полевого телефона и соединяется с командиром шестой батареи. Но, видимо, командир шестой не склонен брать к себе добровольца: он принципиально против этого.

— Вот незадача,— говорит генерал, кладя трубку рядом с полевым эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре, и потирает серебряный ежик своей круглой головы маленькой пухлой ручкой.— Присядьте, пожалуйста. Хотите чаю?

Я присаживаюсь к столу, и генеральский денщик ставит передо мной стакан крепкого, красного чая в серебряном подстаканнике и ведерко с сахарным песком. На столе газеты и журналы — «Вестник Европы», «Современный мир»,— что придает комнате еще более домашний и, так сказать, интеллигентный вид. Интеллигентность вообще свойство артиллерийского офицерства.

Только что берусь за подстаканник, как дверь распахивается и входит плотный, лысоватый, быстрый в движениях полковник в замшевой шведской куртке. Я вскакиваю и вытягиваюсь в струнку. Полковник целуется с вашим папой. Это, конечно, как Вы уже, наверное, догадались, отец Ваших двоюродных сестер. На правах близких родственников он с Вашим отцом на «ты». Обстановка де-

лается еще более семейной. Ваш папа представляет меня полковнику, который ласково жмет мне руку своей большой, мягкой, теплой ладонью.

— Знаю, знаю! Как же! — приветливо говорит он.— Помню, кажется, вы бывали уменя в доме?

— Точно так, только вы, ваше высокоблагородие, меня видеть не могли. Вы уже тогда были на позициях.

— Ах так? Ну все равно. Значит, это писали про вас мои дочки.

Он хлопает меня дружески по плечу, совсем по-домашнему.

— А вы, молодой человек, молодец! Вояка!

— Да, да,— подхватывает Ваш папа.— Обрати внимание — настоящий кавалер! Уже и выправка намечается! И свои тыловые патлы убрал. Остригся под машинку. Голова как орешек. Просто прелесть. А когда был гимназистом, казался таким дохленьким. А теперь, а? Обратите внимание, доктор, это по вашей части.

В комнате, оказывается, присутствуют еще и военный врач со значком на кителе, а также бригадный адъютант с аксельбантами и начальник штаба.

Я оказался среди самого высшего бригадного общества.

Жарко натоплено. Уютно, совсем по-домашнему. Даже в углу граммофон.

Меня быстро назначают во второй взвод первой батареи, и следом за денщиком не без сожаления покидаю этот рай и ухожу на квартиру фельдфебеля, обнадеженный добрыми пожеланиями служить хорошо. И вот я уже целую неделю как служу. Живу уже не у фельдфебеля, а вместе с солдатами во взводе...»

Однако на этом мое первое, непомерно длинное письмо не кончается. Но досадно, что я ничего не написал Миньоне о своей недолгой жизни у фельдфебеля.

...втащив в избу свой громоздкий клетчатый чемодан, я очутился перед крупным, осанистым, уже несколько располневшим человеком с лицом багровым, словно каленый медный пятак, и внимательными глазами, какие бывают у знающих себе цену, умных и властолюбивых хохлов. Это был фельдфебель первой батареи, по званию подпрапорщик, то есть нечто среднее между нижним чином и офицером, все же нижний чин. Он имел право носить на фуражке офицерскую кокарду, а на солдатской шашке

офицерский темляк, но погоны у него были не офицерские, а солдатские, только с широким золотым басоном вдоль погона и широкой трехслойной лычкой старшего фейерверкера поперек. Любой самый захудалый прапорщик мог обращаться к нему как к нижнему чину, кажется, даже на «ты», в то время как он должен был тянуться и называть прапорщика «ваше благородие», но у себя в батарее, куда офицеры заглядывали не столь часто, он был царь и бог. В сущности, он зависел только от командира батареи.

Все это я узнал от генеральского денщика, проводившего меня на квартиру к фельдфебелю, и не точно представлял, как мне держаться с фельдфебелем.

Со своей стороны фельдфебель первой батареи, куда меня зачислили приказом, подпрапорщик Ткаченко уже был полностью осведомлен каким-то непонятным, но весьма обычным в армии способом обо мне и знал даже такие подробности, что я являюсь кавалером средней генеральской дочки, хотя еще и не жених. Я еще тогда не знал, что существует так называемый солдатский телеграф, молниеносно передающий все новости.

Ткаченко стоял передо мною, расставив ноги в хороших, но все же солдатских, а не офицерских сапогах и засунув руки за офицерский желтый кожаный пояс, туго облегавший его солидный живот, рассматривал меня, как бы соображая, чего я стою.

Я вытянулся по стойке «смирно», приложил руку к папахе и отрапортовал, не без тайного умысла назвав его не господином подпрапорщиком, как полагалось, а вашим благородием, чем с детской хитростью желал ему польстить:

— Ваше благородие, честь имею явиться, доброволец Пчелкин.

Под усами Ткаченко проползла еле заметная улыбка удовольствия, но тотчас же брови его нахмурились.

— Очень приятно, господин вольноопределяющийся. Раздевайтесь. Усаживайтесь. Седайте на лавку, так как стульев у меня здесь нема. Я имею приказ зачислить вас во второй взвод. Но пока вы еще не привыкли к солдатской жизни, просто поживите некоторое время у меня в хате. Тем более у меня тут приехала на побывку на праздники моя жинка, которая сможет нам кое-что сготовить домашнее.

— Покорно благодарю, ваше благородие.

Легкая улыбка снова промелькнула под усами фельд-

фебеля, после чего он снова начальственно нахмурился.

— Только возьмите себе на заметку, господин вольноопределяющийся, что согласно уставу меня отнюдь не положено именовать «вашим благородием», поскольку я не являюсь офицером, а положено меня именовать господином фельдфебелем или господином подпрапорщиком, как вам больше понравится.

— Слушаюсь, ваше благородие,— снова как бы нечаянно оговорился я, заметив, что «ваше благородие» доставляет Ткаченко тайное удовольствие.

— Отнюдь не ваше благородие! — как бы строго сказал Ткаченко.

— Слушаюсь, господин подпрапорщик! — сказал я, хотя впоследствии частенько как бы невзначай именовал его «вашим благородием», желая подольститься.

Сейчас мне смешно и неловко об этом вспоминать. Но что было, то было.

Несколько дней, проведенных у фельдфебеля, мне очень понравились. Действующая армия пока что оказалась не такой страшной.

По случаю крещения в бригаду прислали из какого-то провиантского управления, а может быть, в подарок солдатикам от Союза городов мороженых судаков, которые, конечно, тут же оказались также и в фельдфебельской избе,— несколько штук замерзших рыбин, твердых, как палки.

Из этих судаков супруга подпрапорщика изготовила дивное заливное, а также сварила из сушеных морщинистых груш, черных, как ведьмы, из сушеных вишен и яблок отличный узвар, а также изготовила настоящую украинскую рождественскую кутью из отборной полтавской пшеницы с грецкими орехами, которые привезла с собой из родной деревни.

Она была молчаливая, робкая женщина, повязанная платком, но не по-русски, а по-украински, как гоголевская Солоха. Она приехала к мужу на побывку, воспользовавшись тем, что бригада стояла в резерве, и, откровенно говоря, мое присутствие в избе их супружескому уединению за ситцевой занавеской, где было устроено их походное двуспальное ложе, несколько мешало.

Супруга господина подпрапорщика все время сидела в углу на корточках, с обожанием и страхом следя за ма-

лейшими движениями своего мужа, которого не только крепко любила, но и уважала как могущественного начальника и боялась его до дрожи в коленях. Он же относился к ней с ласковой строгостью справедливого повелителя. Она угадывала каждое его желание, и когда в хате появились упомянутые уже судачки, упавшие возле печки на пол, как дрова, она сразу засуетилась, загремела ухватом, кастрюлями, сбегала за водой, развела в печке огонь и очень быстро состряпала крещенский ужин, предварительно остудив заливное в сугробе возле крыльца.

Получился прекрасный крещенский ужин. Настоящее пиршество при трескучем блеске крещенских звезд, видных в черном окошечке.

Фельдфебель пригласил к столу, покрытому чистой хусткой, меня, господина вольноопределяющегося, а супруге своей молвил:

— А вы тоже сѐдайте с нами.

И она сконфуженно села на край коника и зарделась от счастья, как уже порядочно увядшая, но все еще милая троянда, что значит по-украински роза.

Никогда еще я так вкусно, с таким аппетитом не ужинал, и мне казалось, что эта прекрасная жизнь продлится вечно.

Впрочем, Ткаченко вскоре спровадил меня в соседнюю комнату, там на полатях помещались белорусская беженка с пятнадцатилетней дочкой Надей. Мне была предоставлена лавка в красном углу, где я и расстелил мехом вверх свою кожаную куртку, показав таким образом хорошенькой, хотя и слишком белобрысой беженке Наде свои погоны вольноопределяющегося с пушечками.

Наступили суровые будни, и не помогли заискивание и хитрости.

Фельдфебель сделал мне замечание насчет моей одежды: белая папаха не положена, кожаная куртка на меху не положена, пояс офицерского образца тоже не положен. И вообще все не положено, даже сапоги с ремешками. Надо, чтобы все было по форме, а не как у чучела, все как у настоящего артиллериста. Затем он дал мне несколько толстеньких книжек в клетчатых переплетах, разные уставы: полевой, гарнизонный и тому подобное. Я должен был выучить их если не наизусть, то, во всяком случае, как сказал фельдфебель, назубок. Затем он сводил меня в артилле-

рийский парк на задах Лебедёва и показал орудие: трехдюймовую полевую скорострельную пушку с масляным компрессором, поршневым затвором, оптическим прицельным приспособлением и зеркальным отражателем, так называемой панорамой.

Ну и так далее.

Все-таки я никак не ожидал, что мой воинский лихой вид будет воспринят фельдфебелем как чучело. Печально.

Первое мое письмо с фронта заканчивалось следующим образом:

«Теперь я уже живу не у фельдфебеля, а во взводе, с солдатами, в избе. Все хорошо, но слишком тоскливо без интеллигентного общества. Если можете, напишите какому-нибудь знатному офицеру, чтобы он взял меня к себе ординарцем. Нет, шучу. Во-первых, у офицеров нет ординарцев, а только денщики. А быть денщиком по своим вкусам и положению «не положено», как говорится у нас в армии. У нас крепкие северные крещенские морозы, но солдатскую службу я переношу довольно легко. Ни одного замечания пока не имею... Бывало, скачу на лошади — без седла и шпор — крупной рысью... Эх, да что говорить! Милая Миньона, пожалуйста, не забывайте, пишите. Ей-богу, без Ваших писем как без воздуха. Поскорее бы из резерва на передовые!

Солдатский телеграф сообщает, что выступаем 16 января, как раз в день моего рождения. Дай бог! Любящий Вас Саша Пчелкин, канонир третьего орудия второго взвода первой батареи 64-й артиллерийской бригады. Вот!»

Никакой лихой скачки на неоседланной лошади, да еще и без шпор, конечно, не было. Если что-нибудь подобное и было, то это небольшая верховая поездка на смирной лошадке, когда батарейных лошадей водили на водопой и мне разрешили проехаться немножко верхом. Естественно, что никаких шпор не имелось, так как по моему званию канонира они не полагались. Все это был всего лишь поэтический вымысел, невинное мальчишеское хвастовство, позерство, так же как и жалобы на отсутствие интеллигентного общества, что в устах исключенного гимназиста звучало юмористически.

Между первым и вторым письмом я обнаружил хрупкие листочки почтовой бумаги с заметками, написанными анилиновым карандашом все тем же моим еще не вполне устоявшимся почерком более чем полувековой давности. Я совсем забыл об этих заметках и не имею понятия, каким образом они сюда попали.

«...я спал крепким детским сном на нарах, покрытых соломой, в небольшой белорусской халупе, где помещалось шестьдесят человек. Вы только представьте себе: шестьдесят! Мое место находилось между двумя солдатами, из которых один — из моего взвода, а другой ездовой, мне мало знакомый, который спал, не раздеваясь, в своей стеганой заношенной телогрейке. Он был очень высок ростом, костляв и все время старался поджать под себя слишком длинные ноги, отчего его зад упирался в меня, иногда выпуская сквозь стеганые штаны газ, что у солдат называлось «пускать шептуна». Меня это раздражало, но я был среди солдат еще недостаточно своим, чтобы выразить по этому поводу неудовольствие. Я только отворачивался и зажимал нос.

В халупе было трудно дышать.

В темном воздухе, пропитанном запахами махорки, мокрой кожи, пота, заношенной одежды и гари топившейся печки, язычок керосиновой коптилки горел как бы с большим усилием, готовый каждую минуту померкнуть».

И все-таки я крепко спал и видел мучительные сны, недоступные описанию, так как они представляли смешение реального и абстрактного, а скорее всего были как бы овеществленной истиной, какой-то высшей правдой бытия, доступной человеческому пониманию только во сне, начисто забывшемся после пробуждения.

Во сне, как мне теперь представляется, я испытывал мучительную двойственность своего существования, которое было во сне совсем не таким, как наяву.

Во сне я был совсем не тем чучелом, ряженным в выдуманную мною же военную форму, молодцом-патриотом в кожаной куртке и лихо заломленной белой папахе, якобы влюбленным в хорошенькую дочку командира бригады, что ставило меня в некоторое привилегированное положение среди других нижних чинов батареи.

Во сне я был одинок и несчастлив.

Обстоятельства, которым я не захотел противиться, безудержно несли меня в темное будущее. Я стал игрушкой обстоятельств. Я не пожалел стареющего отца, даже не подумал, что, уезжая на войну, нанес ему смертельную рану. Мне и в голову не приходило, что прошлое уже никогда не вернется. И я сам предал это прекрасное прошлое. Я напрягал все свои душевные силы, внушая себе, что люблю Миньону. Может быть, я действительно был в нее влюблен, как во многих других. Но это была всего лишь влюбленность, легкое волнение в крови полуюноши-полумальчика.

Я любил другую, ту самую Ганзю, о которой вдруг с такой безнадежностью стал вспоминать в последние дни.

Я никогда не видел ее во сне. Но она всегда как бы незримо, невещественно присутствовала в моих сновидениях...

«...сон мой был резко прерван орудийным фейерверкером, внесшим в халупу облако сплошного морозного пара.

— Сегодня беспременно полетит! — громко крикнул он.— Подъем!

...стоя по колено в сугробе, я умывался жестким снегом...

Сновидение забылось, я уже был прежним добровольцем, еще не принявшим воинскую присягу и одетым не по форме.

Около восьми часов утра, а на дворе еще ночь, даже кое-где в небе видны звезды. Трескучий мороз обжигает. Полоса темно-апельсинной поздней январской зари занимается над лиловыми снегами, и сказочный, колдовской ущербный месяц низко висит над таинственным мелколесьем.

Верст за двадцать слышна орудийная пальба, будто кто-то громадный, невидимый стоит на краю света и хлопает дверью. А еще лучше не хлопает дверью, а выбивает ковры. Там передовые позиции. А мы все еще в резерве.

...Артиллерийский парк. Орудия в надульниках и брезентовых чехлах на затворах. Ездовые запрягают в передки по-зимнему мохнатых лошадей, выкатывают спаренные зарядные ящики. Застоявшиеся лошади ржут, танцуют и бьют подковами в промерзший снег. Часовой в валенках,

с обнаженным бебутом у плеча выглядывает из своего постового тулупа и осипшим, еще как бы ночным голосом говорит:

— Нынче непременно должон полететь.

Два орудия моего второго взвода запряжены. Ездовые на местах. Выводят золотисто-карего коня для офицера.

— Смир-рно! Равнение на-а-алево!

Появляется офицер. Он в щегольском романовском полушубке и серой смушковой папахе. Он оглаживает, треплет лошадь по шее рукой в замшевой перчатке, берется за холку, чуть притрагивается к стремени носком до блеска начищенного хромового сапога, и через миг его статная фигура уже чуть покачивается в скрипучем новеньком седле.

— Ша-агом аррш!

Ездовые верхом на своих лошадях и наш взвод — два орудия,— гремя, и визжа, и как бы размалывая снег колесами, медленно двигаются мимо обледеневшего сруба колодца, мимо разбитой халупы со скелетом обгорелых стропил, печальным и уже отчетливо рисующимся на фоне утреннего, заметно позеленевшего неба. Поворачиваем на проселок.

— Ры-ысью!

Я взбираюсь и сажусь на передок, который шатается, подскакивает, и мотаюсь на нем, как мешок овса.

Ясное утро разгорается, и вот я вижу на пригорке красивую помещичью усадьбу-фольварк, окруженную по-зимнему голой зеленовато-серой ольховой рощицей, где размещен обоз второго взвода нашей бригады.

В словаре войны наиболее часто звучали два слова: «халупа» и «фольварк». Ни одного военного рассказа, ни одной газетной корреспонденции из действующей армии не обходилось без этих доселе незнакомых слов, как бы заключавших в себе самую суть идущей войны.

Как часто, еще будучи в тылу, человеком штатским, свободным, я втайне мечтал в своем будущем письме с пометкой «Действующая армия» как бы вскользь, в придаточном предложении написать эти два волшебных слова. Халупу я уже несколько раз упоминал. А вот фольварк предстал передо мной впервые. И я почувствовал себя уже

вполне причастным к тому зловещему, смертельно опасному, но в то же время и притягательному действию, которое называлось войной...

...Склоны снежных бугров, поросших молодым ельничком... В стороне курган... Четко рисуется несколько темно-зеленых, почти черных старых сосен с красными стволами, а под ними потемневшие от времени деревянные кресты над чьими-то могилами.

Взвод останавливается. Значит, мы приехали на позицию. Но где же эта самая позиция? Ничего не вижу, кроме снежных пологих бугров. Всматриваюсь. В снегу две большие ямы. Посередине их бревенчатые срубы, особые станки для установки наших полевых пушек стволами вверх, к небу. Срубы легко вращаются вокруг своей оси, что позволяет бить по вражескому аэроплану влет.

Взявшись за колеса, кряхтя и крякая, орудийная прислуга дружно втаскивает свои трехдюймовочки, снятые с передков, на срубы, так что хоботы лафетов оказываются внизу, а стволы задраны вверх, нацелены в синеву.

Зарядные ящики установлены поодаль, лошадей вместе с передками отправляют обратно в Лебедёв.

Возле орудийных станков виднеются землянки, занесенные снегом, что делало бы их слившимися с сугробами, если б не короткие кирпичные печные трубы.

...Морозно.

Ноги у всех замерзли, одеревенели. Орудийная прислуга топчется на месте, бьет сапогом о сапог.

Раскапывают из-под сугробов шанцевым инструментом, то есть по-штатски лопатами, входы в землянки. Телефонисты разматывают со своих больших катушек и прокладывают прямо по снегу черный телефонный кабель, устанавливают в дверях землянок контакты. Пробуют разговаривать с Лебедёвом. Слышно утиное покрякиванье телефонных аппаратов.

Солнце уже поднялось высоко, и снег слепит глаза.

Начинается ожидание. Кто может предсказать — полетит ли сегодня немец или не полетит? Дивизионная разведка уверена, что полетит. Но кто его знает. Надо ждать.

Пока люди ходят в лес по дрова и разводят в землянках огонь, я брожу по окрестным снегам, и фиалковая тень моей щуплой фигуры и большой папахи скользит возле

меня то справа, то слева. Все-таки я еще не слился с солдатами своего взвода. Я им еще чужой человек. Инородное тело. Я еще не принял присягу, не обмундировался по форме, не участвовал в боях, как говорится, еще не понюхал пороху. Я еще свободен. Я еще могу все это бросить и уехать домой.

Но нет! Это было бы бесчестно!

Хотя, впрочем... Ах, боже мой, как трудно во всем этом разобраться!..

В сердце тихая, тонкая грусть. Мысли о родных, близких и любимых, которые остались где-то там, далеко, за этими бесконечными снегами, сосновыми лесами, замерзшими речками».

Над землянкой уже вьется дымок. Скольжу вниз по утоптанному снегу ступенек, задеваю папахой за бревно притолоки и, низко нагнувшись, пробираюсь к раскаленным поленьям печки, светящимся в непроницаемом мраке. Острый скипидарный запах еловых ветвей, устилающих земляной пол, напоминает мне рождество и смерзшуюся елку, которую дворник вносит в теплую гостиную, а угарный дымок от камелька говорит о войне, о действующей армии, о позициях.

В тесной землянке полно людей. Утомительный гул голосов. После яркого зимнего солнца глаза с трудом привыкают ко мраку. В каменноугольной подземной тьме постепенно высвечиваются солдатские лица, серые мерлушковые папахи, обледеневшие усы, ноги в дымящихся сапогах, протянутые к огню.

Я втираюсь между двух орудийцев, ложусь на упругие еловые ветки и тоже протягиваю свои юфтевые сапоги к огню. Постепенно они оттаивают и начинают дымиться. Отогреваюсь. Блаженное тепло распространяется по всему моему телу. Клонит в сон.

Огоньки цигарок. Запах жженой газетной бумаги и махорки. Вероятно, это дежурство на противоаэропланной позиции похоже на жизнь на боевой линии. Но все же это совсем не боевая линия, а всего лишь пребывание в тылу, хотя и недалеко от передовых позиций.

Оказывается, фронт — понятие растяжимое. Пока доберешься до самой-самой передовой линии, дальше которой уже ничья земля, а за нею враг,— пуд соли съешь! Словом, не так-то все просто на войне.

В землянку заглядывает закутанный в обледенелый башлык дневальный.

— Летит! — кричит он.

Батарейцы суетятся, толкая друг друга, выползают из землянки наружу.

После подземной тьмы яркий снег слепит; в глазах плавают как бы странные отпечатки пылающей печи, но только не огненные, а, наоборот, обморочно-синие. Все окружающее на миг представляется негативом: черное белым, белое черным.

Номера занимают свои места у задранных к небу орудий. Слышится утиное кряканье полевых телефонов. С фольварка бежит офицер, поспешно застегивая полушубок и вытаскивая из футляра цейсовский бинокль, в стеклах которого вспыхивает отражение солнца. В небе уже можно различить приближающийся немецкий аэроплан.

— Взвод, к бою! — кричит офицер, не отрывая от глаз бинокля.— Уровень тридцать один пятьдесят, трубка сто двадцать пять. По немецкому аэроплану огонь!

Наводчики, прильнув к оптическим приборам, движением рук, откинутых назад, как бы молчаливо приказывают поворачивать орудия, и они движутся по кругу вслед за аэропланом, который, появившись из-за дальнего леса, с методическим журчанием мотора медленно приближается, превращаясь из еле заметной точки в механическую птичку с неподвижными крыльями, загнутыми на концах назад.

Это немецкий разведчик «таубэ», что значит по-русски голубь.

— Взвод, огонь! — командует офицер, продолжая следить за немецким «голубком».

Орудийные фейерверкеры с записными книжками в руках кричат:

— Первое! Второе!

Два удара короткого, как бы железного грома.

Наводчики сноровисто отскакивают в сторону. Стволы пушек откатываются назад, вниз и затем медленно возвращаются на прежнее место, повинуясь упругой силе масляного компрессора, которому помогают орудийные номера, упираясь руками в затвор.

Возникает два облика сияющей на солнце снежной пыли — следствие орудийных выстрелов.

Маленький летательный аппарат тяжелее воздуха, именуемый «таубэ», неторопливо движется по прямой линии над лесом. Уже известно, что выпущенная шрапнель разорвется ровно через одиннадцать секунд после орудийных выстрелов. За это время стреляные гильзы с легким звоном падают в сугроб и там дымятся. А орудийная прислуга успевает приготовить пушку к новому выстрелу.

Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать секунд — и в зеленоватом чистом небе недалеко от «таубэ» вспыхивают два огонька, как бы родившись сами по себе из ничего, и возникают аккуратные облачка. Долетает сухой треск двух взрывов. Аэроплан продолжает полет.

Промазали.

Два облачка темнеют, разрастаются, расплываются, рассеиваются.

— Очередь!

Опять два орудийных выстрела один за другим. Теперь два шрапнельных разрыва как бы из ничего появляются в небе по сторонам немецкого аэроплана.

— Очередь!

Считаю в уме восемнадцать секунд — и два новых шрапнельных разрыва возникают немного ниже аэроплана.

Аэроплан удаляется.

Теперь до него уже верст пять — почти предел дальности наших трехдюймовок.

— Прицел сто тридцать пять, трубка сто тридцать! Огонь! Первое! Второе!

Один разрыв далеко, другой очень близко от «таубэ». В бинокль видно, как аппарат снижается, колеблется, делает дугу и планирующим спуском («воль планэ») уходит за зубчатую кромку леса.

Подбили или не подбили? — вот в чем вопрос. Неизвестно. Можем узнать это лишь завтра из штаба корпуса. А о том, что на «таубэ» находился один или два живых человека — хоть и немца! — никто и не думает.

— Отбой!

Укладываем стреляные гильзы в лотки, а лотки в зарядный ящик. На затворы надеваются брезентовые чехлы. До заката недалеко. Больше немец не полетит. Можно и отдохнуть.

Только теперь вдруг начинаю понимать, что кроме

стрельбы из орудий по неприятельскому разведчику, я присутствовал еще при одном событии, на которое как-то не обратил внимания: матч между двумя прославленными наводчиками, так сказать, чемпионами артиллерийской стрельбы — бомбардиром-наводчиком Ваней Ковалевым и бомбардиром-наводчиком Прокошей Колыхаевым. Представился редкий случай стрелять, как обычно, не по закрытой цели, а по открытой, на виду у всех по мишени, движущейся по небу.

Кроме чисто спортивного интереса — кто кого перестреляет,— имеется еще материальный интерес, так как за каждый сбитый неприятельский аэроплан наводчик получал Георгиевский крест, а также, по сведениям солдатского телеграфа, девяносто рублей. Почему не сто, а именно девяносто — неизвестно.

Можно себе представить, как волновалась орудийная прислуга и с каким азартом работали оба наводчика, с виртуозной быстротой и точностью орудия поворотными и подъемными механизмами, не отрывая глаз от оптического прибора, ловящего и опережающего летящий аэроплан.

Теперь же, сидя в землянке перед печкой в окружении орудийных номеров, Ковалев и Колыхаев делили шкуру неубитого медведя: кому из них достанется знак военного ордена четвертой степени и девяносто рубликов. В крайнем случае они соглашались поделить девяносто рублей, а насчет Георгиевского креста — как решит начальство. Но никто из них не сомневался, что самолет сбит и упал за лесом, не успев перелететь за линию фронта.

В один голос все батарейцы подтверждали, что видели, как немецкий аэроплан задымился.

— Это я его зацепил,— говорил Ваня Ковалев, нежно смотря на Прокошу Колыхаева своими красивыми женскими карими глазами и покручивая черные усики, на что Прокоша Колыхаев отвечал с наигранной ленцой:

— Нет, Ваня. Тебе надо было взять на два деления вправо, тогда ты бы его достал. А достала его именно моя шрапнель, поскольку я его упредил ровно на столько, как положено, как в аптеке. Так что будем считать, что Георгий мой, а девяносто карбованцев будем делить между теми орудийными номерами, которые нам помогали поворачивать пушки.

— Дурень думкой богатеет,— заметил взводный фейерверкер Чигринский, русоусый красавец в папахе набе-

крень, и оказался, как всегда, прав, так как на другой день штаб корпуса не подтвердил, что «таубэ» был сбит.

Но, во всяком случае, разговоров было много.

В половине пятого снимаемся, телефонисты сматывают провода. Из Лебедёва приезжают передки. Вечереет быстро. Снег синеет. А на зеленоватом холодном небе появляется первая звездочка, как росинка.

Северная ночь будет светлая от звезд, искристая. А на горизонте станут видны зарницы орудийного огня...

«Действующая армия. 20-1-16 г. Крещенье. Снежно. Ветрено. Довольно холодно. Так как я в бригаде всего шесть дней, то на крещенский парад, в строй, меня не берут. Иду один в церковь, у ограды которой шпалеры серой, однообразной пехоты. В церкви полно солдат. Впереди оранжевые тулупы и черные, в желтых цветочках платки беженок. Есть грудные дети. Их тонкий плач напоминает мне, что, «причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад», не хватало только солнечного луча из-под купола и белого платья в церковном хоре. Обедня тянется долго. Из церкви наружу выходит крестный ход. Его окружает пестрая толпа. Я вмешиваюсь в нее. Впереди толпы большая группа офицеров, частью уже мне знакомых. Несколько сестер милосердия в черных, развевающихся на ветру косынках. Хор поет. Проплывают елочки, воткнутые в сугробы, обледенелые колодцы.

Пехотные шеренги с винтовками, взятыми на караул.

Выходим на берег замерзшей реки, занесенной снегом, как ровное поле. Посередине реки так называемая Иордань — ледяной крест, возле него во льду прорубь, прорубленная тоже в виде креста. Вокруг елочки и хвойные гирлянды, огораживающие особое место для духовенства и начальства.

Пользуясь преимуществом вольноопределяющегося (представьте себе, таковое имеется!), я протискиваюсь в группу офицеров. Духовенство занимает свое место. Хор поет. Попахивает ладаном. Начинается водосвятие.

Впереди всех — начальник дивизии, полный, но с худым лицом, седовласый генерал. Рядом с ним адъютанты и несколько дам — вероятно, жена и родственницы, приехавшие на праздники, благо пока что стоим в резерве.

Откуда-то появляется Ваш отец, он держится несколько в стороне от своего пехотного начальства. Тут же чопор-

ные штабные офицеры из управления бригады с безукоризненными проборами зеркально набриолиненных волос (все, конечно, без шапок). Ваш отец в своей обычной будничной поддевке с большим карманом на груди, тоже, как и все, без шапки, и его небольшая круглая голова отливает серебром.

Меня теснят со всех сторон, и вскоре я оказываюсь почти рядом с ним. Еще раз меня поражает его удивительное фамильное сходство с Вами, Миньона, или, вернее, наоборот — Ваше сходство с ним. Сходство, о котором я, кажется, уже Вам писал. Я не могу определить, в чем заключается это сходство.

Форма головы, манера смотреть, блеск сиреневых глаз, небольшой рост... Кажется, мелочи, а все же... Хотя нет! Главное не это. Тут скорее внутреннее сходство. Я больше чем уверен, что по характеру Вы точная копия отца, конечно применительно к полу и возрасту. Недаром же Вы любимая его дочь. Почему-то это сходство мне очень нравится. Почему — бог весть. Ну, извините за это лирическое отступление»...

Здесь я остановился, задумался и усмехнулся. Однако же и хитрец был я в то время, когда еще звался просто Сашкой. Сашкой Пчелкиным. Мне трудно было на старости лет признать в нем молодого, даже юного себя!

Я теперь с трудом разбирал свой полудетский почерк с некоторыми заковыристо написанными буквами на сильно постаревшей почтовой бумаге того времени фаберовским карандашом номер два.

Я читал их в своем кабинете при электричестве, надев очки, но почему-то мне казалось, что я сижу в рублевом номере дореволюционной гостиницы с умывальным тазом и треснувшим кувшином на комоде, а на столе, покрытом изъеденной молью ковровой скатертью, горит стеариновая свеча, с трудом освещая пасмурные стены, оклеенные ветхими обоями со следами клопов, в то время как снаружи угадывается веселый солнечный день, шумная жизнь крымского города, сквер с клумбами невероятно красных канн, говорящих о том, что на дворе середина пламенного августа, и на железной спинке кровати висит кобура с тяжелым револьвером, из которого так естественно было бы

застрелиться, написав на обороте гостиничного счета несколько прощальных слов, освещенных сине-желтым пламенем свечи.

Не знаю, откуда пришла в мое воображение эта картина, не имеющая ничего общего с действительностью.

Может быть, это всего лишь овеществление вечной и безнадежной любви к Ганзе... Не знаю...

«Водосвятие кончается,— продолжаю я читать, с трудом разбирая свой почерк, стершиеся буквы,— священник плоско подает крест, и начальник дивизии первый целует его. За ним ко кресту подходит Ваш отец. Он проходит совсем близко, но меня не замечает, как я ни стараюсь попасться ему на глаза.

(Шучу, шучу!..)

Он подчеркнуто вежливо здоровается с дивизионными дамами и отходит в сторону.

Священник макает кропило в поданную ему серебряную чашу и наотмашь крестит водой толпу.

Ледяные капли падают мне на лицо и замерзают на бровях.

Потом военный парад. Под звуки духового оркестра идут солдаты четким строевым шагом мимо начальника дивизии. Сначала пехота, глухо гремя голенищами сапог. Потом артиллеристы нашей бригады: длинные шинели, малиновые револьверные шнуры. На фланге — Ваш отец. Вот его шагающая фигурка с шашкой наголо. Вот какое-то перестроение на ходу, и он уже шагает впереди строя. Строй, колеблясь, приближается к начальнику дивизии, принимающему парад. Равняется с ним. Ваш отец салютует ему шашкой и строевым шагом отходит и присоединяется к свите начальника дивизии.

— Здорово, артиллеристы!

— Здрав... жлай... ваш... дитство! — четко и молодо летит, подхваченное крещенским ветром.

Ноги деревенеют. Но вот парад кончен. Народ расходится. Впечатление от парада, как от кинематографической хроники «Патэжурнала». Все быстро, четко, точно, немножко торопливо.

Все время до самого выступления на передовые позиции я нахожусь при орудии. Учу уставы. Через несколько дней меня уже ставят на занятиях наводчиком. За два дня я сделал всего одну ошибку в установке угломера,

и то всего на одно деление. И все-таки получил от фельдфебеля довольно строгий выговор.

Ну что еще? Вы требуете, чтобы я не пропускал ни одного события, писал как можно подробнее. Слушаюсь и повинуюсь. Вот, например, могу описать так называемый инспекторский смотр, который производил Ваш папа. На сей раз меня впервые поставили в строй.

Оттепель, мокрый снег, лужи.

Батарея строится на площади возле церкви. Издали показывается фигурка Вашего отца. Ему навстречу с обнаженной шашкой строевым шагом идет наш батарейный командир, салютует, рапортует.

Обходя фронт, генерал очень внимательно, не торопясь, иногда останавливаясь, всматривается в лица солдат, задает вопросы, расспрашивает младших офицеров и взводных фейерверкеров.

Это единственный случай, когда солдаты имеют право на законном основании высказать жалобы и претензии непосредственно самому высшему начальнику, самому командиру бригады.

Чаще всего солдаты никаких жалоб и претензий не высказывают. Ну а вдруг выскажут? Тут уж фельдфебель чувствует себя на раскаленной сковородке.

Но все проходит сравнительно гладко.

По традиции вольноопределяющиеся ставятся на правом фланге. Стою на правом фланге. Проходя мимо меня, Ваш папа обращается к батарейному командиру:

— Однако я вижу, что вы нашего охотника Пчелкина уже поставили в строй. А он вам картины не подмочит?

— Никак нет, ваше превосходительство,— отвечая улыбкой на генеральскую улыбку, отвечает наш милый старичок батарейный, как принято его называть, вечный капитан, которому уже давно пора в отставку, да война помешала,— он у нас, ваше превосходительство, молодец!

Это я-то молодец? Как Вам понравится?..

Потом Ваш папа делает несколько выговоров, или, по солдатскому выражению, берет в расход подпоручика Лесли, которого наши батарейцы называют на свой лад — поручик Лесен, берет в расход также и моего взводного фейерверкера — красавца и милягу Чигинского... отдает несколько приказаний.

Ну и так далее.

На другой день мне делают в лопатку противотифозный и противохолерный уколы, от которых у меня поднимается температура, и я лежу в околотке.

Об этом медицинском учреждении могу сказать лишь то, что оно помещается в тесной халупе с нарами в два этажа, на которых вповалку лежат больные солдаты, занимающиеся главным образом тем, что водят по бревенчатым стенам зажженными спичками, таким простым способом уничтожая (пардон!) клопов, которых здесь больше чем достаточно. Я им дал живописное название «выжигатели клопов».

Оправившись, я возвращаюсь в батарею и принимаю присягу. Вместе со мной присягу принимают еще двое вольноопределяющихся и несколько молодых офицеров.

Присяга — важное событие. После присяги я уже делаюсь настоящим солдатом.

Очень солнечный морозный день. Под ногами хрустит и ломается звездами лед.

Церемония присяги происходит все на той же церковной площади перед выстроенной батареей. Я волнуюсь и не знаю, как быть и что делать. Всем распоряжается свояк Вашего папы полковник Ш. Он по обыкновению несколько суетливо двигается то туда, то сюда, ходит вперевалочку в своей шведской замшевой куртке.

Перед батареей поставлен вынесенный из церкви лиловый бархатный аналой. Священник в полном облачении держит в руке лист бумаги и по пунктам читает церковным голосом слова присяги, после чего мы подходим по очереди к аналою и целуем переплет Евангелия, пахнущий ладаном, а также холодный наперсный крест, протянутый к нашим губам.

Отходим в сторону, не знаем, что надо дальше делать. Полковник Ш. подходит к нам.

— Поздравляю вас, господа, с принятием присяги... Он замолкает, и кажется, что он еще будет говорить, но он внезапно отходит, а мы расходимся.

Конец.

Теперь я уже не свободный и независимый молодой человек — охотник-волонтер,— имеющий право в любой

момент уехать домой из действующей армии, а нижний чин, канонир, подчиненный суровой воинской дисциплине.

За церковной оградой растет береза с молочно-белой атласной корой. Воздушное кружево ветвей, сероватых от инея, замечательно красиво рисуется падающей сетью на чистом морозном небе...

...Выступление на позиции. Утро. Девять часов. Парк, где стоят орудия нашей батареи, похож на конскую ярмарку. Кубы прессованного сена. Лошади. Зарядные ящики. Орудия. Передки... Все это производит впечатление беспорядка, хотя полный порядок. Все делается строго по уставу.

Офицеры с молодыми, утренними лицами. Пожилой командир батареи в серой бекеше выезжает вперед на своей смирной лошадке.

— Шапки долой! — кричит он добрым слабым голосом.— Ну, ребята, перекрестимся на дорогу!

Серьезный морозный ветерок пробегает по обнаженным коротко остриженным солдатским головам и по проборам офицеров.

Командир батареи размашисто осеняет себя крестным знамением, в котором мне чудится что-то кутузовское.

Мелькают руки, шапки. Все крестятся, и вместе со всеми я тоже.

— Накройсь! Шагом марш!

Колеса скрипят по сырому снегу. Звенит упряжь. Я иду рядом со своим орудием номер четыре. Несмотря на январь, слегка подтаивает. Под ногами мокровато. Похоже на раннюю весну. В сердце грусть и одиночество.

Делаем переход в двадцать пять верст с двумя пятиминутными и одной получасовой остановками. Дорога в еловом лесу. Среди свежей по-зимнему, густой хвои, в чаще которой всегда легкий синеватый туман, белеют по-девичьи стройные стволы нестеровских берез. Опять сильно подморозило. Во время получасовой остановки на льду замерзшей речки бегу отогреваться в первую попавшуюся халупу, уже битком набитую нашими батарейцами. Пылает огонь в печурке. Пахнет ельником. Откуда-то взялся большой медный луженый чайник, и в нем уже бушует кипяток. Обжигаясь, пьем чай из самодельных кружек, бывших некогда консервными банками. Кусаем сахар. Мои замерзшие сапоги оттаивают. По всему телу разли-

вается приятная теплота. Хорошо бы завалиться на душистые еловые ветки, устилающие пол, и всхрапнуть как следует.

Но, увы, полчаса истекли.

Надо торопиться попасть засветло на позицию, откуда все громче и громче слышатся редкие орудийные выстрелы.

Но вот мы уже на месте. Стемнело. Вокруг ничего не видно, кроме деревьев. Ночь. Электрические фонарики орудийных фейерверкеров бегло освещают землянки и орудийные ровики, где совсем недавно стояли трехдюймовки батареи, которую мы сменяем.

Вот тут-то поскорее бы установить наши орудия и залечь спать в обжитой и хорошо натопленной землянке.

Ан нет!

Оказывается, мой второй взвод назначен на самую что ни на есть передовую секретную позицию в двух шагах позади пехотных окопов.

Отрываемся от своей батареи и, соблюдая всяческую осторожность, под покровом ночной темноты выезжаем вперед еще версты на три, то есть совсем под носом у немцев, где для нас уже заранее приготовлена саперами и надежно замаскирована удобная позиция: места для орудий, землянки для прислуги и телефонистов.

В темном звездном небе с трех сторон то тут, то там взлетают немецкие осветительные ракеты, и тогда бескрайние снега вокруг нас, хвойные рощи, сугробы снега волшебно, но в то же время как-то очень зловеще озаряются голубоватым бенгальским огнем, плывущим по окрестностям и как бы заливающим вместе с собою всю панораму зимней ночи.

Сюда уже залетают шальные пули немецких часовых. Иногда эти пули проносятся небольшой стайкой, как птички, с противным щебетаньем и посвистыванием. Это значит, что дают залп немецкие сторожевые охранения.

Пока — все.

Завтра или послезавтра, если бог даст, напишу продолжение. Вы не находите, что у нас с Вами происходит нечто вроде романа в письмах, причем главным образом пишу я, а Вы отмалчиваетесь? Не сердитесь! Роман!.. Дождешься от Вас романа! За редкие письма Ваши большое спасибо. Они такие теплые. Мне очень приятно, что мои излишне подробные и длинные писания доставляют

Вам удовольствие. Буду писать еженедельно. Если можете — отвечайте. Это будет мне тоже очень приятно.

Кроме знакомых, как Вы пишете, «девочек», которых у меня не так уж и много, я получаю письма и от «мальчиков». Девочки пишут сентиментальные письма, а мальчики — мои товарищи — пишут письма умные, содержательные. Все же мое одиночество остается незаполненным.

Пишите, дорогая Миньона! Ужасно медленно идут письма. Ваше письмо от 14 января получил только вчера. Уже поздно. Пишу в землянке, глубоко под землей, при невозможных условиях. Привет Вашей маме, сестрам — родным и двоюродным. Шлю Вам свой братский привет и вместе с ним немножко вьюги, хвойных лесов, звездных ночей и любви. Вспоминаете ли Вы дачу Вальтуха? А. П.».

Следующее письмо на довольно больших листах папиросной бумаги, мелким почерком, выцветшими чернилами. Откуда эта бумага? Что за чернила? Где писано? Этого я уже совершенно не помнил. Руку свою разбирал с трудом, как чужую. Малоинтересный манускрипт прошлых веков! Но все-таки в этих строчках была какая-то часть меня, полустертый остаток моей прошлой жизни.

«Действующая армия. 8-II-16 г. Милая Миньона! Как это ни странно,— не без труда разбирал я выцветшие слова,— но после Вашего письма у меня появилась непреодолимая потребность делиться с Вами всеми мелочами моего военного быта. Вы одна из всех тех, кто мне пишет, правильно поняли, что главное — это мелочи. Именно мелочи. Из них складывается жизнь, хотя бы даже и на передовой линии с ежеминутной возможностью смерти. Мелочи главнее самого главного, потому что главное состоит именно из них, из этих как бы незначительных мелочей.

Некоторые пишут мне, чтобы я сообщал о сильных переживаниях, о боевых эпизодах, о подвигах, о ранениях и т. д. Один мой товарищ дословно пишет: «Правда ли «там» — хорошо? Сильно? И хорошо именно оттого, что сильно?» А одна, как Вы выражаетесь, «девочка» молится за меня, пишет: «Да хранит Вас бог! Я молюсь за Вас и буду молиться». Это, конечно, трогательно. Но когда я получаю подобные письма, мне становится как-то очень неловко, как будто бы я обманываю чьи-то ожидания, и я не знаю, что отвечать.

Моя жизнь сейчас наполнена бытовыми мелочами, ко-

торые подавляют все остальные, так называемые героические чувства. Например, во время артиллерийской дуэли: мысли о том, что каждую секунду могут ранить или убить, то есть уничтожить. Поймите: у-нич-то-жить. Совсем, навсегда, неотвратимо. Это уже не просто страх, а ужас! Чувствуешь все это, а в то же время, как это ни странно, какой-то внутренний мальчишеский голос кричит во мне: «А ну-ка еще! Еще! Жарь! Не боюсь!» А на самом деле не просто боюсь, а теряю сознание от ужаса перед тем, что может сию минуту произойти. И в то же самое время соображение, что если убьют, то смерть почетная, хорошая, большая. Но это редко и то проблесками.

А жизнь, ее обстоятельства наполняют мозг соображениями о том, что до конца месяца не хватит сахару, что нужно стирать белье, что долго из дому нет посылки, что письма запаздывают и т. п.

На днях я по неведению не стал во фронт командиру дивизиона Шереметьеву, которого не знал в лицо. Он сделал мне замечание и сказал:

— Доложите своему батарейному командиру, что вы не изволили стать во фронт командиру дивизиона.

Я доложил и потом целую неделю ждал с волнением, что меня поставят под ранец с полной выкладкой. И это волнение, ей-богу, было сильнее того волнения, которое я испытал, когда увидел, что на том самом месте, где десять минут назад я брал из приехавшей походной кухни борщ и кашу для своего орудия, разорвалась немецкая граната и осколками убило лошадь».

На этом месте я перестаю читать письмо. Устали глаза. Я задумываюсь. Что-то в этом моем письме мне теперь не нравится. Память, обогащенная прожитой жизнью, подсказывает мне, что тогда — в те легендарно далекие годы — все, что я с таким старанием описывал, на самом деле было не совсем так. Или, вернее, так, да не так. Память как бы сдувает туманную оболочку с событий и обнаруживает некоторую их искусственность, некоторые пустоты, которые вдруг заполняются тем, что́ я тогда вольно или невольно скрыл, несмотря на явное, настойчивое желание быть до конца правдивым.

Например, случай с дивизионным полковником Шереметьевым: во время затишья я слонялся по местности недалеко от батареи и столкнулся с полковником Шереметьевым, еще не зная его в лицо. По снежной тропинке шел красивый полковник в шинели, отлично скроенной и

сшитой из лучшего солдатского сукна, так называемого гвардейского, без пуговиц, а на крючках, туго подпоясанный широким офицерским ремнем. Из специально прорезанного кармана шинели торчал золотой эфес почетной шашки — золотого ружия — с георгиевской лентой темляка и крошечным белым эмалевым Георгиевским крестиком на нижней части эфеса, а вся шашка скрывалась под шинелью — особый чисто фронтовой шик, дававший понять всякому, что полковник не какой-нибудь штабной тыловик, а настоящий боевой офицер, «слуга царю, отец солдатам».

Проходя мимо, я залюбовался красивым лицом полковника с мужественно постриженными усами и черным бархатным околышем парадной артиллерийской фуражки, говорящей о том, что полковник не прячется от неприятельских наблюдателей, прикрывшись фуражкой защитного цвета или же серой смушковой папахой, а презирает опасность и вообще привык не обращать внимания на свист пуль и осколки бризантных снарядов.

Я почувствовал патриотический восторг и, вытянувшись изо всех сил, прошел мимо полковника строевым шагом, напряженно приложив руку в меховой перчатке к своей не по уставу белой папахе. Полковник мгновенно заметил и эту мою глупую папаху, и не по уставу кожаную куртку, и всю щуплую, глубоко штатскую фигуру, шагающую в юфтевых сапогах с ремешками по скрипучему снегу, и погоны с накладными пушечками. Он, конечно, тут же понял, что это новый вольноопределяющийся, протеже командира бригады, с которым был в контрах.

— Вольноопределяющийся! — окликнул он меня негромко.— Подойдите! Вы что же это? Не знаете устава? Вы обязаны знать в лицо своего дивизионного командира и становиться ему при встрече во фронт. И что это у вас за разболтанный вид и почему вы обмундированы не по форме? Извольте доложить об этом своему батарейному командиру и кр-ру-гом ар-рш! Ступайте.

Я почувствовал холод в желудке, расслабление кишечника, чуть было, как говорят солдаты, не наложил в шаровары и даже немного помочился.

Возвратившись к себе во взвод, я не знал, что предпринять. Старик батарейный командир болел и совсем не показывался, даже, кажется, его уже отправили на тыловую службу. Нового командира батареи еще не было. Его должность исполнял полубатарейный поручик Тесленко,

но он тоже у нас во втором взводе, стоявшем отдельно, бывал редко.

Кому же докладывать?

Фельдфебеля я боялся как огня.

Я залез в свою тесную орудийную землянку и посоветовался с бомбардиром-наводчиком Ваней Ковалевым, тем самым нежным красавцем с карими девичьими глазами и черными усиками. Ковалев посоветовал мне вовсе никому не докладывать — «бо, ей-богу же, той полковник Шереметьевский уже забыл это дело, так что лучше всего вы сидите тихо и не рыпайтесь».

Я внял мудрому совету и не рыпался, но все время испытывал страх, что мое преступление всплывет наружу, отягощенное тем, что я не исполнил приказа дивизионного командира, и тогда мне не миновать ранца с полной выкладкой.

Я уже однажды видел, как провинившийся батареец стоял под ранцем, то есть в полной пехотной выкладке, с обнаженным бебутом у плеча, с ранцем на спине, в который было наложено фунтов десять груза. Он стоял по стойке «смирно», не шевелясь, на морозе, с красным лицом, как истукан. Это был канонир из какой-то соседней батареи, мимо которого я проходил по тропинке в канцелярию за письмами.

Страх мучил меня днем и ночью до тех пор, пока солдатский телеграф не сообщил, что полковник Шереметьев уехал в отпуск. Только тогда я успокоился.

...Что касается упоминания дачи Вальтуха, то здесь заключается тончайший намек. На первую встречу с Миньоной, на наш якобы роман, которого, впрочем, совсем не было, а он только еще смутно намечался и то не с ее, а с моей стороны, а с ее стороны — неизвестно.

Но она была любимой дочкой генерала, а тогда, перед войной, еще полковника, приехавшего со всей семьей из Тирасполя, где была расположена его артиллерийская часть.

Их квартира выходила окнами и балконом на старый, запущенный, так называемый Ботанический сад, или попросту Ботаника, с дубовой рощей. Этот балкон, куда однажды мы с Миньоной вышли вечером и стояли, облокотившись на железные перила, как бы висел в воздухе

посреди этой черной дубовой рощи с умирающими листьями, запахом которых мы дышали.

Только что взошедшая из-за дачи Вальтуха большая осенняя луна как бы висела на дубовом сучке и уже напустила на нас ночной холод. Я осторожно подвинул к ее локтю свою руку, а она сделала вид, что совсем этого не заметила и что все это с моей стороны напрасные поползновения и так далее. Я делал вид, что влюблен в Миньону. А на самом деле в это время не переставал безнадежно и горько любить совсем другую...

«Наш взвод, то есть два орудия — третье и четвертое,— как я уже, кажется, Вам писал, стоит в одной версте от немцев. Я нахожусь в числе прислуги при четвертом орудии. Живем мы в двух землянках, глубоких, как погреб, куда надо опускаться по земляным ступенькам, обшитым тесом. Окон нет, и слабый свет проникает через небольшое стекло, вделанное сверху в дощатую дверь.

Словом, вечная подземная поэма, запах сырости и сосновых бревен, положенных в три наката вместо потолка.

Спим мы на земляных нарах, покрытых еловыми ветками и соломой. Свечей не выдают, и мы жжем керосин в жестяной лампочке без стекла. Лампочка — коптилка! Лица наши постоянно в саже, и болят глаза.

Теснота ужасная!

Кусают блохи. Иногда я сам себе кажусь кротом, зимующим в маленькой своей норе глубоко под землей.

Солдаты-батарейцы, с которыми я живу,— в большинстве своем хорошие товарищи, положительные семейные люди, преимущественно крестьяне, попавшие на войну прямо с действительной службы призыва 1913 года, то есть двадцатипятилетние. Они люди умные, хотя некоторые и малограмотны. Но...

Поймите, мне трудно найти с ними общий язык, ни одной общей точки. У нас совершенно разные понятия обо всем. Разные привычки.

От этого, конечно, ничего худого не происходит, живем мы дружно, но тем не менее мы чужие друг другу. Я чуть не написал: их много, а я один. Но вовремя спохватился: понял, что это было бы слишком хвастливо и неуместно. Ведь они — подавляющее большинство русского народа, к которому принадлежу и я.

Я среди них, как говорится, белая ворона, вернее, какой-то незваный гость, который, как известно, хуже

татарина. Словом, я сел не в свой вагон, однако что сделано, то сделано. Ничего не попишешь. Грустно! Но, главное, одиноко.

Называют меня, мальчишку, эти семейные взрослые люди уважительно Александром Сергеевичем, или господином вольноопределяющимся, или, бывает, совсем по-семейному — Саша, а то еще теплее, не без покровительственного юморка: «наш Пчелкин» или даже «наш Александр».

Так что я теперь с полным правом могу подписывать свои письма «Ваш Саша» — если я действительно Ваш? Шучу? Шучу! Не придавайте значения: это для красного словца.

Я называю солдат, своих товарищей, по фамилии: Ковалев, Колыхаев, Попленко, Улиер, Чиригин, Веркварт, Горбунов — видите, какая пестрая компания!

И все же я не жалею, что уехал. Не жалею ни капли.

Едим мы два раза в день: днем и вечером. В двенадцать обед — борщ, каша и около полфунта мяса — чрезвычайно твердого. Борщ до того наперчен, что есть его я не могу. Каша на постном масле или с салом, накрошенным кусочками.

Зато природа!

Прогулки по селу, разбитому снарядами. Река, замерзшая среди соснового бора. Снега, снега, снега. Особый аромат походной жизни. По ночам свист шальных пуль. Лужи в крови. При каждой оттепели выступает кровь прошлогодних боев.

Кроме того, ведь я все-таки усердно потею над уставами, вожусь возле пушки, учусь быть наводчиком — и довольно успешно. Возможно, что скоро получу нашивку бомбардира...»

Однако хотя я, в то время молодой вольноопределяющийся, и обязался писать главным образом о мелочах солдатской жизни, а не о боевых подвигах и сильных впечатлениях, все же не удержался от описания кровавых луж, свиста пуль и убитой снарядом лошади.

Что же касается переперченного борща и трудности совместной жизни с простыми, малограмотными солдатами (а я ощущал, что мы, несмотря на окопную дружбу,

все-таки чужие друг другу), то эти жалобы звучали довольно глупо в письме исключенного гимназиста.

Впрочем, это скоро у меня прошло. Ведь я и месяца еще не прослужил на позициях. Надо же было мне свалить на кого-то свою неприспособленность к новым условиям жизни и вечное ощущение беспричинной грусти, тем более что грусть моя была совсем не беспричинна.

Я попал в ложное положение. Как вольноопределяющийся первого разряда я имел право помещаться и столоваться вместе с офицерами, что мне сразу и было предложено. Однако я отказался, сказав старичку батарейному, что хочу разделить с простым народом все тяготы войны и остаться в батарее на солдатском довольствии, а также помещаться вместе со всеми номерами нашего орудия.

— Хвалю! — сказал старичок батарейный и потрепал меня по плечу.— Вы настоящий сын родины!

Вскоре батарейный уехал по болезни в тыл лечиться, а на его место был назначен боевой офицер поручик Тесленко, как тогда принято было говорить — из простых, маленький, с мягким непородистым лицом, кумир солдат, о котором даже сложили песню на мотив «Шумел, горел пожар московский, дым расстилался по земле» и т. д. Слова были такие: «Шумел, горел лес августовский, то было дело в ноябре. Мы шли из Пруссии Восточной, за нами герман по пятам»; и потом через несколько строк: «Поручик храбрый наш Тесленко сказал «не сдамся никогда»... и так далее.

...создалась легенда, что я, вольноопределяющийся Пчелкин, по доброй воле отказался от привилегий жить и питаться вместе с офицерами, предпочитая все тяготы войны переносить вместе с солдатами. Эта легенда укрепилась, и самое удивительное, что я сам поверил в эту сказку. А на самом деле, для того чтобы воспользоваться своим правом жить и питаться вместе с офицерами, надо было ежемесячно платить за офицерское питание, хотя и совсем немного, рублей может быть, пятнадцать в месяц, да беда в том, что денег у меня совсем ничего не осталось, а просить у отца не позволяла совесть. Отец и так еле сводил концы с концами. Те же небольшие деньги, которые отец мне дал на дорогу, как известно, были безвозвратно утрачены мною еще до Минска. Оставалось одно: заявить о своем желании жить вместе с солдатами, питаться из батарейного котла и получать солдатское содержание.

Солдатский телеграф сразу же известил, что «наш Саша Пчелкин», то есть я, происходит из небогатой семьи учителя, что по дороге на позиции он проигрался, что из гимназии его исключили и теперь у него один выход: служить в батарее вольноопределяющимся, дослужиться до прапорщика, надеть золотые погоны, получить офицерское жалованье и, если даст бог, жениться на генеральской дочке Миньоне, с которой он крутит любовь, но это еще бабушка надвое сказала.

Батарейцы считали это совершенно разумным, так что я ничего не потерял в их глазах, а даже выиграл. Они смотрели на вещи трезво. Всякая романтика была чужда им.

Особенно им нравилось, что я из небогатой и недворянской семьи.

Они относились ко всем богатым с подозрением и даже откуда-то очень хорошо знали материальное положение каждого своего офицера, с особенным неодобрением относились к офицерам-помещикам, владевшим землей. Они совершенно точно знали, где у кого имение и сколько у кого десятин земли. Владение большим количеством земли они считали несправедливостью, хотя об этом помалкивали и втайне надеялись, что когда-нибудь, и, может быть, даже очень скоро, эта несправедливость кончится и всю помещичью землю крестьяне поделят между собой. Об этом говорилось редко, больше намеками, почему-то рассчитывая на близкий конец войны, что не мешало им честно служить и сражаться с внешним врагом, как предписывали им святая присяга и солдатская памятка.

«Оказалось, что войну до сих пор я воображал довольно правильно. Помните, милая Миньона, как Вы подняли меня на смех за то, что я представлял себе батарею как шесть пушек, поставленных в ряд. Оказалось, что это совершенно так и есть. Потом Вы смеялись, когда я мечтал побежать с батареи смотреть пехотную атаку. В действительности у нас это тоже вполне возможно. Например, когда в пехотной цепи, до которой от нас всего одна верста, случается что-нибудь «интересное», вроде атаки или разведки боем, то батарейцы бегут на открытое возвышенное место, ложатся и смотрят.

Наши два орудия спрятаны в обратном склоне бугра. Впереди, позади, сбоку — со всех сторон резервные окопы, приготовленные для пехоты на случай отступления, про-

волочные заграждения, волчьи ямы, запасные землянки в три-четыре наката.

Снег на солнце блестит, как алюминий. Я выбираюсь из землянки. После подземной тьмы солнце ослепляет. Минуты две не могу привыкнуть к яркому свету. Жмурюсь. Иду по истоптанному снегу среди маленьких кустов можжевельника с мутно-синими ягодками вверх по склону бугра.

Отсюда отлично видны простым глазом наши и немецкие окопы. Любуюсь видом. И вдруг с десяток немецких ружейных пуль проносится над головой. Вероятно, мою фигурку на гребне бугра заметили немецкие наблюдатели и дали залп. Сначала я окаменел от неожиданности, а потом кубарем скатился вниз и попал в объятия своего взводного, который, не стесняясь в выражениях, изругал меня за неосторожность.

Могли ранить. Или даже... Но не будем об этом думать. Вот мое первое боевое крещение...

Ясный день. Чуть тает. С блиндажей каплет. Далеко на западном горизонте в ясном небе над разбитым снарядами костелом виднеется немецкий привозной аэростат с наблюдателем в корзине, так называемая колбаса.

Слышен стрекочущий треск мотора — где-то летает аэроплан,— и слышны разрывы шрапнели: стреляют по аэроплану.

На наблюдательном пункте, где-то вне поля нашего зрения, находится новый командир батареи поручик Тесленко. Он готовится начать стрельбу. Он передает свои команды по телефону, а наш телефонист, высовываясь по пояс из своего окопчика, кричит:

— Второй взвод, готовься к стрельбе! Третье и четвертое орудия — к бою!

Четвертое орудие — мое орудие. И, естественно, я волнуюсь. Затыкаю уши ватой, хотя имеются специальные на этот счет наушники, которыми, кстати сказать, никто не пользуется. Привыкли к орудийным выстрелам. А мне советуют на первых порах затыкать уши ватой, чтобы не лопнула барабанная перепонка.

Заткнув уши ватой, вылезаю вместе с другими номерами из подземной норы на свет божий.

Прапорщик Красносельский — изящный мальчик с петербургским лоском, в замшевых перчатках — уже тут

на линейке. Очень может быть, это тоже его первая боевая стрельба и он волнуется не менее меня.

Мне страшно, что немецкий наблюдатель может обнаружить наш взвод со своей колбасы и немецкая тяжелая артиллерия сметет нас с лица земли своими «чемоданами».

Обязанностей никаких при орудии я не несу, так как свободно управляются четыре номера из восьми, положенных по уставу.

— Четвертое, огонь!

Это первый орудийный выстрел, который я слышу вблизи. Он со страшной силой ударяет по нервам, как бы врывается в мой предусмотрительно разинутый рот и оставляет в нем какой-то железный вкус и запах пороха. Кружится голова.

Следующие выстрелы уже не производят впечатления. Я даже рта не раскрываю.

Отстрелявшись, мы замолкаем. Потом начинает отвечать немец. Это уже хуже. Сначала настороженное ухо улавливает звук далекого, очень далекого артиллерийского залпа, как бы еще не имеющего к нам никакого отношения. Но звук этот, оказывается, имеет продолжение: легкий шумок, который постепенно усиливается, становится плотным, сбитым, компактным, вырастает, приближается, переходит в зловещий свист, нависающий откуда-то сверху, с неба, фатальный, необратимый, безжалостный, от которого некуда деться.

Орудийная прислуга, толкая друг друга, кидается к блиндажу... Секунда... Прапорщик Красносельский стоит на открытом месте, мнет руку в замшевых перчатках, и я вижу его сверхъестественно спокойное, но мраморно-белое лицо с кружочками выступившего румянца.

Шум полета неприятельского снаряда, дойдя до своей высшей, невыносимой точки, вдруг на миг смолкает и сейчас же после этой ужасающей, мертвой паузы: б-б-бах!

Четыре разрыва. Четыре фонтана снега, огня, дыма, земли вздымаются на гребне нашего холма.

Недолет!

В ответ мы делаем несколько выстрелов. И наши снаряды невидимкой, но с убывающим шумом и посвистом улетают куда-то за горизонт. Через короткий промежуток

времени поручик Тесленко передает с наблюдательного пункта новые прицельные установки. Орудийные фейерверкеры бегают с записными книжками между окопом телефониста и орудиями, наскоро записывая новые данные и выкрикивая цифры, понятные только наводчикам.

Пауза... И опять — немцы: далекий, еле слышный орудийный залп, переходящий в нарастающий шум, потом свист, непреложный, как геометрическая дуга, или, вернее, траектория полета, плавно поднимающаяся вверх и потом круто, почти вертикально падающая на землю. Снова мы, спотыкаясь, бежим к спасительному блиндажу.

Ух!.. Пронесло! Перелет. Разрывы снарядов где-то за нами. У Красносельского опять появляются румяные пятнышки на окаменевшем мраморном лице. Он подчеркнуто спокоен и, немного наигранно улыбаясь, цедит сквозь зубы:

— Недолет. Перелет. А теперь, братцы, держись! Попадание.

Томительные минуты. Где-то бухают наши первая, вторая и третья батареи. (Наш взвод стоит, как я уже Вам докладывал, отдельно, впереди.) Немец бьет по первой, второй и третьей батареям, то есть по всему первому дивизиону бригады тяжелыми снарядами, которые, пролетая высоко над нами, производят звук, похожий на визжание заржавленного флюгера под ровным ветром. Мы все механически поворачиваем головы, как бы следя за этим мерзким звуком, как бы провожая глазами невидимый снаряд и даже представляя себе, как за ним с журчанием течет рассеченный воздух.

Но по нас немец уже почему-то не бьет. Молчит. Видно, и недолет и перелет были случайны: шальные снаряды. А наши батарейцы при звуке их полета произносили хором как заклинание:

— Несет! Несет! Несет!

Стало быть, немецкие наблюдатели нас не обнаружили. Если бы они знали, что их залпы взяли нас в вилку, то третьим залпом они б нас стерли с лица земли и Вы не получили бы этого письма.

Через некоторое томительно долгое время из телефонного окопчика слышится голос:

— Отбой!

Какое прекрасное слово! От сердца отлегло. Все-таки я

впервые испытал чувство настоящей, смертельной опасности, как говорится, понюхал пороху, хотя лишь слегка. Но я горд и чувствую себя настоящим обстрелянным солдатом.

По-моему, ошибка всех наших современных журнальных беллетристов, пишущих про войну (а про войну пишет всякий, кому не лень), это то, что они впадают в крайности. Одни злоупотребляют изображением героических подвигов, кровавых эпизодов, обыкновенно очень приблизительным и слащавым. Другие берут только военный быт, чаще всего воспроизведенный и понятый неверно. А я Вам скажу, война — это пропорция: шесть частей боевых эпизодов, четыре части фронтового быта, что ли. Во всяком случае, быт играет роль непременного и совершенно необходимого фона для боевого эпизода.

...передки наших трехдюймовок стоят позади, верстах в трех, за лесом. Иду. Выхожу на большую дорогу. Шарабан. Из-за плеча кучера-солдата видна приплюснутая генеральская фуражка. Узнаю Вашего папу. Он ведь тоже отчасти «миньон» (простите за вольность!). Щелкая сапогами, я вытягиваюсь во фронт. Но шарабан с Вашим папой проезжает мимо. Я не замечен, увы. Вероятно, генерал едет вместе с адъютантом осматривать позиции...

...Просыпаюсь ночью в землянке. Холодно. Душно. Темно. Грустно. Одеваюсь, то есть натягиваю шаровары, гимнастерку, сапоги, куртку. Выбираюсь наверх из землянки. Лунная ночь, очаровательная, глубокая, безмолвная. Трескучий мороз. Градусов двадцать. Волшебное царство необъятных русских снегов. Стою очарованный сказочным освещением и тишиной, но вдруг...

...но вдруг... что такое? Возле орудия дневальный в постовом тулупе и валенках, а рядом с ним два офицера, видимо штабные, и между ними женщина в белом дубленом полушубочке и папахе, лихо надетой набекрень. Дневальный что-то почтительно объясняет про нашу трехдюймовку: как наводится, как поворачивается, как заряжается.

Женщина с подкрашенными бровями и ресницами на голубом от лунного света лице манерно кокетничает:

— Ах, только ради бога, при мне не стреляйте!

Офицеры галантно с двух сторон подхватывают краса-

вицу под локти. Она серебристо смеется. Слышен изысканный штабной баритон:

— А вот тут мои люди роют резервные окопы...

Шаги скрипят и стихают. Силуэты троих меркнут, как бы поглощенные светом очень маленькой и очень яркой январской луны, стоящей над головой в самом зените, в соседстве с несколькими наиболее крупными звездами и полярными льдинами полночных облаков.

...и снова неподвижная фигура дневального в громадном постовом тулупе...

Мертвая тишина. Безлюдье. Одиночество.

Откуда явилось это милое видение в белом тулупчике? Я думаю, что это какая-нибудь шальная девица, приехавшая на несколько дней к кому-нибудь из штабных или саперных офицеров, для того чтобы «испытать сильные ощущения». А может быть, сестра милосердия из корпусного госпиталя, отчаянная голова. Тип весьма банальный.

...но молодая женщина лунной ночью, среди мерцающих голубых снегов, ее серебристый смех...

Как чудно и как странно!..

Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине...

Следующий день отвратителен.

Привет Вашей милой маме, всем сестрам, как родным, так и двоюродным. Пишите. Обрадуете. *А. П.*».

Итак: «Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине».

Вероятно, так оно и было на самом деле. Первый раз в жизни я потянулся к женщине. Не к девушке, не к подростку, не к девочке-сверстнице, а именно — к женщине.

Вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен. Вечная влюбленность составляла сущность моего бытия — его счастье и его горе. Я слишком самозабвенно отдавался любовным мечтам, что, может быть, в конечном счете и явилось причиной моего исключения из гимназии с ат-

тестатом за шесть классов, вследствие чего я и оказался в действующей армии вольноопределяющимся первого разряда.

Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла.

...Их было много, их избыток, их больше, чем душевных сил, прелестных и полузабытых, кого я думал, что любил...

Моя влюбленность обыкновенно проходила бурно, как инфекционное заболевание: по ночам жар и многократное переворачиванье нагретой подушки на прохладную сторону, которая скоро опять нагревалась под моей воспаленной щекой, так что ее опять надо было перёворачивать. Это все были как бы абстрактные, литературные романчики с лунными черноморскими ночами или танцами на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.

Романчики проходили чрезвычайно быстро, не оставляя в душе никаких следов. Словно бы их вовсе не было. На смену минувшей влюбленности незамедлительно приходила другая, новая, и так далее.

Справедливость требует сказать, что с одной барышней я все-таки, незадолго до войны, целовался — впервые в жизни. Однако это не была влюбленность, а скорее нечто вроде спорта.

Среди барышень нашего дома имелась одна очень хорошенькая блондиночка с нежным польским лицом, всегда носившая розовое платье. Розовое ей шло. Она была дочкой архитектора, построившего дома общества квартировладельцев в несколько декадентском стиле украинского модерна с высокими западноевропейскими черепичными крышами, салатно-зелеными рамами окон со скошенными верхними углами и коваными решетчатыми воротами, украшенными большими железными подсолнечниками.

Звали ее Зоей, и она была большая любительница целоваться с мальчиками, о чем знали все окрестные гимназисты, реалисты и кадеты. Когда кому-нибудь из них приходила охота целоваться, они свистом вызывали с третьего этажа Зойку, и они бежали к морю, залезали на

прибрежную скалу, быть может помнившую еще Пушкина, и там целовались.

Она действительно очень хорошо целовалась, но без всякого любовного чувства, скорее с чувством юмора.

Я тоже не захотел отстать от товарищей и, замирая от страха, так как еще никогда в жизни не целовался, посвистел Зойке. Она проворно сбежала по лестнице со своего третьего этажа в развевающемся розовом платье и, не выразив никакого удивления, что свистел я, мало знакомый ей мальчик, взяла меня за руку, и мы через узорчатые чугунные ворота, сохранившиеся еще с пушкинских времен на Французском бульваре, побежали к морю, вскарабкались на скользкую скалу, поросшую снизу водорослями и мхом, и, не теряя времени, начали целоваться, причем я был страшно смущен своим неумением целоваться, даже покраснел от стыда, но она не обратила на это внимания, и затем, не сказавши друг другу ни слова, мы скоро возвратились домой, а по дороге встретили толстого гимназиста Колю Банова, бровастого болгарина, который подмигнул мне и деловито спросил:

— Целовались?

Но Зою никак нельзя было включить в мой донжуанский список. Она была вне программы.

Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности. Но, в общем, это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: «Бом-бом-бом, пишут тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи» — или во время игры во флирт цветов застенчиво переданная карточка с надписью «фиалка», что значило «я вас люблю».

«Действ. арм. 20-II-16 г. Дорогая Миньона!..»

Впервые я рискнул назвать ее не милой, что, в сущности, ничего не объяснило, а дорогой. Это уже был с моей стороны рискованный шаг вперед. Вопрос: поймет ли она его намек? ответит ли она на него тоже «дорогой»?

«Сейчас я весь под впечатлением небольшого передвижения, в котором принимала участие наша батарея и особенно наш отдельно стоящий второй взвод.

В десять часов вечера по телефону из штаба бригады

передали приказание: «Передки на батарею». Сейчас же началась суета. Наскоро кончаем ужинать, выпиваем кипяток из чайника, так аппетитно пускавший пар, греясь на печке. Собираем вещи в мешки. Я накануне постирал свое белье, и теперь оно как раз готово, то есть совершенно высохло, развешанное на сухом морозном ветру, и стало твердым, лубяным. Вися на веревке возле входа в землянку, оно даже издавало барабанные звуки.

У орудия — прислуга, одетая по-походному. Во мраке светятся электрические фонарики орудийных фейерверкеров. Вьюжит. В лицо бьет пурга. В чернильно-туманной дали время от времени взлетают зелеными звездочками немецкие осветительные ракеты. Выкатываем орудия. Меня награждают чайником и какой-то жестянкой, связанными вместе. В свободной руке узелок с артельным чаем. Одним словом, я напоминаю не то посудный, не то скобяной, не то чайный магазин.

Слышится грохот подъезжающих передков, конское ржанье. Из тьмы выступают тяжелые силуэты парных упряжек, фигуры ездовых в тулупах.

Легкая неразбериха.

Наконец орудийные лафеты надеты на передки. Двигаемся. Ветер бьет в лицо. Ноги вязнут в сугробах. Грудь покрывается слоем липкого снега.

Наша колонна движется по знакомым местам: узнаю, вернее, угадываю в снежной темноте сожженное и разбитое снарядами село, голые печные трубы, березы с ветвями, обитыми осколками снарядов. Бугор, у подножия которого землянка штаба первого дивизиона. У дороги распятие, проходя мимо которого я снимал папаху и крестился, по-детски свято веруя в бога, в его святую волю...

Подъемы. Спуски. Мелколесье. Елочки. Сосны. Иногда под ногами скользкий лед. Шагаю возле зарядного ящика номер четыре. Мне трудно идти. Я устал. Кажется, что иду уже по снегу не час, не два, а десять лет. Медный орудийный чайник комично бренчит болтающейся на веревочке крышкой. Или, кажется, наоборот: крышка на веревочке бренчит о чайник. По этому поводу кто-то из солдат на мой счет острит, кто-то смеется.

Ветер. Вьюга. Усталость. Все батарейцы устали не меньше меня. Некоторые остаются. А я из всех сил держусь. Не отстаю.

После двухчасового безостановочного движения изможенные, переходя с проселка на проселок, громыхая по железнодорожным переездам, добираемся наконец до новой позиции.

Новая позиция очень близко от немцев, не больше чем за три четверти версты. Никогда не предполагал, что артиллерию так близко выдвигают вперед!

Вокруг березовый лес.

Нет, Вы только подумайте, Миньона, настоящий не нарисованный Левитаном русский березовый лес, которого мы, новороссийские степняки, никогда и в глаза не видели.

Но какая красота! Заплакать можно!

Спим, как убитые наповал. Утро. Глушь. Снег. Березы. Какие-то голые кораллово-красные кусты, торчащие из сугробов (краснотал, что ли?), и можжевельник совсем как в стихах:

«И ягоды туманно-сини на можжевельнике сухом».

Какая вокруг хмурая красота!

Иду с ведром в руке по воду к колодцу, сруб которого стоит на открытом месте. Нет ничего опаснее на фронте, чем открытое место. Немцы заметили и пустили пять-шесть снарядов. Само собой промах, потому что в противном случае, Вы сами понимаете! Не было бы этого письма.

Осколки не зацепили меня, хотя один снаряд разорвался в 10—15 саженях. Я лежал, уткнувшись носом в сугроб, прикрыв голову ведром, как будто бы это могло спасти. Видно, бог меня хранит.

Получаете ли Вы мои письма?..»

У дороги недалеко от колодца виднелось распятие. Если на фронте было тихо, то мне позволялось побродить по окрестностям, не слишком отдаляясь от орудийного взвода. Я любил ходить к этому распятию.

Старый, серый от времени деревянный крест с неестественно маленькой фигуркой пригвожденного богочеловека, свесившего почти что детскую головку в терновом венце.

Кажется, по польско-католическому обычаю на одном конце перекладины креста висел молоток, на другом — клещи: орудия распятия.

Вдалеке в тумане слабо виднеется как бы рыбья косточка костела, постепенно разрушающегося от наших и немецких снарядов.

Распятый Христос и разрушающийся храм.

Было странное несоответствие между распятым Хрис-

том, разрушением храма, тем кровопролитием, которое совершалось здесь, под Сморгонью, и во всем мире, и красотой природы.

Маленький обнаженный человек с прикрытыми чреслами и повисшей головою в терниях почитался спасителем. Неужели он отдал свою жизнь за спасение человечества? И напрасно. Ничего он не спас. Люди продолжают истреблять друг друга. Как может это происходить?

Впервые в жизни я подумал вполне серьезно о войне, участником которой стал по доброй воле.

Еще совсем недавно война предстала мне в облаке горячей пыли, которую гнал в глаза июльский ветер с соломой, клочьями сухого сена, мелким сором, в то время как я пересекал привокзальную площадь, так называемое Куликово поле. В клубах пыли развевались гривы деревенских лошадей, пригнанных сюда по мобилизации из окрестных сел и немецких колоний. Деревянные бирки на конских хвостах и горы прессованного сена воспринимались как знаки начавшейся катастрофы.

Что я знал о войне? Ничего. Я пел с чужого голоса:

«Война объявлена», «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия! И на площадь, очерченную чернью, багровой крови пролилась струя».

Как таинственно и еще совсем непонятно звучали пророческие слова:

«Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».

Я знал, кто такой Бонапарт, но по своему невежеству понятия не имел о Меттернихе, тем более что у него в руке было почему-то гусиное перо, направленное на Бонапарта. Гусиное перо виделось как дуэльный пистолет. Менялась карта Европы. Но, может быть, не только Европы, но и всего мира.

Темные предчувствия томили меня. Я ощущал, хотя и не сознавал этого еще, вину перед человечеством. Не какую-нибудь отвлеченную, чью-то чужую вину, нет! Вину свою собственную, личную. Промелькнула ужасающая догадка, что это я сам захотел войны и желание мое исполнилось.

Еще ничего ужасного не произошло. Еще мир дремал под лучами полуденного солнца. Еще:

«Под портик уходит мать сок граната выжимать. Зоя, нам никто не внемлет. Зоя, дай тебя обнять...»

Еще можно было смеяться над афоризмами Козьмы Пруткова...

А я уже шел — порочный мальчишка, гимназист-второгодник — шаркающей походкой лентяя и мечтателя по бесконечно длинной, как загробная жизнь, раскаленной улице, где отцветающие акации давали, как сказал Пушкин, «насильственную тень», в которой никто не нуждался, так как улица была безлюдна. Можно было подумать, что все население покинуло город и устремилось к морю, ища спасения в зеленой воде Ланжерона, Малого Фонтана, Золотого берега, Шестнадцатой станции, Люстдорфа. Я шел, палимый солнцем, мимо витрин, где выгорали никому не нужные произведения галантереи, с каждым мигом желтея и отставая от моды, устаревая, как книги прошлого сезона и вчерашние газеты.

Боже мой, какая скука! Какая бесцельная жизнь! Неужели этот Дантов ад будет продолжаться вечно? Неужели я так и буду вечно идти, шаркая скороходовскими сандалиями, по бесконечной улице, ведущей в никуда?

Я был в тихом, неподвижном омуте отчаяния, потому что понимал свою никому ненужность, от неразделенной любви, от постыдных переэкзаменовок, от пропотевших подмышек коломянковой гимназической куртки с вставными серебряными пуговицами, в которых мутно отражалось тошнотворное солнце.

Неужели ничего не произойдет? А ведь были же какая-то грозная и величественная история, события, в которых участвовали разные люди, такие же русские, как и я сам. Стреляли пушки. Горели города. Князь Андрей нес знамя. Петя мчался на лошади. Наташа кружилась на паркете, раздувая платье. Наполеон растирался одеколоном. Николай проигрывал сорок тысяч. Горела Москва. Звонили колокола. Император бросал с балкона бисквиты. Маршал Даву сидел в сарае за столом, сделанным из двери, положенной на два ящика...

Да мало ли!

Так неужели же жизнь моя так и пройдет без героических событий, без любви, без подвигов, без славы?

А ведь было же что-то в детстве. Я смутно помнил слова «Цусима» и «Порт-Артур». Были баррикады, опрокинутые конки, маленькие красные флаги, дружинники в драповых пальто, залпы «Потемкина». Куда же все это девалось? «Господи,— шептал я,— ты высшая сила. Ты всемогущ. Если ты действительно всемогущ, так пошли мне... дай мне...» Я не мог выразить словами свою просьбу, но я почему-то был уверен, что являюсь единственным человеком в мире, любая просьба которого исполнится высшей силой.

«...пожалуйста, уведомьте, получаете ли Вы мои письма».

«Действ. арм. 26-II-16 г. Милая Миньона! —...»

По-видимому, она не поддержала мое обращение «дорогая», и мне пришлось благоразумно отступить на позицию «милая».

Итак:

«Милая Миньона! За день до назначенного срока мы уже знали, что уходим в резерв. Нас известил об этом всезнающий солдатский телеграф.

Откровенно говоря, жаль было покидать хорошие, обжитые землянки, хотя позиция и была несравненно опаснее прежней. Раза три в день немец непременно обстреливал местность, стараясь нащупать нас. То слышались разрывы снарядов где-то впереди, со стороны наших пехотных окопов, то шальная немецкая шрапнель рассыпалась с железным грохотом по лесу справа от нас, то гранаты поднимали облака снега на шоссе, совсем рядом с нашей позицией. Даже, как я уже, кажется, Вам писал, немецкие снаряды падали прямо на нас, но всегда по счастливой случайности безрезультатно, иногда даже вовсе не разрывались, может быть, потому, что я изо всех сил молил бога о пощаде, а может быть, потому, что я вообще «везучий».

...а дни стояли славные — яркие, солнечные, снежные, которым так подходило бы название «Зимняя весна». Синеглазые дни.

Представьте себе железнодорожное полотно где-то на полдороге между Минском и Вильно, справа и слева бере-

зовые и сосновые рощи, а за ними на десятки верст до самого горизонта расстилаются синеватые дали, рощицы, деревеньки, потонувшие в сугробах. Слева — проволочные заграждения, ломаная линия ходов сообщения и зеркала замерзших болот, ярко отражающих до вульгарности синее небо. Впереди на горе фольварк.

Сбоку от меня по железнодорожной насыпи движется лиловая тень идущего человека. Этот человек — я. Тени тонких ног в сапогах с ремешками, в галифе, кожаной куртки, папахи набекрень. Это я иду из нашего отдельного взвода на батарею — одна с четвертью версты.

Снег будто посыпан борной кислотой и вспыхивает на солнце синими, голубыми, желтыми, красными искрами. Славно, Миньоночка! Вот бы Вам поглядеть на эту красоту. Но... далеко где-то постукивает пулемет, как будто рубят котлеты...»

Довольно подробно и в меру своих сил писал я письма из действующей армии, обещая Миньоне быть совершенно правдивым. Однако я кое-что утаивал. Так, например, я не описал небольшой эпизод, свидетелем которого случайно оказался еще в первые дни на передовой, как раз днем после той лунной ночи, когда увидел мимолетное видение женщины, воскликнувшей с кокетливым серебристым смехом: «Только, ради бога, при мне не стреляйте!» Потом настал день, и я снова вылез из землянки подышать морозным воздухом. Тут я вдруг увидел толстого генерала с худым красным лицом, в бекеше, с биноклем на груди. С одышкой он взобрался на гребень нашего бугра, по всей вероятности, с целью лично осмотреть пехотные позиции и расположение неприятеля. Я узнал в нем начальника дивизии, который принимал крещенский парад. Черт дернул его взбираться на бугор, остановиться и присесть на сугроб, чтобы передохнуть. Наверное, он страдал одышкой. Сидя на твердом сугробе, он посматривал вниз, увидел наш взвод — два орудия,— и вдруг его худое лицо побагровело. Он закричал своим властным генеральским голосом: «Взводного фейерверкера ко мне!» — и сердито заворочался на сугробе, как на большой подушке, продолжая неторопливо дышать, выпуская изо рта клубы пара.

Наш взводный фейерверкер Чигринский уже бежал снизу вверх к генералу, на бегу одергиваясь. Он остановился строго по уставу за четыре шага с рукой под козырек и отрапортовал:

— Ваше превосходительство, старший фейерверкер второго взвода первой батареи Шестьдесят четвертой артиллерийской бригады по вашему приказанию явился.

— Жопа! — закричал генерал страшным голосом.— Почему у тебя, так твою мать, орудийные затворы без чехлов?

И не успел Чигринский доложить, что только что была стрельба и чехлы еще не успели надеть, как генерал с усилием оторвал свое грузное тело от сугроба, вплотную подошел к вытянувшемуся Чигринскому и три раза ударил его кулаком в перчатке — два раза по скулам и один раз ткнул в золотистые щеголеватые усы над белыми оскаленными зубами.

Чигринский, справный фейерверкер, любимец солдат красивый молодец-фронтовик, стоял перед генералом как деревянный, и только три раза его голова откинулась, принимая генеральские удары.

— Жопа! — еще раз с одышкой повторил генерал и, уже забыв, зачем он сюда пришел, кряхтя спустился с пригорка, раздраженной походкой удалился, и лишь после того как он скрылся из глаз, Чигринский вытер ладонью кровь с подбородка и, сделав вид, что не видит меня, вернулся к орудиям и приказал наводчикам надеть чехлы, после чего довольно громко, отчетливо, с ненавистью в глазах и с оттяжкой произнес матерное ругательство.

До сих пор мне как-то не верилось, что солдат бьют, и теперь это меня поразило до глубины души. Мне было страшно и стыдно встретиться глазами с Чигринским, и я молча спустился по земляной лестнице глубоко под землю в свой орудийный блиндаж, лег на душистые еловые ветки, долго лежал в полутьме с открытыми глазами, не зная, что же теперь делать. Но делать было нечего. И я заставил себя забыть этот мордобой, что оказалось хотя и очень трудно, но возможно. Я его забыл. Вернее, сделал сам перед собою и перед всеми другими вид, что забыл.

Уехать из бригады домой я уже не мог, так как принял присягу, но внутренний голос сказал мне: в этом ты тоже виноват. Я постарался заглушить этот внутренний голос, но слова «тоже виноват» дохнули на меня, дохнули в мою душу морозом и возбудили нелепое предчувствие неизбежного ужасного конца этой войны.

«...укладываемся уже с полудня. Обед привезли в обычное время. Артельщик очень опасается обстрела: двуколка походной кухни с хорошо начищенным медным котлом, блестящим на солнце, вероятно, хорошо просматривается немецкими наблюдателями. Это создает нервное настроение. Обед раздается торопливо.

После обеда поднимается холодный ветер, и небо затягивается сыроватыми облаками. Опять становится хмуро. Среди туч слышится стрекотанье нашего аэроплана-наблюдателя.

— Ишь, так и ныряет в хмарах,— говорит волжанин Власов, задрав голову.

«Хмары» вместо «тучи». Правда, красиво?

В сумерках ужинаем, как всегда, остатками обеда и увязываем свои походные ранцы на передки, где уже давно покоится мой чемодан, заметно полегчавший и похудевший.

До наступления настоящей, надежной темноты остается часа полтора. За четверть версты вправо от нас по шоссе движутся незнакомые пехотные части, сменяющие на позициях нашу пехоту. Их не видать в темноте, только слышится скрип обозных колес, мерный бой тысячи солдатских ног, идущих походным маршем, бренчанье кухонь и пулеметов, изредка морозное ржанье лошадей.

Собираясь в дорогу, наши батарейцы идут за какими-то досками в сторону шоссе. Образуется большое скопление. Немец его замечает. Начинается артиллерийский обстрел. Со всех сторон ложатся снаряды. Небо как бы сплошь исполосовано их тошнотворным свистом. Впереди на фоне ночных облаков багрово-желтыми огнями вспыхивает и рвется шрапнель, кропя лес железным дождем. Осколки бризантных снарядов срезают с берез кружевные сучья, и они падают к моим ногам. Сначала до жути страшно. Сердце холодеет. Господи, пронеси! Но скоро наступает странное безразличие (двум смертям не бывать, а одной не миновать и т. д.).

И все же меня не оставляет вечное чувство какой-то своей необъяснимой, как бы врожденной неприкосновенности, будто бы я кем-то и когда-то заговорен от смерти. Странное чувство!

Приводят лошадей. Цепляем свои пушки к передкам и уходим длинной процессией во тьму. По приказанию командования нам полагается совершать свой поход по шоссе. Но это верная гибель. На шоссе все время рвутся

немецкие снаряды. Видимо, шоссе хорошо пристреляно. Вопреки приказу, повинуясь непреодолимому чувству самосохранения, едем несколько в стороне от шоссе.

Совсем стемнело. И оттого что вокруг темным-темно — ни зги не видать,— люди идут молчаливо, тревожно прислушиваясь к каждому постороннему звуку.

Оттого что я в полном боевом снаряжении, с бебутом на поясе, с тяжелым солдатским наганом в кобуре на боку, с красным шнуром от нагана на шее, я чувствую некую военную гордость.

За скрипом орудийных колес и бренчаньем конской упряжи полета неприятельских снарядов почти не слышно, да и летят они над нами куда-то в другую сторону. Угадываешь опасность по отдаленному блеску немецкого орудийного выстрела и после этого по грохоту разрыва. Жутко!.. Чтобы заглушить страх, я во все горло пою:

«Оружьем на солнце сверкая...»

Обстрел усиливался. Снаряды рвутся все ближе. Через десять минут наша основная батарея, до которой нашему отдельному взводу остается пройти какие-нибудь четверть версты, начинает прикрывать нас своим огнем и бьет поверх наших голов беспрерывными очередями. От красного блеска орудийных залпов, от громыхания и скрежета орудийных колес в голове сумбур. Лица у нас еще более сереют при вспышках выстрелов, губы плотно сжаты.

Потом, минуя нашу беспрерывно ведущую огонь батарею, выходим на шоссе. По шоссе серыми массами движется пехота: батальон за батальоном, пулеметные команды.

Роты одна за другой выплывают из тьмы и скрываются, как призраки.

Возле деревушки по названию Бялы остановка... Что такое?.. Оказывается, ожидаем свою батарею, чтобы наконец соединиться с ней. Ждем долго. Обстрел немцами шоссе, слава богу, прекратился. По шоссе все текут и текут серые массы пехоты. А мы стоим и ни с места!

Топот коня. Разведчик. Оказывается, на батарее в передке шестого орудия сломалось дышло. Задержка на пятнадцать минут, которые кажутся вечностью.

Стоим, стоим, стоим... И ни с места.

Часть людей разбрелась по каким-то пустым, брошенным землянкам. Хочется пить. Воды нет. Ем снег, как в

детстве. Над нами нависает немецкая осветительная ракета, ярко заливая окрестности своим химическим, каким-то гелиотроповым светом. И тут же знакомый отвратительный звук летящего снаряда: дзззз... и трах!

Опять обстрел. Снаряд за снарядом как бы невидимо чертят темноту ночи. Немец бьет по деревушке. Бьет, бьет, бьет методично, без перерыва, словно гвозди вколачивает. Немецкая кинжальная батарея где-то настолько близко, что, когда летит снаряд, все ему поневоле кланяются, так низко он пролетает. Снова ужас леденит сердце. Господи, только не в меня! Господи, пронеси!

Наконец дышло исправлено и батарея подходит. Мы снимаемся с места. Обстрел стихает. Через час мы уже будем в резерве. От сердца отлегло. Проезжая мимо деревеньки Бялы, натыкаемся на побитых немецкими осколками лошадей. Одна еще жива, лежит в луже, почти черной от крови, и судорожно подергивает задней ногой. Здесь же рядом лежат два солдата: один убит наповал, другой ранен. Возле них суетится санитар с фонарем. Я нечаянно ступаю сапогом в лужу свежей крови.

Настроение ужасное. Кажется, что я весь с ног до головы в крови, которую никогда и ничем уже не смыть.

Далее еду верхом на одной из так называемых заводных лошадей, которую дает мне разведчик. Заводная лошадь — это значит запасная, резервная. Меня укачивает в седле, как в люльке. Я забываюсь, но скоро прихожу в себя и уже думаю о Вас, насвистывая «Ямщик, не гони лошадей...». *А. П.*».

Из этого письма явствует, что я продолжал осторожные попытки сблизиться с Миньоной, различными, весьма наивными способами дать ей понять, что я к ней более чем неравнодушен, надеясь вызвать ее взаимность.

Хотя обращение «дорогая» не вызвало в ответ «дорогой», но я не терял надежды добиться хотя бы «она его за муки полюбила». Я пускал в ход лирическую грусть, любовную тоску и даже, как видите, прибегал к мещанским романсам, весьма популярным в то время и безотказно действующим на сентиментальных барышень.

...Как и сейчас, впрочем, под названием старинные русские романсы...

Какой только мещанской дребеденью не была набита моя голова! Тут были и «Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном», и

«Дремлют плакучие ивы», «Дышала ночь восторгом сладострастья», и даже «Я смотрю на тебя, ты неловкий такой, если любишь меня, так целуй, черт с тобой! А не любишь меня, я тряхну головой и скажу, черт с тобой, черт с тобой» или что-то в этом роде, или «Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем», как будто бы парочка могла быть втроем. Ну, конечно, если не считать ямщика.

Я как бы невзначай упомянул «Оружьем на солнце сверкая...» и применил более сильное средство: «Ямщик, не гони лошадей...» — скрыв за многозначительным многоточием «мне некого больше любить, мне некуда больше спешить», что должно было напомнить Миньоне наш намечавшийся роман или то, что тогда называлось «легкий флирт» или даже более изысканно, на английский лад — «легкий флёрт».

Нельзя сказать, чтобы она была ко мне совершенно равнодушна, но все-таки нежелательно холодновата, играя скорее в покровительственную дружбу, чем в любовь.

Несмотря на свое сходство с отцом-генералом, Миньона отличалась прехорошеньким личиком, которое можно было бы назвать кукольным, если б не какая-то властная черточка в рисунке губ, как бы созданных не столько для поцелуя, сколько для выговора. Но все остальное: английская блузка с шелковым матросским галстуком в виде пышного банта, плиссированная юбочка, маленькие ручки, круглые щечки и сиреневые глаза — все это было кукольное, что особенно прельщало, несмотря на строгий характер.

И все же если я и был влюблен в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю. Моя последняя встреча с ней перед отъездом в действующую армию выпала из моей памяти. Кажется, мы шли вдвоем в степи, а вокруг нас в сухой траве, как всегда бывает перед закатом, особенно громко звенели и тикали, как маленькие дамские часики, степные сверчки.

В это второе лето через год после начала войны, когда все уже успокоилось и казалось, что война сама по себе, а жизнь в стране идет по-прежнему, сама по себе, я гостил у товарища на Усатовых хуторах: недалеко от Хаджибеевского лимана, а Ганзя жила на даче на Куяльницком лимане, где вся ее семья пользовалась грязелечебницей.

Между этими двумя лиманами простирались куски первозданной степи. Таким образом, Ганзя и я оказались соседями.

Мы встретились на трамвайной станции Хаджибеевского лимана, куда она приехала из города от портнихи, с тем чтобы я ее потом проводил через степь домой, на дачу возле грязелечебницы. Весной она окончила гимназию и теперь впервые надела только что сшитый почти дамский костюмчик, что-то клетчатое, черно-красное, обшитое тесьмой: короткий пиджачок с закругленными фалдами и юбка английского фасона, на четверть ниже колен. Костюм морщил под мышками, и это ее немного смущало.

Мне было странно видеть ее полудевочкой-полудамой, в соломенной шляпке с клетчатой лентой.

Может быть, она приехала на эту встречу специально для того, чтобы показаться мне уже не гимназисткой. Она была по-прежнему мила, но некрасива, как еще не распустившийся цветок. Она была уже причесана директуар — с волосами, поднятыми с затылка вверх. На щеке у нее я заметил маленькую мушку, вырезанную из черного пластыря маникюрными ножницами, что тогда начинало входить в моду.

Я был уязвлен нашим неравенством: она уже окончила гимназию, даже, кажется, с серебряной медалью, а я хотя и старше ее, но все еще был гимназистом, второгодником и, вместо того чтобы готовиться к переэкзаменовкам, бродил по хаджибеевскому парку среди вековых вязов и черных пней, на которых в тени сидели бабочки, сложив крылья, внутри яркие, а снаружи серого деревянного цвета, так что их было нелегко заметить среди древесной коры.

В пруду плавали лебеди: черные с красными клювами и белые с клювами желтыми. Оркестр в концертной раковине играл «Торжественную увертюру 1812 год» Чайковского, которая до войны находилась под запретом, так как в ней содержалось несколько тактов крамольной «Марсельезы». Теперь же французы были союзниками и «Марсельезу» разрешили, хотя она и попахивала революцией.

Мы молча прошли вокруг пруда, потом Ганзя, вынув из сумочки маленький кошелек, купила в газетном киоске последний номер «Нового сатирикона», на лаковой обложке которого была помещена цветная карикатура: куд-

рявый темно-зеленый дуб, а под ним розовая свинья с лысой головой депутата Пуришкевича, подкапывающего своим пятачком корни дуба.

В чем тут заключалась соль, мы не поняли, зато на другой странице были изображены два франта в наимоднейших фраках и с моноклями. Они разговаривали между собой:

«— А ты знаешь, Коко, что графиня НН наконец-то устроила файф-о-клок?

— С паршивой овцы хоть файф-о-клок».

Это нас развеселило.

Была еще одна карикатура, военная. Возле громадной пушки два немецких солдата в касках с шишаками пишут мелом на громадном снаряде:

«Уважаемые враги, если прилагаемый при сем чемодан не разорвется, то просим вернуть его нам обратно».

Здесь заключался намек на плохое качество немецких снарядов. Все-таки война напомнила о себе!

Но уже вечерело, и я пошел провожать Ганзю через степь на Куяльницкий лиман. Мы были вдвоем, одни в целом мире. Но все равно нас почему-то всегда разделяло некое магическое поле: я ее любил, а она меня — нет.

Как я ни старался навсегда ее забыть, какие бы увлечения ни испытывал, все это было не больше чем отливом, после которого начинался новый, еще более сильный прилив безнадежной любви.

...Качаясь в седле, как в люльке, я пел совсем не «Ямщик, не гони лошадей...», как писал Миньоне, а совсем другое:

«Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».

...Хотя очи были не ясные, а карие, какие часто встречаются у молдаванок. Она и была, кажется, наполовину молдаванка, наполовину румынка, о чем свидетельствовала ее фамилия Траян.

Опять начинался прилив. Я думал только о ней одной и ни о ком больше. Меня вдруг так к ней потянуло! Хотя бы на миг ее увидеть!

А жизнь продолжалась по-прежнему.

«25-II-16 г. Д. армия. Милая Миньона! У меня к Вам очень большая просьба. Пожалуйста, устройте так, чтобы я попал на пасху домой. Лично я с такой просьбой обратиться к начальству не имею права, но если Вы (и так далее...), то меня могут послать в командировку. Хотя бы по делам комитета связи. Мне очень хочется приехать хоть на недельку к Вам. В письмах всего не расскажешь, а рассказов хватит на три года. На днях напишу длинное письмо. Жду и надеюсь. Я в резерве. Тоска. Теснота. Духота».

Я лукавил. Мне просто до отчаяния захотелось увидеть Ганзю.

«3-III-16 г. Действ. арм. Милая Миньона! Представьте себе длинную снежную дорогу. Ночь. В лицо дует чистый студеный ветер. Редкие снежинки садятся на нос, губы, ресницы... Седло тихонько поскрипывает. Путь утомителен. Душа устала. На сапоге стынет человеческая или лошадиная кровь. Склоняешь голову, мурлычешь вполголоса какой-нибудь романс, что-нибудь такое...

Но вот по сторонам затемнели среди снега березовые перелески, где-то впереди среди ночной черноты, еще почти неуловимый для глаз, притягивает огонек, похожий на тлеющую папиросу.

Один. Другой. Третий. Село.

Сзади, шипя и визгливо кашляя, огибает нашу колонну длинный открытый штабной автомобиль. Он светит двумя огромными электрическими глазами и бросает перед собой на снег продолговатые световые пятна. Минута — и он быстро проезжает мимо, унося две строгие генеральские фигуры в высоких папахах: вероятно, командир корпуса со своим начальником штаба.

Остановка. Размещаемся по избам, где набилось множество постороннего народа: какие-то саперы, артиллеристы чужих бригад. Все смешалось. Спим кое-как и где попало. Кусают блохи. На следующий день нас расквартировывают уже как следует. Начинаются батарейные занятия.

На меня находит полоса острой грусти. Ей-богу, если бы можно, то напился б! Душа полна чем-то огромным, светлым и вместе с тем безнадежно горьким.

И эта горечь похожа на горечь нашей степной серебряной полыни, цветущей в июльское полнолуние.

Для того чтобы хоть как-нибудь забыться, я курю. Курю много, бестолково, и от этого у меня с непривычки кружится голова, тошнит.

В избе теснота, духота, дурной запах, и все время безостановочно кто-то играет нечто мучительно однообразное на гармонике, у которой действуют лишь басовые клапаны, а остальные западают, от этих мучительных звуков мне вспоминается детство: сильная зыбь на море, вечер, тучи, и маленький колесный пароход, помнящий еще севастопольскую кампанию, везет меня из Аккермана в Одессу, качает, где-то на горизонте гремит гром, обшивка скрипит, скрипят на палубе корзины с виноградом, зашитые холстом, из машинного отделения дует жарким ветром, нагретым железом, машинным маслом, и тошнит, тошнит, и где-то внизу, в третьем классе, играют на гармонике, причем басовые ноты сливаются со стуком машины, скрипом шпангоута и зловещим отдаленным громом.

«Укачало, сплю...»

Выхожу на улицу. Темно и оттепель. Совсем как ранней весной. Где-то в конце села горит огонек; как серое прозрачное облачко маячит березка.

Напротив в офицерской халупе играют на пианино, которое возится повсюду вслед за батареей в обозе второго взвода, вальс Вальтейфеля.

Завтра выступаем. Пишу это письмо в караульном помещении. Не забудьте же о моей командировке на пасху. Привет всем. А. П.».

Так как письмо писано в караульном помещении, то можно заключить, что я стал заправским солдатом и меня уже ставили на пост часовым.

Караульное помещение, как мне помнится, находилось в отдельной, особой избе, где было не так тесно и всегда топилась печка.

Я был еще канониром, то есть самым нижним чином, но уже считался обстреляпным солдатом и меня наряжали в караул. Наряд в караул продолжался двадцать четыре часа. Один караульный стоял часовым на посту, другой, только что сменившийся, мог поспать, а третий, которому надлежало сменить на посту первого, имел право отдыхать, но не имел права при этом скинуть верхнюю одежду и сапоги, а только немного ослабить на шее револьверный

шнур и расстегнуть верхний крючок шинели. Это соблюдалось весьма строго по всем правилам гарнизонной службы и воинской присяги. Часовой же, стоящий на посту с обнаженным холодным оружием, то есть бебутом, или с заряженной винтовкой, являлся лицом неприкосновенным и подчинялся только своему караульному начальнику, разводящему и особе его императорского величества.

Самой трудной считалась третья смена — от двенадцати до трех ночи.

Я стоял на посту номер один у орудийного парка. Но это только так называлось, что я стоял. Я имел право ходить вокруг расставленных в большом порядке орудий, передков и зарядных ящиков. На мне был надет поверх шинели громадный, кисло пахнущий козлом постовой тулуп, на ногах постовые валенки, и в руке, приложив к плечу, я держал обнаженный бебут, то есть большой артиллерийский кинжал длиной более половины шашки.

Пост ответственный. Мало ли что может случиться в полной темноте. Немецкая тыловая разведка может взорвать зарядные ящики. Ведь до неприятельского расположения, в сущности, не так далеко, верст двадцать от силы. А может подкрасться свой же фельдфебель — проверить, не спит ли часовой, и если спит, то возьмет да и снимет с орудия замок или выкрадет из железного ящичка оптический прицельный прибор — панораму, которая, как утверждал солдатский телеграф, стоила шестьсот рублей. И тогда часовой идет под суд, а военно-полевой суд шутить не любит.

Не дай бог заснуть на посту. А стоит только замечтаться, прислониться к зарядному ящику или, что еще хуже, присесть на покрытый снегом орудийный лафет — и кончено дело! Не хочешь, а заснешь.

Ночная темень окутала все вокруг. Снежные вихри крутились и бегали, догоняя друг друга. Трудно было что-нибудь разглядеть вокруг.

Увязая по колено в сугробах, я протоптал валенками тропинку и ходил по квадрату, внутри которого белели засыпанные снегом орудия и зарядные ящики.

Производя в уме сложное арифметическое действие, я вычислил, что каждый час моего пребывания на посту содержит в себе 3600 секунд. Каждый шаг примерно секунда. Значит, каждые 3600 шагов — час. Каждый час

надо загибать один палец. Как только загнул три пальца — тут тебе и смена.

Я ходил в облаках метели и считал шаги. Сначала считал сознательно. Потом шаги считались в уме, как бы автоматически, сами собой. Время тянулось бесконечно, но воображение все время рисовало картины минувшего, и мысль тщетно пыталась объяснить, что же со мной, собственно, произошло. С чего началась моя горькая, неразделенная любовь, о которой я переставал думать во время отливов и которая мучила меня, как только начинался прилив.

Сейчас начинался прилив, и он уже нес предчувствие ее появления.

Каким же образом она вошла в мою жизнь и стала ее частью?

Виновницей была Калерия, о существовании которой я было совсем забыл, всецело занятый письмами к Миньоне. Впрочем, тогда Миньоны не было еще и в помине. Тогда еще Миньона со всей своей семьей жила в Тирасполе, где стояла «их» бригада. Миньона еще не существовала в моем воображении. И душа моя была свободна.

Если бы не глупые ухищрения Калерии, ничего не случилось бы. Но Калерия нарисовала себе сентиментальную картину загородной прогулки за фиалками, где ее кавалером буду я. Для того чтобы не спугнуть меня и придать всему этому предприятию характер чего-то вроде пикника, она составила квартет: во-первых, конечно, она со мной в паре, а во-вторых, ее брат Вольдемар в паре с ее задушевной подругой, некой Ганзей, в которую Вольдемар был влюблен.

Две парочки. Какая идиллия!

Ранняя весна. Загородная прогулка к морю. Поиски первых фиалок. Квартет разбредается в разные стороны: Вольдемар с Ганзей, Калерия со мной. Что может быть прекрасней?

Из дому вышли в четыре часа. Как и предполагалось, Вольдемар пошел в паре с Ганзей, а я с Калерией. Предполагалось, что Вольдемар и Ганзя влюблены друг в друга. Как и полагалось влюбленным, они все время отставали, а

мы с Калерией летели вперед. Нам то и дело приходилось останавливаться, поджидая отстающих. Калерия была возбуждена, взволнована, заглядывала на ходу мне в лицо влюбленными глазами и была так хороша, что если б не рост, не нос и не невозможное имя Калерия, то еще неизвестно, чем бы кончился поход за фиалками.

Чувствуя себя предметом неразделенной любви, я, конечно, испытывал глупую гордость и скрывал ее, как говорится, «под маской печоринской иронии».

Мне недавно исполнилось семнадцать, и я уже выдавливал перед зеркалом прыщи — «бутон д'амур»,— говорил уже не по-детски, а грубым голосом и, отрастив волосы, до сих пор стриженные под машинку, в поте лица трудился над устройством прически и по нескольку раз в день драл свои жесткие черные волосы на две стороны палочкой сального фиксатуара, завернутого в серебряную бумажку, хотя настоящего джентльменского пробора так и не получалось, потому что волосы на макушке продолжали торчать в разные стороны и не хотели ложиться.

Я завел себе диагоналевые брюки со штрипками и светло-серые гетры а-ля Макс Линдер.

Шагая по протоптанной в снегу тропинке и считая секунды, я живо представил себе Калерию, которая тогда шла рядом со мной быстрыми мелкими шажками, и при этом все время болтала всякий вздор, употребляя множество гимназических поговорок и острот, и сама первая смеялась. Было понятно, что она несет чушь просто от хорошего настроения, оттого, что получается такая дивная прогулка и что она идет рядом с тем, кого любит, и даже как бы случайно касается его локтем, то есть меня.

Шли по загородному шоссе сначала мимо домиков местных скульпторов, где в садиках виднелись глыбы каррарского мрамора и незаконченные кладбищенские ангелы, потом мимо пустых дач с еще по-зимнему заколоченными окнами сквозь голые ветви. Кое-где уже просвечивало море. Подул тяжелый ветерок, и уже по шоссе катили, воняя бензином, автомобили городских богачей, трещали мотоциклетки, блестели лаком крылья экипажей. Но теперь было еще почти пусто, и лишь гимназисты с развевающимися шарфами гоняли на велосипедах да с грохотом проносились пустые вагоны новой трамвайной линии, оставляя за собой струю ветра, поднимающего с земли прошлогодний сор.

— Ну, как вам, Саша, понравилась моя Ганзя? — спросила Калерия меня.— Вы совсем не обращаете на нее внимания. И напрасно. Она прелесть. У нее с Вольдемаром роман. У Вольдемара губа не дура.

Дул весенний ветер. На ходу оправляя подол выбившегося из-под пальто темно-зеленого форменного платья, придерживая поля черной касторовой шляпы с овальным гимназическим гербом и салатного цвета бантом, Калерия сделала непоправимую глупость, сказав:

— Напрасно вы иронически улыбаетесь...

(Я действительно иронически улыбался.)

— Знаете, в нее все поголовно влюблены, и Вольдемар просто с ума сходит от страсти. Так что имейте в виду...— И она шаловливо погрозила мне пальчиком и как бы нечаянно взяла меня под руку.

Я обернулся и посмотрел на Ганзю.

У нее было незапоминающееся лицо с мелкими чертами и, кажется, карие глаза. Меховая зимняя шапочка, черное плюшевое пальто с перламутровыми пуговицами, из-под которого выглядывали маленькие ножки. Правая рука ее в это время — как на моментальной фотографии — была на отлете, кисть откинута в сторону, и пальцы подогнуты. Маленькая, она казалась еще совсем девочкой.

Рядом с ней шел Вольдемар, брат Калерии, в своей узкой аккуратной гимназической шинели. В его форменной фуражке со щегольским, как бы офицерским лакированным ремешком на околыше, в бледном лице с пробивающимися усиками, а главное, в какой-то деланной, напряженной улыбке было нечто свойственное красивым ревнивцам.

Я почему-то понял, что он безумно влюблен, а она — так себе... Может быть, только позволяет себя обожать, не больше. Мне показалось, что они совсем не пара. Он для нее слишком взрослый, гимназист-переросток. Хотя и красивый, но самолюбивая посредственность, вышибленный из казенной гимназии и перешедший в частную.

А она... А что она? Только то, что маленькие ножки! И в лице что-то молдаванское. Уж если на то пошло, то она больше подходит мне, неожиданно подумал я.

Через глухой приморский переулок мы вышли к обрывам и увидели по-весеннему туманное море, откуда дул в лицо крепкий мартовский ветер, так называемый верховой константинопольский.

— Какая красота! — не вполне натуральным голосом воскликнул я, еще не сознавая, что это патетическое восклицание относится, в сущности, к совсем не замечательной Ганзе.

— Ничего особенно красивого не замечаю,— тотчас же отозвался Вольдемар, как бы почувствовав во мне соперника.— Море как море. Много воды — и больше ничего. Фантазия поэта.

Это был тонкий намек на то, что я сочинял стихи.

Голос у Вольдемара был как бы с трещиной. Высокий тенор. Фальцет.

— Не правда ли, Ганя,— прибавил он, пожимая ее руку,— не более чем много соленой воды?

— Не нервничайте,— ответила она.— Вам море не нравится, а Саше Пчелкину нравится. У каждого свой вкус.

Сказано это было тем расчетливо двойственным тоном, как будто она хотела дать мне понять, что не стоит обращать внимания на Вольдемара, потому что (вы же видите!) он нервничает, а море, конечно, очень красиво, ему не очень нравится, что вы сумели заметить его красоту; но в то же время, как бы обращаясь к Вольдемару, говорила доверительно: стоит ли спорить с мальчишкой? Вы же взрослый человек, и я с вами вполне согласна, что все эти речи насчет красоты моря не больше чем фантазия доморощенного поэта. Но будьте же снисходительны.

Она, по-видимому, уже научилась мирить соперников.

— Ганзя, рыбка,— нежно сказала Калерия, которая тоже была влюблена в свою маленькую гимназическую подругу,— а как ты? Нравится ли тебе море? Ведь правда до ужаса прекрасно!

— Ничего себе,— ответила Ганзя равнодушно и сейчас же засмеялась, показывая, что ей самой смешно ее равнодушие к свободной стихии, которая «катит волны голубые и блещет гордою красой».

Да она просто обыкновенная ломака, подумал я и перестал обращать на нее внимание до той минуты, когда мы, совершив ритуал поисков хилых диких фиалок, вылезших из-под прошлогодней листвы, возвращались домой на трам-

вае с новенькими плетеными откидными сиденьями, уже при свете электрических лампочек в стеклянных тюльпанах, и трамвайные окна были того грустного синего цвета, какой бывает во время великопостной всенощной. На одной из остановок в полупустой вагон ввалилась шумная толпа гимназистов, возвращавшихся с футбольного матча. Среди них выделялся знаменитый инсайд-правый, наверняка забивший сегодня два гола. Он держал под мышкой грязный футбольный мяч. С расстегнутым воротником куртки, в белых футбольных бутсах, с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя, он протискивался боком к передней площадке и вдруг увидел Ганзю.

С особым шиком приподняв над кудрявой головой измятую фуражку с наполовину отломанным гербом, он произнес слегка фатовским голосом:

— Бож-ж-же мой, кого я вижу! Ганзя! Собирали фиалки? Это шикарно! Когда же мы с вами наконец опять встретимся у Козубских?

— Со временем,— весело ответила Ганзя.

Не без иронии оглядев меня и Вольдемара, чемпион протиснулся, подняв над головой мяч, на переднюю площадку и, еще раз улыбнувшись Ганзе, спрыгнул на ходу и пропал в потемках.

Я с удивлением понял, что ничем не замечательная Ганзя не такая уж простая, как могло показаться. Оказывается, у нее есть какой-то свой, недоступный для меня мир, где она, может быть, даже царит среди всех этих спортсменов, между которыми попадаются дети известных богачей, как, например, этот знаменитый инсайд-правый.

Подобное открытие неприятно поразило меня.

Какое, однако, пошлое лицо с красивым римским носом и наглыми глазами у этого богатенького сыночка. Вот уж действительно инсайд-правый. Именно такие типы нравятся девчонкам.

Я, который уже в мыслях своих успел отвергнуть ничем не замечательную Ганзю, вдруг почувствовал ревность.

— Что это вы такой грустный?— спросила у меня Ганзя, когда мы подходили к воротам.

Я промолчал. На лестнице мы стали прощаться. Прежде чем войти в квартиру Калерии и Вольдемара, Ганзя бережно, обеими руками сняла свою котиковую шапочку, протянула Вольдемару и повелительно сказала:

— Держите.

Потом взяла у Калерии круглое карманное зеркальце и мельком взглянула на себя, и когда отдавала обратно, зеркальце блеснуло мне в глаза, бегло отразив электрическую лампочку, горевшую в подъезде.

Извинившись передо мной, Ганзя стала перечесываться. Набирая шпильки одну за другой в губы, она отколола косу, обернутую вокруг головки, как корона.

С поразительной ясностью я вспомнил, как она одной рукой придерживала освобожденную косу, а другой вынула шпильки изо рта и не глядя протянула их Вольдемару:

— Держите.

Вольдемар с рабской покорностью взял шпильки и посмотрел на Ганзю с выражением почти отчаяния. А она озабоченно посмотрела на Калерию, тряхнула головой, и коса, медленно раскручиваясь, опустилась. Волосы у Ганзи были темно-каштановые с еле заметным золотистым отливом, густые, длинные, с рыжеватыми пушистыми кончиками.

Я еще раз, как бы проверяя себя, посмотрел на Ганзю, на ее слегка веснушчатый носик, маленький подбородок, и мне стало горько оттого, что, собираясь перечесываться, она извинилась только передо мной, а перед Вольдемаром как перед своим человеком не посчитала нужным извиниться. А может быть, это потому, что она его просто не уважала? Да, именно так. Она его не любит, подумал я, как Чацкий.

Когда же она, взяв у Калерии гребешок, стала расчесывать косу и водопад волос, потрескивающий электрическими искорками, упал на ее лицо, я понял, что в моей жизни случилось нечто неизбежное, как бы заранее предопределенное судьбой. И сердце мое помертвело...

Ночная вьюга продолжала кружить над артиллерийским парком, покрывая белыми подушками и пухлыми перинами орудия и зарядные ящики. Дверь караульного помещения вдруг отворилась, бросив в метель яркую призму света, в которой возникли и пошли прямо на меня две фигуры: разводящий и новый часовой.

Значит, третий палец был автоматически загнут и кончилась мучительная третья смена.

Через пять минут я уже спал глубоким, как забытье, летаргическим сном в караульном помещении на нарах, подложив руку под щеку, как в детстве, и мне снилось,

что я летаю в какой-то незнакомой большой комнате под самым потолком, а когда проснулся, увидел избу, наполненную очень ярким светом позднего зимнего солнца; в печке трещал огонь, было тепло, даже жарко, караульные ели из котелков, и моя душа еще некоторое время никак не могла вернуться из ночных странствий.

«12-III-16 г. Действ. арм. Милая Миньона, примите эту несколько запоздавшую поэму в прозе.

Сижу. Перед глазами на фоне подземной черноты как бы вырезан огненный квадрат. Топится печка. Слышно, как бурлит вода в невидимом чайнике. Дрова почти прогорели, трещат, и поленья покрываются клетчатым пеплом. Под ними — угли, похожие на слитки расплавленного золота, которого я, по правде сказать, никогда в жизни не видел, но так мне представляется.

Огонь жжет глаза, губы, руки, волосы...

Сижу как слепой, вокруг ничего не разглядишь. Напрягаешь изо всех сил зрение и слева от себя улавливаешь (скорее угадываешь) бледный дневной свет, проникающий сквозь оконце размером с тетрадку для слов. Под оконцем на нарах — силуэт солдата, пишущего письмо, пристроив на колени какую-то досочку.

При еле проникающем в землянку дневном свете лицо солдата кажется бледно-зеленоватым.

Во тьме нашариваю папаху, перчатки. Куртку нечего искать: она всегда на мне, даже когда сплю. Ощупью выбираюсь на свет божий. После подземной тьмы даже бледный вечерний свет с такой силой бьет в глаза, что некоторое время передо мной плавают только как бы тени предметов, их обморочные отпечатки.

Весна. Справа шоссе. Оно обсажено очень старыми, еще по-зимнему голыми березами, слабо видными сквозь голубоватую мартовскую дымку. Под сапогами пружинит и всхлипывает, оттаивая, земля.

Воздух так влажен и нежен, что, кажется, пахнет фиалками. Но не теми темно-лиловыми бархатными пармскими фиалками, букетики которых продаются весной у цветочниц на углу Дерибасовской и Екатерининской, а теми дикими фиалками, которые я когда-то собирал на Малом Фонтане...

...Хилые, почти бесцветные цветочки, быстро вянущие, жалкие, но так нежно, неповторимо пахнущие весенней сыростью...

Кажется мне или на самом деле пахнет фиалками? Вряд ли. А может быть, и вправду... или это только...

Небо серое, бессолнечное. Вечереет. Не хватает только мирного великопостного звона. Я влюблен в весь мир. В жизнь, в весну, даже в ту сырость. Сердце мое готово раскрыться, как цветок, и ждет первого весеннего, теплого дождика.

На батарее веселье: играет гармоника и откуда-то взявшаяся скрипка. Танцуют мой взводный Чигринский и бомбардир Котко, маленький, черняваенький, в своей папахе из телячьего меха, чем и отличается от других солдат. Танцуют вдохновенно под прыгающие звуки полечки, положив руки на плечи друг другу и с силой топая сапогами по еще не вполне оттаявшей земле, оставляя на ней отпечатки подметок, подбитых гвоздями.

Как-то весело и как-то грустно.

Ночь подходит; незаметно подкрадывается; синяя, зовущая к любви, к нежности. Загорается огонек ночной наводки: фонарик, привешенный на середине белого шеста дневной наводки, вбитого в землю несколько отдаленно позади орудий. При стрельбе днем отмечаемся по этому шесту, наводя на него оптический прибор, называемый панорамой, а еще лучше — выбираем в далеком лесу какое-нибудь отдаленное дерево. Чем дальше дерево, тем лучше создается наиболее точный угол прицела. А во время ночной стрельбы отмечаемся по нашему бессонному фонарику. Вам понятно? Наводимся назад, а стреляем вперед. Непонятно? Впрочем, это не важно. Вы мой бессонный фонарик. Простите за армейскую пошлость.

Милая.

Боюсь произнести: любимая. *А. П.*».

Кому же в конце концов предназначалось это лирическое послание? Миньоне? А фиалки? А ранняя весна и великопостный звон?

«Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье...»

«7-III-16 г. Действ. армия. Миньона! В нашей землянке душно и дымно. Играют в лото. Со стороны третьей батареи доносится редкая орудийная пальба. Как у нас принято говорить, тюкают трехдюймовки. Звуки привычные.

Каждый выстрел, как тугой резиновый мячик, ударяет в наше маленькое окошечко, стекло дребезжит.

Ведется нескончаемая окопная беседа о женах, о детях, о родной деревне или о родном городе, о надоевшей войне, которой и конца не видно, о мире, о дороговизне в тылу... Мало ли о чем еще... Даже туманные намеки на грядущие политические перемены...

На минуту артиллерийская перестрелка стихает, и вдруг раздается сильнейший разрыв, даже скорее взрыв — словно кто-то швырнул в наше оконце горсть дроби. Высказывается предположение, что немецкий снаряд угодил в один из зарядных ящиков третьей батареи и снаряды взорвались.

Все тревожно замолчали.

Зловещий звук, который мы услышали, не был похож на обычные звуки артиллерийских дуэлей: выстрел, полет снаряда, разрыв. Было что-то другое.

— Побежать посмотреть? — сказал кто-то.

— А ну на самом деле...

Мы выбегаем наверх из землянки, оставив на дощатом столике в полном беспорядке фишки, карты, бочоночки лото.

По ту сторону шоссе над хвойной маскировкой третьей батареи стоит желтовато-черное облако еще плотного, нерассеявшегося дыма и пахнет горелой взрывчаткой.

— Что это? Разрыв?

— Да, и здоровый разрыв... на самой батарее.

...из окопа телефонистов вылезает старший телефонист. Все к нему:

— Что такое? Разрыв? Прямое попадание? Кто-нибудь ранен? Или убит?

Старший телефонист оглядывается — нет ли поблизости офицеров. Офицеров нет.

— Свой же снаряд,— говорит он, понижая голос.— Разорвался перед самым дулом, как только вылетел, так и... Продают нас. Собственными снарядами уже бьют. Измена в тылу. Ранены наводчик и второй номер.

Наши батарейцы, у которых есть в третьей батарее земляки, встревожены.

Больше всех волнуются Колыхаев и Ковалев, у них у обоих близкие дружки там.

— Какого орудия наводчик ранен? Какой номер зацепило?

Но старший телефонист этого не знает.

— И сильно ранены?

— Один, говорят, сильно: распороло живот осколками. А другой полегче, хотя тоже крепко. Но не так чтоб...

— Слышь, узнай по телефону, кто ранен.

Мы расходимся по землянкам в томительной неизвестности. Тягостное молчание, уже ни играть в лото, ни разговаривать никто не может. Трудно смириться с мыслью, что разорвался свой же снаряд. Значит, тыл посылает нам бракованную шрапнель. А может быть, это и вправду измена?

У Колыхаева и Ковалева на лицах печать тревоги. Время тянется мучительно долго. Наконец в землянку спускается всеведущий разведчик.

— Ну что? Кто? — спрашивает Ковалев.

— Да недостоверно,— мямлит разведчик, отводя глаза от Колыхаева.

Но Колыхаев каким-то таинственным образом прочитал правду на отвернутом в сторону лице разведчика.

— Стародубец? — почти шепотом спрашивает Колыхаев.

— Он,— со вздохом отвечает разведчик.

— И сильно?

— Здорово.

Колыхаев бледнеет, и мне страшно видеть эту как бы пророческую бледность на его грубоватом рыжеусом лице рыбака с Голой Пристани. Стародубец — земляк и кум Колыхаева.

— Помрет? — спрашивает Колыхаев с деланным спокойствием: дескать, мы все здесь, на позициях, под богом ходим — сегодня тебя, завтра меня.— Помрет?

— Не скажу. Может, и вытянет. Хотя... Кто его знает... Доктор...

— А что доктор?

— Доктор ничего...

Колыхаев берется за шапку.

— Надо идтить.— В дверях останавливается.— А кто еще? другой кто?

— Другой канонир Сурин, второй номер.

— А...

Больше ничего не говорит Колыхаев. Ведь Сурин не земляк Колыхаева.

Я иду вместе с Колыхаевым в третью батарею, которая как две капли воды похожа на нашу, только расположена

в другом месте. Возле землянки Стародубца уже стоит бригадный экипаж, привезший доктора. Несколько батарейцев. Они почтительно и молчаливо пропускают Колыхаева в землянку. Задев папахой за бревно нижнего наката, Колыхаев спускается вниз. Я за ним.

На нарах, покрытых, как водится, ельником, лежит Стародубец, которого я еще никогда не видел. У него обыкновенное солдатское лицо, спокойное, но очень бледное, почти белое, как известь. Дневной свет скупо проникает в крошечное окошечко землянки и ложится на опущенные веки Стародубца, отчего они как бы отсвечивают смертельной зеленью. Возле него фельдшер и знакомый бригадный врач, громоздкий, рыжеусый, с вороньими глазами.

Фельдшер, тоже мне знакомый, тот самый, который недавно вкатил мне в лопатку шприц, делая противохолерную прививку, держит в руках таз с окровавленной водой. У его ног на земляном полу валяются вымоченные кровью тряпки. У Стародубца под вздернутой окровавленной гимнастеркой с Георгиевской медалью — туго забинтованный живот. Но уже сквозь бинт проступает кровь. Доктор держит Стародубца за руку и посматривает на свои серебряные часы, раскрытые, как раковина, считает пульс, но, видимо, пульс уже не прощупывается, так как тараканьи брови доктора хмурятся. Несколько человек собирают и увязывают вещи Стародубца: полотенце, мешочек с пайковым сахаром, пачки пайковой махорки, спички, узелок ржаных сухарей, приготовленных Стародубцем для отправки жене и детям в голодный тыл.

Никто не знает, умер уже Стародубец или еще жив.

В дверях — взводный офицер Стародубца, он смотрит на Стародубца умоляющими глазами и тревожно повторяет одно и то же: «Стародубец... Ну, Стародубец...» — словно хочет его разбудить.

Вдруг веки Стародубца вздрагивают и приоткрываются над изумленными зрачками, подернутыми туманом. По губам его под усами, такими же точно, как у нашего Колыхаева, проползает нечто вроде насильственной улыбки. Он узнает своего дружка и земляка Колыхаева и силится что-то сказать. Колыхаев наклоняется над ним.

— Ты что, Стародубец?.. Ранен?

— Вот, Прокоша, видишь сам,— с величайшим трудом выговаривает Стародубец, двигая помертвевшими губами.— Прощай, кум... Пускай там напишут...

Его глаза закрываются.

Потом раненого с величайшей осторожностью и не без труда выносят из землянки наверх, в наклонном положении укладывают в экипаж и в сопровождении фельдшера и доктора увозят на станцию Залесье в госпиталь.

Хоронят Стародубца через два дня. Колыхаев возвращается с похорон голодный, злой и усталый. Он садится, не снимая шинели, на земляные нары, вытирает мокрые усы и говорит:

— Так и так. Нема больше Стародубца. Был, а теперь нема.

Вдруг лицо его искажается, и он кричит сорванным голосом:

— Скажите мне кто-нибудь — кому все это надо? Немцы бьют. Свои бьют. Одно побоище вокруг. И кто ее выдумал, эту войну? Покажите мне этого христопродавца, антихриста! Я из него душу вырву... И когда это убийство кончится?

Потом он молча обедает, молча моет ложку, молча ложится спать. Во сне храпит и стонет. А вечером при свете коптилки диктует мне письмо в город Херсон, на Голую Пристань, жене Стародубца:

«Дорогая Прасковья Никифоровна, проливаю слезы и пишу вам известие, что сего числа и месяца...»

...разрыв собственного бракованного снаряда и смерть Стародубца вызвали у солдат глухое, видимо, долго скрываемое озлобление, смысл которого мне хотя и неясен, но очень меня тревожит. По-моему, в умах этих людей созревает что-то ужасное. Кажется, они верят в антихриста. Дай-то бог. Пошлю на всякий случай это письмо с нарочным, а не по полевой почте. А то не дойдет...

Мне уже, кажется, приходилось писать Вам, что наша батарея левее широкого шоссе, обсаженного очень старыми, даже уже почерневшими березами. Представьте себе, что это и есть то самое историческое шоссе Отечественной войны двенадцатого года, а березы эти кутузовские. По этому Виленскому шоссе, мимо этих самых берез отступала разбитая великая многоязыкая армия Наполеона.

Тогда вся война была на виду. Воины не зарывались в землю и не отыскивали скрытых мест, чтобы спрятать там свои батареи. Пушки стреляли прямой наводкой. Кавалерия красовалась на самых открытых местах, мигая на солнце саблями, пиками, яркими блестящими мундирами. Пехота шла сомкнутым строем и рассыпалась в цепь лишь в крайних случаях, уже дойдя почти вплотную к неприятелю. Артиллерия выезжала на возвышенности и оттуда била по хорошо видной цели без всяких наблюдателей и тем более телефонистов.

Теперь не то. Местность вокруг нас буквально напичкана воинскими частями, артиллерией всех калибров, пулеметными командами, минометами, огнеметами... А если средь бела дня обойти окрестности, то можно подумать, что попал на необитаемый остров: все ушло в землю, все тщательно укрывается и маскируется от хищных биноклей наблюдателей с аэропланов, привозных аэростатов, с верхушек деревьев. Неопытный человек (а то, пожалуй, и опытный) может пройти рядом с батареей и ничего не заметить. Коновязи с лошадьми спрятаны в лесных чащах. Пехота сидит в глубоких узких окопах, огражденная кольями проволочных заграждений, закиданных ельником, так что и не заметишь. Земля изрезана замаскированными ходами сообщения, извилистыми, ломаными, мудреными. Артиллерия таится на обратных склонах холмов, заставлена целым лесом срубленных елей, так что нащупать ее очень трудно. Почти невозможно. Но именно что почти. А «почти» на войне не считается.

Зато ночью все вокруг преображается. Откуда ни возьмись на дорогах появляются пехотные колонны, едут кухни, пулеметы, обозные и санитарные повозки, пароконные двуколки, передвигаются артиллерийские батареи.

Солдаты в сером, походном, защитном. Их массы. Они похожи один на другого. Даже лица их кажутся одинаковыми. Движение всю ночь.

Но при первых лучах зари местность как по мановению волшебного жезла опять превращается в необитаемый остров.

На шоссе, сравнительно недалеко от нашей батареи, местечно Сморгонь. Может быть, это даже не местечко, а город. Полулитовский-полубелорусский, место тоже историческое. Через Сморгонь, бросив армию, в двенадцатом году зимой, на легких саночках, в собольей шапке бежал Наполеон со взводом своих гусар.

Отступая из Восточной Пруссии, наша теперешняя армия дошла до Сморгони и здесь остановилась, прочно остановив наступление немцев. Здесь пролегает линия нашего Западного фронта, а мы просто называем это «у нас под Сморгонью». Ваш *А. П.*».

Следующее письмо:

«9-III-16 г. Действ. армия...»

Я никогда не забывал украшать свои письма этой пометкой, еще тогда не потерявшей для меня свой особый смысл: она являлась доказательством моей причастности к великому событию неправой войны и, быть может, русской военной славы.

Ах как я был наивен!

«Дорогая Миньона! Опять передвижение. Из резерва мы перешли на позицию. Ввиду того что окопы и земляные сооружения оказались в неисправности, всю боевую часть отправили с шанцевым инструментом, то есть с лопатами, кирками, топорами и пилами, вперед, с тем чтобы мы поскорее исправили дефекты.

В два часа дня мы вышли. Представьте себе мокрый мартовский день, непролазную грязь, в полях едва-едва еще зазеленевшие озимые, а в сосновых лесах зеркальные лужи.

Если желаете увидеть меня о натюрель, извольте: грязная-прегрязная папаха (даже не верится, что некогда она была девственно белая), мешковатая шинель, тяжелый револьвер в потертой кобуре, малиново-красный револьверный шнур на шее, бебут на поясе, через плечо — противогаз, да еще к тому же на ручке бебута (нашего большого артиллерийского кинжала) в черных ножнах с медным шариком на конце болтается кружка, сделанная из пустой консервной банки, а за голенищем правого сапога деревянная ложка, порядочно уже облезлая и обкусанная.

Чем Вам не настоящий фронтовой солдат?

Шагаем прямо по четвертьаршинной грязи. Я повыше забираю и заворачиваю полы шинели, отчего делаюсь похож на страуса или в крайнем случае на кургузого аиста.

Весенний ветер задувает в ресницы.

Идет нас человек пятьдесят. Поручик Тесленко верхом на лошади провожает нас примерно версту, а потом поворачивает назад. Он, видно, устал: маленькое, пестрое, простонародное личико, как бы немного примятое, с припухшими от бессонницы глазами, лошадь — по брюхо забрызганная грязью. Вид совсем не воинственный. А ведь он герой. Человек очень храбрый. Почти легендарный. Солдаты про него даже песню сложили, как я Вам уже, кажется, писал.

Справа и слева слышны звуки каких-то боевых действий. Пулеметы не смолкают. Орудийные очереди. Отдаленные, слышные крики «ура». Но нас это пока не касается.

На следующий день после переселения на вновь отремонтированную позицию наша батарея ведет огонь по закрытым целям. Впервые меня ставят наводчиком, и я, наведя орудие, выпускаю три снаряда. Телефонист, высунувшись из своего окопчика, сообщает, что мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте несколько убитых.

Ночью внезапная тревога: «Батарея, к бою!» Опять стрельба. Стреляем много, часто, очередями, торопясь. Оказывается, мы отбили ночную атаку немцев.

Чувствую себя прекрасно. Даже не очень одиноко. Огрубел. Ругаюсь нецензурно и курю махорку. Зато поздоровел. Колю дрова. Хожу по воду. Да! Во время ночной тревоги впопыхах надел правый сапог на левую ногу, а левый на правую. Так и провел возле орудия весь бой.

Солдатский телеграф сообщает, что ожидаются большие события. Молитесь за Россию, которая, не жалея сил и крови своих сынов, оттягивает немецкие корпуса с запада, с французского фронта из-под Вердена. Спасаем Париж!

Получил Ваше письмо. Спасибо. Оно согрело меня, а это очень кстати: в землянке сыро, холодно, со стен течет, спать можно лишь согнувшись, да, кроме того, единственное стеклышко окна разбилось от звуков стрельбы, и теперь сидим в темноте, так как пришлось заделать дыру доской. Пишу кое-как. Дорогая Миньона, в Вашем письме поразительно верно сказано о моей теперешней и прежней жизни. Именно такое сознание и у меня: что-то навеки потеряно. Вспомнил, что еще прошлым летом, в прошлой жизни, нацарапал стишки, которые вдруг вспомнил:

«Перед вечером дорожки покропил июльский дождик, застучали тихо капли мелкой дрожью по асфальту. Перед вечером над книгой я задумался в качалке. Сонно, сумеречно, грустно было в комнатах прохладных. Я о чем-то светлом думал, я о ком-то дальнем думал, и с востока незаметно подошел душистый вечер, нежно пахло маттиолой. Дождь прошел. И небо в звездах черным зеркалом казалось, отражавшим душный город разноцветными огнями, а в раскрытое окошко, прилетев на свет из сада, мотыльки кружились плавно над зеленым абажуром».

Тогда я, каюсь, был немного в Вас влюблен. Помните мое идиотское объяснение в любви у Вас на балконе осенью? Но почему же «я о ком-то дальнем думал»?

А славное все-таки было время. Но его уже никогда не вернешь. А сейчас у меня радость: выдали сахар. Пишите же. *А. П.*».

По этому письму я мог заключить, что кроме того, что я продолжал попытки втянуть Миньону в любовную переписку, меня уже обмундировали, как полагалось по уставу (кроме папахи). И уже перестал быть волонтером-охотником в духе толстовского Оленина из «Казаков», а приобрел вид Грушницкого из «Героя нашего времени». Мне наконец выдали отличную, по-артиллеристски длинную шинель с черными петлицами, обведенными красным кантом. Мне повезло. Незадолго до моего прибытия в бригаду, осенью 1915 года, как раз где-то в районе станции Залесье или, может быть, Молодечно состоялся высочайший смотр войск Западного фронта, куда входила 64-я артиллерийская бригада. Для царского смотра солдатам выдали новые шинели, пошитые из сукна высшего качества, хотя и солдатского, так называемого гвардейского. В цейхгаузе осталось несколько таких шинелей, и мне досталась именно такая шинель с суконными погонами, на которых масляными красками по трафарету была изображена цифра 64 и над ней две скрещенные пушки; слой краски был такой толстый, что даже, высохнув, потрескался, придавая новой «смотровой» шинели вид как бы уже побывавшей в боях.

Подобные шинели солдатского гвардейского сукна без пуговиц, а на крючках были очень в моде, и их носили по примеру государя императора почти все не только обер-, но также штаб-офицеры и генералы-фронтовики, щеголяя

своим солдатством. Шинели были так скроены, что грудь их, застегнутая на невидимые крючки, казалась особенно красиво выпуклой.

Таким образом, моя меховая куртка была отменена, а желтый офицерский пояс заменен черным солдатским с медной бляхой, украшенной все теми же двумя скрещенными пушками. Белую романтическую папаху, ставшую довольно грязной, оставил до весны, до перехода на летнюю форму одежды. Юфтевые сапоги оставил тоже, хотя они имели неположенные ремешки на голенищах.

Я принял наконец вполне пристойный вид настоящего скромного артиллериста-фронтовика, вольноопределяющегося, солдатские погоны которого в портняжной команде бригады обшили черно-желтым шнурком, что соответствовало моему первому разряду. Выдали мне также бязевое исподнее с черными штемпелями воинской части — кальсоны с одной оловянной пуговицей и нижнюю рубаху с тесемками на вороте.

Что же теперь осталось от прошлого? Разве только киевский крестик на тонкой серебряной цепочке, который болтался на моей худой, еще мальчишеской шее, да рядом с ним ладанка, маленький холщовый мешочек с зашитым в нем зубком выветрившегося чеснока,— общепринятое средство от скарлатины. Домашнее мое исподнее белье пришло в ветхость. В сущности, от него остался лишь клочок кальсон с двумя оловянными пуговичками, обшитыми полотном, с дырочками, смотревшими, как детские глазки. Ноги мои в вечно сырых нитяных карпетках болтались в сапогах и всегда мерзли и натирались. Теперь же по милости фельдфебеля Ткаченко, тонкого политика, мне выдали особенно редко кому попадавшиеся портянки, но не полотняные, а суконные, обширные. Научившись обматывать ими ноги, что оказалось весьма непростой наукой, я вбил ноги в сапоги и сразу почувствовал себя человеком: ноги уже не мерзли, были в тепле, не болтались в сапогах, а угрелись, как малютки, укутанные в шерстяные одеяльца.

Хорошо было бы еще надеть на сапоги шпоры, но, увы, шпоры полагались только фейерверкерам, а до фейерверкерских нашивок следовало еще дослужиться. А пока что я был по званию всего лишь рядовой, называвшийся в артиллерии канониром. Меня утешало, что «канонир» зву-

чало гораздо эффектнее, а главное, непонятнее, чем серое слово «рядовой». Штатские люди даже могли посчитать канонира кем-то вроде офицера. Но с точки зрения старых солдат, канонир был всего лишь самым младшим солдатским званием, как говорилось в армии, серая порция.

Я был всего лишь серой порцией, и это печально.

Мой чемодан, набитый сахаром, папиросами, печеньем «эйнем» и множеством всякой домашней чепухи, по мнению тети и папы, необходимой для фронтовой жизни, скоро заметно отощал, сахар съеден, папиросы выкурены, глицериновое мыло смылилось, бумага исписалась.

Теперь я зависел исключительно от солдатского пайка и от посылок из дому. Паек был хороший, артиллерийский, но сахара никогда не хватало. Дома я привык потреблять много сахара, бросал в стакан чая по два или три куска, то есть по солдатским понятиям пил чай внакладку (неслыханная роскошь), так что за один день выходило кусков пятнадцать, половина месячной порции. А потом сидел на бобах и пил чай без сахара. Никто из солдат не пил чай внакладку. Это почиталось величайшим, непростительным барством, офицерской, дворянской привилегией.

Солдаты пили чай вприкуску, держа в зубах крошечный осколок рафинада, которого хватало на несколько кружек и даже иногда остававшегося на потом, до следующего чаепития. Большинство же пили чай даже не вприкуску, а вприглядку, то есть только смотря на кусочек сахара, а свой сахарный паек копили в холщовых мешочках, с тем чтобы при первой оказии послать домой, где сахар с каждым днем дорожал и вообще считался недоступной роскошью.

Когда я бултыхал в кружку большой кусок колотого рафинада, мои товарищи по орудию многозначительно переглядывались не то с осуждением, не то с восхищением: вот, мол, хоть и простой канонир, хоть и вольноопределяющийся, а позволяет себе вроде офицера. Ничего не поделаешь, как-никак барин, привык пить чай внакладку.

«Ну, конечно, когда, даст бог, выйдет из вольноперов в прапорщики, тогда заживет!»

Несмотря на все мои попытки внушить товарищам-батарейцам, что я живу на солдатском положении из сооб-

ражений высокого патриотизма, желая разделить с простым народом все тяготы войны, солдаты меня хотя и не опровергали, но про себя знали, что «их Саша» тянется в прапорщики и скоро дотянется, так как имеет сильную руку в лице генеральской дочки.

А в общем, орудийцы, присмотревшись ко мне, приняли меня за своего и даже научили хорошо колоть дрова — вещь не простая.

«Я научился ровно и глубоко всаживать топор в сосновый чурбачок, поставленный на попа. Не без усилия вскидывал этот чурбачок вместе с топором вверх, поворачивал над головой и с силой обрушивал на землю, причем чурбачок разваливался пополам, и я лихо колол его половинки на отдельные поленья, так замечательно пахнущие скипидаром. При этом в крепком морозном воздухе раздавался музыкальный звук лопающегося дерева. Я и белье научился стирать казенным казанским мылом, серым с синими прожилками, так что и синьки не требовалось...»

(Я, извините за грубость, бегал до ветру и, сидя довольно далеко от батарейной линейки над очком специально отрытого нужника, кряхтя и по-солдатски повесив на шею ремень, отчаянно боялся, что именно сейчас начнется обстрел, налетит немецкий снаряд и я буду убит при столь постыдных обстоятельствах. Так что, едва справив нужду, я поскорее возвращался, застегиваясь на бегу, при общем добродушном смехе батарейцев...)

«16-III-16 г. Действ. армия. Милая Миньона! 14 марта батарея говела. Возле козырька, под которым стоит первое орудие, устроили нечто вроде иконостаса из срубленных елочек и установили походный алтарь. Расчистили площадку и посыпали ее песком. Утрамбовали. Над орудием арка из хвойных веток и над ней буквы, сплетенные тоже из хвои: Б. Ц. Х. (Боже царя храни.) Ранним утром нас вызвали из землянок в «церковь».

Очень пасмурный, дождливый, пронзительно-холодный день. Вокруг непроницаемый туман. Дождь пополам со снегом и ледяной крупой, которая бьет по лицам и спинам. На площадке толпа серых шинелей, потемневших от дождя. Вхожу в эту толпу; стоим лицом к хвойной арке, откуда, из-под козырька орудия, доносится голос бригадного священника. Он громко читает молитву. После этого

мы по очереди подходим к походному окладному алтарю: высокие козлы с брезентовым верхом, где лежит Евангелие. Видно, как священник, в теплой рясе с каким-то военным орденом, взмахивает епитрахилью, накрывает чью-то стриженую солдатскую голову, кладет на нее крестное знамение и наскоро бормочет невнятную формулу отпущения грехов, в которой улавливаю только «да простит господь бог». Склоненная голова без головного убора поднимается, рука крестит лоб, и фигура в мокрой шинели, согнувшись, отходит в сторону, давая место другой мокрой фигуре.

Собственно, исповеди никакой нет. Одна формальность. Все делается быстро, по-походному. Вот тебе и отпущение грехов. А каких, собственно, грехов? Какие грехи у солдат?

По окончании исповеди минут через пятнадцать краткая речь священника отца Аркадия и сейчас же без промедления причастие, совершающееся так же быстро, автоматически, как и исповедь.

Три солдата почтенной наружности — два баса и звенящий тенорок — поют нечто великопостное, и от этого пения в душе у меня вдруг начинает звенеть какая-то забытая с детства струна».

...что-то увиделось, как тогда в трамвае... Великопостная синева церковных окон, лампады, стройное тихое пение хора, запах ладана...

«Потягивало ладаном. Солдат, исполняя роль церковного прислужника, машет огнедышащим кадилом. Все причащаются, и я тоже причащаюсь теплым кагором и крошкой белого хлеба, превращенными в тело и кровь Христовы.

Причащаюсь и отхожу в сторону.

И от всего этого у меня осталось впечатление склоненных, коротко остриженных солдатских голов с красными от холода ушами, на мочках которых висят капельки дождя, как сережки.

Вокруг уже не моросящий, а проливной дождь, и скука в землянке, и чувство неловкости и даже стыда от этой евхаристии перед орудием, украшенным хвойными гирляндами.

Вспомните же дождливый день в конце некоего августа на даче, срывающий все планы на свиданье в садовой беседке!

Наш бревенчатый потолок как нарочно протекает над моей головой. А назавтра — вдруг! — солнечный день без единого облачка. Нет, Миньона, Вы только представьте себе: настоящая русская северная весна, словно бы картина из «Снегурочки». Звенят жаворонки. Кричат вороны. Все вокруг ослепительно блестит: лепечут бриллиантовые ручьи, ключи, речки, сияют озера. Из каждой лужи бьет в глаза солнце. В каждом солдатском зрачке — весна. Даже колесо белорусского колодца, из которого я набираю в ведро воду, скрипит и поет, как свирель Леля.

Господи, как прекрасен мир, а мы...

Если бы мне пришлось нынче умереть, я, пожалуй, пожалел бы о своей жизни, о молодости, о любви.

Неприятельские аэропланы, перестрелка, озера небесного цвета. Война!

Кто же все это смешал воедино, какой антихрист?

Ваш *А. П.*».

А вот следующее письмо:

«11 мая 1916 г. Действ. армия. Пожалуйста, пришлите мне свою фотографическую карточку...»

Однако в чем дело? Почему такой длинный перерыв в переписке? Ах да! Я все-таки добился, конечно не без содействия Миньоны, командировки и провел пасхальную неделю в тылу, в родном городе, дома.

Об этой пасхальной неделе у меня сохранились самые смутные воспоминания, хотя осталось общее представление, что именно в этот короткий период в моей душе произошел какой-то странный поворот, а телесно я превратился из юноши, почти мальчика в молодого мужчину, и этому возмужанию содействовало все вместе: и яркая южная весна, и пасхальная неделя, которую я провел совсем не так, как предполагал, а главное, то ощущение причастия, которое я принял еще на страстной неделе в действующей армии перед походным алтарем, поставленным возле орудия смерти, на батарее, с непокрытой, коротко остриженной головой, мокрой от дождя пополам с мартовским снегом.

Меня не покидал серебряный и винный вкус причастия, которое торопливо сунул мне глубоко в рот бригадный священник. Впервые в жизни я не испытал таинственного

страха, восторга и умиления, принимая святую частицу тела Христова и каплю теплой его крови. Я как бы почувствовал в тот миг, что это мое последнее причастие и отрешение от церкви. Я еще не сознавал, что со мной случилось нечто непоправимое: потеря веры. Веры уже не было. Ее убила война. А церковь еще продолжала меня волновать всеми соблазнами пасхальной заутрени, бумажными цветами, кострами свечей, перевитых тончайшими сусальными парчовыми и глазетовыми ризами священнослужителей, резкими восклицаниями хора, восторгом воскресения того, кто, «смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...».

Не знаю, даровал ли он живот, то есть жизнь, мертвому Стародубцу и тем солдатам, которые тогда ночью лежали на снегу в лужах крови...

В эту пасхальную ночь я отбросил все мучительные мысли. Судьба несла меня куда-то, не спрашивая, хочу я этого или не хочу. Все сделалось вопреки моим намерениям.

...бренча неположенными мне по званию шпорами, купленными в галантерейном магазине, подтянутый, без шинели, впервые в жизни побрившийся в парикмахерской, где меня щедро обрызгали цветочным одеколоном, я окунулся в теплую мглу южной пасхальной ночи, озаренную огнями плошек, свечей, бумажных и стеклянных трехцветных коронационных фонариков, которые все же не могли затмить созвездий, висевших над городом. Созвездия как бы колыхались от слитого колокольного звона, гудевшего над крышами и ходившего тяжелыми волнами.

Не помню уже, каким образом, но я очутился в кладбищенской церкви за Привозом, среди толпы празднично разодетых мещан, христосующихся друг с другом. Незнакомая, не слишком юная девица с наркотическими глазами, прижатая ко мне толпой, сказала:

— Христос воскресе, солдатик!

Мы трижды поцеловались, и ее напомаженный рот оставил на моем лице неизгладимые следы.

Под ее праздничной кофточкой трещал корсет всеми своими пластинками китового уса, и матерчатая роза уже вываливалась из прически а-ля Вяльцева. На ее грубо нарумяненной щеке рядом с несколькими точками не-

выдавленных угрей была прилеплена модная в то время мушка. Модница, подумал я, и мы, пробиваясь сквозь толпу, выбрались из храма на свежий воздух, под звезды, и она, крепко взяв меня за руку своей грубоватой рабочей рукой, повела в глубину кладбища, отыскивая глазами подходящее местечко, которое было не так легко найти: всюду сидели и лежали парочки. На некоторых могилах горели свечки. Под ногами хрустела скорлупа пасхальных крашенок.

Мы быстро добрались до кладбищенской стены, где в конце кладбища уже начали хоронить погибших на фронте военных летчиков, ставя на их свежих могилах вместо обычных крестов скрещенные пропеллеры. Здесь было глухо, безлюдно, черно и пахло фиалками.

Мы разговелись салом, крупными крашеными яйцами и несладким куличом в ее маленькой комнатке, оклеенной цветными картинками из пасхальных номеров иллюстрированных журналов.

Пасхальная командировка, на которую я возлагал столько надежд, обманула меня. С Ганзей я не увиделся, так как она уехала на праздники в деревню, в имение ее отца. Миньона выздоравливала после инфлюэнцы и ходила закутанная в оренбургский платок. Дома тоже было неладно. Тетя переехала в Полтаву. Отец постарел. Жильцы, которых пустили в свободные комнаты, не платили денег.

Казалось, что все в мире разладилось...

«Простите, что до сих пор не писал Вам. Мне нет оправдания. Почему не писал? Сам не знаю. Просто так. Никому не писал. О том, как я доехал до позиций, можете судить по стишку, приложенному к этому письму. У Вашего отца я был. Он обошелся со мной очень приветливо, и меня удивляет, почему, Миньона, Вы всегда рисуете его этакой грозой всех Ваших поклонников. Ничего подобного! Если же это так, то я исключение. Он поинтересовался, как я провел в тылу пасхальную неделю, беспокоился о Вашем здоровье, спросил, почему я до сих пор не произведен в бомбардиры, и даже поинтересовался, прислали ли мне на станцию лошадей. Он расспрашивал обо всех молодых людях, бывающих у Вас в доме, в частности припомнил

верного рыцаря Вашей старшей сестрицы, небезызвестного красавца студента. Ох, чувствую я, что скоро Ваша старшая сестрица сделается мадам Ольшевской.

В батарее у нас нового мало. Все по-прежнему, если не считать, что перестроены окопы, блиндажи и землянки. Стоим на прежней позиции. Чего-то ждем. Зеленеют березы. Вечера стоят тихие, розовые, какие-то необычайно чуткие. Появились майские жуки, которые поют в воздухе, как виолончельные струны. В полях какие-то простенькие цветочки: желтые, розовые, белые, голубые. В лесу есть фиалки, но они почти не пахнут, а так, лишь чуть-чуть. Раскручивается молодой папоротник. Вероятно, скоро будут ландыши, уже предчувствуешь их тонкий водянистый запах. А потом пойдут и грибы. По крайней мере, в темных глубинах леса появился грибной дух.

В городе Сморгони, который от нас в сторону неприятеля за две с половиной версты, вокруг разбитых домов, среди развалин буйно цветут сирень, конские каштаны.

Пользуясь сравнительным затишьем, я часто хожу в Сморгонь.

Эти путешествия связаны с некоторой опасностью, но так жутко интересно. Город разбит вдребезги. Повсюду из груды мусора и обгорелых балок выглядывают где уцелевшая стена с обоями, где высокая кирпичная труба. Тишина вокруг поразительная. Тишина небытия. А сады благоухают так, что с ума можно сойти. Одурманивают. Развалины заросли бурьяном. Жутко бродить по изломанным деревянным тротуарам. Город небольшой, захолустный. Идешь мимо какого-нибудь провинциального особнячка с дырами вместо окон, заглянешь в палисадник, где как ни в чем не бывало разбушевались сирень и жимолость, и живо представляешь себе, как в этом самом палисадничке еще совсем недавно, в мирное время, мечтала какая-нибудь барышня литовочка или белоруска с косами белыми, как лен. Может быть, даже и целовалась с каким-нибудь студентом, приехавшим сюда на летние каникулы, или с юнкером местного сморгонского юнкерского училища, так называемым шморгонцем.

...наломаешь себе огромный-преогромный букетище сирени всех оттенков синего, лилового, розового цветов — и по глубокому ходу сообщения тащишь его домой, на батарею.

Вокруг леса, сосновые — синеватые, березовые и оль-

ховые — янтарно-зеленые против солнца. А вечер розовый. Идешь — и в сердце грусть оттого, что некому бросить в окно этот роскошный букет сирени. Понимаете, как это печально, что н е к о м у?

Вспоминается детство, когда я крал в чужих садах сирень и, ужасно смущенный, носил ее черноволосой девочке Тане, прилежно учившей уроки под окном, поглядывая на меня, стоящего возле дома с большой рогатой веткой краденой персидской сирени в руке.

Одиноко!

Придешь домой на батарею. Уже темнеет. Вокруг заброшенные поля. Давно уже не кошенные жита и овсы. В родной землянке товарищи мои, орудийцы. Наберешь в бак для каши воды, поставишь в него букет, сидишь на нарах и нюхаешь. Какой чудесный запах сирени! Немножко горький, миндальный, неповторимый.

А сколько этот запах вызывает воспоминаний!»

Описывая свое хождение за сиренью, я почему-то умолчал о главном. О том впечатлении, которое произвел на меня полуразрушенный костел. Проваленная черепичная кровля на трубах поверженного органа, разломанная раковина кропильницы, остатки раскрашенного деревянного распятия, опрокинутая кафедра — все это лежало на полу среди каменного мусора, покрытое остатками стрельчатых готических окон, напоминающих рыбьи кости.

Я стоял по колено в мусоре, среди подавляющей тишины этих руин, тишины, быть может, еще более оглушающей, чем взрывавшиеся здесь фугасы.

Казалось, отсюда было изгнано все живое, и все-таки из трещин уже пробивалась какая-то растительность, скользнула ящерица. Дух божий продолжал присутствовать здесь, ограниченный с четырех сторон остатками готических колонн.

Прижимая к груди букет сирени, я сел на камень и как бы слился всем моим существом с могущественной тишиной разрушенного храма, тягостной, как обвинительный приговор, вынесенный не кому-нибудь другому, а именно мне. Я был обвиняемый. Моя вина была огромна и доказана. Я признавал свою вину, еще не понимая, в

чем она заключается. Я только смутно подозревал: неужели судьба выбрала именно меня стать последней каплей безумия, охватившего мир?

Это я, мальчишка, второгодник, бездельник, молил у судьбы бурю. Это передо мной тянулась бесконечная, как загробная жизнь, безлюдная, раскаленная улица, и я требовал у бога войны. Неспособный к созиданию, я стал разрушителем.

Теперь все в мире по моему хотению рушилось, как обрушились эти готические своды, на обломках которых валялось раскрашенное распятие с ярко-красным сердцем, нарисованным на грудной клетке распятого.

Не я ли убил христа? Не я ли был от рождения антихристом?

Эта догадка привела меня в ужас, который вспыхнул, как взрыв, и, не успев меня испепелить, вдруг погас и был мгновенно забыт, как слишком мучительное сновидение.

Что-то приснилось угнетающее, чего уже невозможно было вспомнить, проснувшись. Может быть, меня постигло мгновенное умопомешательство, умоисступление?..

«Был у нас бой. Несколько раз батарея попадала в такой переплет, что господи упаси! Например, немец бил по батарее шестидюймовыми бризантными и фугасными снарядами. Я сто раз умирал и сто раз воскресал. После обстрела вся площадь батареи оказалась изрытой, исковерканной, перепаханной, засыпанной кучами сырой земли. Ни одного живого места! Снаряды рвались за четыре-пять шагов от нашей землянки. И самое удивительное, что ни одного человека не только не убило, но даже не оцарапало.

В землянку телефонистов угодил снаряд — только щепки вверх полетели, оставив лишь глубокую яму, но, представьте себе, в землянке, на счастье, не оказалось ни одного человека: все были «в гостях» в первом взводе у земляков, которые только что получили посылку из дома и угощали их нежнейшим домашним свиным салом, завернутым в хустку.

Осколок от первого же снаряда, налетевшего внезапно, пока я еще не успел укрыться в блиндаж, попал в меня, но так как снаряд разорвался далеко, тупой осколок был на излете и просто стукнул, как камень. Даже не разорвал гимнастерку. Только синяк. Кровь, к сожалению, не

пошла, а то подумайте — ранен и остался в строю. Верный Георгиевский крест! Досадно.

А бомбардира мне до сих пор не дают. Пустяки. А в команду связи телефонистом не назначают. Это уже не пустяки, это штуки Тесленко, который, кажется, меня почему-то невзлюбил.

Сегодня описывать наш батарейный быт не хочется.

Ходят слухи, что командиром нашей батареи назначается капитан Де Спиллер, а поручику Тесленко дают штабс-капитана и оставляют старшим офицером. Пожалуйста, напишите, знаете ли Вы Де Спиллера, и если знаете, то сообщите, что это за человек? Каков у него характер? И вообще...

Ради бога, пишите. Мне никто не пишет. Все меня забыли.

«Чем дальше от юга и моря, тем в сердце спокойней и проще, тем в сердце спокойней и проще и сердце полно тишиной. В открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землей... Заря занималась сквозь слезы, туманы скользили по елям, и пели в садах станционных, в росистых садах соловьи...»

Не сердитесь на эти дилетантские стишки, где смешались две пасхальные поездки: с фронта в тыл и из тыла на фронт. Я ведь ни на что не претендую. Но они посвящаются Вам. Вы же знаете, что я Вас люблю».

И тут я соврал.

«Нет, не тебя так пылко я люблю...»

«На одной станции на рассвете я увидел на платформе две фигуры, стоящие под высоким деревом с шапками вороньих гнезд. Это была курсистка в маленькой шапочке пирожком и рядом с ней студент с длинными семинарскими волосами из-под фуражки.

Около них виднелся жалкий багаж: баульчик, плед с подушками, затянутыми двумя ремнями с деревянной ручкой, стопка книг. Кто они? Куда едут? Что ждет их в жизни? Брат и сестра? Жених и невеста? Я увидел их заспанные счастливые лица, чуть тронутые приливающим светом весенней зари, такие милые, такие русские, такие провинциальные.

Но паровик свистнул, эхо полетело куда-то в лесную даль, и эта жанровая картинка, как бы специально написанная художником-передвижником для весенней выставки, поехала назад и скрылась навсегда, оставив в сердце чувство умиления и странной горечи.

Извините за лирические отступления. Ваш А. П.».

И вот опять начались мучительные приливы неразделенной любви. Как же это все-таки случилось? — в сотый раз задавал я себе праздный вопрос. Ну, ходили за фиалками. Ну, когда она сняла шапочку, коса раскрутилась, рассыпалась, и на ее незаметное лицо упали волосы с золотистыми кончиками... Ну, потом я стал подниматься к себе на четвертый этаж, машинально считая ступеньки, что сохранилось у меня с детства, так же как привычка переступать через тени деревьев: между первым и вторым этажами было сорок четыре ступеньки, а между остальными по сорок пять. Лестничный марш с четным количеством ступенек считался счастливым, а с нечетным — несчастливым. Но в тот вечер все лестничные марши казались мне счастливыми потому, что меня как бы незримо сопровождала Ганзя или, во всяком случае, ее душа, в то время как она сама, ее телесная оболочка осталась внизу пить чай у Калерии и Вольдемара.

Не зажигая огня и не снимая шинели, я распахнул окно в своей крошечной отдельной комнатке и боком сел на подоконник. С моря дул ровный ветер, и казалось, что звезды дрожат не то от этого ветра, не то от весенней сырости.

Я перегнулся вниз до тьмы черного двора, куда падал свет из окон первого этажа, где в данное время находилась Ганзя и, вероятно, пила чай вместе с Калерией и Вольдемаром. У меня закружилась голова, плечи дрожали, я боялся упасть вниз с четвертого этажа. Я еще не вполне оправился после скарлатины, которой переболел зимой, и поход за фиалками был первой длительной прогулкой после выздоровления.

Красивую, но носатую Калерию я отверг, а с ее братом Вольдемаром сблизился.

Вольдемару уже пошел двадцатый год, и он казался мне вполне взрослым мужчиной, чуть ли не пожилым человеком с черными усиками и небольшими, косо подбритыми бачками, хотя, в сущности, он был таким же гимназистом, как я сам. Он учился туго, часто оставался

на второй год, хотя был усидчив, педантичен и старателен.

В его высоком, как бы сломанном голосе, стройной, несколько старообразной фигуре, волосатых руках, в правильном красивом лице и тщательной прическе было что-то, как мне тогда казалось, приказчичье.

...Такие молодые люди обыкновенно играют на мандолинах...

У него был высокий тенор неудачника, и когда он пел своим надорванным фальцетом романсы, то непременно на самой высокой ноте или срывался, или до того вытягивал шею, будто хотел дотянуться прической до потолка. И когда Вольдемар пел для гостей под аккомпанемент сидящей за пианино Калерии, я испытывал за него чувство неловкости.

Кроме того, будучи в душе натурой артистической, Вольдемар считал себя художником и писал масляными красками разные картинки, злоупотребляя черной краской в неразбавленном виде. Когда же я говорил ему, что чисто черного цвета в природе, а особенно в живописи, вообще не существует, то он мне снисходительно, как старший младшему, улыбался и, показывая на свои гимназические брюки, говорил своим высоким тенором:

— А брюки, по-вашему, какого цвета?

И был уверен, что прав и остроумен.

Рисовал он — именно рисовал красками, а не писал — главным образом портреты вымышленных красавиц или пароходов в открытом море, очень тщательно вырисовывая в женских портретах черные прически, брови и глаза, а в пароходах — мачты, спасательные круги, снасти, шлюпбалки, иллюминаторы и клубы очень черного дыма, выходящего из наклонных труб. На спасательных кругах особо тонкой кисточкой он выводил славянской вязью название парохода: «Русь», «Варяг» или что-нибудь вроде этого, патриотическое,— а также изображал бело-сине-красный кормовой флаг, как бы желая еще больше подчеркнуть свой патриотизм.

Волны у Вольдемара на картинках всегда выходили светло-зелеными, зубчатыми, с зигзагами пены — в духе Айвазовского.

Пароходы и море изображал он с таким знанием дела потому, что отец его плавал на пароходах Добровольного флота старшим механиком, и я иногда видел его во дворе,

по которому он проходил, отправляясь в рейс, в черной военной фуражке с белыми кантами, по-нахимовски надвинутой на затылок, в короткой, как бы горбатой, тоже нахимовской шинели, держа в руке загадочный ящичек палисандрового дерева, содержащий в себе какой-то драгоценный прибор особой точности.

Вольдемар до страсти любил сниматься и дарил свои фотографии знакомым с цитатами из Кольцова или Апухтина. Снимался он на Дерибасовской улице в «Электрофотографии» и всегда в разных позах, но с одинаковым выражением красивого лица. Несмотря на нашу видимую дружбу, я и Вольдемар никак не могли сойтись на «ты» и говорили друг другу «вы», в чем заключалось нечто тайно-враждебное.

Калерия сразу же поняла, что сделала непростительную ошибку, затеяв глупейшую прогулку за фиалками и познакомив меня с Ганзей. Ей стало ясно, что я потерян для нее навсегда.

Случилось то, что не могло не случиться.

Как только Ганзя стала перечесываться и Калерия посмотрела на меня, она поняла все даже раньше, чем понял это я. Слезы покатились по ее прелестным щекам и по крыльям большого носа.

Но уже было поздно и ничего нельзя было поправить.

...Я сидел на подоконнике и упорно думал о Ганзе. Она уже полностью овладела моей душой. Почему? Кто на это ответит? Быть может, это самая великая тайна жизни.

Мне представлялось, что я нахожусь на пороге прекрасной, небывалой любви. У меня на душе было так чисто, ясно, просто, я не сомневался, что стоило бы Ганзе приглядеться ко мне, узнать меня поближе, то она сразу бы полюбила меня, потому что я особенный, я почему-то ни на миг не сомневался.

Эта уверенность была во мне так крепка и естественна, если можно выразиться — так врожденна, что я не только не пытался ее объяснить, но даже вряд ли ощущал ее в себе. Она была таинственной предпосылкой моего бытия, нечто как бы дарованное мне какой-то высшей силой.

Впоследствии я понял, что появление мое на свет божий

от меня не зависело, так же как от моей воли не зависело ничто.

Все зависело от случайных обстоятельств. Необъяснимые обстоятельства сделали меня единственным и неповторимым, точно так же как единственным и неповторимым чувствует себя каждый человек, появившийся в мире.

Высшие силы распоряжались моей судьбой. Высшими силами были обстоятельства. Даже любовь явилась следствием не зависящих от меня обстоятельств ранней весны, морского ветра, мигающих звезд, освобожденных из-под котиковой шапочки волос и шпилек, набранных в бесцветные, скорее женские, чем девичьи, губы.

Она все время была рядом с ним невидимкой.

То, что она была почти невестой Вольдемара, не имело для меня никакого значения, потому что я в это не верил, не мог верить. Мне казалось, что я уже давно, с незапамятных времен, знаю и люблю Ганзю, что было бы странно, если б я не любил ее, что ее нельзя не любить и я буду ее любить всю жизнь, как бы длинна моя жизнь ни оказалась.

Стало холодно.

Я слез с подоконника и захлопнул окно, в стеклах которого мелькнули и закачались звезды. Я включил электричество, и моя крошечная комнатка с выбеленными стенами, предназначенная, по мысли архитектора, для прислуги, но доставшаяся мне, так как кухарку переселили в кухню, показалась мне такой же особенной, неповторимой, каким был я сам, отгороженный от всего мира.

Я положил локти на жиденький письменный столик рыночной работы с неряшливыми гимназическими учебниками и тощими тетрадками, погладил свой нафиксатуаренный пробор и решил, что новое положение впервые в жизни полюбившего человека обязывает меня завести дневник и подробно описывать в нем все свои чувства. Все так делают. По обстоятельствам всеобщности я уже неоднократно начинал дневник и тут же бросал его за неимением значительных, важных событий жизни, а также за неимением мыслей.

Теперь же со мной случилось не только нечто важное, значительное, но единственное на всю жизнь, и мне захотелось немедленно же выразить то странное душевное состояние, в котором я находился. Я вынул из ящика новенькую, еще скрипучую общую тетрадь в черном клеен-

чатом переплете, купленную специально для домашних работ по алгебре (красный обрез, страницы в клетку), развернул ее слипшиеся листы и на первой странице написал красивым почерком: «Дневник Александра Пчелкина». Затем подумал и написал внизу: «Весна 1914 года».

Подождал, когда чернила высохнут, перевернул страницу и задумался. Только что мне казалось, что повествование о любви с первого взгляда польется само собой, а теперь находился в затруднении, не зная, что же, собственно, нужно писать, с чего начать. Не худо бы, думал я, все, что случилось, изобразить по порядку: сначала как я пришел к Вольдемару и Калерии и вдруг увидел в столовой незнакомую девочку-гимназистку Ганзю, как мы познакомились и как она сказала: «А я вас представляла по описаниям Калерии совсем другим». Потом поход за фиалками и прочее.

Однако в этом не было ничего достойного тех чувств, которые охватили меня. Значит, следовало начать как-то иначе. Но как? Начну просто, подумал я,— я полюбил, а потом уж пойдет все само собою: как? почему? когда?

Я тер голову руками, но так ничего и не мог придумать, потому что на самом деле писать было не о чем.

Я старался сосредоточиться, силился представить себе Ганзю, описать ее возможно подробнее, объяснить, почему я ее полюбил, а вместо этого мне представлялась желтая полоса зари за каким-то цветоводством, бегущие трамвайные столбы, деревья, Калерия в касторовой форменной шляпе, весело рассказывающая про какую-то гимназическую подругу, толстую дурочку, перепутавшую что-то на уроке естественной истории и не умевшую сказать, что на что падает — рыльце на пыльцу или пыльца на рыльце...

Я встал со стула, прошелся по комнатке, отделявшей меня от всего громадного мира, подошел вплотную к оконному стеклу, отразившему мой нос и блестящие пуговицы моей черной гимназической куртки, возвратился к столу, снял пальцами с пера волосок, вытер испачканные чернилами пальцы о брюки и написал:

«Я полюбил...»

Поставил многоточие и больше уже ничего не мог придумать. Так и осталась на всю жизнь эта единственная недописанная строчка...

«15-V-16 г. Действующая армия. Милая Миньона. Вы, кажется, интересуетесь нашим бытом? Извольте.

Вообразите себе, что у нас на батарее нечто вроде «мобилизации промышленности», как сейчас любят писать газеты. Возле четвертого орудия открылся ложечный завод. У нас на фронте это не ново. Солдаты — народ сообразительный, привыкли применяться к обстановке и местности. Извлекают пользу из чего только можно. Теперь у нас, солдат-батарейцев, не встретишь традиционной деревянной ложки. Теперь мы все хлебаем борщ алюминиевыми ложками уже не деревенского фасона, вполне городского.

Дело вот в чем.

Дистанционные трубки шрапнели и головки некоторых видов других снарядов изготовляются преимущественно из алюминия. После артиллерийских дуэлей дистанционными трубками и боевыми головками немецких снарядов вокруг нашей позиции усеяна земля.

Предприимчивые батарейцы собирают их, как грибы, затем плавят на огне и отливают в формы. Получаются очень приличные алюминиевые ложки. Место их производства называется в духе времени — «литейный завод».

Теперь представьте себе, милая Миньона, такую картину: среди елочек, маскирующих батарею, возле блиндажа четвертого орудия — куча песка, пылает костер, пахнет горелым, и в песке возятся, как дети, наши солидные, многосемейные батарейцы.

Что же происходит?

В костре стоит стакан стреляного орудийного снаряда, в котором плавится алюминий. В кучке песка копается с засученными рукавами гимнастерки мой друг бомбардир-наводчик, бывший рыбак с Голой Пристани Прокоша Колыхаев. О нем я уже Вам, кажется, писал. Русоусый симпатичный дядька.

Он поглощен работой — весь внимание. Он делает из песка литейную форму. Работа аккуратная, чистая.

Маленький немец-колонист из Малой Акаржи по фамилии Веварт сидит возле костра на корточках и закуривает от уголька цигарку. На его обязанности лежит поддерживать огонь и подбрасывать в костер сухой валежник.

Сибиряк Горбунов колет дрова.

Возле Колыхаева разложено уже штук пять готовых, но еще не отшлифованных алюминиевых ложек. Они еще грубы, пористы, шершавы.

Колыхаев расчищает ровную гладкую площадку, посыпает ее слоем мелкого песочка. Затем берет деревянный ящичек без дна — ящичек от посылки,— набивает его мокрым песком, утрамбовывает своей могучей ладонью, намозоленной еще в мирное время веслами, и вдавливает в песок одну уже вполне готовую и отшлифованную ложку. Потом с величайшей осторожностью он переворачивает ящик и накладывает его вниз вдавленной ложкой на песчаную площадку. Опять трамбует все это литейное сооружение и с такой же осторожностью поднимает ящик. Затем бережно извлекает из мокрого песка ложку, прокладывает круглой палочкой желобок для расплавленного алюминия и опять накладывает одну половину уже пустой формы на другую.

Все это проделывается с чрезвычайно серьезным лицом, с видом собственного достоинства.

Немец-колонист Веварт сует палочку в шрапнельный стакан, где плавится алюминий. Палочка загорается.

— Колыхай, металл уже готов,— говорит Веварт на своем ломаном языке.— Белый, как мильх, как молоко, как сметан.

Колыхаев берет заранее приготовленные две палки, связанные вместе с одного конца телефонным шнуром, ухватывает ими раскаленный стакан.

— А ну тикай, тикай! — кричит он, устремляясь от костра к литейной форме. Палки на глазах обугливаются и дымятся. Колыхаев действует быстро, уверенно, сноровисто. Пока палки еще окончательно не загорелись, Колыхаев наклоняет шрапнельный стакан над формой, и тонкая струйка молочно-белой светящейся жидкости льется в желобок.

Готово!

Батарейцы окружают литейную форму и терпеливо ждут, когда металл остынет и настолько затвердеет, что готовую отлитую ложку можно будет вынуть из формы. Вскоре песок выбивают из ящика, в его сероватой горке поблескивает белая новорожденная ложка. Ее извлекают на свет божий. Она еще горяча, и Колыхаев любовно перебрасывает ее с ладони на ладонь. Полюбовавшись своим изделием, он присоединяет ее к другим еще не отшлифованным ложкам.

В стакан бросают обломки неудачно отлитых ложек, дистанционные трубки, разную алюминиевую мелочь, и все начинается снова.

Может быть, я неточно, бестолково и непонятно описал Вам, дорогая Миньона, процесс изготовления алюминиевых ложек, но, вероятно, я сам нечто вроде неудачно отлитой алюминиевой ложки и меня надо заново переплавить. Как Вы думаете?

Колыхаев так усердно старается потому, что ему хочется непременно сделать собственными руками ровно дюжину алюминиевых ложек, чтобы, когда поедет в отпуск, отвезти их в подарок своей жинке, о которой мы ничего толком не знаем, кроме того, что ее зовут Нина. Или, как он говорит, «моя дорогая супруга Ниночка». В свободное время он шлифует свою дюжину, доводя ее до блеска. Вот это называется любовь!

Остается одно — постараться остаться в живых, дождаться своей очереди и поехать домой на побывку, захватить заодно с дюжиной алюминиевых ложек также фунтов десять ржаных сухарей, насушенных из остатков хлебного пайка, и мешочек сэкономленного рафинада.

Солдатский телеграф сообщает, что у нас в тылу начинается голод.

...Но едва Колыхаев успел отлить очередную ложку, как из своего окопчика высовывается дежурный телефонист:

— Батарея, к бою!

И мирная картина вмиг меняется.

Вот Вам одна из подробностей нашего быта. Извините, прерываю письмо. Сейчас будем стрелять. Черт бы его побрал!.. Ну вот, слава богу, благополучно отстрелялись. Вы не думайте, что стрелять мы не любим. Стрелять мы любим, это наше постоянное занятие. Но, к сожалению, после каждой стрельбы полагается чистить дуло орудийного ствола, а это занятие тяжелое, хлопотливое, надоедливое, и мы его терпеть не можем.

Чистят орудийный ствол так называемым банником. Банник — это длиннющая круглая палка, состоящая из двух свинчивающихся половинок. В развинченном виде банник обычно прикреплен к лафету. Когда баннику надлежит идти на работу, обе половинки свинчивают и к концу одной из них еще привинчивается цилиндрической формы щеточка. Получается длинная палка с вращающейся щеткой на конце.

Опишу Вам процесс чистки дула орудийного ствола,

который производится следующим образом, будь он проклят! Прежде всего ствол орудия приводится в строго горизонтальное положение, а затвор открывается. В самой чистке участвуют все восемь номеров орудийной прислуги под строгим наблюдением фейерверкера. Номера обносят банник вокруг пушки и останавливаются перед дулом. Фейерверкер поливает щетку банника керосином, и орудийцы, взявшись все вместе, осторожно вводят банник в канал ствола, что дело совсем не простое, так как щетка идет туго. Раз десять полагается провести банник туда и обратно из конца в конец канала ствола. А это не так-то легко.

Но это лишь начало!

После того как канал ствола прочищен как следует керосином, щетку обертывают чистой полотняной ветошкой, и снова начинается чистка — туда и обратно,— на этот раз для того, чтобы вытереть насухо от керосина. Тоже раз десять. Мускулы рук устают от напряжения.

Теперь канал ствола чист. Орудийный фейерверкер, зажмурив один глаз, заглядывает в ствол, как в подзорную трубу, внутри которого винтовая нарезка очищена до зеркального блеска.

Но тут появляется монументальная фигура фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко. Он отстраняет величественным мановением руки орудийного фейерверкера и заглядывает сам, лично, в канал ствола своим хозяйским глазом. Не дай бог, если он обнаружит на зеркальной поверхности стали хоть одно пятнышко! Тогда процедура чистки начнется снова, а орудийному фейерверкеру — два наряда вне очереди! Однако бог миловал. Фельдфебель не имеет претензий и величественно удаляется, заложив руки за свой кожаный желтый пояс офицерского образца.

Однако это еще не все.

Теперь надлежит смазать канал ствола орудийным салом, которым обильно покрывают щетку, обернутую новой ветошкой, и наконец, как выражаются с досадой орудийные номера,— опять двадцать пять!

Короче говоря, чистка орудия продолжается часа полтора и повторяется каждый раз после стрельбы, даже если был произведен хотя бы один выстрел.

От чистоты канала ствола зависит точность стрельбы, которой мы особенно гордимся.

Зато потом, заглянув в ствол, я вижу витые зеркальные нарезы и маленький кружочек голубого неба с верхушкой елки.

Отбой!

Но так как батарее приходится стрелять по три, по четыре, даже по пять раз в день, то жизнь наша превращается в сплошную мучительную чистку орудий. Я думаю, что чистка орудий — самое ужасное следствие войны!

Ах дьявол!.. Простите... Прерываю письмо, так как опять зовут чистить орудие. Бегу, бегу. Ваш А. П.».

Я откладываю в сторону письмо и, вытирая платком утомленные чтением своего же молодого, неразборчивого почерка, слезящиеся, слабые глаза, вспоминаю свою жизнь на батарее.

...«Литейный завод» работал полным ходом не только у нас на позиции, но также и в резерве и на передках у ездовых. Была даже, помнится, установлена рыночная цена на алюминиевую ложку. Сорок копеек штука.

Куда ни посмотришь, всюду сидят солдаты и, согнувшись, шлифуют только что отлитые шершавые алюминиевые ложки наждачной бумагой.

Во время одного из очередных обстрелов немцами нашей батареи налетевшая бомба, как на грех, угодила прямо в «литейный заводик». После этого непрошеного визита «литейный цех» оказался на крыше землянки в другой батарее. Дровишки, приготовленные для костра, обращены в труху, а куча чудесного речного песка исчезла вообще, рассеялась от взрыва.

Наши батарейные остряки говорили, что герма́н (то есть немец) нарочно из любезности пустил свой снаряд вместе с алюминиевой дистанционной трубкой прямо в стакан, чтобы не затруднять наших производителей ложек.

Солдаты изобрели еще один вид окопной промышленности. Они научились красить белую материю в защитный, зеленый цвет. Делалось это очень просто. В котле кипятится на костре вода, бросаются в нее болотная трава, крапива, березовые листья, лопухи и тому подобные «красящие вещества». Когда настой хорошенько уварится, приобретет темно-зеленый цвет, в котел бросают исподнюю бязевую рубаху и кипятят часа полтора. После этого ру-

баха оказывается окрашенной в отличный защитный цвет и превращается из нижней в верхнюю, в гимнастерку.

По вечерам, если нет стрельбы, у нас музыка и танцы. Играют на гармонике, на скрипочке и... на лавровом листе, добытом у повара. На батарейной линейке у правого фланга на самодельной скамье, вбитой в землю, сидят трое солдат: гармонист Фока Терещенко, называющий себя почему-то Абдул Фарис из Батума, рябоватый парень с чересчур крупным носом, высокий, нескладный, как Петрушка или Ванька Рутютю уличного кукольного балаганчика, затем канонир Куликов, играющий на чрезвычайно маленькой, почти детской скрипочке, и еще некая неизвестная нам личность, солдат из резерва. Он засунул в рот лавровый лист и извлекает из него тонкие жалобные звуки, не совпадающие со слитными звуками гармоники и скрипки. Однако именно это несовпадение и создает какую-то необъяснимую прелесть мелодии.

Несовпадение... Да, именно несовпадение, подобное несовпадению моей странной, необъяснимой, вечной любви к Ганзе со всем окружающим меня миром, со всей моей жизнью отчаянное несовпадение. Но такова уж, видно, была моя судьба.

Звуки гармоники, скрипки и лаврового листа почему-то до слез напоминали мне Ганзю, которую я никак не мог себе представить, а только всей душой чувствовал, что она как-то незримо, бестелесно присутствует в мире.

Мелодия моей любви.

«Гармоника испорчена, у нее западает несколько клавишей. И в этом тоже есть какая-то необъяснимая прелесть несовершенства.

Перед музыкантами большой круг хорошо вытоптанной земли. Батарейные танцоры посреди этого круга щеголяют друг перед другом четкостью и выделанностью танцевальных па. Преобладают танцы салонные — полька-кокетка, полька-стоп, вальс «На сопках Маньчжурии», венгерка и прочие. Но есть танцы и характерные русские народные: казачок, барыня, классический малороссийский гопак.

Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но мне всегда кажется, что в этих танцах, порою и неуклюжих, есть и кра-

сота и грация. Вот, например, пара: взводный фейерверкер второго взвода в паре с телефонистом-наблюдателем Марченко. Трио играет польку-стоп. Крепкая, мощная фигура взводного плавно, ритмично нагибается; ноги ходят ходуном, и нежно побрякивают шпоры. Наблюдатель Марченко — совсем иное дело. Он танцует как бы неподвижно — танцует не передвигаясь по площадке, стоя на одном месте, танцует выражением лица, глазами, бровями, губами, осанкой, всей фигурой. Самый процесс танцев для него не важен. Скорее он не танцует, а статично переживает музыку, ее мотив, ритм.

Любил я солдатские танцы! И было мне грустно, да и сейчас жалко, что не научился я танцевать. Сколько радости потерял я в жизни...

...вот выходит в круг здоровенный, плотный, даже толстый, что редко бывало среди солдат, хохол, по прозвищу Тарас Бульба, старший фейерверкер, кавалер двух Георгиевских крестов, и начинает гопак. Он тоже, собственно, не танцует, а плавно выступает и время от времени выкрикивает нечто веселое, озорное, вроде:

— И-и-эх-ма! Пошел! Веселей, не жалей! И-и-эх!

Глядя на его огромную фигуру и круглое обширное лицо, более всего похожее на смеющееся солнце, все зрители помирают со смеху.

А тем временем где-то слева за лесом уже давно кипит ужасная артиллерийская перестрелка, от которой тяжело вздрагивает земля. Скоро, наверное, дойдет и до нас.

«Действ. арм. 27 мая 916 г. А вот Вам, дорогая Миньона, чтобы Вы не скучали, для развлечения — фантастический роман, как бы вроде «перевод с английского» в духе обожаемого Вами Локка, но сочинения Александра Пчелкина.

Итак, начинается роман:

«— Миньона! Какими судьбами? Главное, каким сверхъестественным образом?

Все это было так невероятно, так похоже на сон, что у меня в первую минуту не нашлось ничего другого, кроме этих банальных восклицаний.

Она подняла на меня свои серовато-сиреневые глаза и, чуть-чуть улыбаясь, промолвила:

— Вы, кажется, меня не ожидали.

Я молчал, придумывая, что бы предпринять, если все это окажется не сном, а действительностью.

Я был ошеломлен.

Миньона провела своим кошачьим язычком по губам и протянула мне руку:

— Ну здравствуйте. Как поживаете?

Я пожал ее нежную ручку, нерешительно помял в своей отвратительной немытой лапе и, перевернув, поцеловал в розовую ладошку.

Она звонко рассмеялась:

— Фу, какой вы смешной и... глупый.

Признаться, вид у меня был в ту минуту не очень умный. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Войдите в мое положение: быть дневальным на новой, только что построенной саперами и еще не занятой артиллерийским взводом позиции в полуверсте от немецких окопов, сняв сапоги, греть на костре в котелке воду для чая, обернуться и вдруг увидеть ее здесь, наяву,— исключается всякая вероятность, и тем не менее... Однако!.. Гм... Я думаю, что не только меня, но всякого нормального человека подобное явление поставило бы в тупик, в угол носом.

Впрочем, мое смущение продолжалось недолго. На всякий случай я ущипнул себя за ухо, убедился, что не сплю, и решил быть невозмутимым.

Бывают же на свете чудеса.

— Миньона... Миньоночка... Но... какими же все-таки судьбами?

Она неопределенно махнула рукой, и я понял, что это, в сущности, не так важно.

— Садитесь,— сказал я,— за неимением дивана вот сюда, на траву. Я так давно вас не видел. Дайте же на себя посмотреть.

Она села рядом со мной на траву, подобрала под себя ноги в туфельках номер тридцать четыре и тут же съехидничала:

— Во-первых, вы меня видели сравнительно недавно, на пасху, но вам тогда, кажется, было не до меня. А во-вторых, нечего на меня смотреть так внимательно: я такая же, как всегда.

И действительно, она была совершенно такой же, как всегда, как дома. Как на балконе. Белая матроска с большим желтым шелковым бантом, серенькая юбка; коротенькие кудряшки, перехваченные темной лентой. Лицо кукольное, и от носика к ротику характерная складка. Все

как следует, туфельки ничуть не запачканные. Шляпы нет. Как будто бы она только что вышла из дома пройтись по Французскому бульвару, да и прошла совершенно случайно, незаметно, мгновенно тысячу верст от Одессы до наших передовых позиций, что случается только в фантастических романах.

А может быть, как-то перенеслась по воздуху, даже туфелек не испачкала.

— Однако у вас здесь, на позициях, недурненько,— сказала она,— хотя офицеры неважнец. Грязные такие. Закопченные. Да вы сами тоже не особенно... Надеюсь, вы меня угостите чаем?

— Это можно,— ответил я,— вопрос только: есть ли у вас сахар?

Она с удивлением посмотрела на меня.

— Одну минуточку,— в замешательстве пробормотал я,— я сию минуточку сбегаю к пехотинцам в штаб батальона, там дежурит наш батарейный телефонист, может, у него разживусь сахаром, кстати и заваркой. А вы пока что постерегите котелок. Как только вода закипит — снимите.

Она понимающе кивнула. Я сорвался с места и ринулся к высокой железнодорожной насыпи, где виднелась землянка телефонистов пехотного батальона. На бегу я обернулся: она сидела возле костра на зеленой травке среди желтых, белых и синих луговых цветов. Она и сама была похожа на цветок.

Сердце мое дрогнуло. «Милая!» — подумал я и хотел послать ей воздушный поцелуй, но в этот миг вспомнил что-то важное и крикнул ей издали:

— Да! Еще вот что: если в блиндаж полезут пехотинцы, гоните их ко всем чертям, а то они порастащат все доски!..

Она кивнула.

Пока я бегал в штаб батальона и унижался перед телефонистами, умоляя позычить до следующей выдачи десять грудок сахара, заварку чая и кусок сала (хлеб у меня был), Миньона сидела и с любопытством разглядывала местность, куда она попала по воле автора этой фантастической повести.

Что же она увидела?

Справа шагах в ста тянулась высокая железнодорожная насыпь линии Минск — Вильно, надежно прикрывая нашу артиллерийскую позицию от глаз неприятельских наблюдателей. Под насыпью виднелись серые бугорки

землянок, над которыми вился легкий дымок. Слева белели свежими сосновыми бревнами и обшитыми досками два резервных блиндажа, куда в случае наступления немедленно будут выдвинуты два наших орудия, так сказать, «кинжальный взвод». Эти блиндажи я и послан был охранять. Невдалеке от блиндажей извивалась, блестя на солнце, и тихонько журчала маленькая речушка, даже не речушка, а скорее ручей. В ярком небе плыли все еще как бы пасхальные облака. За железнодорожной насыпью, на переезде кудрявились березы, и далеко впереди, за бугром как декорация рисовался разбитый снарядами мертвый город. Из пожарища торчали остатки кирпичных стен и печные трубы, вокруг которых как ни в чем не бывало зеленели цветущие сады... Продолжение следует...»

Прочитав это, я усмехаюсь. Вот, оказывается, на какую хитрость пустился я, чтобы убить двух зайцев: описать свою фронтовую жизнь и в то же время поддержать полулюбовные отношения с генеральской дочкой. Выдумка с фантастическим романом давала для этого полную возможность.

«Д. арм. 1 июня 916 г. Фантастический роман без заглавия. Перевод с английского. Продолжение.

«Глава вторая. Через десять минут я вернулся из штаба батальона; подходя к ручью, у меня было опасение, что Миньоны я не увижу и вся эта история окажется не более чем плодом моего воображения. Но о счастье!

Она сидела в траве на прежнем месте между моими сапогами и серебряными извивами ручейка, вся в полевых цветах и сама, как уже было замечено, похожая на цветок.

— Ну как, моя дорогая,— спросил я,— вода в котелке закипела?

— Вода? А разве она должна была закипеть? — спросила Миньона, сделав большие глаза, и засмеялась, хотя ее смех показался не вполне уместен, так как вода в котелке клокотала и уже выкипела наполовину.

Я вздохнул, снял котелок с огня и бросил в кипящую воду щепотку заварки, добытую у телефонистов путем некоторых унижений. Я расстелил на траве носовой платок, который, к счастью, выстирал рано утром в ручье, положил на него кусок свиного сала, четверть пайковой буханки ржаного солдатского хлеба и десять грудок рафинада.

Потом я сбегал в блиндаж, который охранял, захватил шинель, бинокль и единственный сдобный сухарь — высушенный ломоть пасхального кулича, привезенного мной из дома. Шинель я разостлал для Миньоны, сам сел подле нее на траву, и мы принялись за чай.

До сих пор я воображал, что Миньона питается исключительно утренней росой, цветочной пыльцой, лунным светом и запахом фиалок. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что полфунта свиного сала как не бывало! Сдобный сухарь под ее жемчужными зубками перешел в область самых отвлеченных воспоминаний. А опустошенный котелок стоял в траве как надгробный памятник, будя грустные воспоминания о девяти отошедших в вечность грудках рафинада.

Лично я съел кусок черного хлеба, сгрыз последнюю грудку сахара и взглянул на мир еще более оптимистично.

Да и можно ли, о читатель, смотреть на мир иначе, когда вокруг нежное, солнечное утро, десять часов, роса на полевых цветах еще не высохла, у ног щебечет ручеек, а рядом с вами очаровательное существо с большими серо-лиловыми глазами, маленькими ручками, еще более маленькими ножками в туфельках номер тридцать четыре и волшебным именем Миньона?

Да-с!

— А теперь поболтаем,— сказала Миньона, облизывая кошачьим, как уже упоминалось, язычком прелестные губки, созданные не для свиного сала, а для поцелуя.— Объясните, где мы с вами сейчас находимся? И почему в то время как идет война, вы болтаетесь здесь без всякого дела? — И в ее голоске прозвучала генеральская нотка.

— О прелестная! — ответил я.— Находимся мы возле города Сморгонь, развалины которого вы видите, если можно так выразиться, на горизонте. А нахожусь я здесь, в непосредственной близости от неприятеля, в качестве сторожа, дневального. Сторожу же я вот эти два новеньких орудийных блиндажа в три наката. Мой взвод — две трехдюймовки — скоро перейдет в эти хорошенькие блиндажики и в должный срок неожиданно ударит по немцам с самой близкой дистанции, и даже, может быть, прямой наводкой, картечью. Через два часа, ровно в двенадцать, меня сменит другой дневальный, и я должен буду возвратиться обратно на батарею...

Она не дослушала и, прижавшись ко мне, с ужасом прошептала:

— Боже мой! Вы меня пугаете. Мы находимся в непосредственной близости от немцев? В таком случае у меня одна надежда на вас. Не оставьте меня!

— О, не бойтесь! Со мной вы как за каменной стеной! — воскликнул я, ловя себя на глупом желании поцеловать ее в шейку.

В этот миг за железнодорожной насыпью тяжело бухнуло, раздался сверлящий свист, и высоко над нашими головами пронеслась немецкая граната. Я по привычке сразу же припал к земле и потянул за собой Миньону. Мы услышали сухой дробный разрыв снаряда, и через некоторое время вокруг нас пропело несколько осколков. Немец стрелял через наши головы по ближнему лесу.

Миньона лежала у меня на руках как убитая. Лоб ее был холоден, а руки горячи. Я растер ей виски платком, смоченным остатками чая. Она очнулась.

— Миньона, дитя мое,— прошептал я,— не бойтесь. Это далеко. Это не опасно. Это обычно.

Она виновато посмотрела на меня.

— Если это обычно, тогда я не буду больше бояться. Я уже не боюсь.

В это время ударил второй пушечный выстрел. На этот раз она не вскрикнула и не упала в обморок. Я сунул ей в руки бинокль «цейс»:

— Смотрите туда.

Она приставила бинокль к глазам и посмотрела туда, куда я ей показывал. До нас долетел грохот взорвавшегося снаряда.

— Ах, как забавно! — восхищенно воскликнула она.— Жаль, что здесь нет моих сестричек. Вот бы тоже полюбовались взрывом.

Пропели осколки.

Потом я повел ее в Сморгонь посмотреть развалины. Ведь в фантастическом романе все может случиться.

Мы долго бродили по грудам обгорелых кирпичей, по запущенным садам, забирались на обгорелые чердаки разбитых снарядами домов. Наломали громадный букет отцветающей сирени. Она посмотрела в сторону полуразрушенного костела, стоявшего как призрак.

— А туда можно? — спросила она.

— Туда нельзя,— почти с ужасом ответил я, вспомнив расколотую раковину кропильницы, поверженное распятие и красное деревянное сердце на грудной клетке мертвого спасителя.

И я обошел костел стороной, как убийца, который преодолевает чувство притяжения к тому месту, где он совершил преступление.

Мы молчали. Между нами как бы стояло видение полуразрушенного храма с поверженным в прах распятием богочеловека. А он был так хорош. А мы были так молоды... Продолжение следует. *А. П.*».

Продолжения не последовало; моя фантазия исчерпалась. Но главное, конечно, было не в том, что фантазия исчерпалась. Исчерпалась вера в то, что банальная влюбленность в хорошенькую Миньону может вытеснить из моего сердца Ганзю. А на фронте началось уже настоящее, и я впервые понял, что такое война.

«15 июля 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, только что офицер, командующий стрельбой, объявил пятнадцатиминутный перерыв. Голова болит от жары и грохота. На наблюдательном пункте, кажется, Ваш отец вместе со стариком Шеллем. Они ведут стрельбу всей бригадой, то есть всеми шестью батареями сразу, стрельба редкая, но ужасно методичная, упорная, назойливая.

Это, вероятно, последние приготовления перед прорывом немецкого фронта. Так называемая артиллерийская подготовка. Господи, только бы...

Право, кажется, если бы нам удалось прорваться и отнять у немцев ближайшую цель нашего наступления — город Вильно, то не надо мне ничего: ни славы, ни здоровья, ни даже Ваших писем...

Простите, прерываю письмо: надо идти чистить орудие, будь оно трижды... Виноват!.. Ей-богу, для нашего брата батарейца страшен не бой и даже не самая смерть, а чистка орудий...

...Ну, слава богу, почистили.

Я весь в орудийном сале и керосине. Время тянется невыносимо скучно. Я ждал жарких боев, передвижений, наступления, атак и прочего. А вместо всего этого скучное стояние на позиции, которую герман обстреливает шестидюймовыми бомбами. На днях пришлось пережить страшный обстрел. Я как раз был дневальным на новой позиции своего взвода. Позиция еще не занята орудиями. Блиндажи еще пустые. Я их охраняю. Но они находятся очень близко от пехотных окопов, всего саженях в двухстах.

Так как одному дневалить скучно, то я забрался в окоп к телефонистам штаба батальона, где вместе с пехотными дежурят также и наши артиллерийские телефонисты — мои друзья.

Мы варили суп из молодого щавеля, который в изобилии растет среди развалин Сморгони, а также грели чай на костре. Вдруг нас побросало на землю, и по головам изо всех сил хлопнул упругий выстрел, как бы на один миг окрасивший все вокруг в кроваво-красный цвет. Сразу запахло какой-то химической гадостью. Вроде фосфора. Запах, характерный для немецких тяжелых бризантов. Мы ринулись в окоп спасаться.

А тут — массированный обстрел!

Снаряд за снарядом. Крыша землянки, как назло, жиденькая, тощенькая, всего в два наката. Бомбы ежеминутно рвутся рядом с землянкой.

Грохот... Химический запах... Сумбур в голове... И страх, страх... Даже не страх, а ужас... Непреодолимый, животный. Одна-единственная мысль острым гвоздем стоит в сознании: если немецкий снаряд прямым попаданием угодит в нашу землянку, то не то что убьет, а испепелит, превратит в ничто. И самое ужасное, что ведь, если разобраться, я сам этого захотел, пошел добровольно.

Я смотрю на телефониста. Он бледен. Губы сиреневые. При каждом свисте пролетающего снаряда мы все как по команде втягиваем головы в плечи и для чего-то прижимаемся к земляным стенкам, как будто это может спасти. Бьет лихорадка. Хочется убежать куда-нибудь в более надежное место. Но без разрешения командира мы не имеем права покидать свой пост. За это военно-полевой суд.

Я хватаю телефонную трубку и даю зуммером сигнал: одно тире. Слышу:

— Квартира у телефона.

— Доложите командиру, что штаб батальона под сильным обстрелом шестидюймовых батарей. Что делать? Просим разрешения перейти в укрепленный блиндаж второго взвода.

Медлительная пауза.

— Командир приказал, если возможно, уйти из штаба батальона.

От сердца отлегло. Мы быстро хватаем свой телефонный аппарат, разъединяем провод и бежим как обезумевшие к спасительному блиндажу. Вокруг ад. Фонтаны черной

и рыжей земли. Воют осколки. Но вскоре мы уже в сравнительной безопасности. И тут же начинаем с непонятной жадностью есть сало, захваченное в штабе батальона.

(Свое сало солдат ни при каких обстоятельствах не забудет захватить с собой, хотя бы черти тащили его в пекло!)

В блиндаж вкатывается кубарем сверху телефонист-пехотинец. У него как-то странно согнуто тело, глаза дикие, налитые кровью. И жалко, и смешно, и в то же время до ужаса страшно. Он с ног до головы дрожит мелкой дрожью, перепачкан глиной, лоб мокрый от пота. Из трясущихся пальцев валится открытый перочинный нож и кружок черной изоляционной ленты, которой он, видимо, соединял перебитый осколком телефонный провод.

— Вы что? Ранены? Контужены?

Он ничего не в состоянии вымолвить, только продолжает дрожать и плачет. Оказывается, возле него разорвался снаряд, не убил, не ранил, а только подбросил и ударил об землю — и он до сих пор не может опомниться.

В блиндаж вкатывается еще несколько пехотинцев, застигнутых врасплох внезапным артиллерийским налетом. Они все дрожат как в лихорадке, у всех в глазах мольба: жить!

В угол блиндажа попадает бомба. Разрыва я не слышу и прихожу в сознание неизвестно через сколько времени. На меня смотрят несколько пар солдатских глаз. Оказывается, блиндаж не пробит. Счастливая случайность? Может быть. Но мне кажется, что бог наказал меня бессмертием. Он карает меня необходимостью и в дальнейшем участвовать во всем этом мировом безумии, которое я сам накликал.

Я не ранен. Даже не контужен. Душа моя потрясена.

Обстрел прекратился.

Но мы все сидим еще полчаса в чудом уцелевшем блиндаже, не в силах унять дрожь, и никак не можем прийти в себя.

...потом тихий летний вечер, трава розовая от закатного солнца, цветы. Березки четко рисуются на фоне заката. Через ручей — мостик. На мостике носилки с убитым солдатом. Убитый похож на большую куклу, наряженную в большие сапоги и рваную, окровавленную гимнастерку.

Возле носилок стоят, видимо отдыхая, два санитара. Отвернувшись в сторону, они курят цигарки, свернутые из газеты, и сплевывают в ручей. А. П.».

«22 июня 916 г. Д. арм. 19 июня рано утром, часа в три, на рассвете, из телефонного окопа выскакивает старший на батарее:

— Батарея! Приготовь противогазы!

Это что-то новое и очень грозное. Неужели немцы пустили удушливые газы?

Я дневальный и только что собрался смениться и отправиться в землянку спать. Теперь же я бросаюсь вниз по земляной лестнице уже не спать, а будить спящих.

— Ребята,— кричу,— приготовьте противогазы!

Начинается суета, некоторое даже замешательство: впервые надо воспользоваться противогазом. А где эти самые противогазы, обязательное ношение которых до сих пор считалось ненужной формальностью? Противогазы всегда засовывались куда-нибудь подальше, в самый низ походных ранцев или вещевых мешков. Теперь противогазы разыскиваются, извлекаются на свет божий, и их начинают примеривать. Никто толком не умеет с ними обращаться — знали, да забыли.

Я как дневальный, то есть лицо ответственное, среди общего замешательства стараюсь сохранять спокойствие и быть распорядительным. Вместо того чтобы разыскивать свой противогаз и надеть его, приходится расталкивать заспавшихся батарейцев.

Со стороны пехоты слышится быстрый, какой-то непривычно бестолковый, нервный ружейный и пулеметный огонь.

— Батарея, к бою!

Никогда этот, в общем-то, привычный приказ не звучал так тревожно.

В начале войны противогазы были чрезвычайно примитивны: матерчатые намордники, которые надевались на лицо и завязывались на затылке тесемками. Их следовало смачивать какой-нибудь жидкостью: водой, чаем, а если под рукой ничего не было, то и просто собственной мочой, всегда имевшейся под рукой. Смачивать намордники мочой считалось даже лучше, так как, дескать, упомянутая жидкость хорошо нейтрализовала ядовитый газ.

Но потом на вооружение поступили новые, более усовершенствованные противогазы: жестяные коробки с угольным порошком и резиновым респиратором, через который надо было дышать. Затем имелись очки в жестяной оправе для предохранения глаз, а также особые щипчики, которыми следовало защипнуть нос, чтобы удушливый газ не попал через ноздри в легкие. Щипчики висели на веревочке. Все это надо было долго прилаживать, а между тем огонь на передовой усиливается до шквального.

Нервы дрожат, как натянутые струны. Ведь именно нынче вечером должно было начаться наше наступление. Неужели немецкая разведка пронюхала это и немец упредил нас?

— Противник на участке Аккерманского полка выпустил газы! — раздается отчаянный крик из телефонного окопчика.— Надеть противогазы!

Мы быстро, но не совсем умело надеваем противогазы, надеваем очки, зажимаем щипчиками носы, прилаживаем ко рту резиновые респираторы. Сквозь мутные, непротертые стекла очков плохо видно, но еще труднее дышать. Сидим как чучела друг против друга со щипчиками на носах, стараясь дышать поаккуратнее. Дверь в землянке распахнута. Лампа, висящая над столом, еще не погашена и горит по-утреннему тускло, как бы утомленно.

Дышать все тяжелее. Тишина. В висках стук. Чувствуешь, как кровь с напряженным шелестом струится по венам и артериям. Сверху в дверь начинает вползать слабый зеленоватый туман. То ли это обыкновенный утренний туман, то ли... ужасная догадка: неужели это и есть тот самый страшный удушливый газ, о котором мы столько слышали?

Но почему-то никому не приходит в голову, что нужно выйти из землянки наверх. Как-то привыкли считать, что в землянке, под тремя накатами безопасней.

Через несколько минут напряженного молчания и сопения кто-то начинает кашлять в респиратор. Канонир Ищенко по прозвищу Старик клонит голову и делает руками какие-то умоляющие знаки. Он задыхается. И никто не знает, что нужно делать, как помочь. Еще несколько человек с хрипеньем опускают головы. Они явно задыхаются. Я же почему-то чувствую себя замечательно. Мой респиратор хотя и хрипит, но довольно хорошо пропускает очищенный воздух.

Но что же делать? Чем разогнать газ, медленно наползающий, мощный, как тяжелая вода, сверху в наше подземелье?

Инстинктивно хватаю из ранца пачку писем мне, зажигаю и кидаю на земляной пол. Огонь и дым. Прощайте, милые письма, полученные мною из тыла от друзей и близких. Они так помогали мне переживать все тяжести войны. А Ваши письма особенно. Я берег их как драгоценность и часто перечитывал. Но что же делать, если другой бумаги не нашлось?

Костер горящей бумаги. Дым и огонь борются с наползающим удушливым газом.

Старик погибает. Вот он уже лежит на земляных нарах, хрипит и судорожно пытается сорвать со рта респиратор, который, как видно, засорен и не дает дышать. Если сорвет — верная смерть. Я хватаю его за руки. Мы боремся. Но в этот миг сверху раздается крик:

— Батарея, к бою!

Мы выползаем наружу. Я буквально силой выволакиваю Старика наверх. Все вокруг в газовом тумане. Каждое движение затрудняет дыхание. Но все-таки легче, чем под землей. Взводные передают команду своим орудиям. Их голоса звучат сквозь респираторы противогазов каким-то диким хрипом. Каждое слово для них почти гибельно. Но ничего не поделаешь — надо же командовать стрельбой. В этом их подвиг: вести стрельбу во время газовой атаки.

От утреннего холода начинает знобить. Хочется лечь на землю и уткнуться головой в траву. Но воинский долг есть воинский долг. Батарея ведет огонь, но работать при орудии невероятно трудно. Забираясь под очки, газ щиплет глаза. Дышать уже почти невозможно. Еще несколько минут — и мы погибнем. Батарейный фельдшер в противогазе проносит на своем могучем плече, как мешок с овсом, кого-то из потерявших сознание. Кто-то обезумевший срывает противогаз, пробегает с кровавыми глазами и кровью из носа и в судорогах падает на землю.

Но батарея, хотя и с трудом, с перебоями, не прекращает огня. Стреляем из последних сил. Почти в бессознательном состоянии я ставлю ключом дистанционные трубки, еле различая цифры на алюминиевом кольце шрапнельной боеголовки.

— Прицел сто тридцать, трубка сто двадцать пять, десять патронов беглых!

Умеренный утренний ветерок медленно рассеивает и уносит шлейф удушливого газа. Старший по батарее отрывает от губ респиратор противогаза, подавая пример и всем нам. Мы с облегчением следуем его примеру.

Но теперь неприятель начинает обстреливать нас восьмидюймовыми снарядами. Первый же снаряд попадает в соседнее орудие, только обломки колес полетели вверх ко всем чертям. Результаты: пять человек контужены, один ранен, четверо еще раньше отравлены газами.

Обстрел батареи продолжается. Снаряды рвутся совсем близко, глушат и притупляют сознание. Мы отвечаем, стреляя до изнеможения, и я уже ничего не чувствую, ничего не сознаю, ничего не боюсь и хочу всем своим существом только одного: тишины, степной южной ночи, сверчков, звездного неба.

По-моему, подобные мысли на батарее, ведущей смертельную дуэль,— признак начинающегося сумасшествия. Но что же делать, если это именно так.

Бой кипит до полудня. Потом отбой. Все батарейцы в изнеможении от усталости. Устали от грохота, от свиста осколков, от газов, от работы при орудии, от ежесекундного страха смерти...

Подсчитываем потери. Уносят раненых. Уводят контуженых. Убитых, как это ни странно, нет. Это сама судьба бережет меня и всех моих окружающих для каких-то неизвестных нам высших целей. Нет, серьезно. Даже странно. Я все время чувствую какую-то свою зловещую неприкосновенность. Теперь бы залезть в землянку и погрузиться в беспамятство сна.

Двое из контуженых еще продолжают лежать в землянке на нарах. Они спаслись от верной смерти просто чудом. Бледны, измучены, истерзаны ужасом, в полуобморочном состоянии. Я стараюсь помочь им чем могу. Но чем могу я им помочь? Я сам еле стою на ногах, наглотался газов, тошнит, в глазах темно. Безумно хочется спать...

Но черта с два! Не тут-то было! Изволь носить пустые лотки, подбирать стреляные гильзы, которых накопились кучи, выгружать ящики новых, только что привезенных снарядов и т. д.

Наконец — чистить орудие! А ведь я Вам, кажется, писал, какая это мука!

Производим всю эту работу, собирая последние силы. Но это только так кажется, что последние. Их хватит, этих последних сил, еще на многое... Служба есть служба!

Мимо батареи по шоссе, мимо столетних кутузовских берез проносят носилки с ранеными. Сплошной вереницей тащатся с передовой санитарные и простые обозные повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами и полутрупами пехотинцев, попавших первыми под удушливые газы.

А когда газы дошли с передовой линии до нашей батареи, то их убойная сила почти иссякла. Да и ветерок нам помог. А то бы... И подумать страшно.

...Идут по шоссе в тыл на переформирование, еле передвигая ноги, с трудом таща на плечах винтовки, серые пехотные солдатики с пепельными лицами... и офицеры, пехотные прапорщики, мальчики девятнадцати-двадцати лет, которые еще совсем недавно гоняли голубей, играли в футбол, ухаживали за гимназистками, писали в альбом стихи...

Из дивизиона прибегает телефонист. Оказывается, землянка дивизионного командира разворочена до основания восьмидюймовым снарядом, превращена в яму с водой. Все место вокруг обстреляно специальными снарядами с удушливыми газами; соединение цианистого калия еще с какой-то химической дрянью называется хлорциан. Ветерок приносит со стороны разбитой дивизионной землянки запах, похожий на испарение эфира или чего-то в этом роде. Что-то одуряющее, сладковатое, миндальное, зловещее.

Однако, как это часто бывает, в дивизионной землянке как раз случайно никого не оказалось. Все были на наблюдательном пункте.

Часа два отдыхаем, а потом на батарею приходит приказ: в восемь часов вечера приготовиться к бою и навести орудия по таким-то и таким-то целям, заранее уже пристрелянным.

Солдатский телеграф тут же сообщил, что мы будем наступать на высоту правее дороги, которая проходит как раз рядом со вторым дивизионом нашей бригады. В восемь часов вечера предполагается взорвать минные галереи. Их уже давно втайне от немцев выкопали саперы

впритык к неприятельским позициям. После взрыва наша пехота бросится в атаку и попробует выбить ошеломленного неприятеля с высоты, командующей над местностью.

Розово. Закат. Березы. Дула наших трехдюймовок смотрят на багровый диск заходящего солнца. Ни единого звука, кроме неугомонных жаворонков. Синие лампадки васильков.

Васильки — как синие лампадки в алом храме золотой зари.

Что, не нравится? Слишком кудряво? Безвкусно? Согласен. Но ведь каждый миг... Эх, да что там говорить! Где наша не пропадала! Рядом со смертью даже обыкновенная пошлость делается священной. Может быть, это моя последняя мысль?

— Через пятнадцать минут всем укрыться в блиндажи и окопы. Будет взорвана подземная галерея. После взрыва оставаться пять минут в укрытии, а затем номерам занять свои места у орудий. Будет бой. Открывать быстрый и точный огонь.— Таков приказ с наблюдательного пункта, переданный по телефону на батарею.

Все укрываются в блиндажи и с напряжением ловят малейший звук со стороны пехотной линии. Пятнадцать минут проходят. Ожидается страшный взрыв, грохот, землетрясение. Шутка ли? В минную подземную галерею заложено пятьдесят пудов динамита. Но никакого грохота нет. Вместо этого земля вокруг нас начинает потихоньку вздрагивать. Дрожь земли усиливается. Окоп, в котором мы сидим, качается, как корабельная каюта во время крепкой волны. Со стороны пехоты до нас доносится глухой слитный треск ружейной пальбы.

Выскакиваем из-под земли наверх. Взбираемся на земляной отвал окопа. На западе из-за леса поднимаются тяжелые зелено-желто-черные скалистые массы дыма. Они медленно ползут в зенит безмятежно розового закатного неба. Вокруг темно, как в пещере. В ужасающей тишине опять слышится крик фейерверкера:

— Батарея, к бою!

И через миг вокруг нас уже настоящий ад: артиллерийский бой, который много раз уже пытались описать,

и всегда неудачно, потому что ни слов подходящих, ни красок таких нет.

Грохот пятнадцати батарей разных калибров сливается с ружейной и пулеметной дробью, сквозь которую слышится отдаленное «ура» пехоты, идущей в атаку. В ушах нечто вроде кузницы.

Смеркается.

Я работаю орудийным номером. Номеров мало, а потому приходится исполнять обязанности за троих: устанавливать дистанционные трубки, заряжать и подносить лотки с унитарными патронами. Лотки тяжелые. Взвалишь на каждое плечо по лотку и бежишь от погреба к орудию.

В ушах стоном стоят надорванные голоса орудийных фейерверкеров, бегающих по батарейной линейке с записными книжками, где записаны цели и прицельные установки.

— По цели номер двенадцать два патрона беглых!.. Четыре патрона беглых!..

Почти каждую минуту мое орудие бросает в сгущающуюся темноту багровые полотнища яркого огня, и тогда елочки маскировки вдруг выхватываются из тьмы, словно отлитые из червонного золота, и тут же погружаются во мрак до следующего выстрела.

Из дула прыгающего орудия летит сноп искр.

Я ослеплен и оглушен. Со стороны пехоты «ура» усиливается. Офицер, командующий стрельбой, кричит сорванным голосом, стараясь перекричать грохот боя:

— По телефону передают!.. По телефону!.. Аккерманский полк!.. Передают из пехоты!.. Аккерманцы заняли первую линию немецких окопов!.. Немецких окопов!.. Девяносто восемь немцев взято в плен!.. Девяносто восемь!.. Захвачено четыре пулемета!..

В душе вспыхивает радость. Впервые я неожиданно для самого себя чувствую поэзию и вдохновение боя.

Батарея работает с удвоенной энергией, ведя огонь безукоризненно точно и быстро. Недаром же наши трехдюймовочки называются скорострельными.

Через час новое сообщение:

— Аккерманцы заняли вторую линию! Высота наша! Немцы отступают!

От восторга я чуть не кричу «ура».

Бой продолжается всю ночь до утра. На рассвете все

стихает. Мы ложимся отдыхать возле своих пушек прямо на земле, среди стреляных неубранных гильз и осколков. Сквозь сон слышу, что Аккерманский полк залег между второй и третьей линиями неприятеля. Слава богу! В наказание за газы пленных не брали. Перекололи всех. Так им и надо!

Впрочем, нет. Голос порядочности говорит, что колоть пленных — гадость и низость. Но другой голос, как бы опьяневший от крови, кричит: неправда! так и надо! коли! бей! уничтожай! И вдруг я сам себе делаюсь отвратителен... Боже мой! И это я? Тот самый нежный, мечтательный влюбленный, который... Нет! Я уже ничего не понимаю. Понимаю только одно: есть и спать! Но нет! Опять «батарея, к бою!». Опять бой. Опять оглушающий грохот. Теперь мы отбиваем немецкие контратаки. Бьемся без перерыва двое-трое суток. Высота наша. Ее взять помогли взорванные минные галереи, проложившие в земле траншеи, в которых закрепилась наша пехота.

Сейчас уже 22 июня. Наверное, ночью снова будет бой. Вот уже наша соседка справа, третья батарея, начинает стрелять очередями. Сейчас будем и мы. Я устал, устал. На душе темно. Отчего Вы не пишете? Я с каждой почтой ожидаю от Вас весточки. Неужели Вы забыли прошлое лето?

Ваш собственный корреспондент *А. П.*

Газы выели вокруг всю зелень. Трава — как осенью. Листья берез пожелтели, будто их облили серной кислотой. Жуткий вид. Вот Вам пожелтевший от фосгена молодой березовый листок, сорванный мною на нашей батарее. Сохраните его в назидание потомству. *Саша*».

Я тщетно искал среди ветхих страничек березовый листик, некогда сожженный фосгеном. По-видимому, он давно уже истлел и рассыпался в прах.

Как сейчас вижу кучу сжигаемых мною писем на земляном полу землянки, и особенно мне жалко одно-единственное от Ганзи, которое она прислала мне на фронт скорее всего лишь потому, что считалось хорошим тоном хотя бы раз написать на фронт знакомому воину — офицеру или солдату, как бы подчеркивая этим свой патриотизм. В письме Ганзи было несколько строк, в которых она ободряла меня и желала всего лучшего, однако же не просила меня ей писать. Помню, как я был взволнован,

получив в канцелярии конверт, надписанный ее полудетским почерком. Помню, как я шел с ее письмом в кармане из канцелярии на батарею.

«22 июля 916 г. Д. арм. Дорогая... Дождь. Холод. Сыро. Серо. В халупе неуютно и пусто. Не хочется ни читать, ни писать. Натер себе ногу и не могу ходить. Батарея стоит по аэропланам. Охраняем стоянку нашего знаменитого аэроплана — гиганта «Ильи Муромца». Впрочем, их не один, а два, но не знаю, как будет родительный падеж, множественное число: «Ильей Муромцев»? Ну, кончаю. Всего Вам доброго, моя славная, дорогая Мин. Живите счастливо и весело. Не болейте. Не простужайтесь. Влюбляйтесь в студентов. Берите от жизни все. Я сейчас в очень скучном настроении и не могу написать Вам ничего интересного. Был отравлен газами. Ваш отец навестил меня в лазарете. Я был очень тронут. Но все обошлось, остался лишь кашель. Ну улыбнитесь же мне! За окном дождь и порывистый, совсем не южный, холодный осенний ветер, а во дворе кричат куры. Кажется, надо говорить — не кричат, а квохчут? Ну пусть квохчут. Но это не важно. Ваш *А. П.*».

Столько событий — и такое коротенькое письмо, всего одна страничка небрежным почерком. Видно, опять начался прилив любви к Ганзе, как я ни старался заменить ее в сердце своем Миньоной.

Я думаю, что этому приливу способствовала сумрачная, холодная погода, напоминавшая мне ту осень, когда однажды собралась наша постоянная компания и очутилась в глухом приморском переулке, в саду чьей-то дачи с заколоченными окнами и уже по-зимнему завернутыми в солому штамбовыми розами на клумбе, усыпанной рыжими листьями.

В поисках уголка мы забрались в беседку и некоторое время прислушивались к гулу штормового прибоя, звеневшего бронзой в прибрежных скалах, и к пронзительному крику чаек, летающих среди клочьев морской пены.

Черные стволы осыпающихся деревьев, ранняя ржавая заря, запах гниющих астр.

Мы сидели — кто на сырой скамье, кто прямо на дощатом круглом столе, кто верхом на перилах. Девочки были уже в зимних пальто, но еще в касторовых форменных шляпах, а мальчики в теплых шинелях, попахивавших нафталином.

Нас было всего человек шесть.

Ганзя Траян сидела на столе, свесив ножки все в тех же почти детских башмачках на пуговицах и все в том же черном плюшевом пальто, в котором была в тот незабвенный мартовский день, когда я впервые увидел ее.

Я вспомнил, как тогда вечером сидел на подоконнике один, думал о ней и мне казалось, что начинается прекрасная, светлая, ясная любовь, которую я предчувствовал еще зимой, выздоравливая после скарлатины, а в тихой квартире на обоях краснели закатные отпечатки окон.

В моем юношеском романе это было описано примерно в таком роде. У него (то есть у меня) на душе было так чисто, хорошо и просто. Он (то есть я) не сомневался, что если бы она узнала его поближе, прислушалась к его словам, пригляделась к нему, то, наверное, сразу бы полюбила его (то есть опять же меня, так как роман был написан в третьем лице, хотя я имел в виду именно самого себя).

«Ему (то есть мне) было досадно, что тогда, в марте, когда ходили за фиалками, я так мало говорил с ней, и мне очень хотелось поскорей увидеться с ней снова и доказать, что он достоин любви, что он не такой, как все, а особенный. В том, что я особенный, неповторимый, я почему-то никогда не сомневался. Уверенность в своей неповторимости была так крепка, так естественна, что я никогда даже и не пытался объяснить себе, почему, собственно, я единственный и неповторимый. Эта уверенность была как бы врожденной. Он напряженно и бессознательно повторял ее странное имя, сквозь которое все вокруг получало как бы некое новое значение. Мир вокруг обновился. В этом мире царила только она одна. У нее такое особенное лицо. А какое такое? На этот вопрос я не мог ответить, потому что не мог его вспомнить. Оно было неуловимо, абстрактно. И у нее были такие печальные, тоже абстрактные глаза. Вероятно, она глубокая, но скрытная натура. Несомненно, у нее есть какой-то свой, особенный, прекрасный, ни для кого не доступный душевный мир, в котором она живет одна и в который никого не пускает. Даже влюбленного в нее Вольдемара. Она одинока. Одиночество ей тягостно. Но когда-нибудь, и даже, наверное, очень скоро, она встретится с таким же, как она, умным, глубоким, одиноким, особенным, единственным в мире молодым человеком, который поймет ее, полюбит — но, конечно, не такой пошлой, мещанской

любовью, как, например, Вольдемар, а любовью возвышенной, прекрасной, достойной ее, впустит ее в свой тайный душевный мир, и с ним она будет вполне счастлива. Этим человеком будет он. Иначе и быть не может, потому что разве есть на свете хоть один человек, который умел бы так сильно ее полюбить с первого взгляда и был бы лучше и поэтичнее его? Надо только, чтобы она поняла это. И он беспрестанно думал об их будущей любви и счастье, которое ему представлялось несколько литературно: запущенный сад, кусты цветущей сирени, закат, а может быть, и не закат, а раннее солнечное утро, и они идут вдвоем, совсем одни по благоухающей аллее. Самой судьбой они предназначены друг для друга. Но только она должна это понять, и тогда... О, тогда!..»

Так оптимистично я представлял себе дело в своем романе, путая «он» и «я».

Однако что же? Да ничего. Наступило и прошло лето, на время приостановившее болезнь моей любви, так как все разъехались. Потом наступила осень, а с нею и на время забытая любовь. Я не сказал бы, что любовь вспыхнула с новой силой. Она просто при первой же встрече обнаружилась как не слишком опасная, но неизлечимая болезнь, довольно мучительная.

И вот:

«Деревья шептались, а сад пожелтелый отжившие листья ронял».

Расстегнув шинель, Вольдемар достал из бокового кармана щеточку для усов и бровей, а также гребешочек, которым, сняв фуражку, поправил пробор. Затем, повернув к Ганзе красивое лицо с черными бровями, усиками и подбритыми височками, запел с надрывом: «Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».

Он пел высоким любительским тенором, дрожащим фальцетом, откровенно обращаясь к Ганзе, только к ней одной. Он отдавал ей всю свою душу. И это понимали все. Он вымаливал у нее взаимности, а она с лицом, полузакрытым полями форменной шляпы, казалась совершенно равнодушной.

Я силился угадать, какие чувства владеют Ганзей. Скорее всего ею не владели никакие чувства. Она как бы

даже не понимала, что Вольдемар поет исключительно для нее. Или делала вид, что не понимает. А у него в глазах стояли слезы, и горло с небольшим кадыком вылезало из узенького крахмального воротничка и напряженно дрожало.

«Она его не любит»,— думал я словами Чацкого, сам себе и веря и не веря. Но одно только чувствовал я, что меня она не полюбит никогда.

Почему? Неизвестно. Между нами с самого начала возникла как бы непреодолимая преграда. Мы легко разговаривали друг с другом, даже шутили, больше того, мы чувствовали друг к другу приязнь. Но мне этого было мало. Я жаждал взаимной любви. А ее-то и не было.

Я любил Ганзю, если так можно выразиться, отвлеченно, как будто не я ее увидел, и выбрал, и вспыхнул, а кто-то другой, не ведомый ни мне, ни ей, выбрал ее для меня на всю жизнь, не спрашивая, хочет она меня полюбить или не хочет.

Все совершалось помимо меня и помимо нее.

Может быть, моя любовь к Ганзе была не материальная, а то, что называется платоническая, и не вызывала в ней ответной искры.

Но, боже мой, насколько эта платоническая, еще даже не юношеская, а детская любовь оказалась сильнее той, другой, уже не вполне платонической, а материальной, даже почти страстной влюбленности, которая ненадолго вспыхнула летом, когда у нас во дворе появились девочки в кружевных платьях, из которых одна была уже совсем взрослая барышня, две другие — близняшки-третьеклассницы, а средняя с короткими бронзовыми кудряшками и серо-лиловыми глазами была Миньона.

Жаркими июльскими ночами Миньона снилась мне, она овладела моей душой, и я забыл Ганзю.

И вдруг осенью в осыпающемся саду, куда уже незаметно прокрались ранние сумерки, а в беседке, где сидела наша компания, сделалось совсем темно, я почувствовал такой прилив любви к Ганзе, что у меня похолодели руки.

Я понял, что люблю по-прежнему ее одну и никакой другой, кроме нее, не существует, а почему — неизвестно.

Я почувствовал щемящую грусть.

«Деревья шептались, а сад пожелтелый отжившие листья ронял. Смеркалось. И вдруг чей-то голос несмелый в вечерней тиши задрожал. Окрепли и льются певучие звуки, и с каждым мгновеньем растет в них властная нота непонятой муки и слез накопившихся гнет».

«Я вновь пред тобой стою очарован и в ясные очи гляжу».

«Певец неизвестный, ты счастлив, страдая, ты можешь хоть в песне любить и, в звуки дрожащие душу влагая, страданья свои облегчить. А я, я с любовью своей одинокой, никак не согретой, живу без жгучего взгляда, без песни глубокой, без светлого сна наяву».

Все померкло в моей душе. Чем же все это могло кончиться? Ничем.

И вот теперь в белорусской халупе, где-то в районе, под шум холодного ветра, глядя в маленькое окошко на белые пузыри проливного дождя, я с отчаянием произносил ее имя: Ганзя, Ганзя, неужели ты меня никогда не полюбишь? Уж лучше тогда пусть меня убьет осколок немецкой гранаты.

«25 июля 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, докладываю, что после боя 19 июня, о котором я подробно писал Вам, началась полоса боев. Ночи превратились в беспрерывный оглушающий грохот, блеск разрывов, пулеметную дробь, напряженную, сверх человеческих сил работу возле орудия и пр.

Дни — мертвая тишина на батарее, ослепительный летний зной, тяжелый, кошмарный сон без сновидений, без мыслей и ощущений бытия.

Только когда в полдень приезжает кухня с обедом, люди в силу физической необходимости выползают из прохладной глубины окопов-погребов. Лица у всех помятые, опухшие от сна. Тоже бредят во сне, вскакивают, скрипят зубами, стонут, мычат. Я так утомлен, истерзан. Болят

глаза. И я это чувствую во сне. Мучительно! Наверху, на батарейной линейке, тягостная тишина. Зной. Слышатся чьи-то шаги и звон шпор. Дверь отворяется, и в подземный сумрак блиндажа косо падает широкая полоса яркого полуденного света.

В блиндаже храп, сопение, стоны сквозь сон... Можно подумать, что на нарах лежат тяжелобольные, умирающие...

Я открываю глаза и вижу в дверях, в столбе солнечного света сухую фигурку Тесленко с биноклем через плечо. Он подходит к нарам и долго, внимательно всматривается в спящих солдат. Вся его фигура выражает трогательную заботу. Он как бы шепчет спящим солдатам: «Спите, милые, отдыхайте».

Спросонья я удивленно смотрю на Тесленко и ничего не понимаю. Сажусь на нарах и что-то бормочу непонятное.

Тесленко смотрит на меня и смеется. Говорит:

— Вольноопределяющийся Пчелкин, спасибо за службу. Как себя чувствуете? Ну спите, спите... Не вставайте. До свиданья, Пчелкин, вы вчера ночью были молодцом!

Он выходит из землянки, и только тогда я вскакиваю и становлюсь по стойке «смирно». Но уже поздно. Его шпоры звучат наверху, на батарейной линейке. Вслед ему я бормочу: «Рад стараться, ваш... вскок... бродие» — и тут же падаю на нары, погружаясь в сон, похожий на небытие.

Вокруг сопят, плачут во сне, тяжело стонут, всхлипывают»...

Прочитав полустертые временем строки, я вспоминаю этот случай с Тесленко, имевший тогда для меня большое значение. Дело в том, что недавно произведенный в штабс-капитаны и назначенный командиром нашей батареи Тесленко был, как тогда говорилось, из простых, чем очень отличался от других офицеров нашей бригады, в большинстве дворянских и помещичьих сыновей.

Все в Тесленко, начиная от фамилии, было простонародно, а внешностью своей он скорее походил на пехотного солдатика, чем на артиллерийского офицера, разве что от солдата его отличал цейсовский бинокль и хромовые офицерские сапоги, впрочем довольно потертые. Ну и, конечно, четыре новенькие звездочки на офицерских полевых погонах, не золотые, а защитного цвета.

Он был, как уже упоминалось, любимцем солдат и быстро делал карьеру, но не по протекции, а по личным качествам самого храброго офицера в бригаде, умевшего лучше всех стрелять, то есть вести огонь батареи с наблюдательного пункта: быстро, точно, не хоронясь от неприятельских пуль и осколков за бруствер. Если надо, он стоял во весь рост, наблюдая за тем, как ложатся наши снаряды.

Остальные офицеры бригады — чаще всего так называемая белая кость — его недолюбливали; впрочем, как и он их. Конечно, это не имело характера антагонизма, а скорее скрытой неприязни.

Тесленко видел во мне недоучку, попавшего в бригаду по протекции генеральской дочки, с тем чтобы пробиться в прапорщики или даже, чего доброго, схватить Георгиевский крестик. Единственно чего Тесленко не мог понять — почему я не воспользовался привилегией жить вместе с офицерами, а зачислился на батарейный котел и поселился с солдатами. Он сразу же взял меня на заметку и через фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко, своего верного слугу и попощника, стал приводить меня в христианский вид, то есть выбивать из меня дух свободного волонтерства: романтическую дагестанскую папаху, кожаную куртку, офицерский пояс и слишком широкие погоны с накладными пушечками, но без номера части.

Через того же фельдфебеля он обмундировал меня, как положено нижнему чину артиллерии — канониру,— и засадил за зубрежку всех воинских уставов. Он неукоснительно следил за тем, чтобы при встрече с ним я становился во фронт, чего от других батарейцев не требовал. Дело в том, что по уставу нижним чинам, как правило, полагалось становиться во фронт не только генералам, но также и своему ротному или батарейному командиру, если даже он был младшим офицером. В действующей армии, в виду неприятеля, под огнем это не очень соблюдалось, но так как я уже один раз нарвался на командира дивизиона, а Тесленко строго следил, чтобы я не манкировал, то я тянулся изо всех сил.

Короче говоря, Тесленко решил или сделать из меня исправного солдата, или замучить дисциплинарными взысканиями и в конце концов выпереть из батареи.

Я это понял и решил не давать повода к неудовольствию своего батарейного командира, старательно исполняя все свои обязанности.

В последнем бою таскал на плечах тяжелые лотки со

снарядами из погреба на батарею, обливаясь потом; торопясь и еле дыша, холодея от свиста немецких снарядов, которые рвались совсем близко и даже иногда осыпали меня фонтанами сырой земли и оглушали скрежещущим полетом зубчатых осколков, я все-таки, пробегая мимо командующего стрельбой Тесленко, каждый раз становился ему во фронт и делал это до тех пор, пока он не крикнул мне сквозь грохот разрывов:

— Ну уж ладно, хватит! Можете не становиться во фронт! — Махнул рукой и вытер свое маленькое, как бы помятое личико перчаткой.

Теперь же, спустившись в землянку к спящим батарейцам, он похвалил меня за хорошую службу, и я понял, что в устах легендарного Тесленко это была не только похвала, а как бы даже боевая награда вроде Георгиевской медали, посвящение меня в настоящие боевые солдаты.

Может быть, именно с этого дня началась моя подлинная фронтовая жизнь.

Странно, что об этом важном событии я ничего не написал Миньоне. О каком только вздоре я ей не писал, а об этом, быть может самом значительном,— молчок.

Да что ж... Мальчишка был, о себе прошлом думаю я, и мальчишка довольно-таки скверный. Может быть, я, этот мальчишка, и был носителем бациллы войны: становился под артиллерийским огнем во фронт и чувствовал себя героем.

«В разгаре боев,— было написано дальше в моем письме Миньоне,— днем иду я в лавочку, чтобы купить кофе и папирос, без которых уже не могу обойтись. Привык! По дороге встречается какой-то пехотный подпоручик, который, увидев меня, кричит во всю глотку:

— Пчелкин! А чтоб ты пропал! Иди сюда!

Я обдергиваюсь, направляюсь к нему строевым шагом и строго по уставу, с рукой под козырек, не доходя четырех шагов, останавливаюсь как вкопанный и рапортую:

— По вашему приказанию прибыл. Чего изволите, ваше благородие?

— Ты что — выпил или опупел? Какое я тебе благородие? Не узнал, что ли?

Вглядываюсь. И вдруг, к своему крайнему изумлению,

узнаю в пехотном подпоручике своего бывшего гимназического товарища Мишку Подольского, который еще в прошлом году бросил гимназию и поступил в военное училище, выпекавшее за четыре месяца пехотных прапорщиков. Теперь он уже дослужился до подпоручика, на его шашке болталась красная лента темляка ордена Анны четвертой степени, так называемая клюква, и он даже, ввиду большой убыли пехотных офицеров, уже командовал ротой.

Я его сразу не узнал, потому что на его сильно загорелом лице выросли довольно большие усы и вообще... Офицерские погоны, на шашке клюква... Сами понимаете!

— Ах, черт возьми! Какими судьбами? Ты где?

— В Аккерманском полку. Командую ротой, брат. А ты?

— В Шестьдесят четвертой артиллерийской.

— Артиллерия — бог войны.

— Пехота — царица полей.

Обменявшись армейскими любезностями, через некоторое время я уже сижу у Подольского в землянке, и мы пьем чай из настоящих стаканов, с настоящим вишневым вареньем без косточек и курим настоящие папиросы фабрики Попова «Сальве» с противоникотиновым фильтром в мундштуке.

Шикарно!

Все-таки мне как-то не по себе, и я никак не могу отделаться от мысли, что мне, нижнему чину, приходится сидеть в присутствии офицера, хотя этот офицер всего только Мишка Подольский, не более. То и дело я вскакиваю, тянусь и называю его «ваше благородие». Видно, школа Тесленко и Ткаченко дает себя знать.

Впрочем, вскоре, как Вы понимаете, начинаются интимные разговоры о женщинах, о любви...

А о чем еще могут разговаривать на фронте два молодых военных в перерыве между боями?

Он повествует о своей последней любви, а я ему о своей, разумеется, не называя имени.

Говорит подпоручик Подольский настоящим армейским баритоном и обращается к своему денщику (подумайте только, у Мишки уже есть денщик, пожилой тульский благообразный мужичок в солдатской одежде) примерно таким образом:

— А ну-ка, братец, подлей нам еще кипяточку.

Разговор у нас самый задушевный. Мы вспоминаем гимназию и учителя арифметики, которого некогда так

боялись. Вспоминаем, как я разбил стекло в актовом зале. Боже мой! Как это было давно и как это было прекрасно!

Миша Подольский кладет ноги на свою походную офицерскую кровать и, пуская колечки табачного дыма в бревенчатый потолок, вещает многозначительно, поднимая брови:

— Да, брат Саша, ничего не скажешь: женщины в нашей жизни — это все! Как хочешь, а без любви не проживешь: любовь, братец Пчелкин, великая вещь!

И он довольно многословно и отчасти витиевато развивает мысль о любви.

Я выпил чай с вареньем (с вареньем!), выкурил штук пять «Сальве» и не имел основания оспаривать его соображения насчет любви.

Тем более что... Впрочем, не буду об этом...

— Да, Миша,— говорю я со вздохом,— любовь — это великая вещь. Полюбить можно раз, только раз всей душой, и любовь эта будет чиста, как лазурное море на юге весной, как росинка в изгибе листа...

— Росинка?— с некоторым изумлением поднимает он брови, но, немного подумав, говорит:— Н-да... Росинка... Пожалуй, ты прав.

Мы условливаемся почаще встречаться, благо служим в одной дивизии, и я ухожу.

Вечером перед началом очередного ночного сражения я мельком вижу его на шоссе рядом с нашей батареей. Он едет верхом на сивой лошадке, ведя свою уже довольно потрепанную роту из резерва на передовую.

Ночью бой, в котором Миша убит, о чем я узнаю от раненого пехотинца Аккерманского полка, бредущего по шоссе в полевой госпиталь.

Вот тебе и чай с вареньем, вот тебе и последняя любовь! Действительно последняя. Спи с миром, дорогой боевой товарищ! Сегодня ты, а завтра я. Тот, кто сумел умереть за родину, вероятно, умел по-настоящему и любить! Умел и имел право на большую взаимную любовь.

Вот так, дорогая Миньона. Скучно на этом свете, господа, как выразился Гоголь».

Прочитав эти строки, я сначала поморщился, а потом рассмеялся, вспомнив, как однажды вскоре после револю-

ции в толпе гуляющих по традиционному круговороту (Дерибасовская — часть Екатерининской — Пале-Рояль — узкая щель между Пале-Роялем и стеной городского театра — Николаевский бульвар — опять часть Екатерининской — и опять Дерибасовская; замкнутый круг, вернее некое городское кровообращение во мгле декабрьского вечера, скупо освещенного еще действующими электрическими фонарями), среди демобилизованных офицеров-фронтовиков, черноморских моряков с посыльного судна «Алмаз» и броненосца «Синоп», студентов, гимназистов, приказчиков, проституток, эмансипированных горничных и работниц с табачной фабрики Попова, среди папиросных огоньков,— и вдруг нос к носу столкнулся с убитым Подольским, который уже без погон и с красным бантом на груди, зажатый фланирующей толпой, вел под руку сестричку милосердия в косынке, едва прикрывающей кокетливую челку над широким крестьянским лбом с двумя вертикальными морщинками и подкрашенными бровками в шнурок.

По-видимому, это была его последняя любовь, самая что ни на есть последняя, уже послереволюционная.

Как и следовало ожидать, раненый солдат что-то напутал, потому что Подольский был передо мной вполне живой, и мы с ним обменялись веселыми приветствиями, приложив руки к козырькам.

«22 июня утром, едва только кончился бой и батарейцы повалились как мертвые в своих блиндажах и один только я остался наверху, будучи дневальным по батарее, как прилетел немецкий тяжелый снаряд и со страшной силой разорвался недалеко от батареи. За ним другой, третий, четвертый... Да не простые, а восьмидюймовые... И — все они делают порядочный перелет, и вдруг я вижу, что из воронок, вырытых этими снарядами, на батарею ползет какой-то странный, необычный желтовато-зеленый дым, и я чувствую зловещий миндальный запах фосгена. Ясно, что снаряды газовые. Бросаюсь в блиндаж, одной рукой хватаю висящий на стене противогаз, а другой рукой начинаю трясти первого попавшегося спящего батарейца. В мозгу гвоздем сидит одна-единственная мысль: если не успею разбудить, погибнет от газа. И все остальные спящие тоже погибнут.

— Ребята,— кричу,— подъем! Вставай! Живо надевать противогазы!

Потом выскакиваю наверх и начинаю бегать по блиндажам будить спящих. Ведь я дневальный. На мне ответственность.

— Ребята! Вставай! Газы!

Я выкрикиваю эти слова и в то же время пытаюсь натянуть на голову резиновую противогазовую маску новой конструкции, выданную нам взамен устаревшей.

Но уже глаза начинает жечь и щипать. Горло сжимают спазмы. Не имею силы вздохнуть. В груди острая боль, отдающаяся в лопатках. Мысль-молния: наглотался фосгена.

Восьмидюймовые немецкие снаряды продолжают рваться за батареей, и оттуда легкий ветерок тянет на батарею тяжелый ядовитый туман.

Солдаты выскакивают из блиндажей. На их лицах ужас. Они торопливо натягивают на головы новые противогазы. Мне худо. Головокружение. При каждом вздохе в легких кинжальная боль. В висках оглушительный шум. Сначала стучит сильно, звонко и часто. Потом все реже и реже. Сознание неотвратимо уходит. Я уже еле сознаю, что со мной делается. Где? Почему вокруг меня какие-то люди? Кто они? Ах да, тень фельдшера и рядом с ним тень моего взводного. А я сам почему-то лежу на одеяле, разостланном на траве, и почему-то призрак фельдшера берет призрак моей руки, потом подносит к моему носу какую-то склянку. Что-то пронзительно острое. Нашатырный спирт. На миг сознание проясняется. Фельдшер наклоняется надо мной и что-то говорит. Не слышу. Не понимаю. Два спорящих голоса доносятся как бы из-за глухой стены. Я делаю усилие, стараясь улыбнуться, дать понять, что я жив еще, и в тот же миг лечу в пропасть небытия.

Где я? Трава. Солнце. Ветер. Деревья. Шевелится стеклянная листва. Я укрыт шерстяным одеялом. Ах да! Я узнаю это одеяло. Такие одеяла, пахнущие карболкой, имеются у нас в околотке. А вот и знакомый доктор. Рыжий. Громадный. Вороньи глаза. Тараканьи усы.

Сразу почему-то вспоминается, как он орудует у себя в околотке вместе с фельдшером по фамилии Шкуропат. Какая странная фамилия. Оба в халатах поверх военной формы.

— Открой рот. Покажи горло.

Доктор немного боком, как ворона, мельком заглядывает в разинутую солдатскую пасть.

— Ангина. Шкуропат, смажь ему горло йодом.

Шкуропат берет из стакана специально обструганную лучинку, оборачивает ватой, макает в склянку с японским йодом и лезет черной, как деготь, ваткой в багровое горло.

Солдат морщится, кривится, сплевывает.

— Иди в батарею. Следующий!

У меня до сих пор при виде не то рачьих, не то вороньих глаз доктора возникает во рту резкий и в то же время мучительно сладковатый вкус японского йода. Почему именно японского? Потому что японцы наши союзники и присылают нам всякие медицинские товары, в частности йод, который выделывают в Японии из океанских водорослей, а также очень маленькие, крошечные термометры — стеклянные палочки немногим больше спички. Их надо не ставить под мышку, а держать во рту, что очень смешит наших больных солдат...

Но теперь доктор наклоняется ко мне, выслушивает меня стетоскопом и командует:

— Шкуропат! Быстро! Поверни его спиной вверх, задери ему рубаху!

Меня переворачивают, и доктор крепкой опытной рукой вонзает мне шприц в ту же лопатку, куда он недавно вкатывал противохолерную прививку. Я не успеваю крикнуть, как он вгоняет второй шприц. Это камфора.

Впоследствии доктор как-то заметил мне:

— Скажите спасибо, что я не пожалел для вас казенной камфоры и вкатил вам по знакомству не один, а два укола. А то бы вы были уже давно на том свете.

Меня несут в санитарную повозку. Чувствую себя легче. В повозке кроме меня еще четверо раненых и отравленных газом. Двое хрипят, умирают. У них почерневшие, как уголь, лица. Повозку трясет по набитой фронтовой дороге. И под хрипенье умирающих я вдруг засыпаю и через какое-то время вижу чисто вымазанные белые стены какой-то комнаты. Сознание возвращается. Я слышу паровозные свистки, стук вагонных буферов и понимаю, что нахожусь в дивизионном лазарете на станции Залесье. Дышать легче. Понимаю, что спасен. Меня спас второй укол, сделанный по знакомству. Ведь мне приходилось встречаться с доктором еще до фронта у Вас в доме. Кажется, он даже пытался ухаживать за Вами? Значит, в конечном счете это именно Вы спасли меня. Вам я обязан жизнью...

Белый хлеб. Слабый больничный супчик. Халат и туфли. Понимаю, что меня здесь держат на офицерском положении, чем я тоже, вероятно, в конечном счете обязан Вам...

Утро. Солнце бьет в окно. Я только что проснулся. Сижу на постели и думаю. Хочу восстановить в памяти по порядку, что же со мной произошло в течение последних суток. Но все как-то не складывается. Кашляю.

Из соседней палаты доносится позвякиванье шпор, и у моей койки появляется Ваш папа. Ну да. Для вас он просто папа, но для меня, артиллерийского солдата, он ваше превосходительство, генерал-майор, командир бригады, мое самое высшее прямое начальство, так что можете себе вообразить мое самочувствие. Смесь страха, радости и гордости: меня, ничтожного канонира, посетил сам командир артиллерийской бригады.

Это надо понять!

— Здравствуйте, Пчелкин.

Я делаю отчаянную попытку вскочить с койки, но из этого ничего не получается, я падаю обратно на тюфяк.

— Здрав... Желай... ваш... дительство...— только и успеваю я пробормотать хриплым голосом.

— Ничего, ничего, лежите,— говорит Ваш папа, улыбаясь Вашей улыбкой. И снова его круглая, ежиком стриженная, серебряная голова, его небольшая фигурка, его розовые щеки и подстриженные усики, его внимательные серо-голубые глаза сиреневого оттенка напоминают что-то глубоко Ваше, фамильное, милое.

Я очень тронут его посещением, которое произвело большое впечатление на весь лазарет: еще бы, генерал посетил нижнего чина!

Мои шансы в лазарете повысились.

К вечеру Ваш папа присылает мне с адъютантом несколько переводных романов, иллюстрированных журналов и газет. Мне приносят также и почту. В том числе письмецо от Вас.

Боже, как хорошо: дни солнечные, душистые, июльские. Поправляюсь после фосгена. Разрешают выходить. В полдень лежу на стоге только что скошенного сена в халате, в туфлях и читаю.

Меня хотели отправить на лечение в Москву. Большой был соблазн увидеть первопрестольную! Но я упросил на-

чальство, чтобы меня отправили долечиваться обратно в батарею, тем более что через неделю вся бригада уходит со старых позиций под Сморгонью. А у меня легкие не задеты. Только бронхи, так что надеюсь скоро совсем выздороветь. Может быть, буду хрипло разговаривать — только и всего...

Моя батарея снова назначена по аэропланам. Переход более двухсот верст пешком...

...На днях опять уходим. Если верить солдатскому телеграфу, уходим очень далеко, чуть ли не на другой фронт. Будем грузиться на поезд.

До свидания, до следующего письма, в котором все опишу подробно. *А. П.*».

В этом моем старом письме, полном множества событий, чувствуется спешка. Я стал вспоминать события, не попавшие в письмо. Прежде всего прощанье со старыми позициями под Сморгонью, с местностью, где я прожил почти семь месяцев, к которой привык, где так много пережил, передумал, перечувствовал, где остались развалины костела, поверженное распятие, красное сердце на грудной клетке деревянного Христа.

Всякое расставание — это расставание навсегда, хотя кажется, что все прошлое еще может вернуться. Нет! Прошлое превращается в воспоминание, в нагромождение минувших событий, мыслей, чувств, расположенных уже без всякого порядка. Время уже не властно над памятью. У памяти свои законы. Время исчезает, оставляя лишь хаос раскрепощенного сознания.

Мучительное мгновение превращения настоящего в прошлое. А подлинные события, ушедшие в небытие, вдруг возвращаются откуда-то, как из черного провала обморока, видоизмененные, очищенные, препарированные и бесконечное число раз повторяющиеся в двух перспективах, как отражение горящей свечи, поставленной между двух зеркал, уходит в бесконечность прошлого, а также одновременно в бесконечность будущего.

В бесконечность прошлого и в бесконечность будущего ушли вспомнившийся мне прифронтовой лес, желто-красные колонны мачтовых сосен и маленький пехотный

солдатик, мужичок-землячок, сидящий на снегу под сосной. Лес, казавшийся мне до сих пор пустынным, вдруг оживился. Откуда ни возьмись появились солдаты: ездовые в стеганых телогрейках, пехотинцы в коротких порыжевших шинельках, санитары в бязевых халатах. Они стояли вокруг солдатика под сосной, в ужасе глядя на его окровавленную смерзшуюся бороденку, безумные глаза великомученика и трясущиеся руки, протянутые вперед. Ужасные руки с оторванными кистями. Вместо кистей из запястий висела странная лапша, как бы составленная из красных, желтых и синих оборванных волокон, сочившихся сукровицей.

Солдатик мычал, как немой, и все его тело дрожало мелкой дрожью. Он мычал и плакал. Слезы текли по его лицу.

Оказывается, у него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда. Солдатик пытался развинтить эту боеголовку, дистанционную трубку, с тем чтобы добыть из нее алюминиевые кольца, необходимые ему для изготовления алюминиевой ложки.

Чувство самосохранения подсказало ему, что боеголовка — штука опасная, и он, чтобы уберечься от возможного взрыва, спрятался за надежный ствол мачтовой сосны, обнял его руками и начал ковыряться ножиком в боеголовке; спасая голову, он забыл о руках. Боеголовка, как и следовало ожидать, взорвалась в руках у неопытного пехотинца и напрочь оторвала ему обе кисти, которыми он, еще не сознавая, что случилось, схватился за лицо и обмазал бороду кровью, уже свернувшейся и почерневшей на морозе.

Эта картина, возникшая из прошлого, встала теперь передо мной с такой стереоскопической детальностью, что я застонал.

Другая картина из прошлого представляла летний пейзаж с песчаным косогором, поросшим диким кустарником, по которому я пробирался из обоза на батарею. Внезапно я увидел небольшую суглинистую плешину и три фигуры.

Двое из них, судя по погонам, были комендантского взвода, а третий — худой, высокий, белобрысый человек в какой-то странной синеватой шинели, висевшей на нем, как халат,— усердно копал лопатой яму и уже стоял в ней

по пояс. Один из солдат комендантского взвода держал ружье на изготовку, а другой, как бы дожидаясь чего-то, курил козью ножку, свернутую из газетной бумаги, и поплевывал себе под ноги.

В этой группе, расположившейся в глухом месте, вдалеке от артиллерийских и пехотных позиций, показалось мне что-то неприятно-странное, и я спросил:

— Что это вы, братцы, делаете?

На мой вопрос тот солдат, что курил и поплевывал, держа винтовку у ноги и обнимая рукой штык, ответил:

— Да вот поймали в нашем боевом расположении шпиона: чи он переодетый немец, чи поляк. Ничего особенного. А вы, господин вольноопределяющийся, идите себе, куда идете.

Я откозырял и пошел своей дорогой, пробираясь сквозь кустарник, и лишь отойдя на порядочное расстояние, вдруг со всей ясностью осознал значение только что увиденного, в особенности согбенную спину человека в синеватой шинели, стоявшего с лопатой в руках по пояс в яме, его желтые волосы, шевелящиеся на ветру.

В первое мгновенье я обомлел, но тут же мне пришла спасительная мысль: ничего, мол, не поделаешь, так надо, война есть война, а шпион есть шпион.

Все же мутный осадок остался на всю жизнь.

Оба случая — и солдат с оторванными кистями рук под мачтовой сосной, и белобрысый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков из комендантского взвода,— являлись случаями исключительными. А жизнь на батарее текла своим привычным порядком.

Как это ни странно, война научила многих неграмотных солдат читать и писать.

Зимой, когда почти все боевые операции были приостановлены и жизнь ушла глубоко под землю, в блиндажи и землянки, батарейцы стали скучать. Время заполнилось перечитыванием писем с родины, игрой в самодельные шашки, или, как они назывались, в дамки, чтением вслух неизвестно откуда взявшихся потрепанных лубочных книжек с заглавиями вроде «Любовь авантюристки», «В погоне за золотом», а также классической повести еще, вероятно, со времен Ермолова и покорения Кавказа «Пре-

красная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».

Иногда до глубокой ночи в нашей орудийной землянке чадила керосиновая лампочка без стекла, копоть щипала глаза, в густом воздухе топор можно повесить — и батарейцы, затаив дыхание, слушали назидательный голос грамотея, который почти по складам читал им всю эту чепуху.

Я, считая своим долгом «сеять разумное, доброе, вечное», написал отцу, чтобы он прислал мне какую-нибудь книгу Льва Толстого, и, получив «Анну Каренину», начал читать солдатам вслух этот роман. Солдаты слушали его, затаив дыхание, как, впрочем, и все предыдущие книжки, причем больше всех им понравился Стива Облонский, его они весьма одобряли, а что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой.

Разумное, доброе, вечное мои товарищи по батарее воспринимали весьма своеобразно.

Вообще-то грамотных в батарее оказалось больше, чем неграмотных. Неграмотных всего трое: мой друг Прокоша Колыхаев, цыган из города Ананьева по фамилии Улиер и огромный, как медведь, но по-детски добрый и даже ласковый, со щербатыми зубами сибиряк Горбунов откуда-то с берегов Байкала.

Первым научился грамоте Колыхаев. Он получал через каждые два дня письма от своей обожаемой, как он выражался, благоверной и благочестивой супруги Нины, в которую до сих пор был влюблен и втайне страдал от вынужденной разлуки. Его угнетала необходимость читать ее письма и отвечать на них. А так как в письмах содержались откровенно любовные, а также семейные секреты, то Колыхаев пытался сам их читать, а иногда обращался за помощью ко мне. А уж ответ приходилось писать кому-нибудь из грамотеев под его диктовку, например столяру Попленко, и это Колыхаева очень стесняло.

Потом Колыхаеву пришла дерзкая мысль написать жене письмо самому, не прибегая ни к чьей помощи. Попробовал. Забился в угол землянки, достал из вещевого мешка заветную стеариновую свечу, которую очень берег на всякий случай, зажег ее, прилепил к выступу мазаной печки и развернул последнее письмо своей «благоверной, благочестивой и сильно грамотной» супруги Нины. Он изучил его детально и всесторонне, а потом «позычил» у меня лист почтовой бумаги, приладил его к какой-то дощечке

и стал что-то царапать химическим карандашом, время от времени обильно его обслюнивая, отчего губы его стали лиловыми.

Он действовал бесхитростно: переделывал письмо своей супруги, обращенное к нему, мужчине, применительно к ней, к женскому роду. Жена писала «дорогой Прокоша» — значит, следовало написать почти то же самое, но только заменить слово «Прокоша» словом «Нина».

«Дорогой Нина»,— вывел он крупными буквами, так называемыми воробьями. Дня через два письмо было готово и отослано. Благоверная Нина, конечно, ничего не поняла, но любящим сердцем угадала, что хотел написать ее дорогой супруг Прокоша. С тех пор Колыхаев писал жене сам, в крайних случаях советуясь со мной, напрактиковался и стал писать весьма недурно.

Потом под моим руководством научился писать сибиряк Горбунов. Начал он писать как-то сразу, хотя и с ошибками, но, в общем, толково. У него появилась мечта стать вполне грамотным, и я обещал летом научить его как следует писать и читать, а он за это помогал мне стирать белье и научил пилить и колоть дрова.

Цыган Улиер с черно-синей бородой и кудрявой шевелюрой цвета ежевики тоже брал у меня уроки грамоты и даже пытался писать самостоятельно, но ничего у него не вышло. Он был чудесный, добрый, хороший человек, но уж очень неразвитый от природы. Одно письмо жене своей в город Ананьев он писал месяца три, всю зиму, да так и не дописал.

За пять верст от батареи, в тылу, в деревушке Бялы открылась лавочка земского союза. В ней продавались белые булки, сало, табак, рафинад, печенье «Мария» и «Альберт». Когда становилось известно, что лавочка открыта, орудийная прислуга приходила в волнение. Сейчас же снаряжались два-три человека за покупками. Деньжата у солдат водились. Ведь мы получали денежное довольствие. Канонир получал пятьдесят копеек в месяц, бомбардир — семьдесят пять, младший фейерверкер — рубль десять копеек. У кого был Георгиевский крест, тот, кроме того, получал в месяц три рубля.

Были также среди солдат картежники, игравшие на деньги, а у картежников, как известно, всегда то пусто, то густо, но чаще всего густо.

Мой взводный фейерверкер Чигринский, о котором я

уже упоминал, был крупный картежник. Когда позволяла обстановка, он ходил куда-то в пехоту, где велась крупная игра в «очко» и «железку». Иногда он возвращался в выигрыше. У него всегда имелось в наличности рублей десять — сумма для нас фантастическая.

Однако впоследствии я понял, что его исчезновения из батареи, хождение в пехоту и в соседние артиллерийские дивизионы имели двойную цель: во-первых, игру в карты, а во-вторых, еще что-то гораздо более значительное. Я думаю, игра в карты являлась только прикрытием тайной, подпольной политической деятельности. В чем заключалась эта деятельность, я тогда совсем не понимал, но чувствовал в ней что-то скрытно революционное.

Однажды я случайно услышал, как, дежуря по батарее и расхаживая по линейке вдоль орудий, красавец Чигринский мурлыкал про себя: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой». Мотив и слова были мне до сих пор неизвестны. Песня была не общеизвестная солдатская, не народная, а какая-то совсем другая...

...Лавочка представляла обыкновенную белорусскую халупу, разделенную на две части. В одной помещалась собственно лавочка, а в другой жила заведующая лавочкой сестрица. Лавочка обыкновенно открывалась в одиннадцать часов утра, так как земсоюзовская сестрица любила поспать в полное свое удовольствие. Но уже с девяти часов у двери лавочки, на которой висел амбарный замок, собирается длинная очередь, именуемая по-армейски затылок. Кого только нет в этом затылке: саперы, артиллеристы, пехотинцы, санитары, фельдшеры, даже однажды появился мортир Черноморского флота, прикомандированный к пехоте вместе со своей двухдюймовой морской скорострельной пушечной системой Гочкиса с деревянным прикладом, из которой он палил по немцам с самого близкого расстояния. Пушечка эта была снята с какого-то военного корабля.

...Затылок шумит, волнуется, в морозном воздухе пахнет махоркой. Здесь особенно заметна работа солдатского телеграфа.

Из уст в уста передаются самые последние новости и слухи — не только фронтовые, но также и тыловые, политические, подчас зловещие: насчет воровства в интендантстве, насчет полковника Мясоедова, повешенного

за шпионаж и измену, насчет сибирского мужика Распутина, хозяйничающего в доме Романовых, как у себя в избе, насчет голодающего народа, насчет лучших земель, захваченных кулаками и помещиками, насчет неизбежного военного поражения и скорого заключения мира, о котором вся армия только и мечтает.

Хватит! Повоевали! Будя! Попили нашей солдатской кровушки!

Обо всем этом говорилось больше намеками, с присказками, ужимками, многозначительными умолчаниями, скорее ворчливо, чем грозно.

Солдаты не стеснялись высказываться в моем присутствии. Меня давно уже считали как бы своим, несмотря на мои погоны вольноопределяющегося.

Ах, как это было непохоже на мое прежнее представление о войне!

Вот бы, думал я тогда, привести сюда авторов военных рассказов, заполняющих газеты и журналы того времени, и поэтов, воспевающих в своих патриотических стихотворениях безымянных героев в серых шинелях, идущих на врага «с железом в руках и с крестом в сердце».

Но вот ровно в одиннадцать появлялась неизвестно где ночевавшая сестрица в черной кожаной куртке на меху, в валенках и папахе, не без лихости заломленной над блудливым румяным личиком с кудряшками на лбу.

— Здравствуйте, солдатики!

— Здрав... жлай... сестрица!

— Ну-ну, не толпитесь, не напирайте. Всем хватит.

Щелкает амбарный замок.

— Кто с передовых позиций, вперед!

Несколько пехотинцев протискиваются вперед. Они вне очереди. Это их священное право.

Вскоре по всем фронтовым дорогам и тропинкам идут на позиции солдаты с узелками и кульками, а больше всего с пачками махорки «Тройка» и книжечками папиросной бумаги, оттопыривающими карманы их потрепанных, а местами слегка обгорелых боевых шинелек.

Лица счастливые, розовые с мороза. Они уже выбросили

из головы все, что принес им солдатский телеграф, пока стояли в затылке у входа в лавочку.

Но нет. Они не выбросили из головы. Не забыли.

...Они не забыли... Они не забыли...

Против лавочки рубленая избушка — солдатская банька. Возле нее христолюбивое воинство топчется со свертками белья и березовыми вениками под мышками. Вениками, наломанными с кутузовских берез, они запаслись впрок еще прошлым летом и хранили их в своих вещевых мешках вместе с противогазами, не зная, доживут ли они до зимы.

В промежутке между боями шла монотонная армейская жизнь, страх смерти исчезал, а «равнодушная природа» продолжала свой круговорот: морозы сменялись оттепелями, зима переходила в весну, сверкали ручьи, голые деревья покрывались зеленью, наступало лето, солнце жгло неимоверно, случались грозы и ливни со всей их неописуемой красотой, в лесах пахло грибами, незасеянные крестьянские поля зарастали сорняками, скудная белорусско-литовская земля, истерзанная войной и засоренная камнями, принесенными сюда еще со времен ледникового периода, которые давно уже никто не убирал и не складывал на обочинах, как водится, белыми пирамидками, кое-где рождала хилый колос самосеяной ржи или синюю коронку василька, теплящуюся, как лампадка.

В один из таких знойных дней я сидел на лафете, грелся на солнышке и думал о Ганзе, о своей страшной безответной любви, когда сзади ко мне подошел Колыхаев, постоял некоторое время молча и наконец произнес:

— Вот это насекомая так насекомая!

С этими словами он осторожно двумя пальцами снял с воротника моей гимнастерки и показал жирную полупрозрачную платяную вошь, зеленовато-черную внутри.

Добродушно улыбаясь в усы, он положил насекомое на ноготь большого пальца и прищелкнул другим ногтем так, что послышался звук лопнувшего пузырька.

Я был ошеломлен. Я так тщательно следил за собой, ходил в баню, часто стирал белье, даже в лютые морозы. Выстиранные рубахи и подштанники, развешанные на елочках маскировки, надувались от жгучего северного ветра, да так раздутые, с раскинутыми рукавами и леде-

нели, гремя, как жестяные. Когда я вносил их в натопленную землянку, они оттаивали, но оказывались совершенно сухими. Мороз высушивал их. Приятно было надевать свежевыстиранное белье, пахнущее с мороза ландышем!..

И вдруг на мне нашли вошь!

Конечно, подумал я, это простая случайность. Вошь наползла на меня с кого-то другого. Но Колыхаев внимательно осмотрел меня со всех сторон своими зоркими рыбацкими глазами и снял с моего погона еще одну вошь, которая с медленной скоростью секундной стрелки мелкими стежками ползла по нагретому солнцем сукну.

— Так что поздравляю вас, обовшивевши,— добродушно сказал Колыхаев, казня второе насекомое.

— Не может быть! — воскликнул я, покраснев так ярко, словно меня уличили в чем-то постыдном, в позорной болезни.

— Что тут, друзья, за происшествие?— раздался сановный голос фельдфебеля Ткаченко, вместе со всеми остальными батарейцами вылезшего из своей особой фельдфебельской землянки погреться на солнышке.

Я резво вскочил на ноги и вытянулся.

— Ничего. Не тянитесь. Седайте обратно,— сказал Ткаченко, выпятив по своему обыкновению живот и грудь с Георгиевскими крестами и медалями, и сделал передо мною несколько шагов туда и назад, как бы перед фронтом.

Он обдумывал происшествие: в армии велась неусыпная борьба с вшивостью.

— А ну, господин вольноопределяющийся,— наконец сказал он,— попросю вас, скидайте гимнастерку, и давайте побачим, что у вас там такое завелось.

Я снял пояс и стянул через голову гимнастерку, ту самую, из толстого японского сукна, некогда купленную на толчке. Гимнастерка вывернулась наизнанку, показав все свои внутренние швы и завязанные узелочками шнурки, которыми были прикреплены пуговички погонов. Шнурки эти оказались покрытыми белесым бисером гнид, которые блестели также внутри швов.

Ткаченко нахмурился и приказал вызвать на линейку всех свободных от нарядов батарейцев. Он прошелся несколько раз туда и обратно вдоль строя, погладил себя по своему офицерскому поясу, облегавшему живот, и сказал:

— Вот что, друзья. Скидайте гимнастерки и рубахи, и посмотрим, что у вас там делается.

Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспоминать картину знойного июльского дня и ряд полуголых батарейцев, сидящих кто на земле, кто на лафете, кто на пороге землянки и под наблюдением фельдфебеля бьющих вшей, выловленных в складках нижних рубах и гимнастерок.

— Вот, друзья, до чего вы себя допустили за долгую зиму в землянках. А ну-ка скидайте шаровары, так как насекомые больше всего любят размножаться в суконных штанах и подштанниках. Не стесняйтесь, так как здесь в радиусе на двенадцать верст вы не найдете ни одной жинки, кроме дивчины из лавочки земского союза. Так что действуйте смело!

Развели костер из сухого валежника, и батарейцы трясли над ним верхнюю и нижнюю одежду, выжаривали насекомых, которые, падая в огонь, электрически потрескивали.

Фельдфебель, в общем, был удовлетворен: его батарея не слишком сильно обовшивела за зиму. Могло быть и хуже.

...На пять или восемь верст в окружности между развалинами Сморгони, деревней Бялы, железнодорожной станцией Залесье и деревянным мостом через синюю реку Вилию, на который немецкие аэропланы постоянно сбрасывали бомбы, и всегда версты на две мимо, лежала лесистая местность, казавшаяся такой мирной, даже безлюдной, а на самом деле набитая войсками всех видов оружия, особенно артиллерией.

Бродя в свободное время по окрестностям, я то и дело натыкался на хорошо замаскированные батареи разных систем и калибров. На одну версту фронта я насчитал сто пять, как принято говорить, стволов: несколько батарей полевых трехдюймовок, гаубичные дивизионы, тяжелые орудия и даже две железнодорожные платформы с чудовищными виккерсовскими дальнобойными пушками: их наблюдатели находились в корзинах привозных аэростатов и постоянно висели высоко в небе. Я уж не говорю о морских двухдюймовках системы Гочкиса, размещенных в пехотных окопах.

Вся эта могучая убойная сила была нацелена на одну сравнительно небольшую высотку, занятую немцами.

Я сначала не понимал, на кой черт тратить столько

усилий против такой сравнительно пустяковой цели. Но как-то, побывав на станции Залесье в вагоне-лавке Союза городов, я купил столичные газеты и увидел в них множество цензурных плешей и целых длинных статей, замазанных черной цензурной так называемой икрой, действительно похожей на паюсную. Кроме того, там были помещены указы о смещении старых и назначении новых сановников. Все это заставляло думать, что в тылу далеко не все благополучно, что Российскую империю трясет.

Прочитав же телеграммы из-за границы, а также сводки верховного главнокомандующего, и шагая по железнодорожному полотну Минск — Вильно в свою батарею, впервые понял я истинные масштабы войны, которую до сих пор не воспринимал как мировую. Я понял, что наступает критический момент и мы спасаем своих союзников — французов и англичан, отвлекая немецкие дивизии с западного фронта на себя. Мощная демонстрация на нашем небольшом участке фронта, о котором будущие историки, может быть, даже и не упомянут как об одной из героических страниц русской славы и верности союзникам, стала для меня особенно дорогой, и мне не хотелось переходить на какой-то другой фронт.

Но ведь я сам вместе со всеми батарейцами проклинал утомительную позиционную войну, сидение на одном месте, надоедавшее до последней степени, неизвестно когда этот кошмар кончится.

И вот он кончился. По-видимому, для нас кончилась позиционная война и наконец-то начнется война веселая, полевая, с быстрыми передвижениями, как и подобает войне наступательной, победоносной.

Я уже забыл на некоторое время распятие среди развалин костела и тягостное ощущение, что сам антихрист вселился в меня.

Я желал перемен в своей судьбе. А стоило мне только чего-нибудь пожелать, как оно исполнялось. В этом было что-то зловещее.

«Г. Рени, Бессарабской губернии, 11 августа 916 года. Сейчас я в Рени. Дунай — серая, как бы пыльная, широкая, некрасивая река. Арбуз стоит три-четыре копейки. Привет всем Вашим. Дорогая Миньона, продолжаю прерванное. Прежде чем попасть на берег Дуная, нам еще пришлось

порядочно помотаться. Оставив наши насиженные места под Сморгонью, мы прошли пешим порядком верст пятьдесят по лесистым местам и болотистым дорогам и остановились в убогой, седой деревеньке: бревенчатые избы с почерневшими соломенными крышами. Может быть, эти избы еще помнят Наполеона и войну двенадцатого года.

Рябины с гроздьями огненно-воспаленных ягод. На огородах репа и грядки белых, лиловых, розовых маков. В небе сизые тучки. Север! Возле деревни, за ручьем, посередине ярко-зеленой зыбкой топи, пружинящей под сапогами, аэропланная позиция, которую мы должны охранять. Там находится надежно замаскированный отряд военных летательных аппаратов типа «Илья Муромец» конструкции молодого политехника Сикорского.

Вы, наверно, об этом уже читали в газетах.

Признаться, я не без волнения узнал, что мы будем охранять прославленные аэропланы «Илья Муромец», это ведь наша национальная гордость. Наше единственное свое собственное, неповторимое изобретение в области воздухоплавания, или, точнее, авиации. До сих пор нигде, кроме России, нет такого устойчивого, громадного, грузоподъемного аппарата тяжелее воздуха. Куда с ним тягаться неуклюжему немецкому дирижаблю «Граф Цеппелин»!

Наши трехдюймовки установлены на новых деревянных усовершенствованных станках, позволяющих без труда поднимать орудийные стволы почти вертикально, в зенит, почему появилось новое словцо «зенитная артиллерия», наши трехдюймовочки стали зенитками.

Разбиты палатки для прислуги, остается ждать немецкого налета. Однако погода хмурая. Значит, немец не прилетит?

Ужасно хочется хотя бы одним глазом посмотреть на легендарного «Илью Муромца», которого мы назначены охранять. Однако до сих пор мы его еще не видели. Только иногда из-за леса, где расположены защитного цвета большие палатки авиационного отряда, доносится грозный громоподобный гул могучих аэропланных моторов.

Иногда густое пение невидимых пропеллеров становится до того явственным и близким, что все мы невольно задираем головы, надеясь увидеть в тучах легендарный самолет. Напрасно. Это всего лишь слуховой обман. Моторы работают не в небе, а пока лишь на земле. Их пробуют.

Наши офицеры уже успели побывать в гостях у авиаторов и видели диковинные аэропланы-гиганты. Говорят,

нечто изумительное. Огромные, но в то же время легкие, отлично сконструированные.

Я ждал с нетерпением, когда и мне посчастливится увидеть их своими глазами.

Наконец дождался.

Раннее утро. Только что взошедшее солнце бросает свои красные косые лучи на мою палатку. Палатка внутри наполнена розовато-желтым светом утреннего солнца. Я выхожу из палатки и вижу ярко-зеленую трясину, кустики можжевельника и на стеблях луговых трав и цветов капельки росы — остатки предутреннего тумана. Эти капельки в лучах солнца ярко горят всеми цветами радуги — янтарными, рубиновыми, изумрудными, фиолетовыми.

Отчего я проснулся в такую рань? Спросонья мне кажется, что где-то совсем недалеко идет бой. Его гул катится по лесам. Но ведь мы далеко от передовых позиций, верст за пятьдесят. Выстрелов не может быть слышно. Может быть, просто шалят нервы? Прислушиваюсь. Гул, похожий на звуки боя, короткими упругими волнами ходит в воздухе, раздаваясь где-то наверху, в небе, и отдается многократным эхом по окрестным лесам.

Задираю голову.

В небе слышатся шум и гром мощных авиационных моторов. Вижу: прямо надо мной, в самом зените, крестообразно распластанный летательный аппарат. Это «Илья Муромец» или, может быть, «Русский витязь». Какой огромный! Как спокойно и быстро плывет в небе. Он летит очень высоко. Так высоко, что его каюта, о которой мы слышали от офицеров, видна еле-еле.

Аэроплан, похожий на в десять раз увеличенный «фарман», описывает красивый, плавный круг и уходит куда-то далеко за зубчатую кромку леса, синеющего на горизонте. Уменьшается. Постепенно теряет форму распластанного креста распятия. Теперь видны обе его плоскости как две слабые полоски. Шум моторов слабеет. Солнце поднимается выше. Две плоскости аэроплана сливаются в одну, превращаются в точку. Он уже очень далеко, верст за семнадцать, а все-таки еще виден простым глазом.

На батарее оживление. Все смотрят в небо. Выпукло поблескивают офицерские бинокли.

Говорят, что «Муромец» ушел далеко во вражеский тыл, захватив с собой порядочный запас бомб.

Через три часа знакомый гул моторов. Но на этот раз несколько жидковатый. В полуденной синеве отчетливо

силуэтится знакомый воздушный корабль, возвращающийся с боевого задания. К вечеру солдатский телеграф сообщает, что «Муромец» совершил налет на немецкие тылы, взорвал склад снарядов, сделал важные наблюдения, сфотографировал узловую станцию и подвергся ураганному обстрелу неприятельской зенитной артиллерии, подбившей два его мотора, так что он с трудом дотащился домой на остальных двух моторах, оставляя за собой шлейф дыма.

На следующее утро получаю разрешение и отправляюсь в авиационный отряд посмотреть муромцев. Отряд расквартирован в чьем-то старинном родовом имении. Огромный столетний парк, такой густой и темный, что сквозь листву небо просвечивает слабой голубой сеткой. Пахнет сыростью, мхом, древесной старой корой. Поражают крупные ба́бочки. Через ручей перекинуты затейливые мостики, сделанные из березовых сучьев. Круглые беседки с белыми колонками. Пруд с почти черной, тяжелой, неподвижной водой, покрытой водяными лилиями — ненюфарами. В барском доме помещаются наши авиаторы, которых с легкой руки футуристов уже называют новым словом (неологизмом!) — летчики. Там и сям на дорожках мелькают их синие костюмы.

Палатки с аэропланами находятся позади парка, в поле. Палаток всего две. Они очень велики, просторны и укреплены сложной системой веревок и кольев. В сущности, это даже не палатки, а целые полотняные ангары.

Я и сопровождающий меня моторист отряда входим в первую палатку-ангар. Здесь ровный, желтоватый, как бы полотняный свет и чувствуется много неподвижного воздуха.

...столетний парк и красивые бабочки, сидящие на пнях, напомнили мне парк Хаджибеевского лимана. Незабвенный парк...

Посредине палатки стоит громадный, раза в четыре больше обыкновенного «фармана», многоместный и четырехмоторный, по виду легкий, несмотря на свой многопудовый вес, биплан. На его крыльях во время полета может свободно ходить механик и в случае надобности, так сказать на лету починить мотор или даже два мотора, а всего их четыре, но не вращающиеся вместе с пропеллером,

как традиционные «гном-роны», а стационарные, неподвижные.

Кабина похожа на небольшой железнодорожный вагон, может быть, даже вагон конки с квадратными окошками.

Вы, наверное, видели в «Ниве» или каком-нибудь другом журнале фотографию государя императора в походной форме на борту «Ильи Муромца»: держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми глазами смотрит с улыбкой прямо в объектив фотографического аппарата — вот, дескать, какой у нас богатырский боевой аэроплан.

Вместе с мотористом, который дает мне объяснения, я обхожу вокруг аппарат, удивляясь толстым резиновым шинам его колес. Он представляется мне чем-то вроде скелета доисторического животного, выставленного напоказ в некоем полотняном походном музее.

Всего не опишешь, но впечатление большое. Особенно поражает, как я уже говорил, легкость всей конструкции, хотя вес аэроплана более ста пудов.

Потом мы переходим в другую палатку, и я осматриваю другой аэроплан того же типа, тот самый, который на днях выдержал ураганный огонь немецкой зенитной артиллерии.

Я смотрю на его поцарапанные осколками, местами залатанные плоскости и живо представляю себе, как вокруг него в небе рвалась неприятельская шрапнель, в то время как из-под его нижней плоскости отрывались подвешенные там грушевидные бомбы и со свистом и воем падали на немецкие тылы, поднимая целые облака черного дыма, в середине которых мигали красные молнии.

За взрыв неприятельского артиллерийского склада, беспристрастно зафиксированный пластинкой фотографического аппарата, специально установленного на «Илье Муромце», командир корабля представлен к белому крестику.

Наша зенитная батарея почти все время бездействует, так как немцы почему-то в нашем районе не летают. Поэтому возле батареи в палатках помещаются только дежурные орудийные номера на случай тревоги, а остальные живут в деревне недалеко от позиции.

Я и два моих товарища-вольноопределяющихся занимаем отдельную квартиру. Большая бревенчатая комната, где мы занимаемся уставами, читаем и пишем письма, всегда чисто вымыта и выметена, стекла в окнах протерты.

Хозяева наши — три белорусские красавицы с льняными косами. Всех их родственников мужского пола забрали на войну. Они остались одни. Им скучно, и мы в некотором роде развлечение для них.

По вечерам при свете керосиновой лампочки происходит нечто вроде посиделок, или, на нашем с Вами языке, легкий флирт (о, совсем невинный, уверяю Вас!) с примесью милого сельского кокетства. Бога ради, не подумайте худого. Вы же прекрасно знаете... Впрочем, о своих чувствах молчу... молчу...

...но вот в один прекрасный день призвал меня к себе командир батареи, куда меня недавно перевели для дальнейшего прохождения службы, и сказал приблизительно следующее:

— Так как вы имеете право на получение офицерского чина, то я должен сказать, что нашить на вас офицерские погоны нетрудно. Но их надо заслужить. Вас недаром перевели в мою батарею. В прежней батарее вы слишком сблизились с нижними чинами. Отчасти это хорошо, так как вы научились тянуть солдатскую лямку. Но теперь вы должны готовиться стать офицером, и дальнейшее сближение с нижними чинами не только нежелательно, но даже вредно для службы. Вы уже имеете одну нашивку. Вы заслужили звание бомбардира... (Представьте, я даже забыл Вам написать, что недавно меня произвели в бомбардиры. Так что Вы теперь со мной не шутите!..) Теперь перед вами стоит задача получить звание младшего фейерверкера как важную ступень к офицерскому чину. Для этого от вас требуется...— И так далее и тому подобное...

За четверть часа командирского внушения, которое я выслушал по стойке «смирно», ноги мои превратились в деревяшки, а живот до сих пор так и остался втянутым, хотя с тех пор прошло уже месяца полтора.

Короче говоря, на другой день утром я посмотрел в окошко и увидел перед нашей халупой разведчика, который держал в поводу оседланную лошадь. Он постучал деликатно в окно и позвал меня:

— Господин вольноопределяющийся, пожалуйте на верховую езду.

В сердце у меня стало пусто и холодно, желудок опустился. Я вышел из халупы. За домом, за огородом, в чистом поле стоял в картинной позе молоденький прапорщик,

взводный офицер моей новой батареи Матюшенко, по виду ужасный тонняга, держа в одной руке стек, а в другой веревочную корду. Он поздоровался со мной на несколько небрежный гвардейский манер, на что я, естественно, вытянулся и гаркнул на всю окрестность:

— Здрав... желай... вашбродь!

Недалеко от него стояла лошадь.

— Подойдите-ка поближе, вольноопределяющийся, э... э... как вас? Пчелкин!

Я подошел поближе.

— Перед вами стоит животное под названием лошадь,— сказал он, показывая стеком на лошадь.— Повторите.

— Лошадь, ваше благородие,— сказал я бодро.

— Хорошо. Наука о лошади называется гиппологией. Повторите.

Я повторил.

— Прекрасно. Вы делаете успехи. Теперь займемся наукой о лошади, то есть гиппологией. Итак. Э... лошадь, которую вы видите перед собой, разделяется на три части: перед, туловище и зад, называемый в обществе порядочных людей круп,— сказал профессорским голосом прапорщик Матюшенко и для большей наглядности обвел стеком все три части лошади.— Повторите.

— Перед, туловище и зад, имеющий также название круп,— сказал я.

— Прекрасно! — сказал прапорщик.— Перед лошади состоит из головы, туловище из туловища, а зад, который, как вы уже знаете, в приличном обществе принято называть круп, оканчивается так называемым хвостом.

Он подошел к лошади и приподнял рукой в замшевой перчатке густой лошадиный хвост, откуда вылетело несколько крупных летних мух.

— Повторите.

— Голова, туловище и круп, оканчивающийся так называемым хвостом,— отчеканил я.

Прапорщик строго нахмурился, но не сумел сдержать мальчишеской улыбки и принял предложенную мною игру.

— Прекрасно, вольноопределяющийся, очень хорошо. Вы делаете успехи в науке, которая называется гиппология. Так как же называется наука о лошади? Повторите.

— Гиппология, ваше благородие.

— Блестяще! Пойдем дальше. Туловище лошади снабжено четырьмя ногами, снабженными на конце так назы-

ваемыми копытами. Повторите и покажите передние ноги и задние.— И т. д.

Забавляясь таким образом, я под руководством прапорщика изучил в общих чертах науку гиппологию, после чего начались практические занятия верховой езды. Это уже было хуже. Обливаясь потом, я вскарабкался на спину проклятого животного, и тогда началась настоящая драма. Я уже, правда, и раньше ездил верхом и даже считал, что езжу недурно. Но, оказывается, я ездил не по правилам, и моя дилетантская езда оказалась детским лепетом по сравнению с тем, что меня ожидало теперь под мудрым руководством прапорщика Матюшенко.

Теперь, когдя я уже беру барьеры, знаю толк в лошадях и твердо усвоил, что то, чем бегают лошади, называется ногами — передними и задними,— мне все это кажется забавной комедией, именуемой уроками верховой езды.

Но тогда!

О господи! Довольно толстая рыжая кобыла по кличке Жито, бегая по кругу на корде, трясется подо мной и норовит каждую минуту сбросить меня на землю. Еле удерживаюсь в седле, которое уже достаточно сильно набило и натерло мой, так сказать, круп. А прапорщик Матюшенко ходит посредине круга и покрикивает своим шикарным гвардейским тенором:

— Черт знает что! Вы сидите на лошади, как собака на заборе! Доверните носки! Не хватайте лошадь за брюхо, вы ее этим раздражаете! Держитесь «шлюзами»! Не держитесь за луку! Это неприлично. Не хватайтесь руками за холку! Лучше упасть с лошади, чем хвататься за холку!

Я трясся, как мешок с овсом, и думал: тебе хорошо, черт полосатый, кричать, а мне-то каково! Доверните носки. А если они не доворачиваются? Сам попробуй довернуть носки, если это тебе так нравится!..

...В общем, через неделю я вполне понял, как страдал Ваш воздыхатель Жора Мельников, принужденный в прошлом году в период своих знаменитых уроков верховой езды изящно сидеть у Вас в гостиной и поддерживать великосветский разговор о погоде, о лошадях, о женщинах, в то время как его, если так можно выразиться, часть тела южнее спины горела как на сковородке, натертая и набитая седлом.

О, как я ему должен был бы сочувствовать!

...Каюсь: я уже успел в нашем приаэропланном селе слегка влюбиться. Что ж: северные девушки не хуже наших южных. Представьте себе, какая идиллия ходить вдвоем в лес по грибы, есть чернику, пачкающую губы как бы школьными лиловыми чернилами, любоваться закатом и коротать летние бледнозвездные ночи, сидя на старом бревне перед халупой, и петь дуэтом песни вроде «Позарастали стежки-дорожки, где проходили миленькой ножки». И все это — клянусь Вам! — вполне невинно.

Ну ладно. Довольно. Только что объявили поход. А куда — неизвестно...»

Чтение этого длинного письма утомляет меня, я решаю дочитать его завтра и ложусь спать, приняв, как всегда, легкое снотворное. Но почему-то на этот раз недочитанное письмо не то чтобы волнует меня, но вызывает чувство, похожее на горечь разлуки с дорогим прежним, пережитым, и предчувствием чего-то нового, неизвестного. Я как бы навсегда прощаюсь с теми местами, где провел первые семь месяцев своей службы, вспоминая подробности этого времени, выпавшие из памяти.

Мне вспомнилось:

...Начало апреля. Снега растаяли. Прошло несколько весенних дождей. По дорогам и низинам непролазная грязь. Ночью хвойные леса шумят вокруг, как море.

Батарея стоит слева от шоссе, которое находится под обстрелом: у многих берез обрублены снарядами верхушки и надломлены стволы. Вдоль шоссе — солдатские могилы с уже посеревшими деревянными крестами. Березы склоняют над ними сети своих ветвей, с которых падают дождевые капли. Как слезы. Ветер кропит ими могильные холмики.

Ночью, если днем была перестрелка, с пехотной линии мимо батареи несут, везут или ведут раненых. Они тяжело стонут, а то и просто кричат грудными надорванными голосами.

В ясную погоду с нашей батареи отчетливо виден сморгонский костел, уцелевший от немецких снарядов. Но это только так кажется, что он уцелел. Он весь в трещинах и пробоинах, еле держится.

Я навсегда прощался с хрупким видением костела, с разросшейся вокруг него персидской сиренью, с разбитой кропильницей и деревянным распятием, поверженным среди строительного мусора.

Деревянное красное сердце на желтой грудной клетке богочеловека.

Справа синеет река Вилия и желтеет новенький бревенчатый мост через нее, построенный саперами.

Батарея расположена на открытом месте, а потому замаскирована небольшими елочками, срубленными в бору. Поэтому издали батарея похожа не то на молодой лесок, не то на питомник.

На этой позиции, помнится, мы стояли больше месяца, и солдаты обзавелись кое-каким комфортом. Возле землянок устроили сосновые дощатые столики, скамьи, вбитые в землю, на столиках начертили шашечные клетки и по целым дням сражались в дамки. Многие так навострились, что, пожалуй, достойны называться чемпионами шашечной игры. Впрочем, общеизвестно, что лучшие в мире игроки в шашки — русские солдаты.

В дамки играют люди солидные, сверхсрочники, а молодые, с действительной службы, все свободное время посвящают игре в городки, или, как здесь говорят, в скракли: выбивают издали тяжелыми березовыми палками сонные сосновые чурочки, разлетающиеся во все стороны со звуком, действительно схожим со словом «скракли». Батарея ведет огонь часто, но понемногу, разгоняет своей шрапнелью небольшие партии неприятеля, производящего земляные работы.

В два часа пополудни стрельбы почти никогда не бывало.

— Герман пьет каву (то есть кофе).

После двух часов, выпив каву, герман идет на земляные работы, и наша батарея, уведомленная об этом по телефону с наблюдательного пункта, начинает разгонять германа.

Батарейцы хорошо усвоили это боевое расписание и пользуются случаем — греют на костре в чайниках воду и попивают чаек, чаще всего «вприглядку».

— Герман каву, а мы чай Высотского.

Но один раз не угадали: только что насыпали в кипяток скуповатую заварку, как из телефонного окопчика выскочил дежурный:

— Батарея, к бою!

— Тьфу, черт, не дают спокойно чайку попить.

Побросали кружки, ломти черного хлеба, и через миг орудийные номера стояли уже на своих местах у орудий.

— По цели номер сорок пять. Угломер пятнадцать — тринадцать. Уровень тридцать — ноль. Пушки сто сорок. Гранатой. Первый взвод — огонь! Первое, второе!

И пошло и пошло!..

После отбоя высказывается соображение, что немец хитрый, черт: разделяется на две партии. Одна партия копает, другая пьет каву. Потом одна каву пьет, другая копает. А мы стреляй! Пока отстреляемся — глядишь, и чай захолонул. Обратно надо греть. Этак и дров не напасешься.

...Против германа растет глухое неудовольствие...

А вокруг дивный солнечный день, в небе два-три белоснежных круглых облачка, с исподу голубоватые, плоско синеет река Вилия, желтеет новый наплавной мост, синеют леса, источая бальзамический запах хвои.

Благодать!

Прощай, белорусско-литовское Полесье. Жаль с тобой расставаться, да ничего не поделаешь. Такая наша солдатская служба.

Если день ясен, летают аэропланы. Уже с утра откуда-то сверху льется сонный журчащий звук мотора. Летит герман. Из землянок наверх выползают сонные батарейцы и поднимают помятые лица к небу. Долго не могут найти в яркой глубине белую точку. Водят пальцами в разные стороны, щурятся, пока кто-нибудь случайно не наткнется на «таубе», вокруг которого апрельское небо уже покрыто белой оспой наших шрапнельных разрывов. Беленькие оспинки пухнут, превращаются в небольшие трескучие тучки. Скоро все небо становится рябым.

Но, в общем, на земле тихо. Тишину нарушают жаворонки, вороны, ручейки... Весна...

О, как горько и вместе с тем как сладостно она напоминает поход за фиалками и Ганзю!

Никогда больше я не увижу ни этой, ни т о й весны. Будет еще много весен... но эти неповторимы, как первая любовь.

...Перед закатом я пошел к реке. Небо по-прежнему устойчиво безоблачное. Солнце лучистое, как будто сквозь слезы; с берез сыплются крупные капли. Идут весенние соки. Солдаты пробуравили стволы берез, приладили деревянные желобки и собирают березовый сок в свои манерки и бачки.

Я вдруг ощущаю на губах вкус березового сока: чуть сладковатый, душистый, прохладный.

Помню, шел я мимо соседней батареи, опустив голову и глядя в землю. На душе у меня было тихо, горько и как-то очень хорошо... как в детстве...

Ночью я стоял у орудия дневальным. Небо полно звезд. Месяц на закате похож на раскаленный уголек, подернутый голубоватым пеплом тучки. Изредка слышатся отдаленные редкие ружейные выстрелы: па-та-ра! па-тара!

Странно, что все звездное небо как бы находится в незаметном вращательном движении. Еле уловимо глазом плывут знакомые с детства созвездия. Одна только маленькая, почти незаметная Полярная звезда неподвижна, как и моя любовь. Но не к той, которой я пишу, а к другой. В ту, которой я пишу, я влюблен. А ту, другую, я люблю. Влюблен и люблю. Две вещи совершенно разные, хотя и похожие.

Несовместимость!

Теперь мне это ясно. А тогда я мучился.

Теперь в не совсем прямоугольном, мягко очерченном светящемся пространстве появляется женская фигура в алых развевающихся одеждах, приближается, и ее грубый, но прекрасный профиль заполняет экран. У нее волнистые волосы и открытый рот полубога.

Богиня с лицом архангела. Она поет.

«Нет, не тебя так пылко я люблю. Не для меня красы твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость, и молодость погибшую мою».

Теперь ее глаза смотрят на меня в упор. Божественный женский голос с мужскими модуляциями, сливаясь с божественной струнной музыкой, есть воплощение моей души, полной восторга и отчаяния.

«...и молодость, и молодость погибшую мою...»

Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щеки, вспоминая свою погибшую молодость, белорусские или литовские леса, по которым двигалась наша артиллерийская бригада,— а куда? Никто не знал... Даже солдатский телеграф.

Чувствовалось, что война принимает новый оборот...

Открывался румынский фронт.

Скрипя по мокрой песчаной дороге, батарея, в которую я был переведен из своей прежней батареи уже в звании бомбардира, с одной лычкой на погонах и с надеждой на звание младшего фейерверкера, то есть на вторую лычку,— батарея шагом выехала из смолистой тьмы леса и стала подниматься на бугор.

Впереди на серой лошади, опустив поводья, ехал еще мало мне знакомый командир батареи. Его сутуловатая высокая фигура немолодого штаб-офицера мерно покачивалась в такт лошадиному шагу, и казалось, что он бормочет себе под нос что-то спросонья. За командиром следовали трубач и два конных разведчика.

Чубатые разведчики держались молодцевато, и у всех у них фуражки были сбиты набекрень.

За разведчиками плелась двуколка, нагруженная катушками телефонного провода, а за двуколкой бренчали и подрагивали на выбоинах дороги пушки с передками и зарядные ящики, сдвоенные между собою так называемой стрелой.

На лафетах трехдюймовок, обвешанных вещевыми мешками, ранцами, скатанными шинелями, котомками, чайниками и прочей дребеденью, сидя спали орудийные номера, хотя это и запрещалось уставом: они должны были идти рядом со своим орудием.

По сторонам зарядных ящиков и пушек, влекомых по тяжелому песку конной телегой с верховыми ездовыми, на крепких сытых лошадях сонно покачивались орудийные фейерверкеры.

Остальная прислуга, те, кто не сумел словчиться сесть

на передок или зарядный ящик, шла пешком, тяжело роя сапогами сырой после ночного дождя песок, то и дело засыпая на ходу и спотыкаясь.

За ночь прошли тридцать верст, и солдаты изнемогали от усталости. Светало. Небо из черного, ночного стало водянисто-серым, и уже можно было различать лица солдат и масти лошадей. Где-то недалеко совсем по-домашнему кукарекнул петух, то ли предсказывая скорый восход солнца, то ли накликая дождь.

Я вспоминаю, как во время этого мучительного перехода без остановок мне удалось пристроиться на лафете и просидеть некоторое время с еще мало мне знакомым наводчиком Подкладкиным.

Мы проговорили напролет всю ночь, не спали и к рассвету ужасно надоели друг другу. Разговор шел о крестьянских делах, о которых я не имел никакого понятия и только читал кое-что в книгах и газетах, в то время уже изуродованных цензурой. Мы совершенно не понимали друг друга, волновались, сердились, перебивали друг друга.

— Слушайте, Подкладкин,— говорил я, раздраженно сдвигая на затылок фуражку и вытирая лицо ладонью,— дело совсем не в том, что аграрный вопрос в России...

— Господин вольноопределяющийся...

— Постойте! Не перебивайте! Дайте докончить!.. Дело, повторяю, совсем не в том, что биржа...

— Нет, теперь вы постойте с вашей биржей... Не перебивайте. Дайте мне. А потом говорите себе сколько вам угодно. Вы, конечно, как образованный, с аттестатом первого разряда, а мы, конечно, как люди темные, можно сказать, даже совсем без образования... Вот вы все говорите — аграрная, аграрная или биржа, биржа...

И Подкладкин начал сбивчиво и торопливо в десятый раз доказывать нечто совсем мне непонятное.

Я понимал, что Подкладкин совсем не умеет выражать ясно и понятно свои мысли, и это меня мучило, раздражало. Но еще больше раздражал меня его какой-то необъяснимо оскорбительный тон, как будто бы я был виноват во всех народных бедствиях, волновавших Подкладкина. А самое главное, что слово «говорить», он произносил с ударением на втором «о», то есть «гово́рить» что воспринималось мною чуть ли не как издевательская насмешка.

Я чувствовал, что, говоря о земле, Подкладкин недоговаривает чего-то самого главного: то ли не умеет выразить свои мысли, то ли не доверяет мне как человеку чужому.

А я привык, что в моей бывшей батарее солдаты считали меня вполне своим и не стеснялись выражать в моем присутствии самые крамольные мысли, даже, например, такие, что пора всю эту волынку с войной кончать и начать делить помещичью землю.

К орудию подъехал фейерверкер Черпак. Он сидел на грузной большой кобыле, и все на нем казалось тяжелым, большим: и шашка, и большой револьвер-наган в большой, старой, до блеска протертой кожаной кобуре, и сапоги, и шпоры.

— О чем у вас разговор, Александр Сергеевич? — спросил он меня.

— Да вот все спорим о земельном вопросе в России. Посудите сами: Подкладкин утверждает...

— Ничего я вам не утверждал,— угрюмо промолвил Подкладкин.

Черпак махнул рукой и обратился ко мне:

— Угостите папироской.

— Пожалуйста, пожалуйста.— Я достал кожаный портсигар, который завел совсем недавно, и протянул фейерверкеру.

Черпак тяжело наклонился с седла, вытянул папироску, вырубил кресалом из кремня искру и стал закуривать от дымящегося трута, поставив ладони ковшиком. На миг огонек папиросы бросил красное пятно на грубое, но красивое лицо Черпака, и предутренний ветер отнес в сторону сизый дымок.

— Легкий, турецкий,— с удовольствием произнес Черпак тоном знатока,— «Дюбек лимонные», фабрики Асмолова. Аромат!

Еще минуты две для приличия Черпак ехал рядом, а потом тронул лошадь шпорами и свернул в сторону.

— Эй, Черпак! — крикнул я ему вдогонку.

— Чего изволите? — спросил Черпак, возвращаясь. Он уже как бы чувствовал во мне будущего офицера.

— Скоро бивак? А то больше сил нет.

— Деревушка вон там, за бугром,— ответил Черпак, показывая плеткой вперед.— Не помню названия. Чи Гаскевичи, чи Сухневичи, чи Заскевичи. Одним словом, как говорится, на «чи»... Чи не пойдете вы...— Черпак добродушно произнес нецензурное выражение, засмеялся, оскалил белые зубы.

— Слушайте, Черпак, а нам с вольноопределяющимся Петровым можно будет искать себе квартиру отдельно?

— Отчего же нет? Раз командир батареи разрешил, значит, можно. На то вы и вольнопёры, будущие офицеры...

В этих словах мне послышался как бы некий упрек, некое недовольство, даже как бы скрытая угроза.

Вообще эта ночь, сумбурный спор с Подкладкиным как бы снова приоткрыли для меня нечто скрытое, то, что делалось в стране, в тылу, далеко от линии фронта.

Я соскочил с железного лафета и, припадая на отсиженную ногу, пошел по глубокому песку косогора, обогнал передок, ездовых, зарядный ящик, скрипящий своей стрелой, и подошел к головному орудию, на лафете которого дремал другой вольноопределяющийся, Петров, недавно прибывший в бригаду, малый веснушчатый, худой и безбровый.

— Как дела, Петров? — спросил я покровительственно и протянул своему коллеге, еще не нюхавшему пороху, портсигар.

— Курите. «Дюбек лимонные». Асмолова.

Петров поднял нестриженую голову и улыбнулся спросонья мне, своему старшему товарищу, детской, несколько провинциально-застенчивой улыбкой.

— Вот что, Петров, сейчас будет бивак. Мы с вами поселимся отдельно, вместе, в квартире по моему вкусу. Я уже говорил с начальством. Разрешено. Вы хорошо выспались на лафете? Мягкие части не отсидели?

— Выспался лучше не надо! — бодро ответил новенький.

— Небось снились саратовские барышни?

— Не без этого.

— О, да вы, оказывается, донжуан! А я, представьте себе, всю ночь разговаривал с наводчиком Подкладкиным насчет аграрного вопроса в России.

— Какой там аграрный вопрос, когда у мужика все равно ни черта нету земли,— пробормотал Петров.— Голодает народ.

— Но позвольте, ведь Государственная дума...— начал я, выпуская табачный дым из ноздрей и представляя себе карикатуру, виденную недавно в «Огоньке»: купол Таврического дворца в Петрограде и над ним зловещая стая черных ворон...

— Е...ли они Государственную думу,— неожиданно, но с прежней детской улыбкой сказал Петров как нечто

давно уже всем известное.— А вы знаете,— прибавил он как бы в виде извинения,— кажется, опять собирается дождь.— И посмотрел на хмурое небо.

Он слез с лафета, и мы пошли рядом в ногу по краю дороги, вдоль полосы мокрой розовой гречихи, от которой перед дождем особенно сильно пахло медом.

— И пахнет медом от гречихи,— мечтательно процитировал я.

— И коростель скрипит во ржи,— дополнил Петров.

Мы оба засмеялись...

...А в это время где-то далеко, за тридевять земель, в тридесятом царстве прошлой жизни, жили-были и, может быть, еще не проснулись, лежа на горячих подушках, две девушки, не знакомые друг с другом: одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неописуемо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий.

...погружаемся в эшелон на станции со странным названием Столбцы, возле Барановичей.

Пушки втаскиваем на железнодорожные платформы по доскам, а лошади, звонко стуча подковами, идут по настилу в товарные вагоны со знаменитой надписью «Сорок человек — восемь лошадей».

И точно: в числе сорока человек нижних чинов я попадаю в вышеупомянутый товарный вагон-теплушку и устраиваюсь на нарах, покрытых соломой, от которой пахнет лошадьми.

Четверо нар. Двое налево, двое направо, одни над другими, на каждых по десять человек, итого — сорок. Точно. Все правильно.

Длинное путешествие по железной дороге, а куда — неизвестно. По названиям станций ничего не поймешь. Военная тайна! Но, видимо, где-то срочно нужны наши трехдюймовки.

Эшелон гонят без остановок.

Солдатский телеграф сообщает, что генерал Брусилов прорвал австрийский фронт и нас гонят к нему на подкрепление.

Это приятно. Надоело топтаться на одном месте — ни взад, ни вперед. Хочется наступления, подвигов, взятия городов, боевых наград!

А пока что наша теплушка, отчаянно мотаясь и гремя на стыках, стремглав катится вперед, и в широко раздвинутых ее дверях мимо нас проносятся леса, полустанки, головастые водокачки, озера, изредка таинственные решетчатые «тригонометрические знаки», реки, над которыми мы пробегаем по железным мостам, наполняющим воздух музыкально-броневым грохотом.

Посредине вагона в проходе традиционная печурка с коленчатой трубой, выведенной в боковую форточку. Ну уж тут, натурально, появляется традиционный орудийный чайник, вмещающий едва ли не ведро кипяточка, мелко, по-хозяйски, расчетливо наколотый рафинад, походные ржаные сухари, скупая артельная заварка чаю.

Летний железнодорожный сквозняк вытягивает из теплушки сизый дымок махорки «Тройка»...

И начинается мирное солдатское теплушечное житие: кто-то рокочущим густым басом негромко начинает любимую солдатскую песню о Ермаке, покорителе Сибири:

«Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и непре-рыв-но гром гремел, и вихри в дебрях буше-ва-а-ли...»

Сорок разнообразных солдатских басов, альтов и даже дискантов подхватывают знакомую, родную песню, и в несущейся невесть куда теплушке солдатский хор грозно и мрачно звучит, как орган, на котором неведомый органист играет Баха, но не просто Баха, а какого-то еще более могучего русского Баха, может быть даже самого Ермака, сидящего с глубокой думой на берегу гремящей сибирской реки — Иртыша, что ли?

Не знаю, какое тайное значение солдаты придавали древней романтической картине: гроза, буря, молнии и сидящий на диком бреге Ермак. За кого они его принимали: за охранителя границ великого Русского царства или за самого Пугачева?

Но меня беспокоили солдатские лица, в общем-то свойские, вдруг ставшие грозными, как бы отражая гром и молнии приближающейся народной бури.

Народная баллада к грядущей революции.

Что-то нынче солдатами не пелись сентиментальные песни про «стежки-дорожки, где проходили миленькой ножки», или «пожалей ты меня, дорогая, освети мою тем-

ную жизнь». Нет. Нынче что-то другое владело их душами. Их душами владело «славное море, священный Байкал» — слова, которые я сначала понимал превратно или совсем не понимал. Что за «корабль — омулевая бочка»? Что за баргузин, который должен пошевеливать какой-то вал? Что за вал? Что за баргузин? Баргузин представлялся мне громадной фигурой какого-то легендарного сибирского богатыря вроде Ермака, державшего в могучих руках деревянный вал, чудовищное весло величиной с сосновый струганый ствол, опущенный в воду священного Байкала.

Но все это оказалось лишь плодом моего незрелого воображения. На самом деле баргузин — это название ветра, вал — это волна, которую пошевеливает этот ветер баргузин. Вот и все. Но магия этих странных сказочных слов осталась, и в общем солдатском хоре я с удовольствием подтягиваю своим немузыкальным голосом чудным звукам народной песни.

Но ведь это не простая песня. Это баллада. Она воспевает мужество беглого каторжника. А откуда он бежит? Он бежит с царской каторги. Очень возможно, что он попал на царскую каторгу как революционер, которому сочувствует народ: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой». В этом суть всей песни. А забайкальский пейзаж говорит о ссыльных декабристах.

«...ох, дорогая Миньона, совсем не прост наш солдатик, защитник веры, царя и отечества. Я начинаю задумываться над судьбою России.

Впрочем, забудьте и вычеркните. Это не для цензуры. А письмо опять постараюсь отправить не полевой почтой, а с оказией, чтобы не вышло неприятностей.

Но как Ваше здоровье? Берегите его. У Вас слабые легкие. Не простужайтесь.

Итак, наш воинский эшелон несется в неизмеримо громадных просторах России, а куда — неизвестно.

«Конь несет меня лихой, а куда — не знаю».

Наконец мы оказываемся в Буковине, и солдатский телеграф разносит весть о том, что нас бросают в Брусиловский прорыв.

Рано утром разгружаемся на станции Черновицы. Сама станция и дома вокруг нее разбиты снарядами. Пыльно.

Солнечно. Зелено. Слева на горизонте в легком, как бы голубом тумане голубые горы. Это уже не то Румыния, не то Австрия. Гористо и красиво уже какой-то чужой, не русской красотой.

Вот оно куда занесло нашу артиллерийскую бригаду, оторванную от своей пехоты. Впереди завоеванная Буковина.

Вперед, на помощь героям брусиловцам!

Пыльная дорога. Мужчины в белых холщовых штанах, в жилетах поверх длинных вышитых рубах, в шляпах, из-под которых падают на плечи длинные нестриженые волосы. Женщины в ярко вытканных платьях. Пыль на дорогах особенно белая, мелкая, как мука. Она садится на лицо, на руки, пудрит обмундирование, делая всех седыми, а черные артиллерийские шаровары превращает в серебристо-бархатные. В пыльных садах чертова уйма спелых лиловых слив, покрытых бирюзовым налетом, груш, яблок, грецких орехов в темно-зеленой мясистой кожуре. Ешь — не хочу! Но скоро надоело, объелись, пардон, до поноса.

Город Черновицы. Потом вдребезги разбитая Коломыя. Развалины, поросшие бурьяном, остатки стен особнячков с аляповатыми фресками амуров, нимф...

Тяжелые переходы. Ночью привалы в палатках, при свете какой-то нерусской луны. Поход форсированным маршем. Потом уже Галиция. Тот же зной, то же солнце, те же отяжелевшие от пыли фруктовые сады, подсолнечники и высокие розовые, белые, алые, кремовые мальвы, на кольях плетней — глечики.

Огромные партии пленных австрийцев в серо-пыльных мундирах, похожих скорее на какие-то больничные халаты.

Ночью за горизонтом беглый блеск артиллерийской стрельбы. Ее звуки все ближе и ближе... И вдруг — стоп! Назад! Куда же? Опять неизвестность. Солдатский телеграф молчит. Нами всеми руководит чья-то таинственная железная воля.

...И вот мы опять грузимся на платформы и в теплушки — сорок человек и восемь лошадей.

Замелькали поля Галиции, отроги голубых Карпат, пыльная фруктовая Буковина. Под нами сверкнул стальной быстрый Днестр. Бессарабия. И вдруг знакомая с детства станция Жмеринка, крупный узел Юго-Западной железной дороги. Здесь уже все знакомое, степное, родное. Новороссия. До нашего города совсем недалеко. Не-

ужели туда на переформирование?! И сразу мне представляется куст персидской сирени, белая скамья над обрывом, морской простор.

По поводу ожидаемого переформирования в тылу в нашей теплушке пир горой. Откуда ни возьмись появилось ведро бессарабского белого вина, не вполне честным путем раздобытого разведчиками в Жмеринке, и мы на радостях основательно выпили, закусывая сливами и грушами. С непривычки я опьянел, пел всякую чепуху про любовь и целовался с орудийным фейерверкером, у которого оказались колючие жесткие усы.

Я всех любил, и меня все любили и предсказывали, что скоро я получу звание младшего фейерверкера, а там и рукой подать до золотых погон.

В таком возбужденном состоянии я заступил на дежурство при двух орудиях моего взвода, ехавших на открытой платформе.

Поезд тронулся. Степной ветер быстро выдул из меня легкий хмель слабого бессарабского вина, и я сидел на лафете с обнаженным бебутом в руке, наслаждаясь стремительным движением нашего эшелона, с каждой секундой приближавшего меня к Вам.

Мимо пробегали телеграфные столбы, и я считал в уме расстояние между ними секундами: раз-два-три-четыре-пять. Обычный пассажирский поезд пробегал между двумя столбами за семь секунд. Теперь же от столба до столба было четыре секунды. Наш эшелон гнали со скоростью курьерского поезда. Не останавливаясь мы проскочили крупную узловую станцию Барзула. И вот уже — станция Раздельная. Чуть ли не сорок верст до моря, до Вас. Можете себе представить мое волнение! Еще каких-нибудь полчаса — и ко мне вернется прошлое...

Но не тут-то было. Близок локоть, да не укусишь. Видно, прошлое уже никогда не возвращается.

На станции Раздельная короткая остановка, после чего наш эшелон переходит по стрелкам на другую сторону и поворачивает на запад. Куда? Кто-то пускает слух, что бригада наша направляется в Тирасполь и станет там лагерем в ожидании новых событий: со дня на день доселе нейтральная Румыния должна вступить в войну против Германии и, таким образом, сделаться нашим союзником.

При слове «Тирасполь» в душе у меня все переворачивается. Ведь Тирасполь — это Ваш город. Там стояла 15-я артиллерийская бригада, которая после начала войны выделила из себя нашу 64-ю. А до войны вы все, барышни Заряницкие, каждое лето проводили в лагере у своего отца под Тирасполем. В Вашем представлении Тирасполь всегда казался чем-то вроде земного рая: природа, воздух, парное молоко, романы с артиллерийскими офицерами. Вы и Тирасполь в моем воображении неразрывны. И вот теперь чья-то неведомая воля мчит меня именно в Ваш Тирасполь. Чудеса!

Ночь. Звезды. Маленькая фиолетовая луна. Туча искр из паровозной трубы. Поле, откуда доносится запах конопли, иммортелей, полыни, чебреца. Теплый ветер бежит по звездам.

Станция Тирасполь!

Поезд стоит тридцать минут. Я дежурю на открытой платформе, прислонясь к орудийному колесу, весь под обаянием тех прошлых тираспольских ночей, которые я никогда не переживал, но прелесть которых всем своим существом чувствую по Вашим рассказам.

Но что это? Три звонка. Свисток. Стук буферов. Под моими ногами платформа дергается. Я хватаюсь за орудийный щит. Поехали дальше! Мне грустно. Я люблю Тирасполь, а он уплывает куда-то назад, вдаль, в степную ночь...

...И вот мы уже на берегу Дуная, в городе Рени...

...как у нас поется в бригаде: «Я на камешке сижу, на реку Дунай гляжу», а об Одессе и не мечтай! Ваш *А. П.*».

Вспоминается мне пыльный, знойный придунайский городишко Рени в Бессарабской губернии. В мирное, довоенное время этот городок жил сонной жизнью уездного захолустья. Два ресторана. Базар, где продаются местные кавуны, дыни да помидоры. Собор с синим полинявшим куполом. Кондитерская «Реномэ», парикмахерская «Реномэ», фотография «Реномэ». И бюро похоронных процессий тоже «Реномэ». И все это принадлежит одному хозяину-греку.

Теперь не то.

Город, говорят старожилы, не узнать. Он весь теперь какой-то военный, как бы защитного цвета хаки. Куда ни посмотришь — всюду военные. Пехотинцы. Артиллеристы.

Авиаторы. Моряки. Саперы. Военные врачи. Сестры милосердия. По деревянным тротуарам позванивают шпоры. То и дело, обдавая облаками мелкой, белой, как мука, бессарабской пыли местных так называемых кисейных девиц, прокатывают парные неуклюжие фаэтоны, унося в неведомую даль ослепительно белые, словно отлитые из гипса, накрахмаленные кители и черные нафабренные усы морских офицеров Дунайской флотилии.

По окраинам расположены непрерывно прибывающие и прибывающие войска всех родов оружия. Вот на пыльном, поросшем бурьяном и будяками пустыре красуется совсем новенькая четырехорудийная, видно, еще не побывавшая в деле гаубичная батарея. Вот только что не египетские пирамиды, сложенные из блоков прессованного сена. Палатки. На плетнях развешаны солдатские портянки, бязевые рубахи, кальсоны. Проветриваются шаровары и раскинувшие рукава гимнастерки. Дымят походные кухни, кипятильники на колесах.

Вспоминается, как проходил я мимо бивака сербских добровольцев, лихих молодцов в странных головных уборах, которые теперь распространены повсеместно и называются пилотки, а тогда вызывавшие удивление.

Возле канавы, густо поросшей дерезой, унизанной бледно-лиловыми продолговатыми ягодками, между вербами протянута коновязь и топчутся лошади, отбиваясь хвостами от мух и слепней. Лица у братушек-сербов смуглые, глаза как угли и как-то по-западному, даже по-американски, по-ковбойски сжатые энергичные рты.

Вот на плацу бивак наших казаков, лихих донцов с чубами из-под фуражек. Вот пулеметная команда.

Все чего-то ждут.

Солдатский телеграф сообщает, что не сегодня завтра нейтральная Румыния объявит Германии войну и тогда сразу же мы переберемся за Дунай, в Добруджу и вместе с румынами ударим по врагу.

Но тянулись дни, а румыны все еще чего-то выжидали.

Войска изнывают от жары, пыли, безделья, нетерпенья.

Но что из себя представляет это скопление всех родов оружия — неясно. Кто говорит, что это новый фронт, кто считает это отдельной особой армией, кто — экспедиционным корпусом. Однако единого командования еще нет, отсюда какой-то всеобщий беспорядок.

Всем распоряжается, как говорят солдаты — всем заворачивает, некий контр-адмирал Дунайской речной флотилии, военный комендант города Веселкин, фигура отчасти комическая, отчасти зловещая. Он тучен, курнос, бородат, полупьян, неряшлив, и если бы не его летний белый сюртук из чертовой кожи с контр-адмиральским черным орлом на погонах и не кортик, то его можно было бы принять за чеховского околоточного. Солдатский телеграф уверяет, что адмирал Веселкин — незаконный сын императора Александра III. Вполне возможно. Он похож на него как две капли воды, только немного пониже ростом.

У Веселкина навязчивая идея: всюду наводить порядок. Он воюет на базаре с торговками, бьет морды солдатам, не ставшим ему во фронт, сажает на гауптвахту фланирующих по бульвару прапорщиков, штрафует извозчиков, непристойными словами ругает барышень.

Увидав издали белый сюртук, прохожие шарахаются в стороны, прячутся по домам, торговки в развевающихся юбках убегают с базара, таща свои лотки и корзины, из которых сыплются в пыль огурцы и помидоры, солдаты прыгают через плетни и прячутся в дерезе, извозчики изо всех сил хлещут своих лошадей и несутся вскачь — дрожки вихляются и заезжают на деревянные тротуары. Адмирал Веселкин грозит им кулаками и оглашает воздух самой что ни на есть непечатной бранью.

О каком же тут порядке может идти речь? Сплошной хаос! И это все буквально накануне открытия нового фронта военных действий.

Даже сейчас, когда жизнь моя уже прошла, память с поразительной отчетливостью воскрешает все, что я испытывал тогда на берегу Дуная, и прежде всего внезапную, нестерпимо острую тоску по родному дому, по городу, по тому неповторимому миру юности, от которого я так глупо бежал.

Боже мой, что я наделал!

Я испытывал почти ощутимую близость родного новороссийского августа, пламенную густоту неба, грубый запах разросшегося за лето бурьяна, осыпавшего ботинки желтым порошком своего некрасивого, но могущественного цветения, трепет пухлых мотыльков-бражников, кружа-

щихся в палисадниках над яркими, как бы целлулоидными разноцветными циниями, огненными каннами, и каменную скамью над обрывом.

Я готов был бежать домой и стать дезертиром.

Искушение было так велико, что однажды я отправился на железнодорожную станцию, перешел через рельсы на запасной путь, где стоял пустой состав пассажирского поезда Рени — Одесса, взобрался по высоким ступеням и открыл незапертую тяжелую дверь пустого вагона «микст» — наполовину желтого, наполовину синего. Я вошел в уборную первого класса и запер за собой дверь на задвижку. Здесь было прохладно, очень тихо и пахло душистой дезинфекцией хорошо вымытого фаянсового унитаза и умывальника с куском туалетного брокаровского мыла и льняным полотенцем с монограммой железной дороги — «ЮЗЖД».

Я увидел себя в зеркале и удивился. Я давно уже не видел себя в зеркале. Загорелое незнакомое лицо, уже не детское, возмужавшее, но все еще не вполне солдатское. Стриженая голова. Пыльные жесткие волосы. Выгоревшая фуражка с солдатской кокардой. Две защитного цвета пуговички на помятом вороте летней гимнастерки с покоробившимися погонами вольноопределяющегося, украшенными скрещенными пушечками и бомбардирской лычкой. Узкие глаза, как у покойной мамы. Щеки со следами недавнего бритья. Безвольные потрескавшиеся губы и общее выражение преступного отчаяния.

Кто я? Трус? Дезертир? Ах, все равно, лишь бы поскорее любой ценой вернуться в тот мир, который я так легкомысленно отверг. И тут же я почувствовал, что к прошлому нет возврата. Вернее, того прошлого уже вообще нет. Оно невозвратимо. И я сам этого захотел! Я сам его уничтожил.

В ртутном блеске зеркала, исцарапанного алмазными вензелями, я увидел окаянные черты антихриста, падшего ангела, наказанного тем, что все его желания исполнились.

Теперь мое преступное желание бежать от войны могло исполниться, стоило только не отпирать задвижку до тех пор, пока поезд не подадут к перрону и потом он не тронется, увозя меня обратно, в утраченный мир любви и юности.

А воинская присяга?

Ведь это я сам без принуждения положил два пальца на серебряный оклад Евангелия, и присягнул умереть за веру, царя и отечество, и целовал поданный мне наперсный крест бригадного священника, обжегший на морозе мои детские губы. Теперь я стану клятвопреступником, меня предадут военно-полевому суду, сорвут погоны, и я буду копать яму шанцевым инструментом — лопатой,— уже стоя в яме по пояс, в то время как два солдатика из комендантского взвода, один с винтовкой на изготовку, а другой скручивающий из газеты цигарку, будут стоять надо мной, терпеливо дожидаясь, когда я наконец кончу копать.

Я очнулся и, торопливо оглядываясь по сторонам, открыл задвижку, выбрался из уборной и спрыгнул из тамбура на железнодорожное полотно, усыпанное ржавой щебенкой с кусочками кремня и сгоревшего угля.

На этот раз мое желание как будто бы не исполнилось. И слава тебе, господи! Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола.

Но я ошибся. Желание мое все-таки исполнилось самым неожиданным образом. Как только я добрался до бивака своей батареи, меня потребовали к командиру, который с несколько насмешливой улыбкой приказал мне отправиться в бригадную канцелярию получить суточные, приварочные, командировочные, увольнительные документы на пять суток и железнодорожные литеры. Оказывается, по приказанию из штаба бригады меня командировали в Одессу на пять суток, считая время проезда по железной дороге.

— Повезете с собой бригадную почту, а на обратном пути захватите у генеральши Заряницкой два пуда муки для офицерской столовой. А то вы здесь болтаетесь без всякого дела. Обратно вернетесь как раз к началу военных действий.

Таким образом, я, все еще не веря своему счастью, поехал в том самом пассажирском поезде, но только в вагоне третьего класса, в любезный мне город, смутно догадываясь, что эту поездку устроила мне Миньона. Так оно и оказалось. Но только вряд ли здесь была любовь, а скорее дружеское участие.

— Скажите мне спасибо,— были ее первые слова, когда я, гремя шпорами, которые купил, едва сошел с поезда,

в галантерейной лавочке на углу Канатной и Пироговской, против Куликова поля, появился у Заряницких, переступив порог бледно-зеленых дверей с начищенной медной дощечкой.

Я не сразу узнал Миньону в вышедшей мне навстречу низкорослой девушке в косынке с красным крестом, в сером платье сестры милосердия. Только бледно-сиреневые глаза и кончик бронзового короткого локона, высунувшийся из-под косынки, напомнили мне ту Миньону, которую я видел в последний раз на первый день пасхи, после бессонной ночи с той модисточкой, мимолетную связь с которой я и вовсе не считал изменой, потому что это находилось в той теневой стороне моей жизни, которая никакого отношения не имела к жизни, так сказать, подлинной, настоящей.

Эти две жизни как-то не принято было смешивать. Они соотносились друг с другом, как бодрствование и состояние глубокого сна со сновидениями, не всегда даже потом запоминающимися.

В полдень я стоял перед Миньоной в состоянии бодрствования. Я был я. Она была она в своем пасхальном платьице. Сквозь полуоткрытую дверь коридора в солнечном луче виднелась часть пасхального стола с куличами, гиацинтами и винными бокалами зеленого стекла. Слышался говор офицеров-визитеров. Синел папиросный дым. Миньона и я, слегка помедлив, похристосовались и покраснели — я сильно, она слегка.

Теперь на том же самом месте, как тогда, она подала мне руку, я неловко ее поцеловал, почувствовав слабый йодистый госпитальный запах. Из столовой доносился стук швейных машинок. Там дамы-патронессы — офицерские жены — шили солдатское белье и щипали корпию.

Все было не так, как я себе представлял. Миньона показалась мне старше, чем была в действительности. Я пошел провожать ее в лазарет, где она дежурила. Город явился мне праздничным, хотя как бы и не вполне знакомым: густая августовская зелень бульваров и парков, знойное небо, яркое море с белоснежным маяком и множество военных, среди которых попадались итальянские и французские офицеры и англичане во френчах с ленточками орденов. Попадалось много автомобилей и экипажей. Видимо, город процветал. Война щедрой рукой разбрасывала стотысячные ассигнования, земские союзы и ведомство

императрицы Марии не скупились на сотенные бумажки, так называемые катеньки, для раненых офицеров, разъезжавших со своими желтыми костылями на извозчиках в сопровождении госпитальных сестриц или дам-патронесс в больших шляпах. В магазинах шла бойкая торговля. В табачных лавках продавались жестяные коробки с английским трубочным медовым табаком — кэпотеном. Мальчики-газетчики бегали по улицам, возвещая скорое вступление в войну Румынии.

Миньона взяла меня под руку с левой стороны, так как правой рукой я все время отдавал честь проходящим и проезжающим офицерам.

В парке ярко краснели августовские цветы.

— Вы молодец, что так много мне писали,— сказала она, прощаясь со мной возле госпиталя. К сожалению, сегодня я дежурю, а завтра...

Она слегка прижалась к моему плечу, и я уловил в ее глазах знакомую, немного насмешливую улыбку.

— Что завтра? — спросил я.

— Завтра я буду свободна целый день...

Попрощавшись с Миньоной, я пошел по знакомым, но почти никого не застал дома. Иные еще не возвратились после летних каникул. Иные уже куда-то уехали. Многие из моих товарищей поступили в школы прапорщиков. Вольдемар стал так называемым земгусаром, то есть полувоенным чиновником Союза городов, и носил узкие погончики и странную кокарду, даже, кажется, с красным эмалевым крестиком. Он куда-то торопился и был заметно смущен своим видом, говорившим мне, что его сестра Калерия гостит на Куяльницком лимане у Ганзи и они вернутся не раньше конца августа.

Произнеся имя Ганзи, он многозначительно и отчасти горестно поднял свои короткие густые брови, и голос его зазвенел знакомым надтреснутым фальцетом обидчивого самолюбивого ревнивца, из чего я заключил, что из его романа с Ганзей ничего не вышло и он получил отставку.

— А вы, Саша, я вижу, настоящий герой-фронтовик. Но где же ваш Георгий? — Он засмеялся своим блеющим смешком и погладил усики, придававшие ему вид провинциального красавца.

Упоминание Ганзи меня обожгло. Но я сделал вид, что это мне безразлично. Я даже нашел в себе силы спросить как бы вскользь:

— А она еще не вышла замуж?

Мой вопрос, в свою очередь, настолько обжег Вольдемара, что он не нашел в себе мужества ответить как-нибудь остроумно и лишь процедил сквозь зубы:

— Насколько мне известно, нет.

Вспоминая все это, я с грустью понял, что моя исключительная память, которой я некогда славился, почти ничего не сохранила о моем коротком пребывании в тылу.

Кроме того, что на некоторых городских пустырях проходили пехотные учения юнкеров или солдат запасных батальонов, одно только и осталось в памяти ярко и отчетливо — это то, что, как я узнал от Вольдемара, Ганзя проводила летние месяцы на Куяльницком лимане, вероятно, на той самой даче, куда некогда я проводил ее по степи, поросшей иммортелями и полынью, и потом мы сидели на террасе, и мама Ганзи принесла нам на блюде нечто, показавшееся мне в сумерках, при еще очень слабом свете восходящей луны, оранжевыми ломтиками голландского сыра, а на самом деле это были скибочки нарезанной дыни, сразу же наполнившей теплый воздух своим персидским, несколько спиртуозным ароматом.

Лицо Ганзи трудно было рассмотреть в сумерках, хотя полынь на горе уже слегка серебрилась от лунного света. Впрочем, я никогда не мог рассмотреть ее лица, да и сейчас не берусь его описать. Единственное могу сказать — что бог, создавая Ганзю, не забыл положить в нее немного корицы...

...Потом принесли лампу, вокруг которой летали мотыльки...

Тогда я не пробыл дома даже пяти дней. Румыния вступила в войну. Мне следовало спешить в действующую армию.

Вечер накануне отъезда я провел с Миньоной. Она сняла форму сестры милосердия, надела свое обычное летнее платьице английского стиля, с большим атласным бантом на шее и превратилась в прежнюю Миньону.

На голове кружевная накидка, на плечах оренбургский платок. Ее знобило. Может быть, у нее и впрямь начинался туберкулез? Она продолжала играть роль друга и покровительницы, хотя была моложе меня. На правах любимой дочки командира бригады она строго расспрашивала меня о продвижении по службе и удивлялась, что я до сих пор

не произведен в младшие фейерверкеры, а все еще хожу в бомбардирах, которым, кстати сказать, не положено носить шпоры, а я их ношу. Впрочем, о шпорах она упомянула с лукавой улыбкой. Эта улыбка как-то сблизила нас, чему содействовала густая темнота августовской ночи в разросшемся саду дачи Вальтуха.

Задевая темные кусты давно уже отцветшей сирени, в недрах которой кое-где таинственно тлели зеленые камушки светлячков, мы вышли к знакомой скамейке над обрывом.

Черное небо, осыпанное скоплениями крупных и мелких звезд, отражалось в как бы отсутствующем море, откуда доносились размеренные всхлипывания волн.

Вокруг стояла настороженная военная тишина, и голубой луч прожектора скользил по звездам и вдруг пропадал, с тем чтобы снова возникнуть и пройтись стеклянно-фосфорической дугой по небосводу от горизонта до горизонта.

Маяк ввиду военных действий на Черном море был погашен.

Я искал глазами среди скопления августовских созвездий Полярную звезду. Для того чтобы ее обнаружить, следовало провести между двух крайних звезд ковша Большой Медведицы воображаемую прямую и продолжить ее почти до самого зенита, где находилась Полярная звезда, маленькая, ничем не замечательная, еле заметная, поражающая воображение своей вечной неподвижностью, недоступностью.

— О чем вы думаете? — спросила Миньона.

Я положил руку на спинку скамьи и не без осторожности сделал попытку обнять Миньону за плечи.

— Миньона,— сказал я,— кажется, я вас люблю.

— Только, пожалуйста, не врите,— сказал она и отвела мою руку своей опасно горячей ручкой.

Это мое «кажется» было, конечно, заимствовано из романса «Средь шумного бала».

Я стал преувеличенно сильно кашлять, как бы давая понять, что опять эти проклятые газы, этот фосген...

Отчасти это было правдой. Я все еще продолжал время от времени покашливать.

— Ах, бедный мальчик,— сказала Миньона не без иронии.

И опять наши отношения не выяснились. А письма из действующей армии продолжались.

«...вся пристань запружена повозками, обозами, артиллерией, лошадьми, блоками прессованного сена, рогожными тюками. Погрузка идет полным ходом. Визжат лебедки, скрипят сходни, слышатся крики грузчиков, фырканье лошадей. Баржи выкрашены в защитный цвет. Почти все баржи румынские или греческие. Фоном для этой картины служит прекрасный Дунай с пыльной, серебристо-кудрявой зеленью на противоположном, уже румынском берегу.

Как-то я написал Вам, что Дунай — скучная река. Не верьте. Это, наверное, тогда у меня было скверное настроение. Дунай прекрасен! Полуденное солнце бьет почти отвесно в стальную, широко движущуюся воду, и оттуда прямо в глаза летит поток ослепительных лучей и искр.

Не помню, писал ли я Вам об адмирале Веселкине, коменданте местного гарнизона. Если не писал, то тем лучше. Слава богу, прибыл наконец командир корпуса генерал-лейтенант Гернгросс, и я был свидетелем, как Веселкин сдавал ему командование всеми войсками, доселе находившимися в его подчинении.

Я в это время только что приехал и еще находился на перроне вместе со всеми Вашими посылками, связками писем и мешком хорошей пшеничной муки мелкого помола, посланной Вашей мамочкой для Вашего папочки, что делало меня похожим на вьючного мула.

По перрону бегал, наводя порядок, адмирал Веселкин. В это время подошел экстренный поезд, остановился, и к синему пульмановскому вагону подкатили красную ковровую дорожку. В тамбуре вагона стоял худой, строгий генерал в летней походной форме, с орденами на груди и на шее, в лайковых перчатках и походной фуражке с полями, приподнятыми на прусский манер. Одну руку генерал заложил за широкий пояс отличной коричневой кожи, а другой рукой слегка опирался на золотой эфес своей шашки с георгиевским темляком. Сделав небольшую паузу, генерал упруго соскочил на перрон, где его уже ожидал вытянувшийся в струнку адмирал Веселкин, выкатив глупые романовские глаза в красных жилках. Слегка пошатываясь, он подошел к генералу Гернгроссу, прило-

жил руку к козырьку и отрапортовал о сдаче командования новоприбывшему.

Генерал Гернгросс корректно, но очень коротко и не без брезгливости пожал лапу Веселкина в белой нитяной перчатке и сказал: «А теперь, ваше превосходительство, можете быть свободны», сел в автомобиль и отбыл в свой штаб.

И в городе, слава тебе господи, воцарился порядок, а разрозненные воинские части почувствовали себя единым целым, то есть отдельным особым армейским корпусом.

У коменданта пристани мы — я и несколько отставших артиллеристов нашей бригады — наводим справки и визируем свои командировочные удостоверения. Наша бригада два дня назад переправилась в Румынию. Мы ее догоняем, и нам предстоит путешествие вверх по Дунаю на барже, которая должна отвалить от пристани часов в пять еще вполне солнечного вечера. На баржу уже погружен наш артиллерийский парк и обоз второго разряда. До отплытия время тянется скучно и сонно. Утомляет портовый шум и гам.

Наконец все готово. Два десятка барж битком набиты телятами, лошадьми, прессованным сеном, солдатами. Мы устраиваемся в большой головной барже, отлично приспособленной для перевозки войсковых частей. Здесь и чистая кухня с котлами для борща, каши и кипятка, и поместительные трюмы с койками для людей и на совесть выскобленными обеденными столами, на одном из которых я и пишу не без удобства это письмо.

Видно, что со стороны подготовки к войне (в смысле средств передвижения) Румыния больше чем постаралась.

Маленький буксирный пароходик «Рени» пыхтит возле нашей баржи, и видно, как на его пузатом борту суетятся матросы и флегматично покуривает трубку-носогрейку смуглый коренастый капитан, по внешнему виду итальянец или грек.

Баржи соединяются по четыре в ряд впереди и по три сзади. В таком порядке буксирный пароходик должен потянуть их за собой вверх по течению. Как-то не верится, что он в состоянии это сделать: не хватит силенок!

Но вот все готово. Убирают трапы. На баржи с пристани прыгают последние матросы. Визжат паровые лебедки, накручивая якорные цепи. С передних барж передают

на буксир стальные тросы, и «Рени», методично бурля винтом, натягивает их, как струны. Течение медленно поворачивает баржи боком. Набережная отделяется и уходит назад. Кипит вода. Баржа идет без единого толчка, без малейшего намека на движение. С буксира что-то кричат в рупор.

Дунай сейчас удивительно красив. Он потерял свой обычный серый цвет и полностью отразил в себе закатное небо, стал голубовато-розовым и удивительно гладким, без единой морщинки. В таких случаях принято писать, что река как зеркало, в котором отразились живописные берега.

Городок Рени уходит, все уходит назад, вот он уже потонул в садах. Лишь у пристани белеет и блестит в лучах заходящего солнца ожерельем иллюминаторов флагманский корабль адмирала Веселкина, бывшего начальника местного гарнизона.

И как странно на этом живописном фоне, на этой, так сказать, палитре беспорядочно смешанных закатных красок видеть защитного цвета баржи и солдат в защитном, фронтовом.

Вот уже Рени совсем скрылся из глаз, растворился в отражении закатного зарева, стал всего лишь воспоминанием...»

Вот именно, думаю я, перечитывая эти стертые карандашные строки: скрылся из глаз, потонул, стал невозвратимым прошлым. Ах, как легко и бездумно менял я в юности свою жизнь, превратившуюся в воспоминание.

Ну какой черт понес меня на войну? О, если бы я тогда знал, что однажды покинутое уже больше никогда не возвратится, а если и возвратится, то уже совсем другим.

...Отец постарел, вставил себе зубы, и они как-то зловеще изменили его родное лицо. Квартира не прибрана. Раньше мне никогда не приходило в голову, на какие средства мы живем. Отец с утра до вечера ездил по урокам. Сначала ездил на трамкарете, на конке, потом на электрическом трамвае, изредка позволял себе роскошь нанять извозчика за двугривенный. А много ли он зарабатывал? Как говорится, едва сводил концы с концами. Выручали жильцы, которым сдавали лишние комнаты. Но они платили неаккуратно. Один даже оказался запойным пьяницей. Квартира напоминала постоялый двор. У младшего

братишки, гимназиста, была своя жизнь — друзья, футбол, шаланда в «Отраде». В сущности, всего и осталось что увеличенный фотографический овальный портрет покойной мамы в черной раме, да красная лампадка, озаряющая венчальный образ спасителя с пальмовой веткой, похожей на сложенный пластинчатый китайский веер, и бутылочка святой воды за образом, как-то напоминая навсегда ушедшую жизнь.

Нищая юность!

Я любил отца, но никогда о нем не думал, из действующей армии ему писем почти не писал, разве только для того, чтобы попросить что-нибудь прислать: табаку, сахару, что-нибудь вкусненькое, копченой колбасы, сыру, ванильных сухарей, денег, глицеринового мыла. Мне как-то даже в голову не приходило, что все это достается с таким трудом.

Как заботливо отец собственноручно зашивал в холстину эти посылки, аккуратно переводил мне пятерки и даже десятки, которые с таким трудом ему доставались!

А прекрасные хромовые офицерские сапоги, бывшие в то время на мне? Я получил их в посылке, пришедшей по полевой почте, на биваке возле Черновиц. Сапоги, сшитые на заказ, стоили никак не меньше двадцати рублей. В сущности я мог бы свободно обойтись казенными, солдатскими. Но мне хотелось шикнуть, и я послал отцу мерку.

Сапоги были действительно отличные, правда, тесноватые, но разносятся! Они придавали мне нечто офицерское, особенно со шпорами.

Все это вдруг показалось мне ужасным. Я разыгрывал воина-фронтовика, защитника отечества, не забывая на каждом письме ставить слова «Действующая армия» и описывать артиллерийские дуэли, газовые атаки, походы, живописные лишения боевой солдатской жизни, а в это время мой отец, одинокий старик, вдовец, каждую ночь в нижней рубахе и подштанниках стоял на коленях перед образом, освещенным огоньком красной лампадки, и, кладя седую плешивую голову на потертый коврик, истово осеняя себя крестным знамением, плакал и молил всемогущего господа бога пощадить меня, его сына, отвести от меня руку смерти. Не было минуты, чтобы он с ужасом не представлял себе моей гибели, его мальчика, так похожего лицом на мою маму, на его покойную жену.

Вечный страх за сына изнурял его, лишал сна; за несколько последних месяцев он еще более постарел, с трудом нося под мышкой кипы голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных шпагатом.

Только сейчас, на барже, несущей меня невесть куда по Дунаю, я вдруг почувствовал стыд и такую душевную боль, что едва не застонал.

Моя душевная боль почему-то была связана также с неразделенной любовью, из-за которой, собственно, я и ушел на войну.

«...мимо нас,— продолжал я строчить письмо Миньоне,— быстро проходит судно под цветным румынским флагом. На палубе виднеются синеватые мундиры румынских солдат. Наши солдаты бросаются к бортам, машут фуражками, платками, и громкое русское «ура» льется по гладкой поверхности европейской реки, достигает румынского судна и возвращается оттуда с ответным воинским приветствием на румынском языке.

Двое суток плывем мы по Дунаю. Однообразные берега, поросшие серебристо-пыльной кудрявой зеленью, как будто вытканной на гобелене. Кое-где на прибрежных лугах пасутся стада буйволов, которые очень удивляют своим дьявольским видом наших солдатиков.

За все это двухдневное путешествие мы ни разу не останавливались, не причаливали к берегу, и все-таки связь с внешним миром поддерживается: кое-где, когда мы проплываем мимо придунайских городков или сел, к нашим баржам цепляются лодки, нагруженные арбузами. Завязывается оживленная торговля при помощи ведер, привязанных к длинным веревкам. С лодок в ведра грузят арбузы. Такие плавучие лавочки — наше единственное развлечение. От лодочников-румын мы узнаем военные новости. Стараясь быть понятыми, спрашиваем на якобы румынском языке: «Романешты... разбой... как там дела?» — что должно пониматься примерно так: как дела на румынском фронте?

«Разбой» по-румынски значит война. А «бун» значит хорошо.

— О, бун! Бун! Трансильвания бун! — кричат нам снизу лодочники-румыны.

Стало быть, дела идут хорошо, наступаем в Трансильвании.

А что оно такое, эта самая Трансильвания, вряд ли кто-нибудь из наших солдатиков знает.

Вообще мало кто понимает, зачем воюют, с кем воюют, для чего и кому это надо.

Изредка мимо нас вниз по течению пробегают сербские пароходики. Мы приветствуем их громкими криками. Сербы — это понятно. Братушки. Братья-славяне».

Ночью мне не спалось. В тысячный раз мучил вопрос, что же такое у меня произошло или даже и сейчас продолжает происходить с Ганзей Траян?

Как все это началось, было ясно. Началось с фиалок. Ну а потом? Потом в свое время наступила осень, желтые листья, ранние сумерки и все та же тесная компания, состоящая из гимназисток, гимназистов и даже одного студента-первокурсника. Компания эта — «наша компания» — кочевала во второй половине дня после уроков по опустевшим приморским дачам с заколоченными ставнями, с мусором на открытых террасах, по обрывам. Мы стояли тесной кучкой по колено в бурьяне, очарованные картиной черноморского шторма.

Норд-ост, срывающий шляпки и фуражки, подбивающий под колени полы серых гимназических, уже зимних шинелей, треплющий подолы зеленых гимназических юбок, несущий в лицо вихри пыли и морские брызги, колючки репейника, пушинки чертополоха.

Прибрежные скалы наполняли воздух бронзовым звоном прибоя.

Маленькая Ганзя Траян казалась совсем незаметной среди этой тесной компании, где каждый и каждая на свой лад переживали красоту шторма: кто с восторгом только что обнаруженной страсти, кто с отчаянием ревности, кто предчувствуя приближение первой любви, кто подозревая измену, кто предвкушая свидание. Студент-первокурсник, раскинув руки с новенькими крахмальными манжетами — поэт,— со слезами на глазах кричал против ветра: «Какой простор! Какой простор!» — вспоминая таинственную картину Репина: офицер и курсистка, взявшись за руки, идут прямо в открытое бушующее серо-зеленое

море и уже были по колено в прибое — она размахивая муфтой,— что воспринималось как намек на некое освободительное движение.

Кто-то кому-то жал розовые озябшие ручки.

А одна хорошенькая пятиклассница-вакханка с пылающим от ветра личиком кричала, хохоча:

— Мой идеал — кружиться в вихре вальса!

Конечно, Вольдемар не отходил от Ганзи, как телохранитель, готовый убить каждого, кто покусится до нее дотронуться. Калерия щипала и выкручивала мне руку, а у самой от сора, принесенного бурей, покраснели глаза и слезинки текли по крыльям носа.

Быстро темнело, и казалось, что эту темноту несли с собой бурые облака, низко мчавшиеся над взмыленным морем.

Всем своим видом я изображал презрение к красоте шторма, в то время как сердце у меня ныло от отчаяния, и только одна Ганзя, отворачиваясь и морщась от ветра, как бы находилась по ту сторону человеческих страстей, во всяком случае, так мне казалось.

Чем же это в конце концов разрешилось? Что было потом? А ничего. Компания разошлась по домам, и только...

«Наконец баржи прибыли к месту назначения, в город Черновода. Типичный захолустный городишко восточного типа. Беленький. Пара минаретов. Это уже заграница. Румыния. Здесь через Дунай протянулся длинный ажурный железнодорожный мост вполне европейского вида.

Утро немного туманное, перламутровое, на фоне молочно-голубой реки и лиловатого неба тяжело и черно рисуются наши канонерки, идущие одна за другой куда-то вверх по Дунаю. Зловещие призраки войны и смерти. Нехорошие предчувствия.

Пристани запружены народом и войсками. Пока разгружаются баржи, прибывшие еще до нас, мы обречены на томительное ожидание высадки. С берега доносятся воинственные звуки военного оркестра: румыны приветствуют наши прибывшие войска.

Но вот я уже на берегу вместе со своей поклажей и мешком муки, будь он трижды...

Шумные улицы. Пахнет кофе, бараниной и еще чем-то

пряным. Пестрят одеяния молдаван, красные фески, яркие ткани торговок. Продаются с лотков восточные сладости. Все кофейни заполнены румынскими солдатами и офицерами. На нас, русских, они смотрят с любопытством. Задают какие-то вопросы. Но так как ни мы по-румынски, ни они по-русски ни черта не понимаем, то можно только догадываться, о чем идет речь, по отдельным словам: «Галиция», «Трансильвания», «бун», «карашо», «бум-бум», «Германия — бах!» и т. д.

Ну все ясно!

Мы им отвечаем такими же воинственными междометиями и отрывистыми географическими названиями:

— Карпаты. Буковина. Бах-бах!

Вход в кофейни румынским нижним чинам не запрещен, и можно наблюдать группы наших и румынских солдат, сидящих за маленькими чашечками черного турецкого кофе, к которому подается стакан свежей воды и блюдечко с ягодкой вишневого варенья. Союзники обмениваются между собой мнениями по поводу военных событий при помощи жестов, восклицаний, многозначительных подмигиваний.

Столик, за которым я пишу Вам это послание, стоит на площади перед кофейней. Площадь усеяна сеном, соломой, конским навозом. Над входом в кофейню водружен румынский флаг. На маленьком блюдечке одна-единственная вишенка и стакан холодной воды — «апа фреска»,— в которой отражается утреннее солнце.

Сейчас пойду искать вокзал, откуда поеду уже поездом на запад, на позиции. Что-то у меня дурные предчувствия. Ах, если бы Вы знали, как тягостно приближаться к роковой черте передовой линии... Не забывайте же меня. Скоро напишу. А мешок с мукой тащу с собой повсюду, не беспокойтесь, доставлю по назначению. Пускай Ваш батюшка побалуется русскими блинами и пышками. Ваш *А. П.*

А за некоторый мой неловкий поступок на даче Вальтуха великодушно простите. Больше не буду. *А.*».

Следующее письмо:

«29 августа 916 г. Румынский фронт. Южная Добруджа. Город Меджидие, куда довез меня из Черновод пассажирский поезд, медленный, как черепаха. Однако вагоны на европейский лад: из каждого купе дверь прямо наружу,

на перрон. Вагон по-ихнему называется каруцца, что вполне соответствует скрипу, издаваемому им во время движения.

В каруцце, куда я попал вместе с мешком муки, едут вполне мирные румынские обыватели в соломенных и фетровых шляпах и в парусиновых туфлях.

Мое появление в вагоне вызвало нечто вроде сенсации. Еще бы: живой русский воин в полной походной форме, даже со шпорами. Немного, конечно, портил впечатление мешок муки. Но, может быть, румыны подумали, что в мешке динамит. А вообще они приняли меня за офицера и оказывали все виды самого изысканного внимания: угощали початками вареной кукурузы, называемой у них папушой, свежей брынзой, помидорами и даже отличным виноградом.

Ну, конечно, разговор о войне. На каком языке? Вообразите, что мне пригодился французский, по которому я в гимназии не вылезал из двоек. Но кое-что в памяти застряло. Так что незаконченное среднее образование пригодилось.

Мирные румынские пассажиры весьма воинственно настроены и готовы совместно с доблестной русской армией поколотить не только немцев, но главным образом своих соседей — болгар и венгров, с которыми у них, оказывается, какие-то застарелые территориальные счеты.

Почти у всех пассажиров в руках газета «Адеверуль», где помещается большое количество военных сводок и патриотических корреспонденций. Среди пассажиров обращает на себя внимание одна довольно смазливенькая русинка из Черновод в голубом кружевном платье, с голубой вуалью на голове, полузакрывающей белобрысое личико с голубыми глазками. Она с нескрываемым обожанием смотрит на меня, на мою выгоревшую гимнастерку, на мои шпоры, на пушечки на моих боевых погонах с бомбардирской лычкой, все время на странном полурусском языке благословляет меня на ратные подвиги и беспрерывно крестит меня своей худенькой ручкой, как бы желая сохранить мою жизнь.

Но, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь... Это чисто патриотические порывы таинственной славянской души хорошенькой и очень молоденькой белобрысенькой русинки.

Но так или иначе, румынская каруцца наконец с божьей

помощью дотащила меня до Меджидие. Это маленький южнодобруджский городок совершенно турецкого типа: базар, шашлыки, небольшие белые мечети с низенькими минаретами.

В одной из мечетей я обнаружил ящики с имуществом нашей бригадной канцелярии, над распаковкой которых трудились знакомые мне писаря. Оказалось, что все батареи уже ушли вперед, и мне указали маршрут, по которому я должен их догонять. С облегчением оставив в канцелярии изрядно надоевшие посылки и особенно тягостный мешок с мукой, я пустился в путь, пристроившись к какому-то обозу с патронами. В обозе уже работал солдатский телеграф, сообщая, что наш экспедиционный корпус, называемый теперь румынским фронтом, придвинулся вплотную к болгарской границе, а кое-где даже и перешел ее, так что с наших наблюдательных пунктов в стереотрубу кто-то из наблюдателей видел болгарский город Базарджик. Но это сомнительно. До Базарджика еще очень далеко: обычные преувеличения разведчиков-наблюдателей. А пока что, сидя на обозной повозке, я приближался к своей батарее, расположенной где-то в степной балке.

Вокруг ни одного деревца. Ровная сухая степь, милая моему сердцу. Вдруг послышался зловещий треск авиационных моторов. Обозные лошади, задрав оглобли, шарахнулись в сторону. Над нами пронеслась эскадрилья немецких самолетов с черными крестами на крыльях. Самолеты пронеслись так низко, что можно было рассмотреть фигурки авиаторов в кожаных шлемах и очках, что делало их похожими на каких-то опасных насекомых. Я спрыгнул с повозки, бросился в степь и лег на жнивье, закрыв голову руками, как будто это могло меня спасти. Все обозные сделали то же самое. Однако немецкие самолеты пронеслись мимо и скрылись за горизонтом, не заметив нас. Как говорится, на этот раз я опять отделался легким испугом.

Может быть, меня охранило крестное знамение, сделанное маленькой ручкой белобрысой русинки?

Однако когда я прибыл на место назначения, выяснилось, что утром эскадрилья немецких аэропланов сделала налет на наше расположение, обстреляв из пулеметов несколько батарей резерва, и сбросила до сорока бомб. Только благодаря счастливой случайности лошади в это

время были на водопое за восемь верст, а то всех бы их покалечило. Впрочем, налет не причинил нам никакого вреда.

Наши авиаторы, конечно, поспешили отдать неприятелю визит вежливости и в обед вернулись обратно, принеся известие, что в ближайших тыловых деревнях противника замечено накапливание крупных сил. Немедленно же пехотой была произведена разведка, установившая смену неприятельских полков и прибытие приблизительно двух свежих дивизий — турецкой и немецкой. Серьезного наступления противника не ждем, но все-таки приняли меры предосторожности: подтянули резервы, выставили заставы, а наша артиллерия выслала на наблюдательные пункты кроме обычных наблюдателей-солдат также и офицеров.

Меня с места в карьер назначили телефонистом, и я спешно заканчиваю письмо, так как приходится взваливать на спину телефонные катушки и тянуть провод на наблюдательный пункт, так что пока до свидания. Не забывайте. Ваш *А. П.*

P. S. Надеюсь, Вы не сердитесь на меня за неразумный поступок на даче Вальтуха. Я заметил, что у Вас очень горячие руки. Не больны ли Вы? Берегите себя. Ведь у Вас слабые легкие. *А.*».

«29 августа 916 г. Южная Добруджа. Дорогая Миньона, кажется, я Вам уже писал, что здесь города восточного типа. Пыль, жара, запах кофе и жареной баранины. Ни один черт по-русски не говорит. Ужас! Жалованье нам выдают румынскими бумажными леями. В данный момент мы стоим на позиции возле самой болгарской границы. Население — болгары, которые иногда постреливают в нас из-за угла.

Солдатский телеграф сообщает, что надо быть осторожным, так как некоторые колодцы отравлены. Уже были случаи. Почти все население бежало. Но в одной брошенной деревне я видел старуху всю в черном, страшную, похожую на сушеную грушу. Она смотрела с ненавистью нам вслед и посылала проклятья на своем непонятном языке. Такая старуха может и колодец отравить.

Вокруг от горизонта до горизонта голая степь и больше ничего. Что-то в этом есть древнее, может быть, даже скифское, сарматское. Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев славян мой дедушка. И вот

теперь я бреду в пыльных сапогах под палящим августовским солнцем, со страхом озираясь по сторонам.

Наша артиллерийская бригада, оставившая свою пехоту под Сморгонью, теперь придана сербским бригадам.

Сербы дерутся как львы! Сербские душки офицеры в своих красных бархатных шапочках, которые так пленяли одесских барышень, оказались на поле боя настоящими храбрецами, оправдали доверие прекрасного пола: пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!

Пишу, примостившись на каком-то ящике. Были эффектные бои и стычки с болгарской кавалерией. Подробности скоро, а сейчас не до писем. Ваш Пчелкин».

Это было, кажется, последнее более или менее регулярное письмо. Армия все время находилась в движении. Полевая почта работала плохо. Письма и посылки часто пропадали, не находя адресата.

Теперь, вспоминая об этом времени, я с трудом восстанавливаю последовательность событий, менявшихся с поразительной быстротой, так же, как менялось мое душевное состояние. Из мальчишки, юноши я медленно превращался в молодого человека.

Под Сморгонью я прослужил почти полгода. Нельзя сказать, чтобы боевые действия там были менее опасны, чем теперь, в Добрудже. Но под Сморгонью велась война окопная, позиционная, и боевые действия имели (если так позволительно сказать) более упорядоченный характер, так что образовался некий быт, привязанный к одному определенному месту: лесному массиву возле разбитого снарядами небольшого белорусского города.

Воинские части укрывались в хвойных густых лесах, солдаты жили в надежных блиндажах и глубоких землянках, покрытых в три, а то и в четыре наката толстыми сосновыми бревнами, почтовая связь с тылом действовала довольно быстро, надежно. А красота северной природы, знакомая мне только по картинкам, рассказам отца и по «Временам года» Чайковского, так сильно поразила мою душу, и без того потрясенную первой мальчишеской любовью, что я долго не мог очнуться.

Однако очнулся, привык, и мне уже стала в тягость позиционная война.

«...и как бы ни любил я вас, привыкнув, разлюблю тотчас...»

Я даже привык к тому, к чему, казалось бы, невозможно привыкнуть: к постоянному страху смерти. Чувство самосохранения приучило меня мгновенно разбираться во всех звуках прифронтовой полосы, которые безошибочно определялись как безопасные и опасные. Я научился совершенно точно угадывать отдаленный, еще очень слабый звук неприятельского орудийного выстрела и потом улавливать приближающийся свист немецкого снаряда, заранее и безошибочно определяя перелет, недолет или точное попадание, что давало возможность своевременно броситься в блиндаж или, равнодушно посмеиваясь, следить за невидимой траекторией перелета, сверлящей воздух над головой, заканчивающейся тупым ударом в землю и безопасным взрывом, протянувшим издали во все стороны звенящие струны осколков — тоже безопасных, если вовремя лечь на землю.

Своевременно приходили письма и посылки. Своевременно по расписанию приезжала на позицию походная кухня с обедом и ужином. Своевременно укладывались спать на земляные нары, покрытые пахучим ельником, в глубоком блиндаже под тремя накатами, и почти каждую ночь меня будили странные сухие, скрежещущие звуки! Это во сне скрежетал зубами немец-колонист Веварт, которого мучили глисты, и этот звук был похож на то, будто кто-то ходил в сапогах по скрипучему морозному снегу.

Не хватало воздуху.

Спящие солдаты громко бредили во сне. Распространялся тяжелый запах, тогда кто-нибудь просыпался и сердито бормотал:

— А ну кто тут пускает шептуна?

А вокруг была все та же ставшая уже привычной несказанно прекрасная русская природа, и неподвижно виднелся на горизонте полуразрушенный костел, среди развалин которого валялось деревянное распятие.

Позиционная жизнь надоела мне, так же как некогда, совсем недавно, еще в мирное время, жарким, пыльным июльским днем надоела мне длинная улица с угрюмой гранитной мостовой и тягостно блестящими трамвайными рельсами, где на неотразимо скучном полуденном солнце

в бесконечных витринах выгорала галантерея, одуревший от тоски, от неразделенной любви, от переэкзаменовок, я проклинал мирное время и желал войны.

Мое желание исполнилось как по волшебству. А теперь мне наскучила позиционная война, благонамеренная переписка с генеральской дочкой, фронтовые будни, и я пожелал какой-то другой войны, более романтической, войны полевой, с быстрыми передвижениями, внезапными атаками и контратаками, фланговыми охватами, окружениями, взятиями городов, с биваками под открытым небом и всем тем, что казалось таким прекрасным.

Судьба, которая почему-то никогда не отказывала мне в исполнении самых глупых, самых безрассудных желаний, и на этот раз пошла мне навстречу, подарила мне самую что ни на есть полевую войну.

Меня зовут Александр Сергеевич Пчелкин. Я старик. Даже старик глубокий. Сравнительно недавно, лет пятьдесят назад, я прочел у одного известного писателя следующее любопытное место:

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живущих на земле».

Если так, то почему бы мне не говорить о себе? Вот я и говорю, рассказываю кое-что из своей молодости, перечитываю старые письма, кусочки дневника.

«3 сентября 916 года. Южная Добруджа. Действующая армия. Дорогая Миньона! Можете меня поздравить. Только что мне присвоено звание младшего фейерверкера, то есть нашита на погоны вторая лычка, неуклюжий бебут заменен шашкой — впрочем, не менее неуклюжей,— шпоры я уже ношу на законном основании, как имеющий право на верховую лошадь из конского состава, которую мне также присвоили приказом Пятой батареи, где я числюсь уже не в качестве орудийного номера, а телефонистом-наблюдателем, о чем я всегда так мечтал.

Теперь мне до прапорщика один шаг.

Пишу Вам наскоро в турецкой деревушке, покинутой жителями, где остановился на отдых наш взвод телефонистов и конных разведчиков.

Подобные турецкие деревушки, кое-где еще сохранив-

шиеся в Добрудже,— всего лишь жалкие остатки некогда блистательной Порты, в течение многих лет, а может быть, даже веков властвовавшей здесь над сербскими, болгарскими и румынскими землями, владевшей почти всем Черным морем.

Вокруг плоская равнина, местами совсем дикая, а местами возделанная под пашни, огороды и фруктовые сады. Хлеб давно уже убран, и у нас под ногами колючее жнивье, успевшее зарасти ежевикой — спелой, черной, удивительно вкусной, сладкой.

Особенно отличаются наши лихие конные разведчики, способные в одну минуту изловить брошенного хозяевами большого белоснежного гуся с оранжевым клювом.

Как он ни старался убежать, как ни размахивал своими могучими сизыми крыльями, как ни гоготал отчаянно на всю степь, можно сказать, на весь румынский фронт, как ни отбивался, как ни щипался и шипел, многоопытные разведчики быстро его скрутили, отрубили ему шашкой голову, грубо ощипали, разрубили на куски, сунули в ведро, посолили крупной солью и сварили на костре вместе с остатками перьев и красными перепончатыми лапами.

Мне тоже достался квадратный кусок с толстой пупыристой кожей. Хотя мясо оказалось не вполне доваренным, жестким, я смолотил его с громадным удовольствием, сидя на колком пшеничном жнивье у тлеющего костра и заедая гусятину ежевикой.

Должен сознаться, что я тоже немного помародерствовал — пошел шарить по жалким турецким мазанкам с плоскими крышами и в одной из них в плетеном, мазанном глиной чулане нашел персиковую пастилу, полупрозрачную, темно-зеленую, скатанную в длинный рулон, как линолеум. При виде этого восточного лакомства у меня потекли слюнки. Я оторвал кусочек и осторожно лизнул. Вкуснота неописуемая! Однако, помня об отравленных колодцах, воздержался от дальнейшего.

Впрочем, не думаю, чтобы персиковая вяленая на солнце пастила была отравлена и нарочно оставлена для нас. Ведь гусь-то не был отравлен! Теперь мне до слез жалко, что я не поел восточного лакомства.

Никого из Ваших еще не видел. Армия находится в постоянном движении. Воинские части перемешались. Полный бедлам.

Письмо это пошлю Вам, как только найду полевую почту. А пока прощайте, пора двигаться дальше. Подтяги-

ваю подпругу и сажусь в седло. То есть сейчас сяду. Возможно, уже к вечеру придется тянуть телефонный провод на самую что ни на есть передовую, в пехотную цепь, а это довольно щекотливое занятие, особенно если по тебе в это время стреляют. Ваш мародер *А. П.*».

Предчувствие не обмануло меня. То, что я написал для красного словца, желая покрасоваться, обернулось истинной правдой. На следующее же утро я был назначен в наряд на дежурство в седьмую роту поддерживать связь пехоты с артиллерией.

Дежурство в седьмой роте пользовалось дурной славой. В течение предыдущих двух суток на наблюдательном пункте в седьмой роте был убит один наблюдатель и ранены пулями два телефониста. Все трое артиллеристы.

Получив приказание идти на дежурство в седьмую роту, я похолодел, но сделал вид, что даже рад такому серьезному боевому заданию, и лихо козырнул мало мне знакомому подпоручику, начальнику команды телефонистов-наблюдателей.

После того как меня произвели в младшие фейерверкеры, меня посылали в самые опасные места, проверяли мои боевые качества: гожусь ли я в офицеры?

Со мною в роковую седьмую роту отправились наблюдатель и еще один телефонист с запасной катушкой черного кабеля за спиной и эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре. Дежурство начиналось с наступлением вечерней темноты.

Пройдя впотьмах версты полторы по неубранному кукурузному полю, задевая сухие стебли и шуршащие листья, сказавши вполголоса пароль пехотному часовому, появившемуся во тьме, мы все трое спрыгнули в траншею и пошли гуськом по глубокому ходу сообщения к артиллерийскому наблюдательному пункту, где, сидя, как в могиле, нас с нетерпением ждали наблюдатель и два телефониста, которых мы пришли сменить.

— Как дела?

— Как сажа бела.

— Спокойно?

— Пока что.

— А что?

— Разведка доносит, что у них смена полков. Пришли две новые дивизии: одна немецкая, другая турецкая.

— Вот это номер! А турки как — в своих фесках?

— В фесках, да только не в красных, а в защитного цвета.

— Смотри ты: турки, турки, а тоже понимают.

— Вместо «ура» у них полагается кричать «алла».

— Идут в атаку на «алла»?

— Пока молчат.

Весь этот разговор шел шепотом.

Мне вспомнились две консервные банки с тушеной говядиной на троих и паек хлеба, но не русского житного, а белого пшеничного румынского — несвежего, залежавшегося на складе, с бирюзовой плесенью в разломе, но все же довольно вкусного.

Кипяточком мы разжились у пехотинцев, а заварка и сахар были свои.

Обычное предчувствие неминуемой смерти именно сегодня продолжало томить меня.

Сидя на земле, я придвинул к себе телефонный аппарат и несколько раз проверил связь. Я позуммерил и поговорил с телефонистом, дежурившим на батарее. Звук телефонного зуммера напоминал утиное кряканье. Кроме голоса дежурного телефониста в кожаной телефонной трубке слышалось множество незнакомых и даже иногда не вполне понятных микроскопических голосов, принесенных по телефонной сети из разных, даже самых отдаленных участков фронта, как бы представляя тончайший звуковой чертеж театра военных действий. Иногда прослушивались пискливые позывные немецких телефонов и немецкая речь, как будто бы набранная мельчайшим звуковым готическим шрифтом. Значит, где-то случайно русские провода пересеклись с немецкими.

Прислушиваясь к ним, можно было составить некоторое представление о зловещем передвижении и накоплении войск Макензена, готовящихся к внезапному наступлению по всему фронту.

Ночь была звездная, и я по привычке искал в небе затерявшуюся в мировом пространстве неяркую Полярную звезду, даже, собственно, не звезду, а звездочку.

У неприятеля было тихо, и это еще более усиливало тревогу.

Ротный командир не спал, готовый ко всяким случай-

ностям. Видно, его тоже томила тревога, тайное предчувствие смерти. Плохо различаемый в потемках, он ходил взад-вперед по узкому глубокому окопу, на дне которого в полном боевом снаряжении, с винтовками в руках спали солдаты его роты, положив под голову вещевые мешки и сами похожие на эти вещевые мешки.

Позади на фоне звездного неба маячили фигуры часовых, торчали их винтовки с примкнутыми штыками. Видно, их тоже томило предчувствие верной смерти.

Я вздремнул, но в полночь меня разбудил осторожный шум. Сменялись секреты. Пришедшие из разведки солдаты донесли, что неприятель работает над возведением проволочных заграждений: вбивает колья и ставит рогатки.

Действительно, в ночной тишине слышался отдаленный стук деревянных молотков.

Это немного успокоило: перед наступлением никто не стал бы ставить заграждения. Очевидно, Макензен готовился к обороне. Или, во всяком случае, выжидал нашего наступления. А может быть, это была всего лишь военная хитрость — усыпить наше внимание?

Под утро, угревшись под шинелью с расстегнутым хлястиком как под одеялом, я заснул, и мне в первый раз в жизни приснилась Ганзя. Я ее не видел. Она лишь как бы незримо присутствовала — бесплотная, неуловимая, может быть, даже несуществующая.

В этом сне не было событий. Было только одно чувство печали и неизбежной смерти. Я часто видел этот сон без событий, но только без присутствия Ганзи. Такой сон всегда предвещал начало прилива старой любви.

Я проснулся на рассвете. Меня разбудила неприятельская граната, резанувшая воздух над траншеей и разорвавшаяся далеко позади, сделав перелет.

Наблюдатель уже стоял у бруствера, прильнув к своей двурогой стереотрубе, и вглядывался в голубоватый предутренний сентябрьский туман. Слышалось учащенное утиное кряканье эриксоновского телефона, вселявшее тревогу. В небе над всей изломанной линией наших окопов белели дымки неприятельской шрапнели. Звуки ее разрывов сливались с беспорядочным ружейным треском, становящимся с каждым мигом все гуще, компактнее, тревожнее.

Против боевого участка шестой роты, расположенной

рядом с нами, несколько неприятельских мортирных и гаубичных батарей открыли ураганный навесной огонь, и яма, в которой, съежившись, сидел я со своим телефонным аппаратом, тряслась, осыпаясь и трескаясь. Один или два тяжелых снаряда разорвались совсем близко. На голову и за шиворот посыпалась земля.

Ясно: немцы нас обманули и сейчас пойдут в атаку. Закрякал мой «эриксон». С батареи приказ: не отнимать телефонную трубку от уха и каждые пять минут проверять линию.

Из своей норы выполз ротный командир: показавшийся мне ночью неуклюжим и пожилым, на самом деле при утреннем свете это был молоденький поручик в зеленых наплечных ремнях, со свистком в чехольчике на груди.

— Рота, в ружье! — закричал он петушиным мальчишеским голосом.— Сейчас, ребята, пойдем вперед! Будем передовой заставой!

Из тумана появился солдат и, перевалившись через бруствер, упал на дно траншеи. Это был связной из секрета.

— Ну что там? — строго спросил его поручик.

— Пока ничего, ваше высокоблагородие. Видать, герман подготавливает атаку, а пока сидит у себя в окопах, не вылезает.

Артиллерийский огонь усилился.

Соседнюю роту вывели в ход сообщения, потому что находиться в окопах не стало никакой возможности.

Наступила тишина. Зловещая пауза.

Туман рассеялся. Наблюдатель уже стал кое-что видеть более отчетливо. Он обернулся ко мне и сказал:

— Передайте на батарею, что правее цели номер три показались неприятельские цепи.

Очевидно, эти цепи были замечены и с других наблюдательных пунктов, потому что до того времени наша безмолвная артиллерия вдруг открыла по всей линии беглый огонь.

Немцы яростно отвечали.

Каждый миг в узкую щель нашего окопа мог влететь шальной снаряд и разорваться, превратив меня в клочья, в ничто. Никогда еще не испытывал я такого живот-

ного, безумного ужаса, как в то утро после нежного, безысходно-грустного любовного сна, так грубо прерванного.

Помню, что вместе со страхом смерти я испытывал необъяснимое чувство своей личной вины за все то, что совершается не только непосредственно вокруг меня, но также и во всем мире, охваченном пожаром всеобщей войны, всеобщего истребления людьми друг друга, хотя ни один из миллионов этих людей не хочет войны. Даже наверное, злая воля управляла человечеством. Кто был виновником? Неужели это был я сам?

Вместе с тем я испытывал жалость к себе, к своей погибшей молодости.

Но все это таилось в глубине моей души, а внешне я полулежал на дне траншеи, одной рукой обняв кожаный футляр телефонного аппарата, а другой изо всех сил прижав к уху слуховую трубку, и подавал каким-то несвойственным мне механическим голосом команды, которые сообщал мне наблюдатель:

— По цели номер восемь! Прицел сто двадцать, трубка сто пятнадцать, шрапнелью, два патрона беглых!

Все остальное вспоминалось теперь как бред: выползающие из своих земляных нор пехотинцы с вещевыми мешками за спиной, с саперными короткими лопатами, с котелками, прицепленными к поясам, отягощенным патронными сумками и противогазами, в касках, которые недавно появились в русской армии, с винтовками с примкнутыми штыками в черных, как картошка, руках.

Многие крестились.

Надо было вылезать из окопа на открытое со всех сторон пространство, где со звуком хлыста свистели пули.

Первым выбрался на бруствер взводный, крепкий унтер-офицер. Он тяжело перевалился через бруствер и, пригибаясь к земле, побежал вперед, становясь в тумане полупрозрачным. Следом за ним, подсаженный сзади солдатами, перевалился через бруствер ротный командир, отчистил от земли колени, побежал вперед и тоже стал полупрозрачным. За ним вылезли из окопа несколько взводных, отделенных и фельдфебель, а там начали неохотно переваливаться через бруствер и таять в легком тумане рядовые солдаты — некоторые бородатые, а большин-

ство с почти детскими испуганными лицами, последнего набора — и становились полупрозрачными.

Окоп зловеще опустел.

...со вкрадчивым свистом летели шальные пули; иные из них ударялись о бруствер и отскакивали рикошетом, крутясь вдоль траншеи.

Пороховой дым настолько сгустился, что стало трудно дышать. Наблюдатель едва держался на ногах от усталости, нервов, напряжения и страха, который изо всех сил скрывал.

Я передал ему телефонную трубку, а сам прильнул к окулярам стереотрубы. Мы поменялись ролями. Наблюдатель стал телефонистом, а я, телефонист, стал наблюдателем.

Поднялась страшная винтовочная и пулеметная трескотня, сквозь которую издалека долетало слитное «ура» или что-то в этом роде, которое можно передать только звуками:

— А-а-а-а-а!..

Кроме меня с товарищами-артиллеристами да еще двух пехотных телефонистов, в глубине окопа не было уже ни души.

Изо всех сил, до боли в глазах напрягая зрение, пытался я сквозь завесу черного мелинитового дыма разрывов разглядеть в стереотрубу обстановку боя. Легкий ветерок помогал мне, относя в сторону траурную вуаль дыма. Я видел всюду — впереди, справа, слева — незаметно откуда-то взявшиеся цепи неприятельской пехоты. Стараясь перекричать грохот боя, я диктовал сидящему у моих ног телефонисту установки все время сокращавшейся дистанции. Разрывы наших снарядов вырывали из наступающих цепей неприятеля десятки человек, но цепи почему-то почти не редели.

Наша рота, ушедшая вперед, окопалась и задерживала беглым огнем почти батальон наступающих немцев.

Даже сейчас — через столько лет! — я вижу осеннее сжатое поле, во всех подробностях приближенное ко мне цейсовской оптикой стереотрубы: жнивье, усеянное живыми и убитыми, ползущими и неподвижно распластанными солдатами, и среди них черные гейзеры взрывающихся снарядов.

Каким-то чудом армия генерала Макензена была в тот раз остановлена, а мое предчувствие неизбежной смерти не оправдалось. Я не только не был убит, но даже не получил ни одной царапины...

«10 октября 916 г. Румфронт. Дорогая Миньона! Только сейчас дошло до меня Ваше письмо, а когда мое письмо дойдет до Вас — один бог знает.

Румынская кампания, представлявшаяся всем нам чуть ли не увеселительной прогулкой, обернулась тяжелейшими боями. Здесь воевать очень трудно. Не то что под Сморгонью, хотя там тоже было не мед. Но там я чувствовал себя дома, в России. А здесь Добруджа, какая-то странная заграница. Совершенно плоское открытое место, на горизонте голубоватые Балканы. Лесов совсем нет. Нечем укреплять блиндажи, негде укрываться от вражеской воздушной разведки, от немецких авиационных бомб, нечем маскировать орудия, разве что сухими стеблями кукурузы.

В этих местах, между Дунаем и Черным морем, воевали некогда Каменский, Кутузов.

Мы все время в движении. Исколесили всю Добруджу. Обносились, обросли бородами, изголодались. Обозы отстают. Кухни блуждают среди сухой кукурузы, не находя своих частей. Кроме того, пошли дожди.

Сейчас я лежу в палатке, по которой сыплет нудный, затяжной дождь. Полотно палатки желтого цвета, поэтому кажется, что оно освещено солнцем. А на самом деле темный, унылый, дождливый день, низкие тучи грязного цвета, всюду лужи, покрытые концентрическими кругами и белыми пузырями дождя, похожими на рыбьи глаза.

Боюсь, что бумага, на которой я пишу это письмо, промокнет и Вы ничего не разберете. Временами ворчит гром поздней осенней грозы: такое впечатление, что по низким тучам проезжает какой-то небесный обоз. Издали доносятся звуки артиллерийской канонады. Два звука — грозы и орудий — сливаются, происходит дуэль «двух жульнических батарей — одной земной, другой небесной».

Вы спросите, почему жульнических батарей? Не знаю. Мне так кажется. Вообще война — это сплошное жульничество перед человечеством. Простите!

Хотелось бы описать Вам по возможности как можно подробнее нашу обстановку. То наступаем, то отступаем... Несем потери... Теряем территорию... Вот, собственно, все,

что я могу ответить на Ваш вопрос, как у нас идут дела. Дела как сажа бела. Не думаю, чтобы Вы что-нибудь поняли, если бы даже я и попытался как можно подробнее описать обстановку, тем более что я сам ничего не понимаю. Что-то мне сильно не нравится этот румынский фронт. Впрочем, может быть, мои сомнения происходят исключительно из-за паршивой погоды. Дождь барабанит по палатке. Откуда-то снизу подтекает вода. Писать трудно, тем более что мои товарищи телефонисты-наблюдатели рядом со мной с громкими криками дуются в картишки, в железку. Смеркается быстро. Настроение хоть повесься! Постараюсь это письмо послать с оказией, чтобы оно не попало в лапы военной цензуры. Кстати: что слышно в тылу? Солдаты, приезжающие из отпусков, распускают самые невероятные слухи. Такое впечатление, что все рушится, и войну мы проигрываем, и назревают события... Целую руку. Ваш *А. П.*».

Я лежал в палатке на сырой соломе, все время вытирая с лица дождевые капли, падающие сверху. Рядом играли в «железку». Уже настолько стемнело, что игроки зажгли огарок стеариновой свечи, прилепив ее ко дну пустой консервной банки.

Багровое пламя огарка, полузадушенное махорочным дымом, еще более сгущало сумерки, и на душе у меня было темно. Прилив давно уже начался, и только письмо Миньоне на некоторое время отвлекло меня от привычных мыслей о той, другой.

Но что это за привычные мысли?

Много раз в течение своей чрезмерно затянувшейся жизни я пытался понять, как же это случилось, и никак не мог понять. Что же между нами было? Самое странное, что между нами ничего не было.

Я ее любил. Она меня нет. Приходилось мне одному любить за двоих.

Когда мы с ней встретились, она еще вообще никого не любила. А ее почему-то любили все: подруги, знакомые гимназисты, даже один студент. В сущности, она была еще совсем девочка. Ей едва минуло пятнадцать. Она была еще бутон. Но тем не менее в ней, вероятно, уже угадывалась будущая обольстительная женщина. Она была более жен-

ственна, чем все ее подруги, хотя внешне выглядела моложе всех, даже меньше ростом. На первый взгляд она казалась совсем незаметной.

Однако, сама того не желая (а может быть, желая), она уже свела с ума двадцатилетнего Вольдемара. Вслед за Вольдемаром она свела с ума и меня.

Может быть, слишком сильно сказано: свела с ума. Во всяком случае, она как-то незаметно овладела моим воображением, всеми моими мыслями и чувствами. Так же, как и она, я еще был подросток, не созревший для любви, громадное чувство, вызванное ею, было мне не по возрасту, как бывает одежда не по размеру. Я не испытывал к ней физического влечения. Мне даже не могла прийти в голову мысль взять ее за руку, не говоря уж о желании обнять или поцеловать. Я не мог дать себе отчета в том, что же, собственно, мне от нее нужно. Мне было достаточно одного сознания, что она существует на свете, что она рядом, что я могу ее видеть, что мы принадлежим к одной молодежной компании и что я постоянно встречаюсь с ней в разных знакомых домах, на вечеринках, на прогулках.

О моей тайной любви, конечно, догадывались все. Надо мной даже стали посмеиваться, как посмеивались над Вольдемаром. Мы оба, я и Вольдемар, были безнадежно влюблены в нее.

Кстати сказать, Ганзя было ее детское прозвище, которое так и осталось за ней на всю жизнь.

А она?

Предпочитала ли она кого-нибудь из нас? Неизвестно. Вернее всего, она ни к кому из нас не испытывала никаких любовных чувств. Ничего, кроме компанейского дружелюбия, даже, может быть, товарищеской симпатии. Скорее всего ей нравился некий студент из нашей компании, красавец и симпатяга с алым ротиком, лучистыми глазами, шелковистыми усиками, всегда щегольски одетый в форменный студенческий мундир (не в тужурку!) с твердым высоким синим воротником, подпиравшим бархатные щечки, и подбитой ватой грудью, на которой блестели два ряда студенческих орленых золотых дутых пуговиц.

Вольдемар открыто к нему ревновал, вызывая всеобщее веселье. Я же не выражал своей ревности, втайне раздирав-

шей мою душу при виде, как ласково смотрят друг на друга Ганзя и студент.

Но мы с Вольдемаром сделались невольными сообщниками в ненависти к счастливому студенту. Мы осуждали его каждый на свой лад. Я критиковал его за легкомыслие и отсутствие глубоких знаний (сам будучи полным невеждой), а Вольдемар прямо говорил с ядовитой иронией, что у него алые губки, похожие на куриную жопу.

Да ведь был еще какой-то футболист, инсайд-правый.

В палатке, трепетавшей от проливного дождя, при лазурно-багровом пламени огарка я перебирал в памяти все, что касалось моей любви.

...Однажды во время игры в фанты ее лицо оказалось так близко, что общего его выражения я уже не мог разобрать. Видел только движущиеся коричневые брови и как бы отдельно от них карие глаза и растянутые в улыбке губы. Глаза выражали внимание, губы шевелились, лоб смеялся, брови хмурились, но в одно общее они не складывались. Может быть, это отсутствие общего и вселяло в меня чувство горечи. Для меня у нее нет общего.

Я возвращался к истокам своей любви, когда каким-то непонятным, таинственным образом вдруг почувствовал, что моя судьба теперь как-то связана с ее судьбой, хотя это была всего лишь игра воображения.

После похода за фиалками до конца учебного года мне так и не пришлось видеться с ней, а там начались экзамены, летние каникулы, то да се, и я перестал о ней думать, хотя во мне все время теплилось сознание, что на свете существует она, и с этим уже ничего нельзя поделать.

У меня в гимназии был верный друг Боря. Характеры у нас были совершенно разные, что, как водится, еще надежнее скрепляло нашу дружбу.

Я, как мне помнится, был нервный, крикливый, жил воображением, а Боря был рассудительный, несловоохотливый, сдержанный, склонный к недоверию, немного ироничный. Он тоже, как мы все в этом возрасте, жил воображением, но в его характере преобладало нечто, постоянно сдерживающее воображение.

Так или иначе, но мы считались самыми близкими друзьями и на большой переменке сидели внизу, в раздевалке, под шинелями, на длинном ящике с отделениями,

в которых хранились галоши на свекольно-красной суконной подкладке с медными буковками инициалов.

Там я особенно охотно откровенничал.

— Понимаешь, Боря,— говорил я, жуя бублик, купленный в гимназическом буфете за две копейки,— я влюбился.

— В кого? — спросил Боря с ироническим выражением белобрысого лица и улыбнулся, показав свой передний криво выросший крупный зуб, что делало его лицо особенно характерным.

— Ты ее не знаешь,— сказал я.— Я сам с ней только три дня назад познакомился.

— И уже влюбился? — спросил Боря строго.

— Да,— вздохнул я.— Так случилось. Ее зовут Ганзя Траян, из гимназии Бален де Балю.

— Не знаю,— сказал Боря и еще ироничнее улыбнулся.— Ну и что же? Так сразу с места в карьер?

— Ты себе не представляешь, что со мной сделалось!

— Почему же я себе не представляю! Отлично представляю: ты влюбляешься в каждую юбку.

— Ах, Боря, нет. Это совсем не то! Такого со мной еще никогда не бывало. Даже дома заметили. Я о ней все время думаю.

— В то время как тебе не мешало бы подумать об уроках. А то смотри — выкинут за неуспеваемость. Ты и так висишь на волоске.

Я поморщился.

— Ах, боже мой, совсем не о том речь... Понимаешь, у меня вдруг при одной мысли о ней к сердцу приливает такая, знаешь ли, как бы тебе объяснить — горячая, что ли, волна, что, честное благородное, трудно делается дышать.

— Ну и врешь, что трудно дышать,— зашептал Боря, по своей привычке хладнокровно отделяя правду от выдумки.

Боря отчасти играл роль Базарова и уже готов был сказать мне великолепные слова: «Аркадий, не говори красиво», но сдержался из уважения к моему чувству любви.

Он только делал вид, что все эти мои любовные истории ему совсем не любопытны и просто смешны. На самом же деле разговоры о любви ужасно его волновали.

— Все это, брат, ты выдумываешь,— сказал Боря.

— Вот ей-богу, святой истинный крест, я не выдумываю,— почти со слезами на глазах сказал я и перекрестился.— Прямо-таки трудно вздохнуть.

Мы немного помолчали.

Я положил локти на колени, уперся подбородком в вывернутые ладони и, глядя исподлобья на чугунную печку, в слюдяном окошке которой горели золотые слитки раскаленного кокса, обогревая раздевалку, вздохнул:

— Это, кажется, Боря, я в первый раз в жизни так втрескался.

Боря дернул костлявым плечом и прищурился, как следователь, допрашивающий преступника:

— А, собственно, за что ты так сильно в нее влюбился? Что она — лучше других?

— Ах, в том-то и вся штука, что я не знаю, за что я ее полюбил. Просто так. В этом-то все дело.

— Не понимаю,— сказал Боря, и между нами начался один из тех волнующих и бестолковых разговоров, какие обычно происходят между близкими друзьями, которые чувствуют и думают по-разному, но терпеливо стараются понять один другого, потому что любят друг друга, несмотря на свою несхожесть.

Я с жаром доказывал, что когда любят по-настоящему, как я полюбил Ганзю, то эта любовь всегда бывает беспричинной, и если человек любит, то не за что-нибудь — ну там за красоту, или за ум, или за богатство, или за фарфоровые щечки и жемчужные зубки, или за серебристый смех и маленькие ножки,— а любят просто так, потому что это судьба.

— Ты понимаешь — она моя судьба!

Я слушал самого себя и любовался самим собой, своими такими чистыми и возвышенными взглядами на любовь.

Однако, утверждая, что настоящая, большая любовь всегда бывает без причин, я сам себе не очень-то верил, потому что трудно, даже невозможно верить чему-нибудь, происходящему без причины. Без причины ничего не бывает. Однако же...

А Боря, для которого любовь была вещью совсем непонятной и туманной, вернее сказать, за отсутствием любовной практики и вследствие прирожденной застенчивости штукой отвлеченной, старался говорить о ней как о вещи простой, ясной и обыденной, лишенной волшебства.

Мы не понимали друг друга, но каждая новая мысль, высказанная в раздевалке под шинелями, все больше и больше разъясняла и определяла для нас понятие любви.

Ох уж эти разговоры гимназистов о любви!

— Если ты утверждаешь,— говорил Боря прокурорским тоном,— что любовь возникает сама собой, без причины, то это надо проанализировать. Опиши мне самым подробным образом свое знакомство с ней с самого начала до того момента, когда ты пришел к выводу, что влюблен. Таким образом нам наверняка удастся обнаружить причину.

Я самым добросовестным образом поведал другу все подробности своего знакомства с Ганзей, поход за фиалками и т. д.

Мы оба, как два ученых-исследователя, сидя под вешалкой, где пахло побывавшими под дождем гимназическими шинелями, старались обнаружить причину моей внезапной любви, но у нас ничего не получалось.

...на румынском фронте, в палатке, потемневшей от дождя, я продолжал сам с собой исследовать причины своей любви к Ганзе. Этих причин могло быть две: красота и ум. Но она, несомненно, была некрасива. А ума ее я не знал. Значит, не в этих очевидных причинах было дело. Так в чем же?

Ах, чего бы я не дал, чтобы снова стать пятиклассником и очутиться вместе со своим другом Борей под шинелями и видеть перед собой печку, похожую на маленький сизочугунный замок, в слюдяном окошке которой пылал раскаленный кокс, создавая впечатление, что в замке какой-то праздник, торжество, бал, может быть, даже свадьба!

Нет, для любви не надо ни красоты, ни ума, и возникает она сама по себе, без причин.

Волшебство самовозгорания!

Да, но все-таки...

Ведь к Миньоне у меня тоже была любовь. Но она имела причины. Миньона была хороша собой, не слишком, но все-таки... Она была нарядна, неглупа, начитанна, дочь генерала, у нее были сиреневые глаза, бронзовые волосы в крупных завитках. Она была склонна к флирту, который называла на английский манер флёрт. У меня с Миньоной все было более или менее ясно. Она мне физически нравилась. И ей я нравился до известной степени: все-таки лиш-

ний поклонник. Я без труда, легко и бездумно ухаживал за нею. Она принимала мои ухаживания как должное. Мы без затруднения болтали друг с другом. Я считался одним из ее счастливых поклонников. Она явно отличала меня. Все-таки я пописывал любовные стишки, а это всегда нравится.

Оба мы — Миньона и я — были слишком юны и незрелы для серьезного чувства. Но в будущем... Чем черт не шутит. Я мог стать офицером, и тогда...

Но это были лишь детские мечты.

С Ганзей все обстояло совсем по-другому.

Она была моложе Миньоны, но я познакомился с ней годом раньше, когда она только что вышла из отрочества. Она была первая. Первая и единственная: с первого взгляда и на всю жизнь. Я так глубоко любил ее, что мне даже и в голову не могло прийти ухаживать за ней или — еще хуже — флиртовать, добиваться взаимности. При ней я немел. Вероятно, она сначала даже не заметила моего чувства.

Нравился ли я ей? Неизвестно. Мог же я понравиться ее подруге Калерии, которая даже была в меня влюблена. Так почему бы... Но нет. Неизвестно. Вообще ничего не было известно.

Правда, с моей стороны однажды была предпринята попытка выяснить отношения. Боря надоумил меня добиться свидания. В представлении Бори свидание являлось непременным элементом любовного романа, счастливого или несчастного — не имело значения. Я схватился за эту идею. Да, конечно, свидание! Свидание необходимо. Свидание сблизит нас и создаст между нами определенные отношения, возможно, даже любовные.

В сущности, свидание было совершенно не нужно. Я и так виделся с ней почти каждый день то на вечеринке, то у нее дома, то просто на улице по дороге в гимназию, то у Калерии.

Самое слово «свидание» обладало магическим свойством любовного сближения.

...Дождь продолжал сыпать по палатке, вода натекала откуда-то снизу, и солома промокла, свеча догорала, задушенная махорочным дымом, солдаты с шумом дулись в «железку», кидая карты по разостланному брезенту,

раскаты грома соперничали со звуками отдаленной канонады, а я в сотый раз прокручивал в воображении это единственное наше свидание, на которое я возлагал большие надежды, впрочем, не оправдавшиеся, так как все равно ничего не определилось.

Устроить свидание по всем правилам оказалось делом весьма не простым, хлопотливым. Сложность его заключалась в том, что уже сам по себе факт свидания предполагал наличие взаимной любви. А так как взаимной любви — увы! — не было, то мне приходилось как-то перед самим собой выкручиваться, усыпляя совесть хитросплетениями вроде того, что еще доподлинно неизвестно, любит она или не любит, а может быть, и любит, только я этого не знаю. Но даже если не любит, то свидание в конце концов может быть вовсе и не любовное, а попросту дружеское, даже, если угодно, деловое. Может быть, у меня к ней есть дело, касающееся только ее и меня — и никого больше.

Но какое же дело? Об этом надо подумать. Вопрос трудный. Надо придумать дело, не имеющее характера любовного и в то же время отчасти все-таки как бы вроде и любовное.

Легко сказать!

Так родилось нечто шитое белыми нитками: я вызываю ее на свидание для того, чтобы решить деликатный вопрос относительно чувств ревнивого Вольдемара. Поскольку общеизвестно, что Вольдемар влюблен до безумия в Ганзю, у меня якобы явилось подозрение, что Вольдемар ревнует Ганзю ко мне, хотя эта ревность совершенно необоснованна. Однако я решил поступить благородно и больше не встречаться с Ганзей ни на вечеринках, ни на прогулках, ни у нее дома, нигде, для того чтобы не давать Вольдемару повода для ревности и страданий. Назначил же я свидание для того, чтобы откровенно объясниться и узнать мнение Ганзи на этот счет.

Я, шестнадцатилетний хитрец, ставил ловушку. Она принуждена будет сказать да или нет, то есть косвенно признаться, что любит или не любит Вольдемара. Если любит, то как бы это ни было мне тяжело, но все-таки легче, чем неизвестность: мое сердце, несомненно, будет разбито, но, по крайней мере, я предстану перед Ганзей как благородный человек, жертвующий своим счастьем для друга. И я дам слово никогда больше не встречаться с Ганзей.

Можно ли принести большую жертву во имя подлинной вечной любви?

...сумбур царил тогда в моей голове!

А если она скажет, что вовсе не любит Вольдемара, и отвергнет мою жертву, то, значит, она вовсе не собирается отказываться от встреч со мной ради ревнивого Вольдемара, которого, очень возможно, вовсе и не любит. Тогда я с чистой совестью смогу наконец произнести заветные слова: «Я вас люблю».

А нет — так нет! Буду любить Калерию.

В сущности, все дело заключалось в самом факте свидания независимо от его содержания.

Она придет ко мне на свидание. Мы будем наедине. Нас свяжет некая тайна. О большем счастье я и не думал. Остальное уже дело техники.

Техника свиданий была в совершенстве разработана несколькими поколениями влюбленных гимназистов и гимназисток: он посылает ей записку с просьбой о встрече; она назначает свидание; они встречаются наедине.

Все это напоминало дуэль со всеми ее формальностями. Даже предусматривался секундант, то есть тот, кто будет передавать записки.

В этом заключалась известная трудность: кто передаст ей мою записку? Не так-то легко решался этот вопрос. Самой подходящей для этой цели, конечно, являлась ближайшая подруга Ганзи, упомянутая уже Калерия. Но, во-первых, она была сестрой Вольдемара, а во-вторых, сама была влюблена в меня, так что навязывать ей роль передаточной инстанции казалось невозможным, слишком жестоким. Однако я решился даже на эту жестокость.

— Ты, Пчелкин, просто негодяй,— сказала мне Калерия со слезами на прелестных глазах, но все-таки взяла записку и спрятала ее под нагрудником гимназического фартука.

В ней боролась любовь ко мне и любовь к подруге. Победила любовь к подруге: передача ей любовной записки считалась среди гимназисток делом священным.

Вернувшись после уроков домой, Калерия, как и следовало ожидать, увидела меня. Я шатался возле ворот.

— Ну как? — спросил я.

Поджав губы, Калерия вынула из-за нагрудника фартука и протянула мне ответ — розовую секретку в клеточку.

— Но имей в виду, Пчелкин,— сказала Калерия, глотая слезы,— я для тебя пожертвовала всем, и теперь ты для меня навсегда ноль!

В своем гневе она была прекрасна, однако нос портил все дело.

Мне было все равно. Я весь находился во власти любовного жара. Получить от девушки не что-нибудь, а именно секретку считалось уже как бы доказательством наличия романа.

Я держал в руках секретку, на которой лиловыми школьными чернилами было написано мое имя. Я открыл секретку, то есть оторвал окружающий ее заклеенный купон, и на клетчатом листке прочел следующие незабвенные слова, тщательно выведенные аккуратным почерком добросовестной школьницы-отличницы, однако уже имеющим характерные особенности почти взрослого почерка:

«Приходите сегодня в четыре часа на боковую аллею Александровского парка. Ганзя».

Я торжествовал. Полученная секретка возвышала меня в собственных глазах, превращая из безнадежно влюбленного гимназиста-второгодника в счастливого любовника. Теперь пускай все узнают, что она назначила мне свидание в Александровском парке. И пускай красавец студент с маленьким ротиком не задается! И пускай Вольдемар поет своим фальцетом, глядя на нее умоляющими глазами: «Я вновь пред тобою стою очарован...»

Теперь я уже не буду стоять перед Ганзей как бессловесное животное, а зримо, открыто и бесстрашно скажу ей в боковой аллее Александровского парка: «Я вас люблю» — или даже еще лучше: «Кажется, я вас люблю». Как украсило это магическое «кажется» банальное объяснение в любви!

«Ганзя, кажется, я вас люблю», или даже лучше немного переставить слова: «Я люблю вас, кажется, Ганзя». В таком сочетании еще больше любовной музыки.

В течение двух часов, оставшихся до свидания, я мысленно переиграл все возможные и даже невозможные варианты свидания. Я потерял голову от счастья. В то же время секретка Ганзи вызвала во мне неясные подозрения. Уж слишком содержание записки казалось сухим, дело-

вым. Особенно настораживало упоминание о боковой аллее. Можно подумать, что Ганзя уже не первый раз назначает свидания именно в этой боковой аллее. Возможно, что для нее боковая аллея являлась привычным местом любовных свиданий и встреча со мной вовсе не была исключением. А я так наивно воображал, что это первое ее свидание.

Первое свидание. Первая любовь. Первая аллея. Все должно быть первым. А иначе какой же смысл в свидании?

Но все эти сомнения рассеялись, в то время как я шагал по Французскому бульвару в направлении к Александровскому парку, боясь опоздать, а еще более опасаясь явиться слишком рано.

На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре, когда я, перейдя пустырь с деревянными остатками велосипедного трека, так называемого циклодрома, вступил в боковую аллею Александровского парка, в глубине которого между черных стволов обнаженных деревьев просматривалась Александровская колонна, сооруженная в память пребывания в городе царя-освободителя, собственноручно посадившего здесь дубок, который уже превратился в большое ветвистое дерево. А дальше — море.

На всю жизнь в моей памяти осталась боковая аллея. С годами память ослабела, но вид боковой аллеи держался крепко, разве только исчезали детали, которые, впрочем, только засоряли пейзаж ненужными мелочами.

Хорошая память — фотография. Плохая — живопись.

В конце своей жизни я видел боковую аллею как рисунок углем.

В палатке на румынском фронте моя память была еще безукоризненно свежа, и я видел боковую аллею со всеми подробностями только что спиленных черных веток, еще не убранных с дорожки, покрытой влажным морским гравием, хрустевшим под ногами, как рассыпанная карамель.

Я видел лестницу, прислоненную к стволу дерева, и городского садовника в зеленой форменной фуражке, который спиливал ножовкой ненужную ветку. Опилки сыпались из-под пилы, и свежесрезанный торец ярко желтел.

Теперь я уже не помню, в какое время года обрезают в парке деревья — ранней весной или поздней осенью. Но я помню, что тогда обрезали деревья. Значит, свидание было или ранней весной, или поздней осенью, когда листья уже облетели. Во всяком случае, во всю длинную перспективу боковой аллеи чернели стволы голых деревьев — австралийской разновидности робинии, но только с длинными острыми шипами и перекрученными ремешками стручков с выпуклостями созревших внутри семян. Все-таки, значит, была поздняя осень, октябрь или даже ноябрь, но погода стояла теплая, и я шел налегке, без шинели. От волнения я даже немного вспотел и расстегнул верхний крючок куртки, так что из-под суконного воротника виделась на моей худой, еще почти детской шее цепочка нательного киевского крестика с ладанкой от скарлатины.

Короткий день клонился к вечеру, но было еще светло и воздух печально пахнул опавшей листвой. Безлюдье и тишина обширного парка с полоской моря показались мне оглушающими. Меня терзало сомнение — придет она или не придет? Если она придет, то это будет слишком большим счастьем. Пусть она даже опоздает, я готов ждать ее до темноты, когда зажгут газовые фонари.

Я несмело посмотрел вдоль аллеи и не поверил своим глазам: маленькая знакомая фигурка шла издалека мне навстречу. Она была тоже без пальто, в гимназической форме, в будничном черном переднике, без шляпы, с открытой головкой и волосами, убранными в виде коронки, но с челочкой на лбу, что по гимназическим правилам запрещалось. Значит, она уже успела сбегать домой, оставить там книгоноску и шляпу, наскоро пообедать, перечесаться, наслюнить и напустить челку на лоб, но не переоделась — и без опоздания явилась на место встречи.

Она неторопливо приближалась, но мне все еще не верилось, что все это происходит не во сне, а наяву. Но нет, только наяву у девочки могли быть запачканы чернилами пальчики и в углу прелестного, несколько растянутого рта виднеться засохшая заеда — след недавно съеденного арбуза. Она не улыбалась, но и не хмурилась. Выражение ее лица было будничным, как и весь ее вид.

Она не высказала ни малейшего удивления по поводу этого неожиданного свидания, как будто бы так оно и должно было быть. Она подошла ко мне, и мы молчаливо

пошли по аллее — я смущенный, а она как ни в чем не бывало.

Вот наконец я с нею наедине!

Теперь бы мне и произнести приготовленную фразу: «Кажется, я вас люблю, Ганзя». Но вместо этого я начал с весьма многозначительным видом молоть вздор, еще накануне казавшийся мне весьма тонким и хитрым, насчет ревнивого Вольдемара, для спокойствия которого я готов пожертвовать собой и перестать ходить в гости к Ганзе, а также вообще перестать с ней встречаться, и хотел бы знать ее мнение по этому поводу.

Хитрец, я думал, что действую наверняка.

Выслушав мою горячую чепуху, она дернула худеньким, еще почти совсем детским плечиком и сказала:

— Вот еще! С какой стати? Я вовсе не хочу из-за кого бы то ни было терять знакомых.

На этом свидание так и закончилось ничем.

Я проводил ее домой, по дороге мы болтали о том о сем, об учителях, о знакомых, и все осталось по-старому, кроме некоторого моего удовлетворения тем, что как бы то ни было, а свидание состоялось, на всю жизнь оставив в моей памяти неизгладимый след.

...Затяжной дождь продолжал шуметь по палатке. Ворчал гром. Издали доносились орудийные выстрелы. Солдаты, лежа на мокрой соломе, дулись в «железку».

Я продолжал думать о Ганзе. На этот раз прилив любви был так силен и продолжителен, что ни о чем другом я уже не мог думать.

В памяти беспорядочно возникали картины того счастливого времени, которое я не успел оценить.

...отрывки из моего юношеского романа, написанного еще не устоявшимся полудетским почерком:

«— Разве вы не зайдете к нам? — спрашивает она.— Напьетесь чаю.

Она пошла вперед, повернула направо в парадный ход и стала быстро, не оборачиваясь, подниматься по лестнице,

легко перебирая рукой по перилам. Я шел за ней, печально опустив голову.

Подобно тому как все человеческие лица делятся по своему характеру на женственные и мужественные, сказать вернее, на отцовские и материнские, так и все квартиры в моих глазах делились как бы на женские и мужские.

Женские квартиры, которых меньшинство, отличались уютностью, большим количеством материй, подушек, мягкой мебели, приглушенным светом ламп, старообразными абажурами и каким-то особым будуарным запахом.

Мужские квартиры, которых большинство, всегда чистые, просторные, светлые, сильно освещенные лампами, с прочными удобными столами, твердыми стульями и сизым запахом табачной золы, таящейся в перламутровых недрах тропических раковин, заменяющих пепельницы. К этому запаху примешивается запах натертого мастикой паркета и твердой полированной мебели.

Квартира ее родителей имела явно выраженный тип квартиры мужской. В ней было все определенно, просто, от голубого фонаря, висящего на жиденьких цепях в прихожей, до больших, но плохо написанных масляными красками картин в духе Айвазовского и Шишкина. Картины в довольно толстых золоченых рамах висели в холодной гостиной и не доставляли глазу никакой радости.

Когда мы вместе с Ганзей явились, в столовой уже пили чай. За столом сидела вся семья, кроме отца, который только что встал из-за стола и шел, поскрипывая ботинками, за папиросами, собираясь ехать в клуб. В зеркале мелькнула его стриженная под бобрик голова. Кроме матери и брата, застенчивого тринадцатилетнего гимназиста Васи, за столом сидели еще бабушка в черной кружевной наколке на серебряной голове и глухая девушка в красной турецкой феске.

Всякий раз, входя в эту столовую, я испытывал чувство неловкости от сознания, что я никогда не буду здесь своим, а лишь случайным гостем. Мои губы сами собой складывались в неестественную улыбку — не то ироническую, что вот, мол, я сел не в свои сани, не то униженную, как у просителя.

— Ну, как вам гулялось? — приветливо спросила нас Ганзина мама, в то время как мы, Ганзя и я, еще жмурясь на яркую лампу после темноватой передней, входили в столовую.— Садитесь. Я вам сейчас налью чаю. Садитесь и ешьте. Вот колбаса, вот яичница, вот вареники. Пожалуй-

ста, без стеснения. Ганзя, что же ты? Поухаживай за своим кавалером.

— Давайте свою тарелку,— сказала Ганзя,— мама хочет, чтобы я за вами ухаживала, только я плохая хозяйка.

— Ты думаешь,— сказала мама,— что это очень хорошо и современно? Ты женщина. А женщина должна быть хорошей хозяйкой. А то тебя никто замуж не возьмет, когда вырастешь.

У Ганзиной матери были выпуклые женственные веки и небольшой изящный нос. Она была красива, но как-то простонародна. Можно было предположить, что впоследствии Ганзя будет похожа на нее. В ее карих — не то румынских, не то молдаванских — глазах весело отражался белый абажур висячей столовой лампы.

— Ну ты, мама, тоже сказанешь! — пожав плечиками, огрызнулась Ганзя и как бы в доказательство, что она не умеет и не желает быть хорошей хозяйкой, небрежно наложила на мою тарелку гору колбасы и вывалила всю яичницу-глазунью.

— Теперь вы должны все это съесть, так вам и надо. А я за хорошую хозяйку не нанималась.

Ганзя сердито сморщила свое незначительное и незапоминающееся личико и вдруг улыбнулась, в один миг став хорошенькой, даже красивой, похожей на свою мать.

Пока я ел и пил чай, она вышла из-за стола и вернулась, уже переодевшись по-домашнему — в красной блузочке с открытым воротником.

Потом мы сидели у нее в комнатке, которая была единственным женским уголком в этой неуютной квартире, носящей отпечаток хозяина-картежника, проводившего ночи в клубе.

Еще совсем недавно у Ганзи не было своей комнаты. Она спала с мамой и казалась совсем маленькой девочкой. Но недавно ей дали отдельную комнату, так называемую для прислуги. Совсем маленькую, возле кухни, в которой помещались только ее никелированная узкая кровать, совсем маленький декадентский письменный столик, за которым она готовила уроки, и еще тахта, покрытая ковром.

Удивительно, как быстро эта комнатка для прислуги стала такой особенной, как быстро она как бы переняла привлекательность своей хозяйки, как бы воплотила всю ее женственность. Здесь уже как-то особенно, еще не по-дамски, но уже по-девичьи пахло духами «Персидская сирень» и еще чем-то нежным, похожим на запах детских волос.

Кроме тетрадок и учебников, аккуратно обернутых в синюю бумагу, на столике стояло семь традиционных фарфоровых слоников мал мала меньше, а на стене висела самодельная гипсовая тарелочка с цветной картинкой, изображающей хорошенькую курносенькую англичанку, прислонившуюся кудрявой головкой к морде породистой лошади с чуткими ноздрями».

На всю жизнь запомнил я молочно-белый абажур настольной керосиновой лампы, сквозь который пламя горелки просвечивало красной коронкой.

До сих пор даже здесь, на фронте, меня преследовали подробности того вечера, когда я впервые сидел в Ганзиной комнате на тахте, а она, не обращая на меня внимания, готовила уроки, переписывая в маленькую специальную тетрадку для слов французские глаголы.

В присутствии Ганзи я всегда немел.

Может быть, в этой комнате она целовалась с Вольдемаром, или со студентом с маленьким ротиком и ватной грудью, или с тем футболистом инсайд-правым...

Еще никогда я так сильно не любил ее.

Теперь во всем этом страшном мире, наполненном дыханием смерти, для меня существовала только она одна: нечто смутное, без определенных линий, размытых временем. Женственно выпуклые веки еще почти детских карих глаз, серая будничная юбка. Маленькие руки и маленькие ноги. Красная шелковая рубашечка с круглым вырезом, открывающим смугловатую шею с родинкой. Все, кроме лица, представлялось определенно, но лицо было неуловимо. Вместо лица плыло облачко: нечто общее, без частностей, смутно отражающее ее взгляд, усмешку. Неразличимое, но такое близкое, даже как бы родственное, отвечающее самым сокровенным движениям моей души.

...в тот смутный, дождливый день меня внезапно назначили орудийным фейерверкером в батарею, где я до сих пор исполнял должность телефониста-наблюдателя.

Батарея стояла на совершенно ровном, гладком, со всех сторон открытом месте, кое-как замаскированном сухими стеблями кукурузы. На позицию стали глубокой ночью, а когда рассвело, то в холодном, дождливом тумане мы увидели потоптанное кукурузное поле и мокрую землю,

исковерканную недавним сражением. Откуда-то сбоку потягивало трупным запахом. Это разлагалось чудовищно раздутое тело румынского солдата в каске и синей шинели, лопнувшей по швам. Мы только что собрались предать это мертвое тело земле, чтобы оно не воняло, как был получен приказ «батарея, к бою!».

Тотчас после этого из-за плоского, дождливого, плохо видного горизонта послышался знакомый звук орудийного выстрела, и над нашей батареей пролетел неприятельский снаряд, сделавший порядочный недолет. Батарея ответила двумя патронами беглых, и началась артиллерийская дуэль с невидимым противником, продолжавшаяся до самых ранних октябрьских сумерек.

«18 октября 916 г. Действующая армия. Румынский фронт. Дорогая Миньона! Сегодня произошло ужасное. Наша батарея, расположенная на открытом месте и не имеющая надежных блиндажей, кроме ровиков для орудийной прислуги, весь день вела артиллерийскую дуэль. Что такое артиллерийская дуэль на открытой позиции, Вы, конечно, представляете себе. Объяснять не буду. От неприятельского огня мы прятались в довольно глубокий ровик, наскоро вырытый рядом с зарядным ящиком.

Наши наблюдатели нащупали немецкую батарею, а немцы нащупали нас, и через каждые две-три минуты мы обменивались выстрелами. День был на редкость паршивый, холодный, сырой, туманный, дождливый, и вследствие плохой видимости артиллерийский огонь с обеих сторон был неточный: то сильный перелет, то недолет, то вообще куда-то в сторону. Тем не менее каждую минуту можно было ожидать прямого попадания, и я из предосторожности приказал всем номерам своего орудия, которым командовал, кроме наводчика, укрыться в окопчике.

Сделав очередной выстрел, наводчик тоже прыгал в окопчик, и мы все, прижавшись к земляным стенкам, с тревогой ожидали ответ неприятельской батареи, моля господа бога, чтоб немецкий снаряд пронесло мимо и чтобы он не угодил в наш окопчик.

Недавно в нашу батарею пришло пополнение, и ко мне в орудие попал совсем еще молоденький — последнего призыва,— семнадцатилетний деревенский паренек из-под станции Бобринская по фамилии Терез. Как у всех новобранцев, у него была голова, подстриженная под машинку весьма неряшливо, вследствие чего его нежные, почти

совсем детские уши казались особенно заметны. На нем была не по росту большая шинель, еще не разношенные сапоги, и в руках он держал деревенскую торбу со шматком домашнего свиного сала, завернутого в хустку, а также мешочек с пайковым сахаром, который он уже успел получить вместе с восьмушкой махорки и полбуханкой житника.

Мы все были опытные, обстрелянные батарейцы, а он считался у нас еще серым, то есть молодым необстрелянным новичком, а потому на нем еще, как говорится, ездили — наваливали на него самую черную солдатскую работу. Это делалось, конечно, не со зла, а так полагалось по традиции воспитывать новобранца. А вообще к нему относились хорошо и дружелюбно, вроде как к младшему брату или сыну. Он даже нравился нам своей милой деревенской домашностью, еще не испорченной солдатчиной.

Его украинская фамилия Терез давала орудийным острякам повод покаламбурить: Терез, той раз, цей раз и т. д.

Я принял по отношению к нему начальственно-покровительственный тон. До сих пор я был среди солдат самый младший по возрасту, а теперь появился еще более молодой — семнадцатилетний.

Кстати, замечу в скобках, оказывается, на войну уже стали забирать почти мальчиков. Тревожный симптом! По-видимому, война идет к концу.

Этот самый Терез был ласковым, услужливым и очень старательным мальчиком, так что в батарее его полюбили, понимая, что со временем из него выработается справный орудиец. На первых порах его поставили при трехдюймовке, которой я командовал в качестве орудийного фейерверкера, номером третьим, так называемым подающим. Он должен был в бою подавать патроны.

Да... Так на чем я остановился?

Я остановился на том, что наша батарея вела длительную, мучительно нудную артиллерийскую дуэль и неприятельские снаряды с методическими паузами рвались вокруг нас, так что мы были принуждены почти все время сидеть в окопчике, и на огонь противника отвечал, в сущности, один только наводчик, который сам наводил, сам

заряжал, сам производил выстрел и сейчас же после выстрела прыгал в окопчик, или, как он назывался, ровик, где мы сидели, как сельди в бочке, и все время дрожали от страха, ожидая, что какой-нибудь шальной немецкий снаряд прямым попаданием влетит к нам — и тогда от нас останется только кровавая каша.

Вы себе представляете, как это ужасно — сидеть в ямке, дрожать и каждую минуту ждать смерти?

Терез вел себя вполне мужественно, хотя его девичьи губы стали сизыми, а тонкая, нежная шея, видневшаяся из-под грубого ворота солдатской шинели, совсем побелела.

Играя роль доброго командира, я похлопал его по плечу и сказал общеизвестное: «Не журись, казак, атаманом будешь», хотя у самого от страха тряслись поджилки.

Мрачный день медленно, но уже заметно клонился к вечеру, но артиллерийская дуэль продолжалась, выматывая нервы. Вдруг после одного нашего очередного выстрела в окопчик вскочил бомбардир-наводчик и сказал, вытирая мокрый от дождя лоб рукавом шинели:

— Шабаш! Все патроны кончились.

— А в зарядном ящике?

— Пусто.

В первый момент у нас, по правде сказать, даже отлегло от сердца: отбой! Но тут же закрякал телефон и голос батарейного командира приказал выслать нескольких солдат за свежим боезапасом, который подвезли из резерва в небольшую лощинку шагов за сто позади батареи. Разгрузить повозку с патронами требовалось как можно быстрее, чтобы неприятельские снаряды не успели побить лошадей.

Лица у моих батарейцев посерели. Бежать сто шагов туда да сто шагов обратно с двумя тяжелыми лотками на плечах, по открытому полю, под огнем неприятельской артиллерии — дело серьезное. Но ничего не поделаешь. Боевой приказ есть боевой приказ. Мне, как орудийному фейерверкеру, следовало организовать доставку патронов и нарядить орудийцев, которые должны по очереди бегать за снарядами.

Я решил показать пример своим подчиненным, первым выскочить из окопчика и принести два лотка, хотя по долгу службы я не должен был этого делать и отлучаться от орудия.

Но мне хотелось показать свою храбрость.

Почему-то в последнюю минуту я раздумал. Не могу объяснить, что со мной случилось. Какой-то злой или добрый дух шепнул мне: остановись! подумай! — острое чувство самосохранения пронзило меня и подсказало, как надо действовать.

— А ну, друзья, кто первый пойдет за снарядами? — сказал я, подражая голосу фельдфебеля Ткаченко, и тут же, не дожидаясь ответа, прибавил: — Пойдет самый молодой, необстрелянный. А ну-ка, Терез, покажи свою храбрость!

Терез сидел совсем по-мальчишески на корточках, прислонясь к сырой стенке окопчика. Он вскочил, засуетился и, став передо мной по стойке «смирно», насколько это позволяла теснота ровика, сказал:

— Слушаюсь, господин орудийный фейерверкер!

Вся его фигурка выражала готовность, но в глазах мелькнуло что-то пронзительно-жалобное. По мокрым земляным ступенькам он выскочил из окопчика, и в тот же миг оглушающий удар разорвавшегося немецкого снаряда потряс почву, и не успели мы как можно теснее прижаться к земле, как сверху головою вниз на нас свалился Терез, покрытый складками разорванной шинели.

Но это уже был не Терез. Это был его труп. Его ноги в сапогах зацепились вверху за край земляных ступеней, так что все тело приобрело наклонное положение, голова оказалась на земле у наших ног, а из маленькой треугольной дырочки над правым глазом текла густая струйка крови, образуя на земляном полу все более и более разрастающуюся лужу.

Половина разбитого орудийного колеса повисла над нами, пробив крышу, сложенную из стеблей кукурузы, по листьям которых шуршал затяжной дождик. Наши глаза были прикованы к обращенному вверх лицу убитого Тереза, постепенно менявшему цвет. Сначала знакомое лицо Тереза еще имело обычный цвет живого человека, даже с нежной розоватостью щек и вокруг закрытых глаз с золотистыми ресницами. Постепенно эта розоватость исчезала, заменялась желтоватостью, а желтоватость стала заливаться синевой, особенно заметной в скульптуре затвердевших ушных раковин.

А вокруг стояла всемирная тишина внезапно прекратившейся артиллерийской дуэли.

Молчала наша батарея. Молчала батарея противника. Молчало наше искалеченное орудие. Только с вкрадчивым шорохом сеялся дождик, как бы незаметно сливаясь с надвигающимися сумерками. Отчего наступило это сводящее с ума молчание? Вероятно, из-за темноты, так или иначе, но бой прекратился, как бы сделав свое черное дело, убив Тереза и тем самым исчерпав себя.

Мы неподвижно стояли тесно друг к другу в окопчике и под угнетающий шелест затяжного дождя не могли оторвать глаз от лица необыкновенно молодого и красивого, как у скульптуры греческого юноши, с которого медленно сходила синева, заменяясь уже ровной, мраморной или, лучше сказать, гипсовой белизной подлинной, глубокой смерти, и маленькие, чудесно изваянные кисти рук высовывались из-под лохмотьев шинели, а оскудевающая струйка густой, уже почти черной крови все текла и текла по белому лбу, и под головой натекла лужа, в которую мы боялись нечаянно ступить сапогом. Одна мысль терзала меня — что на месте мертвого Тереза мог лежать мертвый я, и этого не могло вместить мое воображение.

Потом все было до ужаса обыденно.

Мы бережно, хотя и с каким-то страхом, выбрались из окопчика, вытащили оттуда тело Тереза и положили его возле лафета нашей искалеченной пушки, припавшей, как инвалид, на ось разбитого колеса со своим щитом, изрешеченным осколками. Снаряд попал прямо в зарядный ящик, в котором, к счастью, уже не оставалось патронов, а то бы мы все полетели на воздух.

К зарядному ящику был привязан мой чемодан, от которого остались только клочья, а все то, что находилось в нем, в том числе фотографический аппарат «Кодак», катушки с отснятой пленкой, Ваши письма, тетрадка моих стихов и заметок, не говоря уж о белье и непочатой коробке соленых бисквитов «Капитэн», присланных папой,— все это было сожжено прямым попаданием, превращено в черный пепел, развеяно, рассыпано по мокрому кукурузному полю и затянуто тяжелым, вонючим, черным мелинитовым дымом разорвавшегося снаряда...

Что же было дальше? Дальше все было так обыденно,

что стыдно писать. В наступивших сумерках из обоза приехала повозка, куда положили уже заметно похолодевшее, отвердевшее, прямое тело Тереза, покрыли его ободранной, обгоревшей шинелью и увезли в тыл хоронить. Имущество же, находившееся в вещевом мешке на дне окопчика, отправили вместе с телом, с тем чтобы переправить на станцию Бобринская его матери, кроме восьмушки пайкового табака, оставленного орудийной прислуге на курево, и торбочки с пайковым рафинадом, который орудийцы присудили оставить мне как ближайшему по возрасту товарищу убитого. Все знали мою страсть к сладкому.

Вот и все.

Пишу это письмо в румынской хате с опрятно вымазанным глиняным полом, устланным шерстяной ковровой дорожкой, в селе, куда отправили нашу батарею на отдых и для замены разбитого орудия и зарядного ящика.

Погода внезапно резко переменилась. Дождь прошел. Небо расчистилось. Невероятно яркая осенняя луна, маленькая, почти синяя, стояла высоко в небе, и тень от хаты, от ее камышовой крыши, от плетеной клуни, где хранились кукурузные початки, сильно, угловато чернела, как нарисованная углем на голубой земле, а в воздухе уже слышался крепкий октябрьский холодок, так напоминающий о моей погибшей юности, когда я еще не был падшим ангелом.

Простите, не в силах больше писать. Со мною происходит что-то ужасное. Не презирайте меня. *А. П.*».

Теперь я вновь — в который раз! — переживал чувство презрения к себе и неискупимой вины перед молоденьким, милым, услужливым солдатиком Терезом, убитым вместо меня треугольным осколком, пробившим в его голове дырочку, из которой — вижу это как сейчас! — вытекала сначала алая, а потом почти черная струйка густой крови, впитываясь в сырую землю окопчика.

После того как тело убитого положили на солому в обозную повозку и увезли хоронить, кто-то из орудийной прислуги принес шанцевый инструмент, то есть хорошую крепкую армейскую лопату с ясеневым черенком, выкопал из земли окопчика сгусток запекшейся крови и вынес его на лопате как бы нечто вроде крупной темно-красной печени.

Теперь уже с трудом складывается картина того далекого прошлого. По-моему, я уже высказал мысль, что хорошая молодая память — фотография, а старая, разрушающаяся — живопись, даже, может быть, кубизм. Впечатления давно минувших лет вытесняют друг друга, создавая странную картину, обширное, даже необъятное живописное полотно, полное движения, в котором трудно разобраться.

Письма, которые некогда мне отдала Миньона незадолго до своей преждевременной смерти от скоротечной чахотки, были аккуратно сложены и даже перенумерованы ее рукой, но среди них одно письмо, последнее, оказалось в пачке раньше чем следовало. Когда оно попало мне в руки, я удивился его слишком поздней дате:

«6 ноября 916 г. Румынский фронт. Действующая армия. Миньона! Это письмо доставит Вам с оказией один наш батареец, едущий в тыл по командировке. Пожалуйста, отнеситесь к нему с полной серьезностью. Я обращаюсь к Вам с просьбой, имеющей для меня огромное значение. Если хотите, это вопрос жизни и смерти. Прошу Вас в самом срочном порядке походатайствовать перед своим отцом, чтобы меня направили в пехотное военное училище для зачисления там меня юнкером. Прием заканчивается 1 декабря, и нужно не опоздать. Не спрашивайте о причинах. Я понимаю, что таким образом я лишаюсь возможности стать артиллерийским офицером и сделаюсь пехотным прапорщиком. Но это мое твердое решение. Если Вы мне действительно друг, то Вы это сделаете для меня. Время не ждет! Ваш *Александр Пчелкин»*.

Миньона исполнила мою просьбу: я был отправлен в наш город и в декабре стал уже юнкером военного училища, будущим пехотным прапорщиком, навсегда распростившись с надеждой стать привилегированным артиллерийским офицером. Это, конечно, было для меня унизительно.

Что же тогда со мной произошло? В чем причина?

Причин было несколько, и трудно сказать, какая из них казалась мне тогда главной. Во-первых, конечно, ужас и отвращение, внушенные мне почти годичным пребыванием

в действующей армии. Любым способом, хоть на четыре месяца, попасть в тыл, лишь бы на время избежать смерти. Во-вторых, любовь к Ганзе, которая в последние дни измучила мою душу. Вместе с моим возмужанием почти детская любовь превратилась в страсть. Мне уже казалась жизнь немыслимой без нее. А ведь до сих пор я даже ни разу не взял ее за руку и никогда не произнес волшебных слов «я вас люблю». Я вел себя как робкий мальчишка, теперь же я смело посмотрю ей в глаза и, чего бы это мне ни стоило, добьюсь ее взаимности. Во всяком случае, я опять ее увижу. И в-третьих, в чем мне стыдно сознаться, у меня был низменный расчет избегнуть смерти: по всем признакам война скоро должна была кончиться позорным поражением русской армии. На румынском фронте мы терпели поражение за поражением. На западном фронте мы потеряли Варшаву. Наступление Брусилова захлебнулось. Не сегодня завтра сдадим Ригу. В тылу — хаос. Министерская чехарда. Голод. Начинается разруха. Забастовка на Путиловском заводе, снабжающем армию артиллерией. Пахнет революцией. Массовое дезертирство. Таким образом я рассчитывал, что в течение четырех месяцев моего юнкерства и месяца пребывания в запасном пехотном полку война кончится и я буду спасен.

Однако мои расчеты не оправдались. Несмотря на падение самодержавия, война еще не закончилась и пехотных прапорщиков продолжали посылать на убой. Что же касается Ганзи, то в наших отношениях ничего не изменилось, хоть она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как и в юности, странная, прозрачная стена моей молчаливой робости и ее милого равнодушия. Меня отправили все на тот же румынский фронт, где мое бедро пробил маленький треугольный осколочек, так похожий на тот, который некогда убил Тереза. Таким образом, я еще дешево отделался. Октябрьская революция застала меня в госпитале. Пришли немцы. Ганзя вышла замуж за того самого богатого футболиста инсайд-правого, который уже стал кавалерийским корнетом, потом, конечно, они бежали от революции за границу, так же как и отец Миньоны, бросив семью на произвол судьбы, уехал с белыми.

Помню еще короткий и грустный роман с Миньоной, ее горячие руки, кошачьи глаза в осажденном, лишенном света городе, при звуках ночной винтовочной стрельбы, и быстрое охлаждение Миньоны, когда она вдруг меня разлюбила, и я всю ночь просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху, и «ныло от тоски все существо мое, тоска была подобна черной глыбе, и если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы».

Ну и так далее, все как в тумане слабеющей памяти, а я продолжал видеть себя среди пространства Добруджи, где обстановка с каждым днем ухудшалась.

...Начали весело, с наступления, дошли почти до Базарджика, как уверяли фантазеры разведчики, потом остановились, а теперь отступали по всему фронту, едва не попав к Макензену в мешок.

Кое-где это уже было похоже на бегство.

Новая батарея, в которой я продолжал проходить все виды солдатской службы, все артиллерийские специальности, моталась с позиции на позицию, не имея возможности где-нибудь прочно закрепиться.

...Прекрасно утрамбованные белые шоссейные дороги и убранные поля, поросшие ежевикой. Холмы, покрытые душистой богородичной травкой и дикой лавандой, такой же синей, как полоска моря, иногда показывающегося на горизонте. Волнистые дали, волшебно приближенные окулярами козлино-рогатой стереотрубы почти вплотную к самым моим глазам, когда я вел с наблюдательного пункта стрельбу по разъездам неприятельского авангарда.

Вести стрельбу значило передавать с наблюдательного пункта по телефону на батарею прицельные данные по обнаруженному противнику.

Тогда я обладал прекрасным молодым зрением (не то что теперь!). Из меня постепенно вырабатывался недурной наблюдатель, умевший толково вести стрельбу не только по неподвижным, занумерованным целям, но и по движущимся. Я научился стрелять с опережением, что считалось высшей степенью искусства артиллерийского наблюдателя.

Я заметил в узком дефиле между двумя пологими холмами дорогу, по которой, вероятно, только что проехала какая-то военная кавалерийская часть неприятеля, так как

дорога еще продолжала пылиться. По всей вероятности, это был разъезд венгерских гусар. Я прикинул на глазок дальность, приказал телефонисту, сидевшему у моих ног в окопчике, передать на батарею данные высоты и угломера и попросить сделать пристрелку.

Первый же снаряд (граната) разорвался очень удачно, в том самом месте, где дорога поворачивала за холм. Я передал номер цели и стал ждать. Не могло же быть, чтобы неприятель больше не появился на дороге, минуя то место, которое уже было обозначено мною, передано на батарею и записано в книжке орудийного фейерверкера как цель номер один.

Через недолгое время дорога запылилась, и я увидел в трубу, как из дефиле выехали три кавалериста и остановились, видимо осматривая местность. В стереотрубу ясно просматривались приближенные к моим глазам голубоватые шинели, масти лошадей и даже блестящие стекла бинокля в руках одного всадника.

— По цели номер один прицел сто десять, трубка сто пять, шрапнелью, два патрона беглых! — крикнул я телефонисту, повторившему мою команду в трубку.

Батарея уже давно была готова к бою, так как почти в ту же минуту далеко позади раздалось несколько тюкающих выстрелов наших трехдюймовок и над моей головой прошуршали снаряды. Вероятно, неприятельский разъезд тоже услышал их приближение, так как я увидел в трубу, как они рванулись в стороны, но было уже поздно. Я увидел, как невысоко над ними в тусклом небе разорвалась посланная мною шрапнель, и лошади шарахнулись, подымая облака пыли, а один всадник свалился с седла и остался неподвижно лежать на земле, в то время как остальные скрылись из поля моего зрения за холмом.

В первый миг я пришел в восторг от столь удачного залпа.

Я готов был, не отрывая глаз от окуляров стереотрубы, захлопать в ладоши, но вдруг меня пронзила ужасная мысль, что небольшая и не очень ясно просматривающаяся сквозь дорожную пыль человеческая фигурка с раскинутыми руками, которая неподвижно лежала на земле, есть не что иное, как венгерский гусар, еще миг назад живой, а теперь уже убитый шрапнелью, вызванною мной, наводчиком Пчелкиным.

Я был его убийцей, так же как был косвенно убийцей Тереза и, может быть, еще нескольких живых людей —

немцев, австрийцев, мадьяр,— смерти которых я не видел и о которой не думал, так как считалось, что убийство на войне не есть убийство.

Однако совесть сказала мне в тот миг, что убийство есть убийство.

Это привело меня в смятение, которое, однако, скоро прошло, так как явилась хотя и лживая, но спасительная мысль: ведь и меня могли убить и сотни раз убивали, но только неудачно.

Однако тяжелый осадок остался в душе на всю жизнь.

Батарея продолжала кочевать в просторах Добруджи, под давлением Макензена неуклонно приближаясь к Дунаю, к тому месту, где река делает крутой поворот на юг, к Черному морю.

Однажды, оторвавшись от главных сил, туманным утром после бесцельного блуждания по незнакомым местам батарея наша оказалась на вершине холма в полной неизвестности, откуда можно ожидать неприятеля.

Командир батареи, старый подполковник, которому, если бы не война, давно уже следовало выйти в отставку, высокий, сутулый, с унылым длинным носом, опущенным книзу, кусая мокрые усы, прошелся взад-вперед перед своей наскоро разбитой палаткой, посматривая вокруг в бинокль, а затем приказал, чтобы на всякий случай два взвода установили свои орудия по компасу на северо-восток, а один взвод на юго-запад, из чего явствовало, что неприятель может появиться со всех сторон, то есть что наша батарея попала в мешок, в окружение.

Конные разведчики, высланные уяснить обстановку, вернулись ни с чем, если не считать двух ведер зеленой водки, которой они поживились на каком-то румынском ликеро-водочном заводе, разграбленном отступающей матушкой-пехотой.

По оценке батарейных знатоков, в каждом ведре было не менее четырех кварт. Это был полуфабрикат, из которого делали ликер.

Одно ведро поставили посередине нашей палатки, и к нам потянулись с котелками и самодельными кружками представители орудийных расчетов.

До той поры я еще никогда не пил водки. Порядочно охмелевший немолодой, почтенный разведчик, старший

фейерверкер и георгиевский кавалер двух степеней, сел на солому рядом со мной и, ласково заглядывая мне в лицо осоловевшими, как бы маринованными глазами, протянул полную кружку. Несмотря на все свое еще совсем детское отвращение к водке, я не посмел отказаться, желая показать себя молодцом перед старшим фейерверкером.

Я взял кружку, приблизил ее к губам и поморщился.

— Господин вольноопределяющийся, прошу вас по-товарищески, не отворачивайтесь. Выпейте вместе с нами. По-солдатски. А то, что она вонючая, румынская, то вы заешьте ее цибулей, и цибуля отобьет весь ее противный запах.

Старший фейерверкер вынул из кармана большую луковицу, разрезал ее пополам складным карманным ножом, отер о свои шаровары и половинку подал мне на своей грубой ладони с черными линиями жизни.

— Мерси,— сказал я, приложился губами к кружке и в несколько судорожных глотков, морщась от отвращения, выпил крепкую жидкость, имеющую вкус и запах полоскания под названием «Одол», которым в детстве меня заставляли полоскать горло, и заел половиной луковицы, распавшейся на моих зубах на несколько едких на вкус хрустящих колец, похожих на цыганские серьги. Жгучие слезы выступили у меня на глазах.

— Бувайте здоровы и не кашляйте,— сказал старший фейерверкер, показавшийся мне до ужаса похожим на покойного Стародубца.— И когда добьетесь до золотых погон, то не забывайте, как мы с вами выпивали румынскую ханжу и закусывали цибулей. Хотя навряд ли, потому что по всему видать — война кончится. Видите, что делается? Разве это фронт? Это бардак!

Я очень сильно опьянел и все дальнейшее воспринимал в страшном беспорядке, как бы сквозь поток струящейся воды: орудия, повернутые в разные стороны, и командира батареи, на которого полез на карачках в дымину пьяный, озверевший, неизвестно откуда взявшийся обозный ездовой Елкин без пояса, в расстегнутой гимнастерке, в грязных шароварах, ругавшийся по матери и кричавший:

— Куда же ты нас завел, так твою мать, а еще подполковник!

Два пьяных батарейца пытались его оттащить, а он, встав на ноги, лез с кулаками в лицо командиру

батареи и продолжал выкрикивать что-то насчет измены и восьмисот десятин земли в Таврической губернии, которой владел подполковник.

— Кровопийца! Помещик! Грабитель!.. Подожди, мы еще до вас до всех доберемся, всех вас пожжем! — И так далее.

Несмотря на то что был сильно пьян, я все-таки понимал, что сейчас должно произойти нечто ужасное: нижний чин нанес своему командиру, офицеру, подполковнику, и, что особенно ужасно, в боевой обстановке, на глазах у всей батареи, оскорбление и даже пытался схватить его за погон, но был оттащен товарищами. По всем законам не только военного, но и мирного времени оскорбленный офицер должен был зарубить шашкой или на месте расстрелять из револьвера нижнего чина — оскорбителя. В этом не могло быть сомнения.

Я отрезвел от ужаса и закрыл лицо руками.

Но выстрела не последовало. Старый подполковник верно оценил обстановку. Если бы он выстрелил в своего оскорбителя, то неизвестно, чем бы это кончилось. Вокруг бушевала вольница вышедших из повиновения пьяных солдат. Они были способны растерзать своего командира и перебить офицеров, попрятавшихся в свои палатки.

Старый опытный офицер предпочел сделать вид, будто ничего не произошло. Он с равнодушной улыбкой на побледневшем лице прошел вдоль орудий, осмотрел в бинокль горизонт и скрылся в своей командирской палатке, в то время как перепившиеся батарейцы продолжали шуметь, спивать украинские песни, а кое-кто выражал вольные мысли насчет мерзавца военного министра генерала Сухомлинова, полковника Мясоедова, царицы-немки, продающей вместе с Гришкой Распутиным Россию немецкому кайзеру Вильгельму, а главное, насчет необходимости в самое ближайшее время забрать помещичью землю и честно, по совести поделить ее между крестьянами и замириться с германом, пока еще не перебили друг друга, потому что немецкие солдаты — такие же простые солдаты, крестьяне, как и мы сами.

Правда, эти опасные мысли даже и во хмелю выражались не столь громогласно, а в виде зловещей воркотни и были внушены двумя батарейцами, которые недавно отвозили в Питер на Путиловский завод для ремонта и замены на новые орудийные стволы, отслужившие свой срок.

Из Питера все время были зловещие слухи о назревающей революции.

Один вольноопределяющийся, вернувшись из петроградского госпиталя, где он залечивал осколочное ранение, привез стишок, ходивший по городу, что

«в терновом венце революции грядет шестнадцатый год...» — это воспринималось как пророчество.

Пьяный бунт погас сам собой и не имел последствий, потому что батарея в это время стояла отдельно, неизвестно где, и не имела никакой связи с другими воинскими частями распадающегося фронта. Впрочем, неимоверными усилиями командования отступление приняло более организованный характер. Фронт соединился, и скоро, отдав неприятелю часть Добруджи, наши войска закрепились между городами Меджидие и Констанцей, заняв оборонительную линию по хребту так называемого Траянова вала, где пехота и окопалась.

Траянов вал. Ганзя Траян. Ее имя преследовало меня всюду.

Наши батареи расположились за Траяновым валом, недалеко от передовых пехотных линий.

Макензен двигал свои войска с юго-запада, уже занял Констанцу и теперь всеми своими силами устремился на Траянов вал.

С артиллерийского наблюдательного пункта рядом с пехотными окопами я видел даже простым глазом город Констанцу, синие лиманы, белые домики с черепичными крышами, а за ними полосу Черного моря.

В этих краях когда-то бродил опальный поэт Овидий Назон, и я выучил в гимназии по-латыни несколько стихов из Овидиевых «Метаморфоз», даже перевел их на русский язык:

«Век золотой на земле воцарился сначала. Не было в нем ни судей, ни законов суровых. Смертные люди без них соблюдали во всем благородство, были верны и честны, не боясь наказаний суровых».

О золотом веке пел поэт-изгнанник, наступая старыми, разношенными сандалиями на сизую полынь, растущую по склонам Траянова вала. Но почему в моем воображении рядом с ним шла девочка-подросток, маленькая гордая римлянка-изгнанница? Может быть, она была его дочерью? Но тогда почему же она носила имя Траяна? Она была Ганзя Траян, о которой я не забывал ни на минуту и которая всегда скромно светилась в зените на недостижимой высоте, как еле заметная Полярная звезда — вечная и единственная.

Судьба привела меня наконец к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой.

Умереть было просто. Смерть стояла рядом: я исполнял должность второго телефониста при офицере-наблюдателе. Первый телефонист сидел на дне окопчика рядом с телефонным аппаратом и держал связь с батареей. Моя же обязанность заключалась в ответственности за целость телефонного шнура, проложенного прямо по земле от наблюдательного пункта до батареи, всего около версты.

Войска противника могли появиться с минуты на минуту.

Я видел складки пустынной степной местности, поросшей сухими душистыми травами. Можно было подумать, что степь безлюдна. Но полковые разведчики и боевые охранения донесли, что немецкий корпус, развернутый по всему фронту, приближается к Траянову валу. Вдоль нашей отходящей пехотной цепи на горизонте стали медленно вырастать из земли как бы черные ветвистые деревья.

В первую минуту могло показаться, что это мираж. Но когда оттуда долетели звуки рвущихся тяжелых снарядов, то стало ясно, что это немецкая артиллерия бьет по нашей отступающей пехоте, скатывающейся с пологих холмов в длинные складки пересеченной местности. Потом показались неприятельские цепи. Наша батарея открыла

огонь, но дистанция оказалась слишком велика и снаряды не долетали.

Тем временем немецкие тяжелые батареи замолчали. Было ясно, что они меняют позиции поближе к нам. Они пользовались складками местности, чтобы передвижение их было скрыто. Однако иногда немецкие серые гаубицы, зарядные ящики с их упряжками ненадолго появлялись и затем исчезали, поспешно скатываясь в балки.

Скоро отступающие цепи нашей пехоты докатились до Траянова вала и быстро окопались на его гребне.

Наступило томительное безмолвие, не обещавшее ничего хорошего.

Потом немецкая артиллерия, как видно уже ставшая на новые позиции, снова открыла огонь по всему фронту, а немецкая пехота полезла на Траянов вал, на наши окопы.

Собственно, окопов не было, а были всего лишь маленькие ямки, наскоро отрытые стрелками — каждым для себя.

И начался бой, продолжавшийся, как мне показалось, несколько дней и ночей. Я находился в полубредовом состоянии, уверенный в своей неизбежной гибели. Эта уверенность не только меня не пугала, а напротив — я ее жаждал как избавления, как уничтожения вместе с собой всего того, что терзало мою душу: треугольная дырочка во лбу мертвого Тереза, умирающий Стародубец, вереница телег с почерневшими трупами отравленных газами солдат под Сморгонью, сгусток крови, смешанной с глиной, на лопате, серая фигурка венгерского гусара с раскинутыми руками посреди пыльной дороги, мучительно приближенная к моим глазам, прильнувшим к окулярам стереотрубы, глупые, назойливые письма Миньоне, неразделенная любовь к Ганзе, вся ничтожность и пошлость моей никому не нужной жизни, опустошенность души, в которую вселился демон всемирного разрушения...

День и ночь слились в одно ожидание смерти.

Десятки раз приходилось мне по долгу службы вылезать из окопчика и ползти вдоль телефонного шнура, для того чтобы найти место, где он перебит осколком или шальной пулей, и соединить оборванные концы.

Пули и осколки срезали вокруг меня головки диких степных растений. Меня закидывало кучами сырой земли, выброшенной снарядами, иногда разрывавшимися рядом.

Крупный град шрапнели поднимал вокруг фонтанчики пыли. Но я был точно заколдован. Душа моя жаждала смерти, но тело, повинуясь инстинкту самосохранения, при каждом свисте снаряда изо всех сил прижималось к земле, к ее душистым травам.

В одной руке я держал складной ножик, в другой кружок траурно-черной изоляционной ленты. Я полз по-пластунски, обдирая локти. Обнаружив повреждение, я соединял концы перебитого провода, зачищал их ножиком, связывал друг с другом и обматывал липкой изоляционной лентой. Я весь с ног до головы был испачкан землей, лицо мое было поцарапано колючими растениями, тело ежеминутно содрогалось от животного ужаса, с которым я не мог справиться. Но воинский долг требовал от меня жизни и подвига: я отвечал за надежность телефонной связи между наблюдательным пунктом и батареей.

Я совершал свой так называемый подвиг механически, даже не понимая, что это называется подвигом. Соединив перебитый провод, я, как автомат, полз по-пластунски назад, автоматически сваливался в окопчик, автоматически докладывал офицеру-наблюдателю, что связь восстановлена, автоматически ел борщ с кашей, принесенные связным с батареи, и, неясно понимая, в какое время суток все это происходит, опять выползал наружу, чтобы связать снова перебитый провод.

Когда я в последний раз полз вдоль провода, ища повреждение, то вдруг увидел до глубины души поразившую меня картину бегства пехоты: по обратному склону Траянова вала, бросив свои окопчики, один за другим сползают солдаты. В лощине — раненые, убитые, покалеченные лошади, санитары, носилки. Пехотный прапорщик с искаженным лицом, размахивая револьвером, пытается остановить бегущую пехоту, но солдаты, как бы не замечая его и не слыша страшных его ругательств, бежали в лощину, спасаясь от неприятельского огня, а прапорщик, оглушенный свистом и разрывами снарядов, кричал надорванным, осипшим голосом:

— Подлецы! Сволочи! Что вы делаете? Назад! Или я перестреляю вас, как собак!

Наган-самовзвод дрожал в его руке, но прапорщик не решался стрелять в бегущих, это было бы слишком страшно, да и небезопасно: бегущие держали в руках

винтовки и уже были случаи, когда в бою неугодный офицер получал в голову пулю, пущенную своими же солдатами как бы случайно.

Я соединил концы перебитого провода и бросился назад в свой окопчик, где офицер-наблюдатель торопливо складывал штатив стереотрубы. Только что по телефону пришел приказ сматывать провод и возвращаться на батарею, которая уже снималась с позиции.

Лошадь офицера-наблюдателя стояла в лощине. Он вскочил на нее, держа поперек седла штатив со стереотрубой, успел крикнуть:

— Телефонист, на батарею!

И в ту же минуту с размозженной головой свалился с лошади в дикую лаванду.

Я и мой напарник, нагруженные катушками смотанного провода и телефонным аппаратом в кожаном чехле, побежали на батарею. Все пространство вокруг было усеяно бегущими и падающими солдатами.

Задыхаясь, мы вырвались из этого хаоса и увидели свою батарею с орудиями, уже надетыми на передки. Мы прибавили ходу, но так и не успели добежать до батареи. Шестерка испуганных лошадей уже увозила последнее орудие, до которого, казалось, рукой подать. За орудием, подпрыгивая на неровностях почвы, мотались зарядные ящики, со всех сторон облепленные спасающимися батарейцами. Я из последних сил старался догнать уходящую на рысях батарею, крича, чтобы нас не бросали. Но ездовые не слышали наших криков, и батарея скрылась в сумерках осеннего вечера.

Мы продолжали бежать за скрывшейся батареей. Вокруг было удивительно безлюдно. Помню, что мимо нас в темноте проехал кавалерийский разъезд. Он, конечно, мог бы нас подобрать, но у него не было свободных лошадей. Хоть бы одна свободная лошадь на двоих! Но увы! Один из кавалеристов приостановился и успел нам крикнуть:

— Идите в деревню Байрам Десусс!

И разъезд как бы растворился во тьме, только у кого-то из кавалеристов мигнул электрический фонарик.

Мы остались вдвоем, одни, нагруженные двумя тяже-

лыми катушками, с телефонным проводом и телефонным эриксоновским аппаратом, тоже не легким.

Была ночь. Пустыня. Угрожающее безлюдье между двумя армиями отступающей и наступающей. В этом странном пространстве, где даже не слышалось привычной степной музыки, как бы хрустального хора сверчков, а была только немая музыка звездного неба, шли с юго-запада на северо-восток, ориентируясь по Большой Медведице и Полярной звезде, мы, два отставших солдата разбитой армии.

В памяти моей сохранились лишь кое-какие подробности, хотя общая картина тоже сохранилась и даже имеет название: «Одиннадцать дней между нашими арьергардами и немецкими авангардами».

Многое кажется мне теперь необъяснимым, хотя в действительности существовало вполне реально. Каким образом все-таки мы с Кацем оказались в безлюдной степи всеми брошенные и куда девались наши войска? То, что мы не успели добежать до батареи, понятно: сначала по долгу службы мы должны были намотать на катушки несколько верст телефонного шнура и потом тащить их на себе, перекинув брезентовые лямки железных катушек через плечо, да вдобавок тащить телефонный аппарат, а бросить всю эту тяжесть к чертовой матери не позволяла совесть, а главным образом — воинский долг, предписывающий беречь казенное имущество как зеницу ока и отвечать за его потерю по законам военного времени. Пока мы с этим возились, батарея снялась с позиции, и мы ее уже не догнали, не добежав каких-нибудь двадцати шагов.

Но куда же девалась отступающая пехота со всеми своими ранеными, санитарными повозками, патронными двуколками, обозами и уцелевшими офицерскими лошадьми?

До сих пор не могу понять, куда они девались, бесследно, бесшумно растворившись в ночной темноте? Вернее всего, пехота отступила или, вернее, бежала врассыпную по какому-то другому направлению, оставив своих убитых и раненых среди диких степных трав и растений: римских свечей, медуницы, шалфея, лаванды, богородичной травки, серебристой при звездном свете полыни.

А немцы закрепились на новых позициях, приводили себя в порядок, с тем чтобы на другой день продолжать и развивать свое наступление.

Возможно, даже наверное так это именно и было.

Таким образом, мы, нагруженные казенным имуществом, были в безлюдном, но опасном пространстве приостановившихся военных действий.

Что же наиболее ясно сохранилось в моей памяти? Во-первых, конечно, мой напарник телефонист по фамилии Кац, которого раньше я знал мало, так как меня все время переводили из батареи в батарею, чтобы я, будущий офицер, не успевал особенно сближаться с нижними чинами.

Кац оказался косым на один глаз, не слишком молодым полуинтеллигентом из Витебска, до глубины души уязвленным тем, что он не имел права проходить военную службу вольноопределяющимся, а был простым нижним чином, к которому все кому не лень, не говоря уж о начальстве, обращались на «ты», как говорится, тыкали. Будучи от природы обидчивым и гордым, он именно из гордости не показывал виду, что оскорблен своим положением в батарее. Его забрали в армию в первые же дни войны, так что он пережил знаменитое отступление из Восточной Пруссии, Прёйсиш-Эйлау, Августовский лес, но ничего не выслужил, кроме одной бомбардирской лычки, в то время как я, служивший по сравнению с ним, старым солдатом, как говорится, без году неделю, уже имел две нашивки и скоро буду произведен по протекции в офицеры.

Внутренне он все время кипел, но старался не подавать виду.

По отношению ко мне он принял тон старшего боевого товарища, хотя по званию был младше меня на одну лычку.

Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе обращаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня «коллега». Обычно коллегами называли себя вольноопределяющиеся и молодые офицеры из студентов. Это штатское обращение между собой как бы выделяло их из среды кадровых военных в особую касту фронтовой интеллигенции.

Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его коллегой. Коллега Кац. Хотя какой он был мне коллега, этот болезненно самолюбивый мнительный художник, окончивший какую-то школу живописи. Он успел уже показать мне альбом своих карандашных рисунков, щегольски растушеванных, как и полагалось провинциальному графику.

Впрочем, некоторые рисунки мне даже нравились, особенно виды захолустных улочек витебских окраин, покосившиеся бревенчатые домики с тесовыми крышами, где ютилась еврейская беднота, дощатые заборы, косые столбы керосиновых фонарей, широкие немощеные улицы с лужами, в которых лежат тощие местечковые свиньи. Во всем этом чувствовалось нечто отчасти гоголевское.

В остальном Кац был, что называется, справный солдат, если не считать манеры ходить в расстегнутой шинели с хлястиком, висящим на одной пуговице, и как-то неодобрительно смотреть вбок своим косым глазом с небольшим бельмом, которое не спасло его от набора в армию.

Мы догоняли отступающую, а если говорить правду, бегущую нашу армию: днем где-нибудь прятались, опасаясь попасть в плен, а ночью шли по дороге в сторону Дуная, ориентируясь по звездам.

Сколько помнится, мы все время ссорились и мирились, как два каторжника, прикованные друг к другу.

Куда же нам было деваться друг от друга? Нас связывал страх попасть в руки разъездов. Солдатский телеграф давно уже передавал, что русским пленным отрезают носы и уши. Хотя это и казалось глупой выдумкой, как и отравленные колодцы, но все-таки... Кто его знает! А вдруг правда?

...Мы ссорились по пустякам, главным образом из-за того, кто должен тащить на себе бóльшую часть казенного имущества, состоящего из двух катушек и одного телефонного аппарата. Тащить на себе эту тяжесть было мучительно. Стараясь хоть как-нибудь уравнять между собой проклятый груз, мы пытались разделить три неделимые тяжести на двоих. Ничего не получалось. То один из нас тащил на себе две катушки, в то время как другой тащил телефонный аппарат, лямки которого натирали плечо, то

один тащил одну катушку плюс телефонный аппарат, в то время как другой тащил на горбу другую катушку.

Мы изнемогали от усталости и начинали ненавидеть друг друга. Кроме того, нас мучил голод. Неприкосновенный запас мы съели в первые же сутки и теперь питались чем бог послал: початками кукурузы, валявшимися на дороге, сырой капустой с заброшенных огородов, а иногда, если повезло, тыквами, дозревающими на камышовых крышах пустых, разграбленных деревенских хат.

Тыквы были очень красивы: громадные, голубые, оранжевые, багровые, рубчатые.

Мы нарезали их ломтями и пекли в золе наскоро разложенного костра из кукурузных стеблей, благо у Каца оказался коробок спичек.

Мы шли и шли по плоской земле Добруджи, опустошенной войной.

После первых осенних дождей погода установилась сухая, ясная, теплая, а днем даже жаркая. Настоящая золотая осень. Ночью с черным небом, полным мириад звезд.

В те часы, когда мы переставали ссориться, мы поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, чего бы, конечно, не сделали при других обстоятельствах. Но теперь мы были как бы двумя матросами, потерпевшими кораблекрушение и выброшенными на необитаемый остров.

Я донимал его рассказами о муках неразделенной любви, а он терзал меня рассказами про какого-то витебского художника, его друга, который выставил свои полотна в Париже и прославился на всю Европу, а он, Кац, как дурак остался и теперь должен подставлять себя под немецкие пули и снаряды, и терпеть грубости от невежды фельдфебеля, и бить вшей, и не иметь возможности заниматься станковой живописью и так далее, что было мне совершенно неинтересно, потому что тогда я еще не знал, что такое станковая живопись и кто такой этот витебский художник-счастливчик, прославившийся в Париже на всю Европу. Наверное, такой же мазилка, как и Кац с его кривыми дощатыми витебскими домиками, бородатыми козами, плохо нарисованными безголовыми петухами и летающими рыбами: Кац показывал мне свою заветную тетрадь, кото-

рую таскал с собой в вещевом мешке, никогда с ним не расставаясь, даже в бою...

...Небритый подбородок, впалые щеки, поросшие волосами цвета медной проволоки, косящий глаз с бельмом, иронически искривленные губы... Все это производило на меня неприятное, чтобы не сказать отталкивающее, впечатление, но приходилось мириться.

Однажды меня поразила такая картина: на середине дороги стоял обыкновенный венский стул, ужасающе одинокий и совершенно непонятный среди безлюдной равнины, по которой мы наугад пробирались к Дунаю.

Зрелище одинокого стула сначала потрясло. Но когда через две или три версты я увидел так же одиноко стоящую среди пустынной дороги обыкновенную ножную швейную машинку «Зингер», то я понял, что и стул и машинка — это следы бегства местного населения. Об этом же свидетельствовали следы множества колес и лошадиных подков. По этим следам мы и двинулись дальше, обходя брошенные деревни из опасения наткнуться на неприятельский разъезд.

Однажды голод заставил нас завернуть в одну из таких деревень, где, судя по некоторым признакам, недавно останавливалась какая-то отступающая часть.

Мы обнаружили свежие следы костра, сломанную деревянную ложку, портянки, повешенные на плетень и забытые в спешке, а главное, несколько огрызков ржаного хлеба. Мы по-братски поделили между собой засохшие корки и уже собирались их съесть, как вдруг услышали хрюканье, доносившееся из сарайчика, возле которого мы присели.

Свинья!

Живая свинья, ее, видимо, не успели увезти с собой хозяева.

Мы приоткрыли маленькую дверцу сарайчика и увидели в лучах утреннего солнца на соломе громадную тушу чисто вымытой, хорошо ухоженной, жирной и почти розовой свиньи в несколько пудов весом. У нас слюнки потекли! Сколько отличного свиного сала!

Но как поступить со свиньей?

Мы переглянулись.

— Ну?— спросил я.

— Не знаю,— ответил Кац.

— Она слишком большая. Я даже не знаю, как это делается.

— А если ножом?

Мы сели верхом на свинью, навалились на ее тушу и стали делать неумелые попытки зарезать ее своими складными ножиками, предназначенными для зачистки перебитого провода.

...Мы не знали, как убивают свиней. Мы не имели понятия об анатомии этого животного: куда надо колоть, где у свиньи сердце? Слой сала оказался таким толстым, а шкура такой непробиваемой, что складными ножиками ничего нельзя было сделать. Ножики только царапали кожу, покрытую жесткой щетиной, не причиняя животному ни малейшей боли, может быть, всего лишь слегка щекотали.

Свинья сварливо хрюкала, пытаясь сбросить с себя навалившихся солдат.

Измучившись и не добившись никакого результата, мы с Кацем выбрались на свежий воздух из вонючего закутка, на жаркое полуденное солнце, в лучах которого все вокруг блестело желтым соломенным и кукурузным блеском, ослеплявшим глаза.

— Что будем делать?

— Надо ее просто застрелить.

Наган был только у меня. Я вынул его из кабуры и дал Кацу как более опытному солдату. Кац открыл дверцу свиного закутка, прицелился кривым глазом и выстрелил в белеющую во мраке тушу. Свинья дернулась и взвизгнула, но была живехонька. Видимо, пуля либо застряла в сале, либо скользнула по толстой коже, оставив лишь рубец.

Свинья захрюкала и сделала попытку выбраться из своего закутка и убежать.

— Держи ее! — крикнул я.

— Сами держите! — огрызнулся Кац, отдавая мне наган.— Эту жирную сволочь даже пуля не берет.

— Что же будем делать?

— Не знаю.

— А я знаю! — закричал я, чувствуя, что в меня опять вселился дух разрушения и убийства.— Надо ей выстрелить в ухо!

Пока Кац сидел верхом на свинье, стараясь, чтобы она не дрыгалась, я как бы в состоянии лунатизма отвернул тяжелое волосатое свиное ухо на розовой подкладке и обнаружил ушное отверстие, темную дырочку, ведущую в тайные глубины и закоулки еще живого организма свиньи, вдруг внимательно посмотревшей на меня снизу вверх маленьким глазком с бесцветно-белыми ресничками альбиноса.

Я взвел курок, сунул ствол нагана в таинственное отверстие свиного уха, отвернулся и нажал гашетку, с ног до головы вздрогнув от выстрела.

Из живой свинья вдруг превратилась в мертвую, и это превращение так поразило нас, меня и Каца, что мы вышли из свиного закутка на яркое солнце, с трудом привыкая к мысли, что совершилось убийство.

Теперь следовало вырезать из свиньи кусок мяса или сала. Мы стали кромсать свиную тушу своими складными ножиками, но до мяса так и не добрались. Даже шкуру с трудом пропороли. Вырезали толстый брусок сала, а до мяса оказалось еще очень далеко. Мы сварили сало в ведре с водой, поставленном на костер из кукурузных стеблей. Хотя нам ужасно хотелось поскорее съесть сало, но все же мы подождали, пока оно как следует сварится в мутном кипятке, и только после этого вынули горячий шматок из ведра.

Вареное сало сделалось почти прозрачным, чуть розоватым и даже на вид таким желанным, что мы набросились на него с жадностью. Сало оказалось необыкновенно, сказочно нежным и вкусным, но у нас не имелось соли, а без соли оно было слишком пресным. Противно пресным.

Мы обшарили хату и не нашли соли. Мы бы, как говорится, отдали полцарства за щепотку соли. Увы! Пришлось есть теплое пресное сало, заедая его сухими корками ржаного хлеба.

...еще через день или два воздух немного посвежел, потянуло пресной речной сыростью, и среди волнистой равнины мы увидели степной колодец, похожий на мельничный жернов, положенный в степную траву к ногам старого, высохшего от зноя пастуха с черным лицом и высоким библейским посохом в руке. Пастух вместе со своим

небольшим стадом овец на фоне выжженной степи напоминал библейскую гравюру Густава Дорэ. Не хватало лишь Ревекки, едущей на верблюде.

На этом наше совместное одиннадцатидневное блуждание завершилось, так как мы увидели вдалеке хвост отступающей и уже переходящей через Дунай армии и повозки беженцев, напоминающие цыганский табор.

Тут мы с облегчением расстались друг с другом, так как меня вместе с двумя катушками телефонного шнура посадил рядом с собой на козлы походной кухни знакомый еще по первой батарее повар, а Кац с телефонным аппаратом через плечо пристал к группе телефонистов.

Переехав Дунай по зыбкому понтонному мосту, заливаемому серой осенней водой, я очутился на другом берегу, в румынском городе Бриалове, где, как я узнал, недавно разместился штаб нашей бригады. И вот уже я, худой и грязный, входил в кабинет особняка, занятого генерал-майором Заря-Заряницким, с еще никогда не виденным мною шикарным — в стиле модерн — письменным столом, покрытым стеклянной доской, отражавшей не военный, а городской телефонный аппарат и бронзовый письменный прибор из числа тех, какие, вероятно, бывают на столах министров или преуспевающих адвокатов.

Так как генерал был маленького роста, то его круглая, коротко остриженная серебряная головка совсем ненамного возвышалась над зеркальным пространством письменного стола.

Еле держась на ногах от усталости, недоедания и душевного потрясения пережитым, все то, что я видел теперь вокруг себя, представлялось мне как бы во сне, особенно лицо генерала, похожее на лицо Миньоны, только более грубое, а за генеральскими погонами — венецианское окно, обрамляющее уже когда-то виденный мною пейзаж: серебристые ветлы, разросшиеся по берегу Дуная, струи которого лишь кое-где просвечивали сквозь их серебристо-зеленые купы, похожие на цветную капусту и делающие всю эту призрачную картину как бы вытканной на старом французском гобелене.

Знакомый бригадный адъютант подхватил меня под локти и отвел по лестничке куда-но наверх, может быть даже на чердак, где имелась дежурная комната с раскладной офицерской койкой-многоножкой, куда я и свалился, пораженный сном внезапным, как смерть.

Кажется, мне все-таки что-то снилось, чего я потом никак не мог вспомнить, хотя и знал, что это было сновидение о притаившемся на чердаке убийце, и вместе с тем что-то грустно-любовное, связанное с незримым присутствием Ганзи, еще более недостижимой, чем всегда, и все же обнадеживающе улыбающейся улыбкой Миньоны.

Меня разбудил денщик, принесший в судках офицерский обед: суп с перловой крупой, две плоские котлеты с макаронами и на сладкое сваренный на крахмале клюквенный кисель, такой густой, что его порция представляла из себя лиловатый кубик, положенный на тарелку.

Я съел все это в одну минуту без остатка, после чего денщик дал мне умыться и сказал, что его превосходительство ждет меня у себя в кабинете.

— Там, у их превосходительства, целый военно-полевой суд, чи шо! — добавил денщик, сочувственно посмотрев на меня.

«Неужели меня будут судить за утрату казенного имущества в боевой обстановке и бегство с фронта?— холодея, подумал я.— Но ведь я оставил надоевшие мне проклятые телефонные катушки на козлах походной кухни, а кучер обещал доставить их в батарею. Не пропали же они. Найдутся. А вдруг не найдутся?»

Я вошел в кабинет командира бригады и стал по стойке «смирно», чувствуя себя обреченным...

«Румынский фронт. Действующая армия, 916 год, 30 октября. Дорогая Миньона! Пишу Вам это письмо в человеческих условиях, в канцелярии дивизиона, куда я наконец после многих приключений во время отступления нашей армии добрался из города Браилова, где я виделся с Вашим папой в реквизированном шикарном особняке. Ваш папа принял меня весьма любезно, накормил офицерским обедом и вообще обошелся со мной, я бы даже позволил себе выразиться, по-родственному — не примите это за попытку с моей стороны втереться в Вашу семью.

Вы себе не можете представить, чтó я пережил за последнее время. Если нам еще суждено когда-нибудь свидеться, то я все расскажу Вам. А сейчас написать обо всем нет ни сил, ни времени.

Вы, наверное, уже читали в газетах о нашем отступлении из Южной Добруджи. Мы оставили Констанцу и закрепились на Траяновом валу, где продержались всего каких-то двое-трое суток.

Недавно в Браилове в кабинете Вашего папы целый ареопаг бригадного и даже корпусного начальства допрашивал меня как единственного, последнего свидетеля обо всех подробностях позорного бегства нашей пехоты с позиций Траянова вала.

Я доложил всю правду, и меня с миром отпустили, поблагодарив за службу. А я-то думал, что меня будут судить.

Теперь мне надо добраться до своей батареи, которая, оказывается, за Дунаем не отошла, а стоит на позиции где-то возле развалин древнего античного города Истрии.

На прощание Ваш папа дал мне взаймы синенькую бумажку, с тем чтобы я сходил в баню, побрился, постригся и вообще привел себя в христианский вид, благо Браилов хоть и румынский город, но вполне европейский.

Когда я уже откланялся, Ваш папа вернул меня и строго сказал:

— Но имейте в виду, что я дал вам эту пятерку взаймы, и вы не забудьте ее вернуть. Денежки счет любят.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— сказал я и отправился, но, конечно, не в баню, а прямо в кондитерскую, расписанную внутри по стенам масляными красками разными пейзажами, жанрами, натюрмортами и мифологическими существами, как-то: русалками, наядами, нимфами и прочими полуобнаженными фигурами, некоторые даже чешуйчатые и с хвостами. Тут я так наелся пирожных и надулся шоколада, выпив его четыре чашки, что, пошатываясь, выбрался из города и перешел по плашкоутному мосту обратно в Добруджу.

Но Вы не верьте моему шутовскому тону. Мне не только что не весело, мне — ужасно! В душе у меня мрак. Пожалейте меня, если можете. Я чувствую себя убийцей, которому нет прощения. Ваш *А. П.*».

...По дороге в свою батарею я спал в чистенькой румынской хате, занятой под бригадную канцелярию. Я спал прямо на хорошо вымазанном глиняном полу, укрывшись шинелью и подсунув под голову рукава этой же самой ши-

нели, спал так крепко, что не слышал, как утром пришли писаря и начали свои занятия. Меня даже не разбудил стук «ундервуда», на котором печатался приказ по бригаде о том, что телефонному младшему фейерверкеру Пчелкину и бомбардиру Кацу объявляется брагодарность командования за мужество, проявленное в бою при обороне Траянова вала.

Кроме этой благодарности, отдельно, на другом «ундервуде», печаталось посылаемое в штаб корпуса представление младшего фейерверкера, вольноопределяющегося первого разряда Пчелкина Александра Сергеевича к награждению знаком военного ордена четвертой степени и бомбардира Каца Исаака Яковлевича медалью четвертой степени того же военного ордена, а это значило, что меня представляют к солдатскому Георгию четвертой степени, а Каца к Георгиевской медали.

Кто-то открыл входную дверь, и прямоугольник жгучего солнечного света южной осени упал на мое лицо, и я проснулся, еще не вполне понимая, где я нахожусь. Близко от своей головы я увидел дубовые ножки канцелярского стола, под которым, оказывается, я спал. Я увидел хорошо начищенные сапоги писаря, услышал стук «ундервудов» и только тогда сообразил, что нахожусь в бригадной полевой канцелярии.

— А вин соби спит и не чуе, шо ему дают Георгиевский крест,— произнес надо мной голос одного из писарей.

Затем тот же голос стал диктовать так называемое описание подвига, входившее составной частью в форму представления к Георгиевскому кресту.

«...за то, что,— выстукивал «ундервуд»,— в течение двух суток, находясь в расположении пехотных окопов, осуществлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, причем неоднократно под ураганным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника выходил из окопа на открытое место и соединял перебитый телефонный провод, чем обеспечивал бесперебойную связь с батареей, ведущей огонь по наступающим цепям противника» — и т. д.

Сначала я даже не понял, что все это имеет какое-то отношение ко мне, но вдруг сознание мое прояснилось: да, это именно я под ураганным огнем, с землей, попавшей

за шиворот и набившейся в рот, соединял концы перебитого провода. Да, только благодаря мне батарея могла без перерыва вести огонь, да, это я сохранил казенное имущество, не только не думая о Георгиевском кресте и о славе, а, напротив, всей своей измученной душой желая избавления от ужасов того, в чем я волей или неволей участвовал...

Теперь же в один миг все это было забыто и одно только волшебное чувство воинской славы владело мною.

Я поднялся с пола, вылез из-под стола, подобрал шинель и почувствовал себя совсем другим человеком — героем и молодцом, которого теперь очень скоро произведут в прапорщики, выдадут подъемные и обмундировочные деньги, рублей, пожалуй, полтораста, и я сразу стану стройным, щеголеватым артиллерийским офицером с солдатским Георгиевским крестиком на груди, причем я не буду носить защитного цвета полевую фуражку, а непременно надену артиллерийскую фуражку мирного времени с черным бархатным околышем.

Разыскивая свою батарею, я шел по исковерканным войной дорогам Южной Добруджи и мурлыкал про себя известную артиллерийскую песенку с такими куплетами:

«Артиллеристом я рожден, в семье бригадной я родился, огнем шрапнельным окрещен и черным бархатом повился...»

И еще:

«Не по-гражданскому — в карете, не по-пехотному — пешком, к венцу поеду на лафете с моей любимою вдвоем».

Чем ближе я подходил к батарее, тем явственнее слышались звуки ни на минуту не затухающего боя. Среди гула артиллерийской канонады я улавливал какие-то новые, грозные ноты.

Вероятно, как я теперь понимаю, это были звуки тех самых новейших немецких снарядов, окрещенных крякалками, о прибытии которых на фронт уже давно извещал солдатский телеграф.

Крякалки являлись тяжелыми снарядами двойного действия — как шрапнель и как граната. Сначала в воздухе разрывалась шрапнель, а потом на земле разрывалась граната, поражая осколками тех, кого не задели шрапнельные пули. Снаряды эти были начинены какой-то совершенно новой взрывчаткой страшной убойной силы.

Наша батарея вела отчаянный огонь. На нее наступала немецкая пехота, и уже ее цепи приблизились настолько, что батарея отбивалась прямой наводкой на картечь.

Я сразу попал в этот ад.

До сих пор мне еще никогда не приходилось быть на батарее, атакованной с фронта неприятельской пехотой, приблизившейся на расстояние картечного выстрела.

Положение было отчаянное.

Груды стреляных гильз валялись под ногами. Наводчики уже не пользовались оптическими приборами, а, открыв затвор, целились по неприятельским цепям прямо на глаз, заглядывая в орудийный ствол как в подзорную трубу, и стреляли по видимой цели, не снимая с головок снарядов оловянных колпачков, так как головки уже заранее были поставлены на букву «К», то есть на картечь.

Немецкие пули как бы ударами хлыстов рассекали воздух, пролетая между нашими орудиями, со звоном ударяя в стальные щиты и отскакивая рикошетом вдоль батарейной линейки. Несколько убитых батарейцев лежали в самых немыслимых позах возле лафетов и зарядных ящиков. Один повис на орудийном колесе.

Поручик Вишневский, которого я до сих пор знал как тихого, скромного, чрезвычайно вежливого офицера, славившегося на всю бригаду своим детским личиком и маленьким росточком, без фуражки, с головой, кое-как перевязанной окровавленным бинтом, размахивая обнаженной шашкой с анненским темляком клюквенного цвета, весь покрытый кровью и пылью, в разорванной шинели, как одержимый бегал вдоль орудий, крича:

— Три патрона беглых! Картечью!

Заметив, что во втором орудии ранен наводчик, я, никому не докладываясь и ни у кого не спрашивая — да и кого там было спрашивать, кому докладывать, к кому являться?— заступил за наводчика, распахнул черно-воро-

неный затвор с алюминиевой рукояткой на пружине, заглянул в ствол, увидел в маленьком ярком кружке часть шоссейной дороги и бегущих немецких солдат с винтовками наперевес.

Вспоминая этот день, я так и не мог восстановить в памяти всю картину в целом.

...помню только, как с яростью загонял в казенную часть трехдюймовки унитарные патроны, покрытые слоем орудийного сала, клацал затвором, дергал за короткую цепочку, обшитую кожей, после чего снопы огня один за другим вылетали из дула и снаряды тут же рвались с воем, хлеща картечью по цепям немцев, полезших на нашу батарею в своих черепаховидных касках.

Но как все теперь переменилось в моей душе!

В бою за Траянов вал я искал смерти как искупления перед человечеством. Теперь же я испытывал такой жгучий страх, мною владела такая отчаянная жажда жизни, что если и не бежал сломя голову с батареи, то лишь потому, что позади было открытое пространство, где меня могла догнать любая вражеская пуля, любой осколок, прострочить меня поперек туловища любая пулеметная очередь, косившая вокруг сухой бурьян и желатиновые цветы бессмертника, а прижавшись к орудийному стальному щиту, было все-таки меньше шансов погибнуть от осколка или пули.

...помните, меня особенно ужасали разрывы крякалок: сначала в небе как бы из ничего возникало плотное облачко зловеще-черного цвета, из которого косо выкручивался как бы еще более черный и зловещий винт, раздавался крякающий разрыв шрапнели, и следом за ним из земли вырастал второй винтообразный клок мелинитового взрыва, и рваные осколки гранаты протягивались во все стороны со струнным звуком разбитой на куски арфы...

Плохо помню, чем этот кошмар кончился. Последнее, что осталось в памяти, это поручик Витинский, стреляющий из своего офицерского нагана-самовзвода в ту сторону,

откуда вдруг выползли немецкие каски и тесаки, а потом на батарею подоспели передки, подцепили орудия, и я успел вскочить на ствол увозимой пушки, чувствуя сквозь шинель и шаровары жжение раскаленного железа.

Армия отступила и заняла новые позиции. Наша батарея оказалась в резерве.

...я лежал в палатке разведчиков и не мог заснуть: мучили черные мысли. Ночь была ужасно холодная, темная, ветреная, дождливая. Полотно палатки трещало и надувалось.

Тот единственный человеческий страх, даже ужас, который я обычно испытывал в бою, тотчас же проходил, как только опасность исчезала. Оставалась лишь слабая тень страха, смутное воспоминание о прошедшем ужасе, странная уверенность, что больше ничего подобного уже никогда не повторится.

Теперь же, хотя я находился в резерве, то есть в безопасности, страх не только не проходил, но даже еще больше усилился.

Это был не столько страх физического уничтожения, страх телесной смерти, а и страх смерти души.

Я вдруг увидел себя, всю свою жизнь как бы издалека во всех подробностях и ужаснулся.

Я выбрался из палатки как был в одной короткой рубашке на голом теле, босой, весь покрытый гусиной кожей от пронзительного холода наступающего ноября.

Моя белая фигура, выбежавшая из палатки, не удивила часового: стало быть, кому-то из землячков посреди ночи захотелось до ветру.

Ступая босыми ногами по мокрой холодной земле, я подошел к воде лимана, плоско светившегося среди непроглядной тьмы.

Когда-то, в незапамятные времена, здесь был не то греческий, не то римский город Истрия, ушедший в землю, и до войны здесь производились раскопки. Кое-где белели выкопанные куски мраморных колонн. Может быть, издали меня можно было принять за движущуюся беломраморную статую.

Ветер трепал мою рубашку и резал тело, помертвевшее от холода. Озноб бил меня. Зубы стучали. Я дошел до кром-

ки лимана и вступил в мелкую воду, доставшую мне до колен. Я остановился и повернулся грудью к северу, откуда дул ледяной ветер. Я развязал на горле тесемки бязевой рубахи, чтобы еще шире открыть шею и верхнюю часть груди, где болтался крестильный крестик. Я задрал рубаху до подмышек, желая еще надежнее оголить тело, и без того уже горевшее от ножевых ударов дождя и нордоста.

Я стоял спиной к лиману, который, я это знал, где-то очень далеко сливался с морем, тем самым упоительным Черным морем, заливом Средиземного, как уверял энциклопедический словарь, морем моего детства, морем Люстдорфа и Ланжерона, морем любви, так глупо, если не сказать преступно, проданного мною за чечевичную похлебку воображаемой воинской славы, Георгиевского креста, черного бархата офицерской артиллерийской фуражки и Миньоны — хорошенькой девушки с несколько грубоватыми чертами отцовского лица, с которой я предполагал не по-гражданскому — в карете, не по-пехотному — пешком, к венцу поехать на лафете зеленой трехдюймовки с масляным компрессором, оптическим прицельным прибором-панорамой и щитом, избитым пулями и осколками.

Теряя сознание от сжимавшего мое тело холода, испытывая удушье от северного ветра, бившего в нарочно разинутый рот и проникавшего в бронхи, еще не оправившиеся от фосгена, с упрямым злорадством неподвижно стоял я по колено в едкой рапной воде, прижимая подбородком вздернутую рубаху.

Что это было?

Покушение на самоубийство? Меньше всего я желал смерти. Наоборот. Это была отчаянная, наивно-детская попытка избежать смерти. Никогда еще жажда жизни, любви и счастья так безумно не владела моей душой. Это был род мгновенного умопомешательства и хитрости сумасшедшего, составившего невероятный план спасения: двустороннее воспаление легких, госпиталь, эвакуация в тыл, начало чахотки, освобождение от военной службы по чистой, а там — скорый и неизбежный конец войны и возвращение в тот прелестный, казалось бы, навсегда

утраченный мир юности, который я так безрассудно променял на войну.

Миньона была войной. Ганзя юностью, любовью, жизнью.

Из антихриста и убийцы я хотел опять превратиться в того гимназиста, который некогда на лестнице смотрел на тяжелые золотисто-каштановые косы, раскрутившиеся и упавшие волной из-под меховой шапочки, источающей еле слышный запах диких фиалок.

Содрогаясь всем телом, с трудом дыша, продолжал я упрямо стоять на одном месте по колено в воде и видеть во тьме ночи призрак уже оголенного дерева, согнутого в одну сторону вихрем.

В том утраченном мире, куда меня несло вместе с мотающимися ветками призрачного дерева, на обоях висели гипсовые тарелочки с лошадиными мордами и головками хорошеньких англичанок, изделие самой Ганзи.

Ее любили все. Она еще никого.

Призрак дерева метался на ветру. Издалека доносились раскаты артиллерийской стрельбы. За горизонтом ходили зеркальные отражения боя.

Раздирающийся кашель потрясал меня. Я чувствовал, что голова моя горит.

Прилив любви принес мне как бы остатки кораблекрушения.

...Серая будничная юбка. Маленькие, но уже не детские кисти рук с наполированными ноготками. Красная шелковая рубашечка с вырезанным воротом, открывавшим шею с родинкой. Но вместо лица как бы тающее облачко, что-то общее. Без частностей. Недоступное для глаза, но такое родственное моей душе. Я никогда — ни тогда, ни потом — не мог представить себе ее лицо. Оно всегда было неуловимо.

Я повернулся спиной к ветру, для того чтобы еще надежнее прохватило легкие. Почти в бессознательном состоянии я дотащился до палатки и упал на солому, втиснувшись между двумя спящими разведчиками, и положил голову на свернутые в узел гимнастерку, шаровары и сапоги. У меня едва достало сил натянуть на свое дрожащее и

пылающее тело шинель и тут же заснуть мертвым сном, и я проснулся совершенно здоровым и свежим, как огурчик.

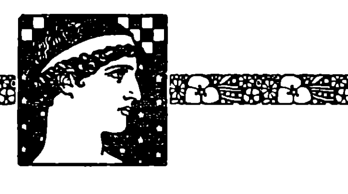
Меня тряс за плечо взводный фейерверкер:

— Господин вольноопределяющийся, подъем! Батарея уходит на позиции.

Утреннее солнце, такое красное, такое воспаленное, какое бывает только холодной поздней осенью, бодро озаряло окрестности, пережившие ужасную ночь.

На фронте, куда уходила наша батарея, зловеще гремело.

1980—1981 гг. Переделкино



СУХОЙ ЛИМАН

Через некоторое время после своего рождения в конце девятнадцатого века мальчик Миша стал познавать окружающий его мир. Он узнал, что, кроме имени Миша, у него есть еще фамилия Синайский. Она ему сначала не понравилась, но потом привык. Фамилия Синайские была также фамилией его папы и мамы и всех его братьев и сестер, которые были настолько старше Миши, что в сравнении с ними мальчик как бы не шел в счет.

Ему не с кем было играть.

Вскоре оказалось, что кроме них в городе есть еще какие-то другие Синайские.

Это неприятно поразило мальчика.

Однако когда выяснилось, что «те, другие» Синайские их близкие родственники, Миша примирился: отец других Синайских приходился родным братом его отцу, значит, был его родным дядей, а жена этого родного дяди была его родной тетей. У этих других Синайских — у дяди и тети — был тоже сын, мальчик, как и он, только назывался Саша, но он был на полтора года моложе Миши и его еще, по обычаю того времени, до трех лет одевали, как девочку, в платьице, тогда как Миша уже носил штанишки, так что Саша не годился ему в товарищи.

Маленький Саша скоро подрос, и его стали одевать, как и подобало мальчику. Это вполне сравняло его с двоюродным братом Мишей Синайским, который, впрочем, до конца своей жизни смотрел на Сашу несколько критически, как на младшего.

Их часто возили на конке через весь город в гости друг к другу, и они играли друг с другом в разные игры.

Чаще всего Сашу возили к Мише.

Конка останавливалась недалеко от здания так называемой старой семинарии, где жили Синайские-старшие. У Миши была своя собственная игрушечная мебель: шестигранный столик и два стульчика производства нижегородских кустарей, расписанные черными как сажа и огненно-красными сказочными цветами, похожими на крылья жар-птицы, покрытые лаком, желтым, как постное масло. Они говорили детскому воображению о каком-то неведомом древнерусском мире и об их вятских или новгородских предках — священнослужителях, о которых мальчики слышали от родителей.

Миша и Саша сидели за маленьким сказочно красивым кустарным столиком в крошечных креслицах и играли в кубики с черными печатными буквами, среди которых в те времена еще были странные ять, «и» с точкой, фита и твердый знак, казавшийся какой-то птицей, как-то неестественно повернутой задом наперед и особенно неприятной, даже зловещей. Кубики заменяли им букварь.

Иногда им становилось скучно. Тогда они начинали беситься: носились галопом по всем комнатам, опрокидывали стулья. Они стреляли друг в друга из игрушечных деревянных ружей с пружинами в жестяных стволах. Стреляли крашеными палочками с резиновыми наконечниками в виде кружков, которые присасывались к стенкам.

Когда баловство доходило, как выражались взрослые, до своего апогея, то любимой игрой их было опрокидывать качалку. Они накрывали ковром ее задранные вверх потертые полозья и друг за другом проползали в темноте под ковром, пахнущим нафталином и застоявшимся табачным дымом. Затем с лихими возгласами они скатывались с другой стороны по сетчатой спинке качалки. Это называлось у них «боборыкин».

Откуда мальчики подхватили это не имеющее для них смысла, но такое подходящее к случаю слово? Вероятно, они услышали его, когда взрослые вели литературные споры, обсуждая какой-нибудь роман весьма известного в то время писателя Боборыкина.

Слово «боборыкин» воспринималось как нечто вроде слова «катавасия».

«Боборыкин» и «катавасия» были слова-близнецы.

Миша и Саша лихо выкрикивали их, выкатываясь на животах из-под ковра, покрывавшего опрокинутую качалку.

Они тогда еще не знали, что «катавасия» слово церковное. Катавасией называлось песнопение, исполняемое обоими клиросами, выходящими на середину церкви.

Сашу одевали в матросский костюмчик, а Мишу — в русском народном духе — в плисовые шаровары и красную атласную косоворотку, подпоясанную витым шелковым шнурком с кисточками.

Таким Саша навсегда и запомнил своего двоюродного брата — сидящим в маленьком кустарном креслице, наморщив носик и склонив милую круглую головку с темно-русыми, слегка рыжеватыми волосами, постриженными в кружок.

Миленький русский ямщик, да и только!

...С тех пор прошло, пожалуй что, гораздо больше полувека. Бывший мальчик Саша, а ныне пожилой человек, член-корреспондент Академии наук Александр Николаевич Синайский, приехал вместе с комиссией по охране окружающей среды в город, где родился и долгое время жил. Приехав, он отправился в местный военный госпиталь навестить своего двоюродного брата Мишу Синайского, известного военного врача в отставке, который лежал там со вторым инфарктом и уже поправлялся.

Бывший мальчик Миша, ныне Михаил Никанорович Синайский, после Великой Отечественной войны, выйдя в отставку, поселился в Одессе, своем родном городе, решив остаток жизни провести на берегу Черного моря, покупаться в Куяльницком лимане.

Госпиталь был старинный, еще времен севастопольской войны, так замечательно описанной Львом Толстым в своих «Севастопольских рассказах». Этот госпиталь был знаменит тем, что в нем некогда работал великий русский хирург Пирогов. С его времени сохранилась госпитальная стена и несколько приземистых корпусов с зелеными водосточными трубами над кадками для стока дождевой воды. Двухэтажные корпуса эти, расположенные среди старых акаций и газонов, огороженных по-казарменному выбеленными кирпичами, имели довольно унылый вид. Дорожки, посыпанные морским гравием с ракушечками,

поскрипывали под ногами Александра Николаевича, слегка похрамывающего по причине двух ранений — одного еще во время первой мировой войны полученного в Карпатах, а другого в боях на Курской дуге в дни Великой Отечественной.

Кое-где в аллеях виднелись серые халаты ходячих больных.

На скамейке под кустом давно уже отцветшей сирени сидел двоюродный брат Александра Николаевича Михаил Никанорович и читал Пушкина. Увидев подходящего двоюродного брата, он отложил книгу и, поправив на своем старом, сморщенном носу пенсне, улыбнулся.

Двоюродные братья обнялись, похлопали друг друга по плечам и по спине.

— Явился не запылился,— сказал Михаил Никанорович с оттенком превосходства над младшим двоюродным, усвоенным еще с детства.— Рад тебя видеть здравым и невредимым. Каким образом оказался ты в краю нашего детства?

— Приехал из Москвы в служебную командировку. Узнал, что ты здесь валяешься, и почел, так сказать, долгом... Однако я вижу, что ты в отличном состоянии.

— На сей раз выкрутился. На днях выписываюсь. Это у меня уже второй. В третий раз вряд ли выскочу. А ты, Саша, выглядишь молодцом. Настоящим светилом отечественной науки. Вот уж никак от тебя этого нельзя было ожидать, судя по твоему громкому поведению и тихим успехам в гимназии.

— Ты всегда меня, Миша, недооценивал.

Бывший мальчик Саша присел рядом с двоюродным братом на скамейку и покосился на томик Пушкина:

— На старости лет почитываешь классиков?

— Да. Почитываю. Сегодня наткнулся на замечательное письмо Пушкина к Чаадаеву. Между прочим, отчасти касается и нас с тобой.

— Именно?

— А вот послушай.

Михаил Никанорoич взял книгу, поискал нужное место и заметил:

— Тут Пушкин полемизирует с Чаадаевым, который, как тебе, может быть, известно, был привержен к католичеству, к западничеству. Пушкин пишет, что он далеко

не во всем согласен с Чаадаевым. Например, послушай-ка, что он пишет...

Михаил Никанорович поводил сморщенным носом по странице, нашел нужное место и прочитал:

— «Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».

...Нашим мученичеством...

Михаил Никанорович на этом месте остановился и, блеснув стеклами пенсне, как-то очень значительно, по-докторски взглянул на двоюродного брата.

— Понимаешь, Саша, какое мученичество перенесла наша несчастная Россия еще в средние века, спасая европейскую цивилизацию!

— Вероятно,— сказал, вздохнув, Александр Николаевич,—это наша вечная историческая миссия — спасать человечество и его цивилизацию. Но будет ли в свою очередь человечество спасать нас — вот в чем вопрос!

— То-то и оно! — сказал Михаил Никанорович, назидательно подняв палец.

— Да, но какое имеет отношение к нам с тобой вся эта древняя история? — спросил Александр Николаевич, несколько утомленный разговором, не подходящим к обстоятельствам их встречи.

— Какое отношение?— укоризненно сказал Михаил Никанорович.— Да самое прямое! Ты вот послушай-ка, что дальше пишет Александр Сергеевич Чаадаеву:

— «...Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна

презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство...— Тут Михаил Никанорович несколько повысил голос:— Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».

Разговор двоюродных братьев возбудил любопытство ходячих больных, и они стали подходить поближе к скамейке. Обычно в госпиталях больные любопытны. Им хотелось узнать, кто пришел навестить генерала Синайского и о чем они разговаривают; не узнают ли каких-нибудь интересных новостей «с воли»?

— Пойдем, Саша, пройдемся по бульвару, проветримся,— сказал Михаил Никанорович,— а то здесь как-то душно и даже от деревьев и кустов пахнет карболкой. Запах, застоявшийся здесь еще с времен Пирогова.

— А тебе разве уже разрешается выходить на улицу, тем более в больничном халате?

— Я, Саша, сам себе врач и начальник. У нас тут нравы либеральные. Выздоравливающие частенько выходят на улицу в лавочку за папиросами.

Михаил Никанорович взял под мышку томик Пушкина, и двоюродные братья пошли под душной тенью акаций с мелкой, уже слегка пожухлой листвой и сухими стручками, позолоченными послеобеденным сентябрьским солнышком.

Они шли по дорожке, усаженной по сторонам вялыми лиловыми, как бы вылинявшими ирисами, которые тут назывались петушками. Через калитку в каменной госпитальной стене они вышли на Пролетарский бульвар, некогда называвшийся Французским бульваром.

Дежурный вахтер в проходной будке — солдат-инвалид — не только их не остановил, но подтянулся «смир-

но» на своей деревянной ноге, откозырнул и выпустил их на бульвар.

— А тебя здесь, Миша, вижу, уважают,— сказал Александр Николаевич.

— А как же! Солдат из нашей дивизии. Вместе воевали. Потерял ногу под Керчью. Я ему ее там же в полевом госпитале под бомбежкой с воздуха и отрезал.

...Они прошли по бульвару вдоль длинной каменной оштукатуренной госпитальной стены, уже много раз крашенной водянистой розовой краской, сильно потертой, исцарапанной разными инициалами и непристойными надписями, затертыми и закрашенными блюстителями порядка.

Александр Николаевич выглядел еще молодцом в своей заграничной замшевой куртке на «молнии», хотя ему уже перевалило за пятьдесят, а Михаил Никанорович рядом с ним казался маленьким, хотя на вид и бодрым старичком в больничном халате.

Они оба были отпрысками некогда большой семьи вятского соборного протоиерея. У каждого из них имелась своя семья, взрослые дети и даже маленькие внуки от разных жен, с которыми их сыновья разводились. Были свои семейные сложности, запутанные отношения, но все это как бы не шло в счет. Они чувствовали себя одинокими и признавали настоящей своей родней только друг друга, так сказать, последними из рода Синайских. Они встречались редко и не переписывались. В семействе Синайских по древней привычке как-то не было принято переписываться. Одна только сестра Михаила Никаноровича Лизавета Никаноровна аккуратно писала всем родственникам, жившим в разных городах, и держала их постоянно в курсе семейных дел. Но ни ее, ни других родственников, кроме двоюродных братьев, не было уже на свете.

С моря сквозь умирающие сады бульвара потягивало грустным ветерком.

— А помнишь, Саша, наши детские катавасии? Заметь себе, что вместе с христианством слово «катавасия» попало к нам из Греции и обозначает в переводе на русский язык не что иное, как снисхождение или нечто в этом роде. Слово поповское. Значит, мы с тобой с раннего детства,

так сказать, с младых ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церковного ладана.

— Я этого не подозревал.

— Мы многого не подозреваем, а между тем наш общий с тобой дедушка был священник, и наша общая бабушка была попадья, и не исключено, что род наш Синайских уходит в невероятную даль раннего русского христианства.

...Двоюродные братья представили своего дедушку, которого видели только на маленьком провинциальном дагерротипе,— бородатого, чем-то напоминающего Салтыкова-Щедрина, но только не в сюртуке, а в обширной рясе с широкими рукавами, с наперсным крестом, с грозными глазами, сидящего рядом со своей маленькой попадьей в тяжелом шелковом платье и кружевной наколке на голове, а позади них стояли три сына-семинариста, из которых старший был уже слегка бородат.

Протоиерей вятского кафедрального собора отец Никанор Синайский скончался в 1871 году, едва дожив до пятидесяти лет, от какой-то странной болезни, поразившей коленную чашечку правой ноги. Была ли это простуда, или костный туберкулез, или еще что-нибудь тогда еще неизвестное в медицине, никто не знал. Тогдашние вятские лекари лечили воспалившуюся коленную чашечку прижиганием добела раскаленным железом, да так и не вылечили.

После смерти протоиерея остались вдова-попадья и трое сыновей. Покойный желал видеть их священниками, имеющими власть претворять хлеб в тело Христово и вино в его кровь. Такова была древняя семейная традиция рода Синайских. Однако все трое сыновей избрали деятельность не духовную, но светскую. Православие на Руси в то время уже клонилось к упадку.

Правда, старший из сыновей, Никанор Никанорович, после окончания семинарии поехал в Москву, в Троице-Сергиеву лавру, где окончил духовную академию, но сана не принял, в монахи не постригся, церковную карьеру себе не сделал, в архиереи не вышел, а отправился на жительство в южнорусский город Одессу, где стал преподавателем, а вскоре и инспектором классов в семинарии — еще старой семинарии, так как потом было выстроено здание новой семинарии.

Его примеру последовали братья. Окончив вятскую се-

минарию, они один за другим — средний брат Николай и младший Яков — также переселились в Одессу, взяв с собой мать.

Таким образом, вятское гнездо Синайских опустело навсегда.

Средний Синайский окончил в Одессе Новороссийский университет по историческому отделению филологического факультета с серебряной медалью, но ученую карьеру не избрал, а стал простым педагогом, преподавателем истории и географии в женском епархиальном училище, а также в школе десятников при императорском техническом обществе, обучая рабочих-строителей русскому языку, в чем отчасти видел свой гражданский долг просвещать простой народ.

Младший сын покойного протоиерея Яков Никанорович также окончил Новороссийский университет, но физико-математический факультет и с золотой медалью, что было величайшей редкостью, так как физико-математический факультет считался самым трудным. Золотая медаль сулила младшему Синайскому блестящую будущность, быть может, даже великого русского ученого вроде Менделеева...

Все эти события происходили в последней четверти девятнадцатого века, еще до рождения двоюродных братьев, которые хотя и родились тоже еще в девятнадцатом веке, но только в самом его конце. Мальчик Миша был последним в семье Николая Никаноровича, а мальчик Саша первенцем в семье Николая Никаноровича, женатого на дочке отставного генерала.

Почему же после смерти протоиерея самья Синайских переселилась из Вятки на юг России, в Одессу?

В то время Одесса была самым молодым из весьма немногих университетских городов Российской империи. В Новороссийский университет легче было попасть. Кроме того, Одесса славилась дешевизной жизни, Черным морем, целебными лиманами, морскими ваннами и многим другим, чего не было в северных университетских городах...

Что же касается младшего сына протоиерея, то из разговоров взрослых двоюродные братья составили себе о нем представление как о человеке необыкновенном,

странном и тяжело больном, живущем почему-то не в Одессе, а в Николаеве с женой, простой, неграмотной крестьянкой, о которой говорилось с каким-то грустным неодобрением как о падшей женщине. Но что такое падшая, мальчики представляли себе буквально, что она куда-то упала, откуда дядя Яша ее вытащил и потом на ней женился, и она тоже стала Синайская.

Впоследствии все это разъяснилось.

Блестяще окончив университет, Яков Никанорович написал научный труд о движении какой-то кометы — кажется, Биеллы,— вычислив с большой точностью ее орбиту. Работа эта принесла ему чуть ли не всероссийскую известность как выдающемуся математику и была размножена в университетской типографии на стеклографе со множеством цифр, алгебраических формул, чертежей эллипсообразной орбиты кометы Биелла. Двоюродные братья видели пожелтевшие от времени экземпляры научного труда дяди Яши с фигурами небесного движения загадочной кометы. Экземпляры печатного труда лежали в чулане квартиры, где жил со своими папой и мамой младший из двоюродных братьев, Саша Синайский.

Неизвестно по какой причине Яков Никанорович поступил на военную службу, был произведен в подпоручики и числился в Четырнадцатой артиллерийской бригаде, расквартированной в городе Николаеве. Его странный поступок объяснялся тем, что он вдруг почел своим нравственным, христианским и гражданским долгом принести в армию, в ее захолустную, консервативную и даже реакционную атмосферу, дух просвещения и гуманизма, воспитывать в нижних чинах человеческое достоинство, самосознание, «бросать в почву семена просвещения, вселять в души дух христианства» или что-то в этом роде, нечто мессианское.

Это, возможно, был поздний отзвук декабризма, связанный с именем полковника, кажется, Адельберга, последнего из уцелевших на юге декабристов.

Тогда еще двоюродных братьев не было на свете, и до них эти слухи дошли уже гораздо позже.

...Двоюродные братья шли по бульвару, где на другой стороне стояли странные громадные ворота в мавританском

стиле, через которые можно было выйти к обрывам. Вилла, некогда принадлежавшая какому-то богатому негоцианту, не сохранилась. Через эти ворота, существовала легенда, выходил к морю молодой изгнанник Пушкин.

Двоюродные братья с привычным уважением смотрели на эти громадные черные ворота и представляли себе курчавого молодого человека, одетого по моде девятнадцатого века в узкий сюртучок и байроновский плащ, того самого знаменитого Пушкина, который в конце своей жизни написал Чаадаеву:

«Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».

Повторив эти пушкинские слова, Михаил Никанорович засмеялся и сказал двоюродному брату, продолжая начатый еще в госпитальном саду разговор:

— Понимаешь, Саша: «Оно носит бороду, вот и все». Коротко и ясно. «Оно не принадлежит к хорошему обществу». Ну что ты на это скажешь? Ведь у нас с тобой общий дедушка — бородатый протоиерей, и если наши отцы, его сыновья, не стали священниками, то, во всяком случае, они тоже еще носили бороды, правда уже немного постриженные. Но в так называемое хорошее, то есть дворянское, общество при старом режиме приняты все-таки не были. Если и были, то с трудом. А мы с тобой уже гладко выбриты и принадлежим к хорошему обществу, уважаемы и даже награждены почетными званиями: ты член-корреспондент, я генерал медицинской службы, хотя уже в отставке и на пенсии.

Глядя на мавританские ворота, они представляли себе картину:

«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин».

Еще в гимназические годы они видели в городской картинной галерее большое полотно, созданное двумя знаменитыми художниками: штормовое Черное море и прибрежную скалу, написанные Айвазовским, и фигуру Пушкина в развевающемся плаще на фоне этой скалы, написанную Репиным.

«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин»...

Они дошли до угла и свернули на Пироговскую улицу, вдоль которой тянулась все та же госпитальная стена.

— А ты, Саша, помнишь дядю Яшу? — по какой-то странной ассоциации мыслей спросил Михаил Никанорович, медленно шагая вдоль больничной стены.— Я его почти не помню.

— А я хорошо помню,— ответил Александр Николаевич.— Однажды ранним утром у нас раздался звонок дверного колокольчика, и потом в комнату вошел дядя Яша в коротеньком пиджачке. В руках он держал узелок со своими пожитками. Оказалось, он только что приехал на пароходе из Николаева. У него было измученное, доброе, как бы я теперь сказал — достоевское, лицо. Он сел посреди нашей маленькой гостиной в старое плюшевое кресло и зарыдал. Я не мог этого вынести и тоже заплакал, а потом меня увели в другую комнату.

...— Дядю Яшу отвезли в городскую больницу, куда мой папа ездил его навещать и один раз взял с собой меня. Мы проехали на конке почти через весь еще незнакомый мне город и вышли на остановке как раз против городской больницы. Я увидел огромный желтый дом с белыми колоннами. Этот дом мне сразу чем-то не понравился, даже испугал. В этом доме, пропахшем всеми больничными запахами, в очень большой серой комнате, уставленной железными кроватями, на которых лежали и сидели больные в темных халатах, я увидел дядю Яшу, тоже в халате земляного цвета, из-под которого высовывались бязевые подштанники с тесемками. Перед ним на табурете, выкрашенном рыжей масляной краской, стояла жестяная тарелка с рисовыми котлетами под черносливовой подливкой.

...— Дядя Яша был похож на моего папу, только намного моложе, но с неряшливой, видно, давно уже не подстригавшейся бородкой и усами, мокрыми от черносливовой подливки. У него были пугающие глаза. Все это вселило в меня чувство ужаса. Папа обнял дядю Яшу, и они поцеловались...

...— Через несколько дней дядю Яшу привезли к нам на извозчике и устроили на старом диване в гостиной

между фикусом в зеленой кадке и пианино. Другие комнаты были заняты. В одной жили мы с папой и мамой; моя кроватка стояла между двумя железными кроватями моих родителей. И там же находился комод, на котором всю ночь горел маленький керосиновый ночник в красном желатиновом абажурчике. В последней комнате находилась столовая, где за бамбуковыми ширмами жила вятская бабушка, маленькая молчаливая старушка. Нашу маленькую, дешевую квартиру наполнил больничный запах.

...— Папа снял с себя сюртук с шелковыми лацканами и, оставшись в одном жилете с синей металлической пряжкой сзади, стал ухаживать за дядей Яшей. А когда папа уезжал на уроки, то за дядей Яшей ухаживала моя мама, тогда еще живая.

...— Ты помнишь свою тетю, а мою покойную маму?

...— Она была дама в пенсне и кормила дядю Яшу яйцами всмятку: желточек тек по дядиной бороде.

Иногда в гостиной у дядиного дивана появлялась, выйдя из-за своих ширм в столовой, вятская бабушка-попадья, мать дяди Яши. Маленькая, кругленькая, как просфорка, со слезами на испуганных глазах, она жалостливо смотрела на своего младшенького, гладила его волосы, мелко крестила его и спрашивала, не воспалилась ли у него коленная чашечка. Она до сих пор не могла пережить смерть своего супруга, кафедрального протоиерея, помутившую ее детский ум, и она все время думала, что воспаление коленной чашечки, прижигаемой каленым железом, приносит смерть всем людям.

От нее сухо пахло старыми, залежавшимися шерстяными платьями, застоявшимся запахом кадильного ладана, принесенного ею из вятского кафедрального собора. Потом она так же незаметно исчезала и скрывалась в столовой за бамбуковыми ширмами.

...— Дядя Яша уже не вставал, и под него приходилось подкладывать фаянсовый подсов, что мама делала решительно и мужественно.

Он лежал, закутавшись в одеяло, и дрожал.

Я боялся входить один в гостиную потому, что при виде меня дядя Яша с трудом приподнимался и с ловкостью

сумасшедшего пытался схватить меня своими исхудавшими руками, норовил пощекотать меня и ласково смотрел на меня, своего маленького племянника, добрыми, но ужасными глазами. Он пытался выговорить мне что-то доброе, родственное, но язык ему уже не повиновался и он только невразумительно мычал.

Через несколько дней рано утром он вдруг захрипел, перестал шевелиться и умер на руках у папы, который был уже в сюртуке и собирался ехать на уроки. Папа закрыл веки его открытых неподвижных глаз мягким движением большого пальца и положил на закрытые веки по медному пятаку. Два черных пятака на закрытых веках стали для меня с тех пор символом смерти.

...— В гостиной стало еще теснее, так как туда принесли гроб, поставили его на стол и переложили в него дядю Яшу, обряженного уже в сюртучок. Гроб стоял по диагонали к стенкам гостиной, оклеенным светленькими обоями с потертыми серебряными лилиями.

...— Дальше я мало что помню. В памяти сохранились только траурные ризы священников и много родственников Синайских, пришедших на панихиду и на вынос тела.

...— Смерть дяди Яши была предзнаменованием другой смерти в нашей квартире. Вскоре от воспаления и отека легких умерла моя мама. А за несколько месяцев до ее смерти родился мой родной и твой двоюродный братик Жоржик, тот самый Георгий Николаевич Синайский, который во время Великой Отечественной войны погиб в Севастополе...

— Постой,— сказал Михаил Никанорович,— погоди... Мы идем слишком быстро. Мне трудно. Давай передохнем, постоим минуточку! У меня, кажется, опять не в порядке сердечные делишки.

Они остановились возле все той же госпитальной стены, уходящей теперь далеко в сторону недавно восстановленного здания штаба, разбомбленного немцами.

За белым корпусом штаба угадывались уже совсем на себя не похожее Куликово поле и вокзал без паровозных дымов, а еще дальше — предзакатное небо и голубые купола бывшего Афонского подворья.

Михаил Никанорович прислонился к госпитальной стене с выцарапанным сердцем со стрелой и чьими-то инициалами, достал из кармана халата пробирочку, высыпал на ладонь несколько белых крупинок и привычным движением положил их в рот под язык. Вскоре его опасно помертвевшее лицо с посиневшими веками оживилось, даже порозовело.

— Ну, теперь я в порядке,— сказал он, стараясь казаться бодрым,— можем гулять дальше. Но ты меня, Саша, расстроил, вспомнив о Жоре. Ведь я был когда-то на его крестинах. Его крестили не в церкви, а дома, в вашей маленькой квартире, в той самой гостиной, где до этого стоял гроб с дядей Яшей, а вскоре и гроб твоей мамы, а моей тети.

— Да,— сказал Александр Николаевич,— я тоже помню, как из церкви везли на извозчике немного помятую серебряную купель, куда налили подогретой на кухне воды, и священник взял из рук крестной матери голенького Жорочку с зажмуренными глазками, ловко прикрыл его сморщенное личико крупной опытной ладонью и трижды окунул с головой в купель. Я ужасно боялся, что мой маленький братик захлебнется, но все обошлось благополучно...

—...если не считать,— сказал Михаил Никанорович,— что Жорочка напустил струю на атласное платье своей крестной матери.

Двоюродные братья немного посмеялись. Александр Николаевич вспомнил:

— А потом был завтрак для гостей и причта, и я впервые в жизни попробовал маленький маринованный грибок боровичок, с большим трудом насадив его скользкую багровую шляпку на вилку. И я видел, как дьякон опрокинул в свою волосатую разинутую пасть рюмку водки...

Александр Николаевич грустно покачал головой.

— А теперь Жора лежит в братской могиле, и его имя и фамилия выбиты в ряду с другими именами на белой мраморной доске... А мы с тобой, Миша, уцелели.

Михаил Никанорович поправил пенсне на своем галльском носу и еще больше стал похож на французского академика.

— Ну, я уже в порядке,— сказал он, как бы не желая продолжать слишком грустный разговор,— можем шагать дальше. Только, умоляю, не шагай так быстро, пожалей больного медика.

Они неторопливо тронулись по Пироговской улице вдоль госпитальной стены, как бы сопровождаемые видениями прошлого, которые в разных формах возникали из этой стены и сопровождали их.

...Железная кровать с медными шариками, на которой лежало тело только что умершей матери Александра Николаевича, тогда еще шестилетнего мальчика Саши. Она лежала, склонив голову с закрытыми навсегда глазами, черноволосая, совсем не похожая на даму, а скорее на девушку-русалку, покрытую легким одеялом, а на тумбочке рядом с кроватью теплилась зажженная Николаем Никаноровичем лампадка, распространяя слабый запах оливкового масла...

...в квартиру вносили новый гроб, пахнувший сырыми сосновыми досками. Приходили и уходили разные люди, большей частью Синайские и какие-то незнакомые семинаристы. Из не закрывавшихся целый день входных дверей тянуло с улицы сквозняком. Внесли венок с белыми муаровыми лентами, на которых были наклеены черные лакированные печатные буквы, составлявшие какие-то печальные слова. В передней зеркало было закрыто простыней, чтобы в нем не отразилось лицо покойницы, когда ее будут выносить.

...Николай Никанорович снял с пальца покойной жены золотое обручальное кольцо и положил его рядом с лампадкой. Не зная, что теперь надо делать, он ходил из комнаты в комнату с розовыми от слез глазами. Он был ошеломлен своим неожиданным вдовством. Маленький Саша ходил рядом с ним, держась за его руку в крахмальной манжете. А новорожденный Жора кричал в руках у кормилицы, отворачиваясь от ее большой, как вымя, груди с коричневым соском, из которого капало молоко...

...Этот же самый Жора через сорок лет в пропотевшей гимнастерке, порванной осколками разорвавшегося снаряда, лежал возле своего орудия лицом в испепеленную землю...

...И еще какие-то видения все время сопровождали двоюродных братьев, как будто бы возникая из госпитальной стены.

Они молчали, но в их молчании заключалось больше, чем в словах; в нем присутствовали полузабытые события общего прошлого, оставляя после себя душевную боль навсегда утраченных событий, в том числе видение наемной свадебной кареты, в которой везли к венцу розовую от волнения красавицу с собольими бровями, одну из старших сестер Михаила Никаноровича, Елизавету, Лизу, а напротив с иконой в руках сидел на скамеечке свадебный мальчик в бархатном костюмчике, двоюродный братик невесты Жора.

Да, тот самый Жора!

Двоюродные братья вспомнили самого старшего из сыновей протоиерея Синайского, отца Михаила Никаноровича, Никанора Никаноровича Синайского.

Он был солидный господин в форменном сюртуке духовного ведомства. Сквозь хорошо ухоженную, уже не поповскую, а светскую каштановую раздвоенную бороду просвечивал вишневой эмалью орден святой Анны на алой орденской ленточке.

Никанор Никанорович как бы царствовал в своей большой казенной квартире в здании старой семинарии, где имелись кафельные печи с хорошо начищенными вьюшками. Эти печи зимою топились казенными дровами, которые приносил из сарая семинарский истопник.

По сравнению с маленькой квартиркой своего брата Николая Никаноровича квартира старшего Синайского поражала воображение маленького Саши множеством комнат, богатством, как казалось мальчику, обстановки и непривычным видом паркетных полов, их почти зеркальным блеском и запахом желтой мастики, которой эти полы натирали полотеры. Непривычен был также запах табачного пепла, залежавшегося серебристо-сиреневыми горками внутри тропических рогатых раковин. Подобные пепельницы обычно находились в богатых квартирах, в приемных зубных врачей и у адвокатов.

Присутствовал также тревожащий запах дамской пудры, цветочного одеколона и вина, совсем незнакомый и даже враждебный маленькому Саше. Его отец не пил, не курил, не играл в карты. Он вел скромную жизнь и, отходя ко сну, долго молился перед иконой с красной лампадкой и пальмовой веткой, заложенной за икону. Сми-

ренно крестясь, и кланяясь, и роняя со лба семинарские волосы, он скорее походил не на педагога, а на священника.

Семейство Никанора Никаноровича было большое, в нем имелись двоюродные сестры и братья Саши — родные братья и сестры Миши. Но Саша и Миша в сравнении с ними выглядели совсем малышами. Все эти многочисленные братья и сестры — родные и двоюродные — родились и выросли еще до появления на свет божий двоюродных братьев Миши и Саши. Некоторые из них были уже студентами или курсистками.

...Мальчики с завистью и уважением смотрели на синие стоячие воротники студенческих мундиров и на маленькие, уже почти дамские шляпки курсисток...

Семья Никанора Никаноровича была дружная. Днем большая квартира пустовала: все, кроме Миши и его матери, находились кто в университете, кто на курсах, кто в семинарии на уроках, так что маленькие двоюродные братья были полными хозяевами квартиры и свободно ходили из комнаты в комнату, разглядывали и трогали руками разные запрещенные вещи, а в передней смотрелись в большое зеркало, делали гримасы и примеряли разные шляпы, шапки и фуражки. Они до того осмелели, что однажды даже проскользнули в кабинет Никанора Никаноровича и стали рыться в ящиках письменного стола, где, кроме папирос и сигар, обнаружили медные наперсные кресты на орденских лентах, которыми Миша очень хвалился и говорил, что это боевые отличия дедушки и прадедушки. Оказывается, священники тоже участвовали в войнах и были награждены за боевые отличия, но не орденами, а наперсными крестами разных степеней.

Один медный крест на анненской ленте принадлежал вятскому дедушке, награжденному во время несчастной севастопольской кампании за религиозно-пастырскую, патриотическую проповедь среди ополченцев, формировавшихся в Вятской губернии.

Другой наперсный крест — почерневший от времени, как бы даже оплывший, на строгой владимирской ленточке, черно-красной,— принадлежал прадеду или даже прапрадеду, награжденному за Бородинское сражение достославного двенадцатого года.

Мальчики надевали на шею эти кресты, воображая

себя героями священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством.

Они уже с детства были готовы сражаться за родину

В утренние часы в распоряжении разыгравшихся мальчиков находились все комнаты квартиры, кроме той маленькой комнатки, где лежала одиннадцатилетняя сестра Миши, медленно умиравшая от костного туберкулеза, поразившего коленную чашечку ее правой ноги. Иногда в полуоткрытую дверь ее комнатки мальчики видели фигурку зловеще исхудавшей девочки с острым носиком, ее прозрачно-белое личико, ее ночную сменную сорочку, а иногда забинтованное колено, когда она, прыгая на одной ноге, перебиралась с кровати к подоконнику, где лежали книжки, которые она читала, и стояли пузырьки с лекарствами.

Она была так мало заметна, так ничтожно мало занимала места в мире, что как бы уже совсем не существовала в квартире, где бегали здоровые мальчики с дедовскими наперсными крестами на груди, опрокидывая стулья, изображая Бородинское сражение.

«...Забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга! Постой-ка, брат мусью!..»

Распаленные патриотизмом, они называли друг друга презрительно «брат мусью».

На второй день пасхи или на третий день рождества дом наполнялся всеми Синайскими — студентами, курсистками, гимназистками в клетчатых форменных платьях частных женских гимназий и белых передниках, а также гостями, среди которых были знакомые священники в парадных муаровых рясах с подвернутыми широкими рукавами, с расчесанными гривами волос, источавших аромат розового масла и росного ладана. В столовой раздвигался длинный обеденный стол, появлялись закуски, графинчики, чарочки, бутылки рябиновой и французского мускат-люнеля. После обеда гости садились за ломберные столы играть при свечах по маленькой.

Раздавался вееродобный треск карточных колод, и чей-нибудь основательный протодиаконский бас произ-

носил «пикендрясы» или что-нибудь подобное из картежного жаргона.

Мальчики лазали под елку, чувствуя себя там как бы в чаще дремучего леса, дыша скипидарным запахом хвои и слушая тонкое позванивание елочных украшений, шуршание бумажных цепей.

Выползая из-под елки, они перебирались под ломберные столы, лазали по чужим ногам и подбирали обломки мелков, которыми игроки записывали на зеленом сукне странные цифры каких-то ремизов, имеющих таинственное значение.

Эти кабалистические знаки на сукне потом стирались особыми круглыми щеточками: из-под них поднимались облачка меловой пыли, заставлявшей чихать.

Судя по пряному, острому запаху, игроки во время игры попивали чай с ромом, называемый пуншиком, а также красное вино удельного ведомства. Игроки курили папиросы и сигары. Табачный дым, смешанный с ароматом пуншика, волновал мальчиков, особенно Сашу Синайского, росшего в трезвом доме, где пахло только оливковым маслом от лампадки перед иконой. Николай Никанорович чувствовал себя в гостях у старшего брата не по себе.

Чаще всего по вечерам он сидел со своей тогда еще не покойной, а живой, страстной, оживленной, горячо любимой женой за пианино, и они играли в четыре руки Чайковского или Рубинштейна. Раскрытые ноты освещали две свечи в мельхиоровых подсвечниках, закапанных стеарином.

Такое же пианино было в казенной квартире старшего Синайского, но только костяные клавиши у него сильно пожелтели от времени и одна из педалей западала, что как бы утверждало старшинство Никанора Никаноровича, чином статского советника, над своим братом Николаем, еще только надворным советником.

Нечто китайское чувствовалось в квартире Никанора Никаноровича. Но в чем заключалась эта китайщина, маленькому Саше было тогда непонятно. Лишь через очень много лет, почти что через полвека, попав по академической командировке в Пекин, бывший мальчик Саша ощутил нечто подобное в квартире одного из китайских профессоров: громоздкие стулья черного дерева с неудобно прямыми — слишком прямыми — высокими спинками

с вделанными бело-черно-мраморными досками, заменившими кожу. Твердые, неудобные сиденья были слишком высоки, так что ноги едва доставали до пола.

...И разросшиеся фикусы в кадках...

У братьев Синайских тоже стояли в гостиной кадки с фикусами: у младшего один фикус, а у старшего два уже сильно разросшихся, ветвистых, с новыми побегами на отростках веток, висящими как сафьянно-красные колпачки-чехольчики. В этих чехольчиках было тоже что-то очень китайское, пекинское, профессорское.

Стулья с высокими неудобными сиденьями и сафьяновые колпачки на ветках фикусов были родственны цибикам. Цибиками назывались деревянные ящички с чаем, хранившиеся в буфете. Цибики были оклеены бумагой с напечатанными разноцветными картинками, изображавшими сцены из китайской жизни: узкоусые мандарины в шапочках с шариком, желтолицые китаянки с веерами, уличные торговцы, рикши, катящие легкие свои коляски на двух высоких колесах, тигры, драконы...

Цибики с первосортным китайским чаем привозили знакомые офицеры и полковые священники с Дальнего Востока на пароходах добровольного флота. Внутри цибики были выложены свинцовой оболочкой для того, чтобы чай не портился во время перевозки через океаны.

Кроме запаха жасмина, чай из цибиков еще не отдавал свинцом.

...Свинцовый запах китайского чая. Запах войны...

Дальний Восток присутствовал в сознании жителей России. Все время кто-то уезжал на Дальний Восток. И это тревожило.

На Дальний Восток уезжала самая старшая из сестер Миши, красавица Надя, вышедшая замуж за петербургского военного врача, окончившего Военно-медицинскую академию, человека с большой будущностью по фамилии Виноградов. Надя, бывшая Синайская, а теперь Виноградова, вместе с мужем и новорожденной дочкой Аллочкой уезжала через Одессу на Дальний Восток, где должен был

несколько лет прослужить Виноградов: это давало ему большие преимущества при дальнейшем прохождении службы.

Обе семьи Синайских собрались на причале карантинной гавани, откуда отходил на Дальний Восток пароход добровольного флота «Тамбов».

Двоюродных братьев Сашу и Мишу тоже взяли на проводы Виноградовых. Мальчики с восхищением смотрели на пароход, стоявший у причала, куда в это время грузили полковых лошадей. Пароход казался огромным. По трапу, мерно топая сапогами, шли солдаты в походном обмундировании. Пристань была завалена прессованным сеном. Военный оркестр, блестя медными трубами, играл марш «Тоска по родине». У солдат через плечо были надеты шинели в скатку.

Провожавших не пускали на пароход. Они стояли на пристани возле черного борта парохода, высокого, как дом, с круглыми иллюминаторами вместо окон. Из желтой трубы уже валил каменноугольный дым. Заглядывая в иллюминатор, мальчики видели часть очень тесной каюты, заваленной круглыми шляпными коробками и дорожными вещами, где уже размещалась Надя с мужем и грудной девочкой, завернутой в одеяльце. Надин муж Виноградов снимал через голову серебряный ремень офицерской шашки с темляком и фуражку с бархатным околышем военного врача. Надя суетилась. Она была еще в шляпе с вуалью. Девочка среди баулов и пакетов лежала смирно. Трудно было представить, как они устроятся в этой тесноте. А ведь им предстояло проплыть почти месяц — через Суэцкий канал, по Красному морю, по Индийскому океану, мимо сказочного острова Цейлона, потом, может быть, через Китайское море, через Цусимский пролив, мимо Японии, — прежде чем они достигнут Дальнего Востока. Как переживет это долгое путешествие грудная девочка, такая крошечная в своих кружевных пеленках?

...Мальчики еще смутно знали географию...

Визжали паровые лебедки, как бы выговаривая «тирли-тирли-тирли». Они грузили в пароходные трюмы уголь и сено. Угольная пыль смешивалась с трухой сена и со звуками духового оркестра.

Пароход, заваленный разными грузами, оседал ниже

ватерлинии. Он был так громоздок, тяжел, неуклюж, что, казалось — никогда не сдвинется с места.

Но вот раздался густой бас трехкратного пароходного гудка. У провожающих заложило уши, и перестал слышаться оркестр, одно только буханье турецкого барабана. Борт парохода со всеми своими иллюминаторами, в одном из которых показалась голова Нади уже без шляпки и узкие погоны ее мужа, начал медленно, почти незаметно отделяться от пристани. На том месте, где только что чернела стена парохода, образовалась щель, и в глубине — зеленая рябь морской воды.

Больше всего волновало мальчиков, что пароход увозит бог весть в какую даль их крошечную племянницу Аллочку.

— Ты помнишь нашу Аллочку? — спросил Михаил Никанорович.

— Конечно,— ответил Александр Николаевич,— но какая ужасная судьба!

Они снова на минуту остановились посередине Пироговской улицы и представили себе Аллочку в разные периоды ее жизни:

сначала грудным ребенком, которого под звуки военного оркестра увозили на Дальний Восток... Потом уже значительно позже, когда родители, возвратившиеся в Петербург, привозили ее летом в Одессу на лиманы. Тогда ей было уже лет десять. Нельзя сказать, чтобы она была очень красива, но ужасно мила и обращала на себя внимание — нарядно одета, с большим шелковым бантом сзади, таким же ярким, алым, как и ее имя.

...Всегда приветливая, вежливая, хорошо воспитанная, казавшаяся даже красивой, несмотря на несколько веснушчатый носик в породу швейцарской бабушки. Она всегда привозила своим провинциальным кузенам коробки шоколадных конфет, перевязанные шелковыми бантами. «Шоколад от Крафта».

У нее уже был братик Тося.

Их семья снимала на лето дачу на Хаджибеевском лимане, где процветала игра в крокет: ловко крокировав третий красный и мило наступив белым башмачком на дубовый шарик — второй черный,— Аллочка весело ударяла по шарику крокетным молотком с двумя черными полосками, и другой шарик катился по хорошо утрамбованной площадке, проскакивал сквозь проволочную дужку и,

к общему веселью, застревал в проволочной мышеловке, так называемом масле.

...За ней ухаживали дачные гимназисты и даже один малорослый, но коренастый кадетик в холщовой косоворотке с красными погонами, который называл Аллочку столичной штучкой.

...Она рассказывала о петербургской жизни и о своем отце, военном враче, известном рентгенологе... Она рассказывала, что когда папа и мама ездили в Мариинский театр на балет или на оперу, то папа переодевался в штатский костюм, потому что все офицеры, присутствующие в Мариинском театре на спектакле, обязаны были по приказу военного коменданта стоять в антрактах у своих кресел в партере, повернувшись лицом к царской ложе, на тот случай, если государь император появится в театре, что бывало довольно часто...

Все предвещало Аллочке счастливую жизнь. Уже после революции, в двадцатых годах, она неожиданно вышла замуж по любви за молодого остзейского захудалого барончика, бывшего лицеиста фон Воюцкого, не тронутого революцией.

Михаил Никанорович, бывший Миша Синайский, к тому времени давно уже ставший петербургским, а потом и петроградским жителем, отзывался об Аллочкином муже, остзейском барончике, с иронией, удивляясь выбору Аллочки: красавчик, белоподкладочник, прибалтийский типчик с римским носом, прямым пробором до самого затылка, из числа тех, что в большом числе завелись в Санкт-Петербурге, наехав туда еще во времена Петра Великого.

Считалось, что брак этот очень удачен, и если бы не революция, то правнучка вятского соборного протоиерея стала бы баронессой фон Воюцкой. Но случилось все по-другому: неожиданно, непонятно и трагично.

Однажды Аллочка утром не проснулась. Она лежала неподвижная, в ночном кружевном чепчике, с закрытыми глазами и губами еще более белыми, чем ее гипсово-белое лицо, ничего уже не выражающее. На ночном столике стоял стакан с наполовину выпитой водой, а рядом открытая опустошенная коробочка от сильного снотворного. По комнате метался в ночной пижаме фон Воюцкий.

Аллочка была мертва и уже похолодела. Она не оставила никакой записки. Причина ее самоубийства так до сих

пор осталась невыясненной. Некоторые считали, что это случилось, как тогда было принято говорить, на романической подкладке.

Михаил Никанорович считал виновником фон Воюцкого.

Но, как говорится, горе не приходит одно. Вскоре умер отец Аллочки доктор Виноградов. Как многие рентгенологи того времени, он умер от рака, оставив жену и сына Тосю одних в большой опустевшей квартире недалеко от Невского проспекта.

Невский проспект уходил прямой перспективой пятиэтажных домов, начинаясь от Николаевского вокзала, от конной статуи императора Александра III, сидящего на толстой лошади и самого толстого, в кубанской казачьей барашковой шапочке, с грубым лицом пьяницы — железнодорожного кондуктора или городового.

Про этот памятник работы Трубецкого ходила эпиграмма:

«Стоит комод. На комоде бегемот. На бегемоте обормот».

Петрокоммуна приделала к памятнику доску со стишком Демьяна Бедного:

«Твой сын и твой отец при жизни казнены» — и т. д.

Невский проспект тянулся до самого Адмиралтейства с его золотой иглой, на вершине которой в тучах плыл кораблик флюгера. А посередине перспективы Невского проспекта стояла пожарная каланча с коромыслом, на которое иногда поднимались черные шары пожарной тревоги.

У подножия пожарной каланчи Петрокоммуна поставила бюст Лассаля, высеченный из светлого гранита: декоративно повернутая голова на длинной шее. Некоторое время романтический революционный бюст украшал Невский проспект, но вскоре был снят, так как историки открыли подозрительную связь Лассаля с Бисмарком.

Михаил Никанорович говорил, что в его время в Петрограде на Невском проспекте еще была деревянная торцо-

вая мостовая, заглушавшая грохот уличного движения. Во время наводнений деревянные торцы всплывали.

...«И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен»...

Овдовевшая Надежда Никаноровна поступила медицинской сестрой в госпиталь, где работал ее покойный супруг, а ее сын Тося, еще совсем юный, бежал через финскую границу, как тогда говорили, «по ту сторону щели». Больше о нем ничего не было известно.

После убийства Кирова Надежда Никаноровна попала в черный список и была выслана из города, и след ее затерялся в каком-то глухом сибирском городе, а может быть, и на Дальнем Востоке, куда ее вторично занесла судьба, но уже не на пароходе добровольного флота, под звуки военного оркестра, как некогда, в счастливые годы ее замужества и материнства.

Все эти события, как бы размытые временем, в один миг возникли в воображении двоюродных братьев из длинной, как жизнь, госпитальной стены, вдоль которой они продолжали идти, стены Пироговского госпиталя, исцарапанной, полинявшей от времени.

— Можно подумать, что злой рок висит над семьей Синайских,— сказал Михаил Никанорович.

В эту минуту ему представилась Аллочка, ее необъяснимое самоубийство и ее муж с прямым пробором до самого затылка, его медно-красные волосы, его пенсне со стеклами без ободков, его римский нос питерского красавчика.

— Представь себе, Саша,— сказал Михаил Никанорович с тяжелой одышкой,— совсем недавно я встретил этого типа — и где же, ты думаешь? На бульваре возле «Отрады». Каким образом уцелел и как он очутился в Одессе — непонятно. Он шел хромая, старый, седой, опустившийся, одетый в какое-то старье. Но я его узнал, остановил и сказал: «Здравствуйте, фон Воюцкий». Он посмотрел на меня и тоже узнал. У него на продавленном носу сидело все то же пенсне со стеклами без ободков. Одно стекло было с трещиной. Он сердито, но испуганно посмотрел на меня и сказал ворчливо: «Не фон, не фон, а просто Воюцкий. Никакого фона больше нет». С этими словами он повернулся ко мне потертой спиной и заковы-

лял дальше, опираясь на палку с резиновым наконечником. Кажется, у него уже начиналась перемежающаяся хромота. Несчастная Аллочка!..

Семья старшего Синайского, Никанора Никаноровича, была зажиточна, даже богата, но вдруг обеднела, стала почти нищей по причине тяжелой болезни, а вскоре и смерти Никанора Никаноровича.

...Госпитальная стена все продолжалась и продолжалась, бесконечно длинная, как бы ведя двоюродных братьев в туманное прошлое, в то тягостное время, когда семье Никанора Никаноровича пришлось расстаться с большой казенной квартирой. Их переселили в маленькую темную квартирку рядом с подворотней.

Тень нищеты, почти всегда связанная с тенью смерти, упала на семейство старшего Синайского. Его кончина не была неожиданностью. Он умирал от паралича, развивавшегося не слишком быстро, как бы даже незаметно. Никанор Никанорович постепенно сходил с ума. И вот в один ужасный день за ним приехала больничная карета-фургон. На глазах у мальчиков два санитара в грубых халатах и солдатских сапогах вынесли полуодетого Никанора Никаноровича из дома на улицу. Старший Синайский порывался вырваться из рук санитаров. У него было истощенное лицо с неряшливой бородой и веселые глаза. Он неестественно странно улыбался блаженной улыбкой, размахивал руками, как бы дирижируя неким церковным хором, и громким голосом пел «Со святыми упокой!».

Уличные прохожие останавливались, глядя на это страшное зрелище.

Невозможно было представить, что еще сравнительно недавно Никанор Никанорович с картами в руках сидел за ломберным столом в форменном сюртуке, в туго накрахмаленной сорочке, в манжетах с золотыми запонками и орденом святой Анны на шее.

Вскоре Никанор Никанорович скончался в больнице. Для его семьи наступили тяжелые дни. Все это легло на плечи его жены, которой нужно было кормить и воспитывать детей.

Судьба вдовы покойного была странной. Она была швейцарской француженкой из местечка Веве на берегу

Женевского озера, которое она называла Ляк-Леман, недалеко от знаменитого Шильонского замка и в виду горной альпийской гряды Данде-Миди, что по-русски значило «зубы полудня». Девичья фамилия ее была Обржей. Она была девушкой из фермерской семьи местных виноградарей.

Выйдя замуж за русского, сына вятского соборного протоиерея, она приняла православие и сделалась госпожой Синайской. Ее звали Зинаида Эммануиловна.

Как же все это произошло? А очень просто, вполне в духе девятнадцатого века, может, даже не без влияния романов Жорж Занд, которые еще в то время читали.

Ее брак с Никанором Никаноровичем явился следствием курортного романа. Они познакомились в Крыму. Она служила бонной-воспитательницей в богатом русском семействе, приехавшем на виноградный сезон на Южный берег Крыма.

Швейцарские девушки считались отличными гувернантками и компаньонками. Они охотно приезжали в Россию, с тем чтобы там заработать себе на приданое.

Никанор Никанорович, в то время еще довольно молодой, красивый педагог, проводил свой летний отпуск в Крыму, до которого от Одессы было рукой подать. Он был очарован впервые им увиденными крымскими красотами: розовыми скалистыми горами, пламенно-синим морем, темными веретенами кипарисов над плоскими кровлями татарских саклей, деревенскими небольшими мечетями, виноградниками Массандры, проводниками верхом на лошадях, сопровождающими приезжих русских амазонок в цилиндрах с вуалетками...

Остальное нетрудно представить:

...красивый педагог в чесучовом сюртуке, в котором уже трудно было увидеть черты бывшего вятского семинариста...

...швейцарская девушка в свои двадцать лет, в белой войлочной курортной шляпе на резинке, была еще по-деревенски свежа и весьма недурна. Ею любовались крымские туристы, когда она — такая скромная и такая милая — шла по ялтинской набережной, ведя за ручки двух своих воспитанниц в воздушных платьицах, из-под которых высовывались кружевные панталоны с шелковыми ленточками...

Они познакомились.

Сломанный зуб Ай-Петри на фоне высокого крымского неба, водопад Учан-Су, мраморные львы воронцовского дворца, лунная ночь в Гурзуфе, татарский шашлычок на коротеньких палочках и розовый мускат сделали свое дело. Он угадал в ней любящую, верную супругу и хорошую хозяйку. Она увидела в нем прекрасного русского мужчину из хорошей древней религиозной семьи соборного протоиерея, которого считала едва ли не епископом, князем церкви.

В особенности привлекал Никанора Никаноровича ее мило ломаный русский язык, ее французская картавость, называвшаяся грассированием. От картавости она не избавилась до самой смерти.

Ее галльский нос в то время не был еще особенно велик, а веснушечки делали его прелестным французским носиком, хотя и придавали ее девичьему лицу несколько мужские черты швейцарских виноделов.

В те времена жениться русскому господину на иностранной гувернантке, вероятно, считалось не слишком приличным, хотя в некоторых случаях и допускалось.

Они вступили в брак по взаимной любви. Она оказалась действительно верной, любящей женой и прекрасной хозяйкой, державшей дом в идеальном порядке. Она сама ходила на базар, вполне резонно не доверяя кухарке. Она родила Никанору Никаноровичу много детей — мальчиков и девочек. Миша был последним, самым младшим. Он появился на свет, когда Зинаида Эммануиловна была в летах, и она казалась маленькому Мише почти старухой. Такое же впечатление она произвела на своего племянника, двоюродного брата Миши,— на Сашу Синайского: пожилая тетка, француженка, произносившая вместо «помидоры» «памадоры».

Она громко торговалась на Привозе с крикливыми хохлушками. Она носила шерстяную мантилью в черно-зеленую клетку, и на ее мужском носу прочно сидело основательное пенсне в черной оправе, со шнурком, заложенным за ухо. Сквозь стекла пенсне зорко смотрели вороньи глаза, что делало ее лицо строгим, даже злым, хотя на самом деле она была очень добрая женщина, услужливая, готовая любому ближнему сделать добро как истинная христианка. Она всей душой приняла православие, аккуратно ходила в церковь, исполняла все церковные обряды, по субботам зажигала возле иконы лампадку, а в вербное воскресенье

непременно покупала пальмовые ветки, заменявшие традиционные в России вербы.

Пальмовые ветки привозили из Палестины на пароходах и продавали на Афонском подворье против вокзала. Их обычно закладывали за иконы, и они стояли там целый год рядом с бутылочкой со святой водой.

Пальмовые листья, еще не вполне распустившиеся, напоминали крепко сложенные бумажные китайские веера бледно-зеленого цвета. При свете лампадки они отбрасывали на потолок легкие тени.

«Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест — символ святой... Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой».

Ветка Палестины за образом — и так волшебно изображенная Лермонтовым — как бы вносила в семью мир и отраду.

Зинаида Эммануиловна никогда не забывала заложить пальмовую ветку за икону, некогда привезенную Никанором Никаноровичем из Вятки в Одессу.

Легко привыкнув к обрядам православной церкви, Зинаида Эммануиловна никак не могла привыкнуть к русскому языку. Она выговаривала русские слова на французский лад. Она наделила всех своих детей какой-то французско-швейцарской прелестью: золотистым оттенком русых вятских волос, живостью речи, энергией. Ее дети почти все отличались какой-то не вполне русской красотой, особенно девочки — старшая, Надежда, и средняя, Елизавета,— каждая в своем роде. Мальчики тоже удались на славу: старший, Константин, лицом был совсем молодой красивый француз, весельчак.

...Закрученные усики, игривые глаза в пенсне отдавали чем-то парижским...

Младший, Миша, в детстве был еще вполне русским мальчиком, но впоследствии в его лице появилось нечто западноевропейское, а к пожилому возрасту он стал похож на французского академика, одного из «бессмертных».

Кроме младшей дочери Лели, умершей в одиннадцать лет от костного туберкулеза, все дети были здоровы.

Смерть Никанора Никаноровича Зинаида Эммануиловна пережила тяжело, но мужественно, не проявляя своего горя. Она заказывала гроб, нанимала похоронных служащих, так называемых мортусов, в треугольных шляпах, составляла похоронные объявления для газет, поправляла на покойнике сюртук, расчесывала его волосы, сама варила рис для погребального колева, обкладывала его горку на блюде разноцветными мармеладками и посыпала сахарной пудрой, а потом, уже на кладбище, раскладывала большой разливательной ложкой это колево в рваные шапки кладбищенских нищих.

Она надела наспех скроенное и сшитое на живую нитку черное траурное платье и траурную шляпу с пасмурной вуалью и надела на рукава своим детям креповые повязки.

Двоюродные братья Миша и Саша находились среди взрослых Синайских в холодной кладбищенской церкви, где на паперти у открытых дверей стояли зловеще-черные носилки с длинными ручками. Пел хор семинаристов. Знакомые священники в черно-серебряных ризах ходили вокруг высоко поставленного гроба, размахивая кадилами, откуда валили клубы лилового дыма росного ладана, покрывая покойника.

Удручающе редко звучали церковные колокола, наводя на мальчиков ужас.

В изголовье гроба стояла Зинаида Эммануиловна. Покойник лежал глубоко в гробу, откуда виднелись высоко сложенные на груди костлявые кисти рук с кипарисовым крестиком, вложенным в сплетенные пальцы.

...И хорошо причесанная лысоватая голова с хрящеватым носом и высоким лбом, отражавшим язычки свечей в высоких подсвечниках с четырех сторон гроба.

Все это называлось панихида, а за нею следовали еще более удручающие слова — «вынос тела». Вынос уже не человека, а только его уже никому не нужного мертвого тела, одетого в сюртук и специальные, наскоро стаченные туфли, так называемые босовики.

Оказалось, что Никанор Никанорович не успел по годам выслужить пенсию. Семья осталась без средств. Зинаида Эммануиловна стала энергично действовать. Ей удалось

выхлопотать через консисторию небольшое пособие — эмеритуру.

Жить большой семье на маленькую эмеритуру стало трудно. Вся грузная мебель с трудом разместилась в маленькой квартире — в той же старой семинарии,— куда переселилась семья покойного. Еще надо было разместить детей, уже достаточно взрослых.

Как это ни странно, но бодрости у Зинаиды Эммануиловны прибавилось еще больше.

Слово «эмеритура» она произносила совершенно по-французски, так же как слово «консистория». Что же касается недуга, от которого скончался ее муж — нервно-периферического паралича,— то она эти слова произносила не только вполне по-французски, особенно сильно грассируя, но даже с некоторой гордостью, как будто бы нервно-периферический паралич был чем-то вроде высокого чина, например действительного статского советника.

— Никанор Никанорович скончался от нервно-периферического паралича,— объясняла она знакомым значительно и с большим достоинством.— Я выхлопотала через консисторию эмеритуру,— что звучало у нее как бы вполне по-французски.

Все это было так давно!

...Теперь по другой стороне улицы виднелись корпуса некогда бывшего «Общества квартировладельцев», выстроенные незадолго до первой мировой войны. В одном из этих корпусов когда-то жил вдовец Николай Никанорович Синайский со своими двумя сыновьями.

Новенькие, нарядные корпуса в стиле модерн теперь постарели, кое-где штукатурка облупилась, и в них уже поселилось множество незнакомых семейств, вытеснивших прежних жильцов, и дома эти уже назывались ЖЭК.

— А ты помнишь, Саша, то время, когда здесь вообще не было никаких домов и мы с тобой, забредя на окраину города, ловили лягушек и за нами увязался тогда совсем еще маленький Жорочка? Он носил за нами банку с головастиками. Теперь уже никого не осталось — ни твоего отца, ни твоего младшего брата Жорочки. Всех унесло время. Только мы с тобой, последние Синайские, по счастливой случайности выжили, хотя и были все время на грани уничтожения.

После столь длинной речи Михаил Никанорович оста-

новился, для того чтобы передохнуть. Он вынул из кармана халата пробирочку, подумал, но не стал высыпать на ладонь белые крупинки: обошлось.

Они стояли под старой уличной акацией, погруженные в воспоминания. Может быть, они вспомнили гимназические годы и вербное воскресенье, когда они гонялись за выходящими из церкви гимназистками и хлестали их по касторовым шляпкам пальмовыми ветками, весело выкрикивая общепринятое:

— Не я бью, верба бьет!

Ветка Палестины заменяла традиционную вербу.

После смерти Никанора Никаноровича семья его распалась. Зинаида Эммануиловна вместе со старшим сыном Константином переехала в Петербург на жительство к Наде. Костя, выйдя из университета, перевелся в Петербургскую военно-медицинскую академию, где с увлечением слушал лекции великого Павлова по физиологии.

К стройной фигуре Кости очень шел мундир Военно-медицинской академии, сначала с погонами нижнего чина, а впоследствии и с серебряными офицерскими военного врача. Он был отправлен для прохождения службы в Хабаровск, где след его затерялся.

Дальний Восток в те времена был для России примерно тем же, чем еще раньше Кавказ, о котором пели:

«Не уезжай, голубчик милый, на тот погибельный Кавказ».

Средняя сестра, Елизавета, или попросту Лиза, осталась с Мишей в Одессе. Она сделалась хозяйкой маленькой квартиры осиротевших Синайских.

Миша учился в той самой гимназии, куда вскоре поступил и его двоюродный брат Саша. Они учились в разных классах и встречались на переменках в широком коридоре, на всю жизнь запомнившемся красивыми метлахскими плитками пола, по которому можно было с разбегу скользить на каблуках с маленькими подковками. Больше всего они любили этот просторный коридор, куда выходили стеклянные двери классов и откуда раздавался длинный звонок, извещавший об окончании урока и о начале переменки.

По другую сторону коридора тянулся ряд высоких окон. За ними виднелась бедная улица с белыми, уже облетевшими акациями и над крышами двухэтажных домов безрадостное ноябрьское небо, предвещавшее длинный учебный год с двойками и записями в кондуитный журнал.

В начале декабря в гимназию приходили стекольщики замазывать окна. Один из стекольщиков появлялся в коридоре. Шлепнув на подоконник увесистый ком замазки, мужик в холщовом фартуке с нагрудником и в сапогах принимался за работу. Гимназисты, выбегавшие на переменке из классов, теснились возле него. Даже всегда угрюмый классный надзиратель как завороженный следил за действиями стекольщика...

С тех пор прошло больше полувека, а двоюродные братья и сейчас, идя вдоль госпитальной стены, ясно видели все подробности замазки гимназических окон.

...Стекольщик отдирал от оконных рам прошлогоднюю, засохшую замазку и, раскатав между ладонями комочек свежей замазки, волшебным движением стамески вмазывал ее в щель оконной рамы. Если же требовалось заменить разбитое или треснувшее оконное стекло, то начиналось уже подлинное волшебство мастерства: стекольщик вытаскивал из своего решетчатого деревянного рабочего ящика новое стекло, еще зеленоватое, покрытое опилками, а затем, положив на подоконник, проводил по нему вдоль линейки алмазиком. Раздавался пронзительный, какой-то режущий, очень зимний звук, и стекольщик отламывал от стекла лишнюю полоску, чем-то напоминающую внутреннюю полоску максимального термометра.

Гимназия — все ее три этажа — была насыщена запахом замазки. Под ногами хрустели полоски стекла. Гимназисты мяли в руках замазку, лепили из нее разные фигурки, на которых оставались отпечатки пальцев.

Однажды из Петербурга пришла телеграмма. В то время телеграммы приходили очень редко и почти всегда содержали в себе нечто зловещее.

Миша Синайский на некоторое время исчез из гимназии, а когда снова появился на переменке в коридоре, то на рукаве его курточки Саша увидел траурную креповую повязку. За время своего отсутствия Миша так изменился, что его трудно было узнать. Он вдруг как-то сразу повзрослел. Под глазами легли синие круги. Видно было, что он

много плакал. Он вернулся из Петербурга с похорон своей матери Зинаиды Эммануиловны, умершей от воспаления легких. Ее доконал сырой петербургский климат.

Двоюродные братья обнялись и заплакали. Они представили себе мертвую Зинаиду Эммануиловну, похороненную в сырой могиле болотистого петербургского кладбища. Миша стал круглым сиротой — без отца и без матери. Сознание этого так поразило Сашу, что он долгое время не мог примириться с мыслью, что все его двоюродные братья и сестры Синайские сделались круглыми сиротами, чего в их роду еще не бывало.

Мишина сестра Лиза надела черное шерстяное платье с закрытым воротом и черную шляпку с траурной вуалью, но по-прежнему оставалась прелестной и цветущей, хотя и побледнела. Она не была так безукоризненно красива, как ее старшая сестра, петербургская Надя, но в ее темных, поистине собольих бровях, в ее небольших хорошеньких ручках с розовыми пальчиками, в ее каштановых волосах со швейцарской рыжеватостью было много прелести, которую не портило слишком южнорусское произношение и простонародные интонации, свойственные Новороссийскому краю. Она была трудолюбива и хозяйственна, как и ее покойная мать. Ей приходилось очень трудно. Для того чтобы содержать себя и своего брата Мишу, она бегала по грошовым урокам, при этом аккуратно посещая лекции на курсах, а также брала на дом заказы на кройку и шитье женских и детских платьев: у нее был хороший вкус.

Теперь ее опорой стал брат покойного отца Николай Никанорович Синайский, отец Саши, единственный оставшийся в живых из трех сыновей вятского протоиерея. Она называла Николая Никаноровича дядя Коля.

Рано овдовевшему дяде Коле было нелегко воспитывать двух сыновей.

В обычае было овдовевшему мужу с детьми на руках жениться вторично. Но Николай Никанорович принадлежал к числу однолюбов и до конца жизни оставался верным покойной жене. В этом он следовал примеру православных священников, которым было по церковным законам запрещено вступать вторично в брак.

Он любил осиротевших племянников и племянниц старшего Синайского как родных детей и чем мог помогал Лизе и Мише. Лиза его боготворила и считала вторым отцом. Он

и вправду был для нее и для Миши вторым отцом. Лиза советовалась с дядей Колей во всех затруднительных случаях и всегда получала не только моральную поддержку, но также по мере возможности и материальную.

Однажды Лиза пришла к Николаю Никаноровичу и, не снимая шляпки, села в кресло в гостиной под фикусом. Ее щеки заливал румянец. На глазах стояли слезы. Но это были слезы счастья. Она долго молчала, не в силах выговорить ни слова. Николай Никанорович понял, что Лиза хочет сказать что-то очень важное, но ей трудно было преодолеть смущение и она стеснялась говорить при мальчиках, возившихся в гостиной: старший, гимназист Саша, таскал младшего Жору, на опрокинутом стуле, что казалось маленькому Жоре поездкой на коне.

Отец отправил их спать и закрыл за ними дверь.

— Ну, Елизавета, говори, что случилось? — сказал Николай Никанорович и уселся против племянницы на стул.

— Дядя Коля, я хочу с вами посовестоваться. Мне сделали предложение...

...И через некоторое, не слишком продолжительное время, ушедшее на обычные свадебные приготовления, в той же самой маленькой гостиной Лиза в подвенечном платье, с фатой на убранной цветами голове мягко опустилась на колени перед своим дядей Колей, который держал в руках образ.

— Дядя Коля, ну скажите мне что-нибудь...

Николай Никанорович поцеловал ее в склоненную голову и сказал:

— Дорогая Лизочка, если ты со своим будущим супругом хочешь жить во взаимном счастье и благополучии, то запомни одно: во всем уступайте друг другу. Это самое главное в семейной жизни.

В его голосе прозвучало нечто пасторское. Он немного помолчал, а потом дрогнувшим голосом проговорил:

— Мы с моей покойной женой, матерью Саши и Жорочки, а твоей тетей, всегда и во всем уступали друг другу. И мы были счастливы.

И слезы показались у него на глазах. Одна слезинка поползла по щеке, по бородке. Он справился с волнением, вздохнул и благословил Лизу, трижды осенив ее крестным знамением старой семейной вятской иконой Иисуса Хрис-

та, еще, может быть, новгородского письма, в почерневшем серебряном окладе.

Лиза, вся пунцовая от волнения, поцеловала его руку с обручальным кольцом, уже въевшимся в морщинистую кожу пальца.

У ворот дома стояла наемная карета, куда две подружки-курсистки, нарядно одетые, посадили невесту, а на передней скамеечке против нее устроили одетого в новенький бархатный костюмчик свадебного мальчика, роль которого исполнял пятилетний Жорочка, изо всех сил прижимавший к груди икону. Он должен был по обычаю нести ее в церкви перед невестой, а потом положить на столик, покрытый парчой.

Жених прискакал на лихаче вслед за невестой. Они встретились на паперти и вдвоем — прекрасные, молодые и смущенные — пошли к алтарю, а впереди них шагал в своих фильдекосовых чулках и скрипящих ботинках маленький Жора с иконой, прижатой к груди.

Мальчик был так взволнован своей ролью, так горд, что ему впервые в жизни довелось сначала ехать в карете, а потом среди нарядных гостей, лампад и свечей идти по ковровой дорожке посреди церкви, где уже гремел хор семинаристов, что, подойдя к алтарному столику, он торопливо положил на него икону, но не ликом вверх, а ликом вниз.

Подбежавшая подружка невесты торопливо перевернула икону ликом вверх. Все вокруг так и ахнули, хотя сделали вид, что ничего не случилось. Но уже ничего нельзя было поправить. Икона, положенная ликом вниз, была ужасной приметой.

Обряд бракосочетания — вернее, не обряд, а таинство — прошел гладко и даже весело. Курсистки и студенты создавали атмосферу молодости. Молодые голоса хора звучали радостно. Все вокруг жениха и невесты было молодо. Даже венчавший их священник оказался совсем молодым, лишь недавно принявшим сан. Но моложе и прекраснее всех казались жених и невеста, как бы созданные друг для друга.

Жених в парадном студенческом синего сукна мундире с твердым стоячим воротничком, статный, счастливый, с черными напомаженными волосами, расчесанными на косой ряд, смуглолицый красавец с молодыми шелковистыми

усиками, грек по национальности, стоял рядом с Лизой, то и дело поворачивая к ней хорошо выбритое, даже немного голубоватое лицо с немного раздвоенным подбородком, как бы каждую минуту желая удостовериться, что она тут, рядом, никуда не делась.

Студенты-шаферы в белых перчатках высоко держали над женихом и невестой венцы, а жених все время норовил стать на носки, стараясь, чтоб венец наделся ему на голову, что очень веселило невесту, и она тоже вставала на носочки атласных туфелек, желая по примеру своего нареченного также надеть венец на головку. У жениха было не совсем обычное имя Пантелеймон, и Лиза то и дело шептала ему на ухо, чтобы священник не услышал:

— Пантелей, веди себя прилично, не забывай, что ты в церкви.

...Полураспустившаяся роза в фате утреннего тумана...

Фамилия Пантелея была Амбарзаки, что ничуть не портило, а, наоборот, придавало ему некоторую эллинскую прелесть.

На глазах у всех при звуках церковного хора Лизочка Синайская превращалась в мадам Амбарзаки.

Когда по обряду молодожены выпили из плоского серебряного сосудика по глотку церковного красного вина кагора, обменялись кольцами, а потом поцеловались, было сразу заметно, что это далеко не в первый раз. Дружки и подружки насилу удержались, чтобы не зааплодировать, а молодой священник погрозил пальцем, улыбаясь в свою золотистую, еще не отросшую как следует бородку.

Свадебный пир закипел в маленькой квартирке невесты. Дядя Коля подарил Лизе на свадьбу сто рублей, взятых им в кассе взаимопомощи епархиального училища, где он числился в штате. Именно на эти деньги, по тому времени весьма значительные, Лиза справила небольшое приданое и устроила свадебный пир. Двоюродные братья впервые попали на подобное торжество. Среди взрослых гостей они чувствовали себя стесненно в будничной гимназической форме, а парадных мундирчиков у них не было.

Стараниями жениха и невесты маленькая запущенная квартирка преобразилась.

Мать молодого супруга мадам Амбарзаки, по имени Миропа Григорьевна, приехала на пароходе из Греции на свадьбу сына. Двоюродные братья с большим любопытством и даже не без некоторого страха исподтишка смотрели на величественную гречанку в нарядном шелковом платье с рукавами буф и массивной золотой цепью на шее. Сначала гречанка показалась им сердитой и очень недовольной, что ее сын Пантелей женился на их Лизе. Но вскоре оказалось, что, несмотря на всю свою величественность и даже небольшую усатость, гречанка очень добрая и даже веселая старушка. Она от всей души расцеловала Лизу, назвала ее дорогой своей дочкой и подарила ей ожерелье из крупных розовых кораллов, а своему сыну Пантелею две вещицы, только что вошедшие в моду во всем цивилизованном мире: безопасную бритву «Жиллетт» в футляре из крокодиловой кожи и вечную ручку с золотым пером «Монблан». Этот элегантный подарок произвел, как тогда принято было говорить, фурор, вызвав бесхитростные остроты вроде того, что теперь у молодого супруга всегда будет идеально выбритое лицо и он наконец перестанет колоть щечки своей милой супруги, а также будет аккуратно записывать вечной ручкой вечные хозяйственные расходы.

Саше и Мише мадам Амбарзаки подарила по коробке фиников. На коробках были цветные картинки — пальма и верблюд на фоне пирамид.

По мнению двоюродных братьев, такие подарки могла сделать только богатая женщина. Она и вправду оказалась богата. Некогда ее покойный муж держал в Одессе крупный колониально-бакалейный склад, пользовавшийся хорошей репутацией. Амбарзаки разбогатели.

Мадам Амбарзаки недурно говорила по-русски, исповедовала, как все греки, православие и считала Россию своей второй родиной. Ее предки принадлежали к знаменитой гетерии, основавшейся в Одессе и ведшей борьбу с турками за освобождение Греции от ига Османской империи. У нее в квартире в Афинах на стене висели портреты Байрона и Пушкина. Она пожелала дать своему сыну русское образование, определила его в Новороссийский университет и была рада, что сын ее женился на русской девушке из духовного рода, родной внучке соборного протоиерея и дочке статского советника, инспектора духовной семинарии.

Во всех комнатах горели свечи и керосиновые лампы. Листья фикусов, вымытые водой с мылом, блестели. На раскрытых ломберных столах была расставлена закуска для ужина а-ля фуршет.

Окруженная молодежью, пожилая гречанка ходила по квартире, доброжелательно осматривая обстановку. Молодой супруг повел ее в дальнюю комнатку, где некогда жила покойная Леля. Здесь была устроена спальня новобрачных и выставлено на всеобщее обозрение приданое: ночные кружевные сорочки, множество подушек и думок в наволочках из голландского полотна, ночные туфельки на гагачьем пуху. На двуспальной кровати ярко алело стеганое пуховое одеяло с перламутровыми пуговичками для пододеяльника. В углу перед образом теплилась лампадка, и тень полузасохшей пальмовой ветки, сохранившейся с прошлого вербного воскресенья, мирно лежала на потолке.

Миропа Григорьевна перещупала все подушки и осталась довольна. Она перекрестилась на образ и сказала:

— Дети мои! Любите друг друга! И пусть у вас всегда за образом будет пальмовая ветка, символ мира и тишины.

Молодой муж поцеловал руку своей матери в кружевных митенках, а затем обнял за плечи молодую жену и, похлопав ладонью по пуховому одеялу, до рези в глазах яркому, игриво заметил:

— Здесь будет у нас с Лизочкой поистине райский уголок.

За что получил от смутившейся Лизочки легкий ласковый шлепок по губам.

Двоюродные братья покраснели, как бы прикоснулись к какой-то не вполне приличной тайне.

...всей компанией гости во главе с новобрачными были приведены в ванную комнату с дровяной колонкой, где в цинковой ванне лежало несколько златогорлых бутылок, заваленных кусками искусственного льда. Это было французское шампанское «Редерер», столь же модное, как бритвы «Жиллетт», вечные ручки «Монблан» и аэроплан «Блерио»...

Мальчики уже предвкушали хлопанье пробки, о чем так прекрасно было сказано в «Евгении Онегине», но — увы! — пробки полетели в потолок без них, так как гимназистов отправили спать. Однако до красного мороженого, специально для свадебного ужина заказанного в кондитерской Дитмана, они все-таки досидели. Каждому досталось по пять шариков, да еще потом по четыре, которые они выпросили у счастливой молодой супруги. Так что кроме фиников, они наелись дитмановского мороженого до отвала, едва ли не до ангины. Они доедали мороженое уже под звуки матчиша, который наяривал один из шаферов-студентов с атласным бантом на рукаве, не жалея пожелтевших клавишей разбитого пианино, перешедшего теперь в собственность молодой мадам Амбарзаки, бывшей Лизочки Синайской. Затем все пели хором студенческие куплеты:

«Ели картошку, пили квас, что будет с нами через час? Воображаю! Воображаю!»

Под этот рефрен «воображаю!» двоюродные братья уехали на последней конке ночевать к Саше Синайскому.

Семейная жизнь молодых Амбарзаки началась весело и счастливо. Ничто не предвещало беды, предсказанной иконой, положенной ликом вниз. О неловком поступке маленького Жоры забыли или, во всяком случае, не придали ему никакого значения...

Миропа Григорьевна выдавала сыну ежемесячно по двести рублей, сумму по тому времени громадную. Молодые наняли квартирку из двух комнат, не желая оставаться в старой семинарии. Они обставили свою новую квартирку в стиле модерн, а летом вместе с семьей Николая Никаноровича и братом Сашей поселились невдалеке от города, на так называемом Сухом лимане, в деревне Александровке.

Сухой лиман был вовсе не сухой, а являлся заливом, отделенным от моря белоснежной песчаной косой, куда во время сильного прибоя закрученные в трубы как бы зеленостеклянные волны вместе с языками хрупкой белоснежной пены выбрасывали к босым ногам двоюродных братьев редкие ракушки чертовы пальцы, морских конь-

ков, винные пробки с проходящих пароходов, обесцвеченные лимонные кружки и маленьких медуз, таявших на солнце.

Со времени свадьбы прошло уже года два или три, а супруги были так же безоблачно счастливы. Пантелей оказался не только верным, любящим мужем, но также прекрасным родственником. Он любил искренно и нежно всех Синайских, почитал как отца Николая Никаноровича, но в особенности привязался к маленькому Жоре, уже к тому времени сильно подросшему.

Все мальчики обожали веселого, компанейского Пантелея, а Жора не отставал от него ни на шаг. Они были неразлучны. Жора загорел и был очень хорош со своей челочкой, наголо остриженным затылком и янтарно-карими глазами.

Жили в просторной мазанке под камышовой крышей, нанятой на лето у рыбака, переехавшего в курень, где у него хранились сети и весла.

Обед готовила Лиза на керосинке со слюдяным окошечком, сквозь которое виднелись синие язычки пламени. Лиза еще больше похорошела, расцвела уже не девичьей, а вполне дамской красотой, полненькая, веселая, с небольшими веснушками, выступившими летом на ее носике. Характером она пошла в свою покойную мать Зинаиду Эммануиловну: сама покупала на местном базарчике овощи и свежую рыбу, торговалась с хохлушками и очень мило называла лук цибулей, а кукурузу пшенкой.

Мальчики ходили полуголые, и даже Николай Никанорович сбросил свой учительский сюртук и надел малороссийскую рубаху-косоворотку с вышивкой, сделанной его покойной супругой, когда она была еще его невестой. По народной традиции невеста вышивала своему жениху рубаху. Косоворотка сделала Николая Никаноровича более молодым и как-то более простонародным, вятским. Он ходил тоже босиком.

Обычно купались в лимане. Его неподвижная густо-синяя вода, нагретая солнцем, была так перенасыщена солью и так тяжела, что человеческое тело в ней не тонуло, а само собой держалось на поверхности. На поверхности воды можно было лежать не двигаясь, распластавшись, как на полу.

Высокий красавец Пантелей и загорелый мальчик Жора, оба в полосатых купальных штанишках, ходили на песчаную косу и купались в море. Пантелей учил Жору плавать и нырять с открытыми глазами. Волны обдавали их пеной.

Лето стояло на редкость знойное. Новороссийская степь простиралась до самого мутного от зноя горизонта. Оттуда веяло жаркими запахами диких трав — чебреца, шевуницы, полыни. Иногда оттуда начинал дуть суховей. Но близость моря смягчала одуряющий жар.

Миропа Григорьевна спасалась от жары на одном из островов Эгейского моря, сидя на веранде своей дачи под тентом, ела из блюдечка маленькой серебряной ложечкой лимонное варенье с орехами и запивала его ледяной водой. А вокруг античная лилово-сиреневая синева Эгейского моря, где кувыркались дельфины, на горизонте белели острова архипелага и виден был дым броненосцев, не то французских, не то итальянских, не то немецких — целые эскадры.

Изредка она отправляла открытки в Россию с изображением Акрополя на лаково-лиловом фоне афинского безоблачного неба. Она писала, что скучает без своих русских родственников и опасается, не начнется ли вдруг какая-нибудь война, не дай бог!

Однажды, купаясь в море, Жора заметил на спине Пантелея странное пятно вроде черной родинки, но только гораздо больше, величиной с пятак. Сначала никто на это не обратил внимания. Но пятно стало разрастаться. Оно сделалось какого-то пугающего лиловатого оттенка. Пантелей не чувствовал боли, но какой-то странный зуд. Лиза встревожилась, как бы вдруг почувствовав приближение несчастья. Она решила не откладывая везти Пантелея в город и показать врачу. Пантелей отшучивался, говоря, что это пустяк, из-за которого не стоит нанимать бричку и ехать в город. Все пройдет само собой. Но Лиза вспомнила икону, положенную ликом вниз, и перестала спать. Странное пятно было на спине Пантелея, и он его не видел, а только чувствовал. Лиза принесла зеркало. Пантелей увидел на

своей спине пониже лопаток зловещее большое пятно. Оно испугало Пантелея. Лиза наняла в Александровке бричку и повезла мужа в город.

Прошло больше двух недель, как вдруг к мазанке подъехала бричка, в которой сидела женщина в черном. Суховей, несший вихри жаркой степной пыли, крутил траурную вуаль. Женщина вся была покрыта дорожной пылью. В постаревшем, почерневшем, заплаканном лице трудно было узнать Лизу. Путаясь в юбке, она с трудом слезла с брички и бросилась к Николаю Никаноровичу, вышедшему из мазанки. Босой, с волосами, растрепанными суховеем, он стоял на фоне синего лимана, как на берегу Геннисаретского озера. Лиза бросилась к нему на грудь и зарыдала. Все было ясно.

...Лиза не отходила от умирающего мужа, который жил уже на морфии. Когда наступало временное улучшение, Лиза отлучалась ненадолго из клиники в свою двухкомнатную квартирку, где они с мужем жили так счастливо. Там она падала на колени перед венчальным образом, умоляя спасителя о пощаде. Темный лик богочеловека оставался неумолимо строгим, беспощадным, и рука его с двумя поднятыми вверх перстами оставалась неподвижной, и на темном, древнем челе его лежала легкая тень прошлогодней пальмовой ветки...

Двоюродные братья дошли вдоль госпитальной стены почти до штаба. Штаб этот, во время Великой Отечественной войны разбомбленный немецкой авиацией, был уже восстановлен и напоминал тот штаб Одесского военного округа, каким был в дореволюционное время, а также и во время гражданской войны, когда возле него однажды стояла, припав на сломанное колесо, брошенная деникинцами трехдюймовая пушка, а недалеко на ступенях штаба лежал труп расстрелянного генерала в шинели с красной подкладкой...

...Они остановились на углу, постояли, вспоминая свою жизнь на берегу Сухого лимана, внезапную смерть Пантелея.

— Вот ты, Миша, старый, опытный медик, заслуженный врач,— сказал Александр Николаевич,— как ты думаешь, от какой болезни тогда умер наш Пантелей? Врачи

перерыли медицинские словари, справочники на всех европейских языках — и ничего не выяснили. Никаких упоминаний о такого рода заболевании нигде не находилось.

— Как тебе сказать, Саша. Видишь ли, медицина до сих пор не раскрыла всех тайн человеческих недугов. Еще есть много загадочного. Кто-то из врачей, помнится мне, сделал тогда предположение, что это какая-то неизвестная форма тропического гнилостного заболевания еще библейских времен. Я лично думаю, что этот врач был недалек от истины. Возможно, что Пантелея действительно унесло в могилу какое-то еще до сих пор не исследованное тропическое вирусное заболевание. Не исключено, что это редчайшая форма рака крови, какого-то древнего, может быть, даже добиблейского происхождения. Из глубины Африканского континента вирусы были занесены сначала в воды Верхнего Нила, оттуда в Египет, в дельту Нила, оттуда попали в Средиземное море; может быть, ими оказались заражены морские рыбы, медузы, водоросли, вообще весь средиземноморский планктон. А там уже недалеко до Европы, до архипеллага Эгейского моря, до Греции. А может быть, они были занесены из Малой Азии вместе, например, с пальмовыми ветками... Как знать, какова живучесть этих вирусов, каков инкубационный период их заражения. Через сколько веков они могли попасть в кровь античного человека, передаваться из поколения в поколение, не вызывая никаких болезненных симптомов, и вдруг убить отдаленного потомка античного грека. А что касается истории с перевернутой иконкой, то я, Саша, будучи учеником Павлова и материалистом, считаю это вздором.

— Да, конечно... Но ведь потом погиб и наш Жора, тот самый мальчик, который положил икону ликом вниз.

— Наш Жора,— строго сказал Михаил Никанорович,— погиб как герой, отдав свою жизнь за Родину, когда ему было уже сорок лет от роду.

— Значит, смерть ходила за ним тридцать пять лет, пока не настигла его на Сапун-горе.

— Ты веришь в приметы?

— Приходится.

— Ты, Саша, идеалист, может быть, даже мистик. Вот уж чего я от тебя никак не ожидал!

— Но в таком случае вот ты, ученик материалиста, физиолога Павлова и сам материалист, ответь мне: почему

погиб именно Жора, а мы с тобой, прошедшие две мировые войны и одну гражданскую, остались живы, хотя не избежали ранений? Почему смерть нас не настигла?

— На это я тебе ответить не могу при всем моем материализме,— с легкой усмешкой сказал Михаил Никанорович.— Здесь моя физиология бессильна.

— Но ведь и нашу Лизу смерть тоже не пощадила, правда совсем недавно, но... Почему?

— Ну, она была уже в пожилом возрасте, когда люди редко выздоравливают от сердечно-сосудистых заболеваний.

— Значит, смерть все время гонялась за ней, пока наконец не настигла, хотя и в пожилом возрасте.

— Ах, Саша, неужели ты до сих пор не уяснил себе, что за всеми нами гоняется смерть? Вот, например, и за мной...

Михаил Никанорович прислонился к госпитальной стене. Его губы опять побелели. Он вынул из кармана пробирочку и положил в рот несколько крупинок.

Через некоторое время лицо его порозовело и оживилось.

— Пронесло,— сказал он почти весело.— Знаешь, Саша, пойдем-ка мы лучше обратно в госпиталь. Мне бы не мешало немного полежать.

Они пошли обратно вдоль все той же неимоверно длинной госпитальной стены. И теперь у них с правой руки должны были открыться незастроенные участки, некогда занятые под садоводство Веркмейстера, славившегося до революции своими штамбовыми розами и хризантемами.

Теперь на этом месте возводилось новое здание обкома партии. Туда въезжали грузовики со строительными материалами.

Когда-то давным-давно по Пироговской улице ходили в гимназию Саша Синайский, его младший брат Жора, а их отец Николай Никанорович со стопкой голубых ученических тетрадок под мышкой торопился к Куликову полю, откуда уже на конке ехал на уроки.

Воспоминания о Николае Никаноровиче сопровождали двоюродных братьев, медленно шагавших по Пироговской улице.

Последние годы жизни Николая Никаноровича совпали с концом первой мировой войны, революцией, Брестским миром, немецкой оккупацией юга России и установлением советской власти, которая дошла сюда и окончательно утвердилась лишь на третий год после Октябрьской революции. А до этого времени город переживал постоянные потрясения — шесть или семь переворотов. Власти менялись с быстротой непостижимой.

Немецкая оккупация и никому не понятная гетманщина сменялись петлюровщиной; петлюровщину вышибала молодая Красная гвардия; Красную гвардию сменяли интервенты: высадились со своих военных транспортов отряды британской морской пехоты, которые бегали по улицам, гоня перед собою футбольные мячи, маршировали черные как смола сенегальские стрелки и зуавы в красных штанах и стальных касках — цвет французской оккупационной армии; появились греческие солдаты со своими походными двухколесными фургонами, запряженными ослами и мулами; потом интервенты исчезли; их заменили белогвардейцы — деникинцы со своей контрразведкой, которая расстреливала и вешала ушедших в подполье большевиков; на смену деникинцам ненадолго появились еще плохо организованные части Красной Армии...

...Все требовали фуража, продовольствия, помещений. Штабы занимали гимназии, реальные училища, городские школы. Епархиальное училище, где преподавал Николай Никанорович, было превращено в лазарет.

Николай Никанорович остался без работы и без жалованья. Жить стало нечем. Он стал продавать вещи, но, как это ни странно, на судьбу не роптал. Он считал русскую революцию исторической закономерностью, предсказанной еще декабристами, а также возмездием за прежнюю грешную, неправедную жизнь дворянского общества, купечества и духовенства, постепенно превращавшегося в синодальное чиновничество.

...Однажды во двор дома на Пироговской пришел молодой паренек в застиранной военной форме, в рыжих обмотках и разношенных солдатских башмаках, в фуражке с

ярко-красной новенькой пятиконечной звездой на месте кокарды. Он назвался делегатом воинской части, расквартированной на ночлег в дровяном сарае. Стоя посреди двора, красноармейский делегат обратился к жильцам дома с просьбой одолжить на ночь подушки для красноармейцев.

Это был совсем молоденький парнишка, по виду из мастеровых. Он старался быть как можно более вежливым, деликатным. Офицерская реквизированная шашка с анненским темляком, висевшая у него на богу, совсем не подходила к его деревенской внешности. Видно, ему было строго-настрого приказано политкомом части обращаться с населением вежливо, и он старался изо всех сил умерить свой чрезмерно громкий, несколько петушиный голос.

Никто из жильцов дома, конечно, не откликнулся на его воззвание. Один только Николай Никанорович спустился по лестнице, вынес во двор две подушки и подал их делегату. Парень от неожиданности растерялся. Он никак не ожидал, что кто-нибудь из буржуев откликнется на его вежливый призыв.

— Спасибо, дяденька,— сказал он, беря подушки,— а как же вы сами-то обойдетесь без подушек? Ай вы нам сочувствующий?

— Нет,— строго ответил Николай Никанорович.— Я не сочувствующий, потому что не могу сочувствовать никакому насилию. Но мне больно подумать, что простые русские люди должны будут спать в холодном сарае, на голых досках, да еще без подушек под головой. Ведь они мои братья.

На этом разговор Николая Никаноровича с представителем новой власти закончился. На другой день представитель снова появился во дворе и вернул подушки, выразив Николаю Никаноровичу благодарность от имени красноармейского подразделения, ночевавшего в сарае.

— Хотя вы, гражданин, и не сочувствуете нам, но все-таки спасибо,— строго прибавил он и удалился, презрительным взглядом окинув окна дома, откуда выглядывали испуганные лица жильцов.

Все это происходило лет шестьдесят тому назад, и теперь трудно было представить себе Николая Никаноровича с подушками и паренька, красноармейского делегата,

стоящих посередине того самого двора, мимо которого двоюродные братья проходили.

...Теперь это уже стало одной из легенд революции...

В то время обоих сыновей Николая Никаноровича — старшего, Сашу, уже взрослого молодого человека, прапорщика, и младшего, Жору, еще не окончившего гимназию,— смыло революционной волной, и оба они исчезли из родительского дома.

Николай Никанорович остался один в запущенной квартире и не знал, что делать. Сначала он ходил на базар и менял носильные вещи и белье на хлеб и сало, но скоро из вещей уже ничего не осталось, и он начал голодать, ограничиваясь кипяточком вместо чая. Больше всего его огорчало отсутствие оливкового масла для лампадки, которую он привык заправлять маленьким фитильком и зажигать перед иконой каждую субботу вечером. Почерневшая лампадка печально стояла перед иконой, за которой торчала сухая пальмовая ветка, сохранившаяся от прежних времен, а также бутылочка со святой крещенской водой.

Что было делать?

...Но он не впал в отчаяние, не стал роптать на судьбу. В нем заговорила наследственность старинного русского духовенства, еще не испорченного светской властью, отсутствие сословной гордости, что всегда отличало сына вятского соборного протоиерея. Он твердил про себя молитву Ефрема Сирина и стихи Пушкина:

«Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв; но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого поста; все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой: Владыко дней моих! дух праздности унылой, любоначалия, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

Дух праздности унылой был всегда чужд Николаю Никаноровичу. Он нашел себе поле деятельности.

В эти дни разразилась эпидемия сыпного тифа. Для борьбы с ним и со всякими другими эпидемиями штаб Красной Армии в срочном порядке сформировал санитарные поезда и банно-прачечные отряды, куда принимались на службу все желающие, которых обеспечивали красноармейским пайком.

Педагог с высшим образованием, медалист, написавший некогда блестящую работу о влиянии византийского искусства на культуру Киевской Руси, на ее народное творчество, Николай Никанорович Синайский без колебания пошел в штаб Красной Армии и поступил на службу в банно-прачечный отряд.

Санитарный поезд пошел по железнодорожным линиям, обслуживая воинские части, ведущие бои с петлюровцами и различными бандитами.

...Он не устроился на какую-нибудь канцелярскую должность. Он сделался простым банщиком и честно зарабатывал свой красноармейский паек, моя раненых, больных и выздоравливающих бойцов, проходивших санобработку на станциях и полустанках, где останавливался санитарный поезд со своим банно-прачечным отрядом...

Худой, со впалым животом, голый, с одной лишь набедренной повязкой, делавшей его отчасти похожим на Иисуса Христа, он не жалея сил мылил казанским мылом и тер мочалкой спины выздоравливающих красноармейцев, а во время переездов со станции на станцию стирал солдатское белье в лоханке, откуда поднимался душный пар.

Он с детства усвоил себе, что смирение паче гордости, и когда ему приходилось мыть грязные ноги больных солдат и стричь отросшие ногти на этих ногах, то ему представлялся некий церковный обряд омовения ног, когда архиерей посреди церкви на глазах у всех мыл ноги своему причту, наливая воду из серебряного кувшина в серебряный таз, а потом смиренно вытирал белые ноги своих подчиненных льняным полотенцем, как бы повторяя евангельскую легенду о Христе, омывавшем ноги своим ученикам-апостолам.

Николай Никанорович с умилением думал о том, что он хоть чем-нибудь может быть полезен своему народу, совершающему великий исторический подвиг революции, которую он, впрочем, как христианин не мог принять за ее жестокость, хотя и справедливую.

У него слезились глаза от банного пара, насыщенного едким запахом дезинфекции.

В одном из перегонов на поезд внезапно напала банда атамана Зеленого, перебила охрану и угнала паровоз, оставив банно-прачечный отряд в степи. Поездная прислуга и санитары, оставшиеся в живых, разбежались кто куда.

Николай Никанорович, кое-как одевшись, босой, с узелком за плечами, в своей старой соломенной шляпе, делавшей его похожим на псаломщика сельской церкви, отправился домой пешком по степи. Ему тогда уже было лет за шестьдесят.

Он шагал по тем самым местам Новороссийского края, где, будучи студентом, собирал этнографический материал для своей дипломной работы о влиянии византийского искусства на народное творчество южной Руси. Он узнавал те деревни, где тогда останавливался, заходил в хаты и срисовывал в особую тетрадку синим и красным карандашами орнаменты с вышитых крестиком рушников, пасхальных крашенок, женских праздничных нарядов и мужских рубах.

О, как давно это было и как хорошо все это теперь вспоминалось!

Он ночевал на сеновалах, питался подаянием — серым пшеничным хлебом и молоком, которые выносили ему из хат хозяйки, считая его беглым священником. Он ел хлеб и пил холодное молоко прямо из глиняных поливенных глечиков, в то время как хозяйки — мужики были заняты в поле вместе с землемерами, деля помещичью землю,— жалобно смотрели на старика в соломенной шляпе. Он низко кланялся хозяйкам, благодаря за хлеб и молоко, и отправлялся дальше.

Ночью он шел по звездам.

Один раз на его пути попалось большое село с церковью, и он зашел в дом к священнику просить ночлега. Попадья, вышедшая к нему на крыльцо, оказалась бывшей епархиалкой, его ученицей. Она узнала его и расплакалась, утираясь рукавом кофточки. Он был ее любимым учителем, а она любимой его ученицей, прилежной и способной.

Появился ее муж — священник. Фамилия Синайского была ему хорошо знакома: он окончил ту самую семинарию, где инспектором был старший брат Николая Никаноровича, покойный Никанор Никанорович Синайский.

Священник пригласил Николая Никаноровича погостить у них. Бывшая епархиалка, теперь уже грузная, многодетная женщина с погрубевшим лицом, подарила своему бывшему любимому учителю поношенные, но еще целые штиблеты мужа, так что дальнейший путь Николай Никанорович проделал уже в штиблетах, надетых на босу ногу.

В общей сложности он шел пешком по степи две недели. Возраст давал себя чувствовать. Он шел уже не так быстро, как сначала. У него сделалась одышка. Кололо в груди. Временами его поташнивало, кружилась голова, и ему приходилось садиться на землю среди степных трав и будяков.

...Вернувшись в город, Синайский нашел свою квартиру пустой и запущенной. Во время его отсутствия было реквизировано и отправлено в железнодорожный клуб пианино. Николаю Никаноровичу было странно видеть пустым то место, где стояло пианино. С этим пианино для Синайского было связано так много воспоминаний!

Но Синайский не огорчился. Он принял это как должное, со смирением. Пусть теперь его старое пианино послужит народу. Но его огорчало отсутствие сыновей.

Он был совершенно одинок и не знал, что же ему теперь делать. Но в мире оставалась еще одна родная душа.

И он отправился к своей племяннице Лизе. К тому времени она заметно постарела и уже не была такой прелестной, хотя собольи брови оставались все так же темны и красивы. На прежде таком нежном лице появились мужские черты, сделавшие ее похожей на покойную мать, французскую швейцарку. Ее счастливая жизнь кончилась уже давно вместе с жизнью так странно и внезапно умер-

шего Пантелея, которого она любила всю жизнь. И теперь она уже не носила фамилию Амбарзаки, так как вышла вторично замуж и была Филиппова. Ее второй муж, пожилой вдовец с двумя детьми, был человек с тяжелым характером, но надежный и порядочный. Лиза вышла за него замуж потому, что ей было все равно. Она честно исполняла свой долг: вела хозяйство, воспитывала чужих детей и терпеливо делила свою жизнь с человеком, которого не любила, но уважала.

Увидев своего дядю Колю в таком странном виде, а главное, поняв по его лицу, что он тяжело, может быть, даже смертельно болен, Лиза настояла, чтобы он больше никуда не ходил, а остался жить у них. Он улыбнулся, и эта слабая, беспомощная улыбка любви и благодарности оказалась его последней улыбкой в жизни.

Оба его сына — старший, Саша, и младший, Жора,— вернулись в город уже после похорон отца.

Смерть любимого дяди Коли Лиза приняла, не выказывая своего отчаяния и горя, наружно так же спокойно, деятельно, как некогда ее мать Зинаида Эммануиловна приняла смерть Никанора Никаноровича. Лиза всецело отдалась заботам о достойном погребении покойного дяди. Она собственноручно обмыла его тело, обрядила, причесала, сложила его руки высоко на груди и вложила в окостеневшие пальцы с обручальным кольцом, которое въелось в кожу, что его невозможно было снять с пальца, маленькую иконку, купленную на рыночном развале у монашки, а также остаток засохшей пальмовой ветки, вынутой из-за образа в квартире покойного на Пироговской улице.

...В гробу он был очень хорош, даже красив и моложав, в своем узеньком сюртучке, который отпарила, вычистила, выгладила и вставила в рукава белоснежные, накрахмаленные манжеты его племянница Лиза.

На панихиду и на похороны Николая Никаноровича, несмотря на такое опасное, тревожное время, пришло много народу.

Его помнили и любили.

Пришли бывшие его ученицы, уже теперь пожилые епархиалки, пришли старые университетские сокурсники — несколько стариков, оставшихся в живых,— пришли несколько рабочих, тоже стариков, которым он некогда преподавал русский язык и географию в школе десятников...

Пел хор бывших сенинаристов...

Двоюродные братья дошли до угла Пироговской и Пролетарского бульвара. Тут Михаил Никанорович остановился, для того чтобы передохнуть. Лицо его побледнело и осунулось.

Они долго стояли молча, как бы заново переживая всю свою жизнь, жизнь внуков вятского протоиерея. Потом они повернули за угол и пошли по Пролетарскому бульвару вдоль все той же полинявшей, бледно-розовой, утомительно длинной госпитальной стены. Возле проходной они опять остановились.

— Ты, Саша, дальше меня не провожай,— сказал Михаил Никанорович,— я доплетусь до палаты как-нибудь своим ходом. Мне, знаешь, что-то совсем стало нехорошо. Я думаю, что на этот раз вряд ли выкручусь. Давай на всякий пожарный случай простимся. И вот еще что: если со мной это случится и тебе пришлют соответствующую телеграмму, то ты, пожалуйста, не приезжай. Не люблю я эти церемонии и тебе не советую.

— Ты, Миша, пессимист,— с наигранным весельем сказал Александр Николаевич.

— Нет, я просто опытный врач и материалист.

Они обнялись.

Из проходной вышел вахтер-инвалид с деревянной ногой, подхватил Михаила Никаноровича под руку и деликатно повел через проходную в госпитальный сад.

Некоторое время слышались их шаги по гравию.

Александр Николаевич остался один. Прихрамывая на раненую ногу, он пошел вдоль бульвара, мимо знаменитых мавританских ворот, надеясь по дороге поймать такси. Ему

нужно было заехать в гостиницу «Красную» — бывшую «Бристоль»,— где остановилась комиссия по охране окружающей среды.

Во время обследования района проезжали мимо порта Ильичевска, и никто, кроме членкора Синайского, не знал, что когда-то здесь был так называемый Сухой лиман — синее соленое озеро, отделенное от моря белоснежной песчаной косой, куда пенистые волны моря приносили к босым ногам молодых Синайских морских коньков и редкие ракушки.

Он вспомнил, что когда-то они называли Сухой лиман Геннисаретским озером.

1985 г. Переделкино



СПЯЩИЙ





Ему снилась яхта. Она стояла с убранными парусами, потемневшими от предрассветной росы, возле причала яхт-клуба. Ее стройная мачта покачивалась, как метроном.

Спящий видел всю нашу компанию, которая гуськом, один за другим, балансируя пробиралась по ненадежной дощечке на сырую палубу.

В предрассветной темноте кое-где еще горели портовые фонари и виднелись топовые огни на мачтах пароходов.

Все это виделось так отчетливо, материально, что сон был мучителен. Спящий понимал, что он спит, но у него не хватало сил прервать сон и заставить себя проснуться — выплыть из неизмеримой глубины сновидения. Он сделал отчаянное усилие, чтобы разорвать сон, и ему даже показалось, что он проснулся. Но это был всего лишь сон во сне. Он видел себя на обочине знакомого ему тротуара возле привокзальной площади, заполненной австрийскими солдатами, только что высадившимися из воинского эшелона.

Город был сдан без боя, по какому-то мирному договору или перемирию.

Жители города с любопытством смотрели на своих завоевателей в серо-зеленых мундирах и стальных касках. Тут же на привокзальной площади дымили походные кухни. Возле них повара в белых колпаках не спеша орудовали черпаками.

Больше всего горожан увлекало зрелище приготовления иностранными солдатами похлебки из фасоли с маргарином и тушеной свининой. Завоеватели совершенно не обращали внимания на горожан, разглядывавших иностранных солдат с любопытством, как редких животных.

Картина, в общем, была вполне мирная.

Скоро завоеватели пообедали, построились в колонны и

были куда-то уведены с площади, а горожане рассеялись, и площадь опустела.

Так началась новая, странная жизнь в городе.

Опустевшая привокзальная площадь каким-то образом превратилась в игорный дом, куда вдруг ворвался налетчик с наганом в руке. Это был Ленька Грек. В его полудетском лице с короткими черными бровями, в его средиземноморской улыбке было несомненно нечто греческое. В порту его называли «грек Пиндос на паре колес».

Короткие кривоватые ноги в задрипанных брюках, кепка блином, неопределенного цвета куртка, застиранная тельняшка.

Его театральное появление в дверях с красными плюшевыми портьерами, обшитыми золотым позументом с кистями, придававшими залу оттенок если не кабаре, то, во всяком случае, публичного дома средней руки, вызвало оцепенение. Ленька Грек почему-то считал, что большинство игроков иностранцы, главным образом французы. Поэтому он заранее приготовил французскую фразу, которой его научил на яхте некто Манфред, образованный молодой человек. Фраза эта должна была представлять нечто вроде русского «соблюдайте спокойствие». Эта фраза, произнесенная Ленькой Греком якобы по-французски, но с ужасающим черноморским акцентом, ошеломила не только всех присутствующих, но даже и самого налетчика, пораженного собственной наглостью, когда он с усилием выдавил из себя хриплым голосом: «Суаэ транкиль!» Сначала все окаменели. Но потом что-то произошло непредвиденное. Один из игроков рассмеялся, и налет не получился.

Не успел Ленька Грек подойти к зеленому столу и хапнуть кучку золотых десяток царской чеканки, как кто-то неожиданно вырвал у него из рук наган и дал ему крепко по шее.

Это было естественно: все поняли, что налетчик одиночка, работает без товарищей и справиться с ним нетрудно.

— Что ж вы деретесь! — плаксиво, с обидой в голосе проныл Ленька Грек и, вырвавшись из чьих-то рук в твердых крахмальных манжетах с золотыми запонками, кинулся вперед, опрокинул стол и, отбиваясь руками и

ногами, бросился вон из зала. И как раз вовремя: уже послышались свистки Державной Варты.

Сильно потрепанный, он выскочил на улицу, юркнул в переулок, добрался через несколько проходных дворов до городского сквера, пустынного в этот ночной час, и, как ящерица, скрылся в щели между стеной оперного театра и кафе-кондитерской, известной своими меренгами со взбитыми сливками и пуншем глясее с настоящим ямайским ромом «Голова негра».

Тем временем в помещении игорного дома два лакея в ливреях, взятых напрокат в костюмерной театра оперетты, ползали по ковру, подбирая золотые десятки и заграничную валюту, а также бумажные карбованцы с красивым парубком, подстриженным под горшок.

И вдруг все это пришло в порядок и накрылось длинной морской волной с косо летящим надутым парусом яхты, на палубе которой разместилась вся молодая компания, в том числе, как это ни странно, Ленька Грек: его частенько прихватывали в качестве матроса.

Яхта круто огибала маяк, имевший форму удлиненного колокола, где на кронштейне висел уже настоящий небольшой сигнальный колокол. Сверху вниз по белому туловищу маяка тянулся ряд иллюминаторов, так что маяк снился в виде господина в однобортном пальто, застегнутом на все пуговицы. Чайки летали вокруг его хрустальной шляпы.

Чем дальше от берега, тем море становилось малахитовее, более, так сказать, «айвазовское».

Боже мой, какое это было блаженство!

«Нелюдимо наше море,— звучал сильный голос Манфреда, перекрывая посвистывающий в вантах ветерок, особенно заметный в минуты крена, когда мачта склонялась и длинный бушприт с треугольником вздувшегося кливера возносился над гребнями волн, с которых ветер срывал пену, бросая брызги в лицо певца, продолжающего свой поединок с бризом,— день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено!»

Спящий знал, что в роковом просторе погребено не только много бед, но также и тайн. Кроме того, море не было нелюдимо. В открытом море виднелись два удаляю-

щихся пассажирских парохода: один — дымивший на горизонте, а другой — только что вышедший за пенную полосу брекватера.

Пароходы увозили кого-то подобру-поздорову из обреченного города.

Значит, море было уж не столь нелюдимым, если считать, что, кроме яхты, еще дальше, за горизонтом, угадывалась тень французского броненосца «Эрнест Ренан», а может быть, и английского дредноута «Карадог».

Кроме того, море не шумело день и ночь. Иногда оно отдыхало. Тогда его простор не казался роковым. Но все равно спящего тревожило, что где-то в глубине «много бед погребено». Много бед и много тайн.

Солнечные лучи уходили в пучину, озаряя постепенно убывающим светом бутылочно-зеленую воду и киль яхты, от которого шарахались стайки рыбешек.

Подводное течение медленно несло оторванный куст водорослей, еще более темно-зеленых, чем вода. Шарообразный куст водорослей.

Беды и тайны угадывались в темной глубине моря, куда почти не проникал солнечный свет. Там во мраке мерцала гранитная мостовая привокзальной площади, давно уже опустевшей, после того как по ней прошагали сапоги победителей, прокатились колеса походных кухонь и рассеялся табачный дым фарфоровых курительных трубок с черешневыми чубуками и кисточками.

Мы никогда не узнаем, кто был тот молодой человек с темным лицом, который снился спящему под именем Манфреда. Может, он был демобилизованный мичман гвардейского экипажа, бежавший от матросов из Кронштадта в штатском платье и каким-то образом оказавшийся на юге, в городе трех маяков, в компании на яхте.

Он всегда появлялся неожиданно и так же неожиданно исчезал. Где он жил — неизвестно. Вероятно, в каком-нибудь общежитии бывших офицеров.

Он не носил галстука. В повороте его головы, в белой аристократической шее девушки находили нечто байроническое.

Девушек было несколько, все в цветных шелковых платочках, завязанных на голове. Среди них снились две сестры и одна их подруга, случайно попавшая в компанию.

Впрочем, в компанию все попали случайно. Она все время сидела в маленькой каюте на узком кожаном диванчике и делала себе маникюр: натирала ногти розовым камнем, а потом до зеркального блеска шлифовала замшевой подушечкой. При этом она говорила, что если яхта потерпит аварию и все они утонут, то по ее ногтям люди узнают, что перед ними труп элегантной утопленницы из хорошего общества.

Добрый малый Вася, сидевший за рулем, повернул яхту еще круче в открытое море, и на дальнем берегу открылся второй маяк, старый, уже не работающий,— остатки каменной башни. А через некоторое время показался третий маяк, новый, белоснежный, металлический, как бы в рыцарском шлеме с опущенным забралом, состоящим из хрустальных рубчатых линз, откуда по ночам в былые времена вырывались два резких луча электрического гелиотропового света — один строго-строго горизонтальный, а другой строго вертикальный, упирающийся в звездное небо мирного времени.

Гик грота перешел справа нелево под ветер, и парус надулся еще круче. Маленький ялик, так называемый тузик, привязанный за кормой, запрыгал по волнам, как ореховая скорлупа.

Вася был сыном миллионера — бывшего, а впрочем, кто его знает, может быть, и будущего. Незадолго до войны он выписал из Англии, из Гринвича, небольшую яхту и подарил ее сыну. Теперь эта яхта, в сущности, была единственное, что осталось от прежних миллионов. Так что Васина невеста Нелли, старшая из двух сестер, дочерей бывшего прокурора палаты по гражданским делам, осталась ни при чем, хотя и продолжала надеяться на лучшие времена и возвращение Васиных миллионов.

Что касается самого прокурора, то он почти что остался не у дел. Все жители города трех маяков остались не у дел.

В городе царило божественное безделье, как говорилось по-итальянски, «дольче фар ниенте».

А как жили?

Жили прекрасно, продавая фамильные драгоценности и домашние вещи, которые охотно обменивались пригород-

ными крестьянами на муку, масло и свиное сало. Каждое утро пригородные крестьяне приезжали на привоз, а иногда попросту заворачивали со своими подводами и бричками во дворы, где шла меновая торговля. Драгоценности же — изделия Фаберже, бриллианты, сапфиры, высокопробное золото — по дешевке скупались таинственными ювелирами. Несметные богатства время от времени переправлялись за границу.

О том, что случится завтра, никто не думал. Мечтали, что так будет продолжаться вечно. Конечно, это было приятное заблуждение. Приятному заблуждению поддался даже сам прокурор, которому, в сущности, нечего было делать: некого судить. И он по целым дням шлепал в своем домашнем шлафроке и в разношенных туфлях по квартире из комнаты в комнату.

...Густые поседевшие усы, столь же традиционно густые прокурорские брови, истощенное бездельем лицо оливкового цвета и на носу пенсне, верой и правдой служившее ему при рассмотрении судебных дел. Теперь оно служило ему при рассматривании через биоскоп двойных картинок швейцарских видов с Шильонским замком и двойными парусами над Женевским озером. Через это же пенсне прокурор любил рассматривать журнал «Нива» за 1897 год с портретами адмиралов, генералов, сенаторов и архиереев...

Что же касается прокурорши, то она была милая, совсем седая, серебряная, маленькая, худенькая старушка, соблюдавшая в доме дореволюционный порядок: завтрак, обед, пятичасовой чай, файф-о-клок, и вечером горячий ужин с рублеными котлетами

Кухарка и горничная давно уже сгинули, увлеченные матросами с посыльного судна «Алмаз», так что прокурорше приходилось все делать самой, в том числе ходить на базар менять вещи на продукты питания. Вещей для обмена оставалось все меньше, хотя еще вполне достаточно. С этим дело обстояло благополучно, если не считать огорчений, причиняемых ей непониманием приезжими крестьянами истинной ценности обмениваемых предметов.

Крестьяне, а особенно крестьянки, сидя на возу и прикрывая юбками привезенные продукты, рассматривали какую-нибудь воздушную батистовую шемизетку времен конца девятнадцатого века и совершенно не обращали

внимание ни на фасон, ни на отделку, а только придирчиво рассматривали ткань на свет, считая, что чем плотнее материал, тем лучше, причем с пренебрежением говорили: «Це реденько!»

Но что было с них взять! Простота! Народ!

Лучше всего шли простыни, а их накопилось за всю жизнь — уйма, так что на ужин всегда подавались котлеты.

Спящий особенно отчетливо видел проплывающее блюдо горячих котлет, посыпанных укропом — таким кружевным, таким зеленым, какой может присниться только в цветном сне.

Вечерние котлеты особенно привлекали молодую компанию после длительной морской прогулки на яхте. Впрочем, не только котлеты и крепко заваренный, почти красный чай с сахаром. Красавица Нелли и ее младшая сестра Маша могли поспорить с котлетами.

Нелли пела романсы, а Маша аккомпанировала ей. Царили Рахманинов, Гречанинов и этот, как его? — снова забываю его фамилию. Да. Черепнин.

«Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц... В небе звездочка скатилась...»

Или нечто подобное.

Оно и сейчас звучало во сне.

У Нелли было сильное, хотя еще не отработанное, домашнее, меццо-сопрано. Ее прелестный голос как бы ударялся в поднятую черную лакированную крышку еще не проданного рояля, наполняя комнату чудными звуками, которые улетали через открытые окна сначала в небольшой внутренний дворик, потом на улицу, на перекресток, на бульвар и затихали где-то на загородном шоссе, там, где стояла давно уже неподвижная зеленая паровая трамбовка с трубой, как у паровоза, и асфальтово-серым передним трамбовочным колесом.

А голос все звучал, звучал: «...в саду малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы...»

Спящий плакал во сне от счастья и видел загородное шоссе с зеленой трамбовкой, кучками щебенки и двух девушек — красавицу Нелли и ее сестру Машу, которые шли на теннисную площадку, держа в руках ракетки. Они были одинаково одеты в летние спортивные костюмы — эпонжевые жакетки и английские юбки, тоже эпонжевые, шершаво-белые. Старшая — красавица с блестящими черными волосами, гладко причесанными на прямой ряд, с испанским черепаховым гребешком на затылке, придававшим ей нечто царственное, с удлиненным лицом, как говорится, цвета слоновой кости и с бровями, не вызывавшими сомнения, что она родная дочь прокурора. А младшая, считавшаяся дурнушкой, небольшая, еще не вполне выросшая, почти девочка, вся выдалась в прокуроршу: те же ласковые телячьи глаза, легкие белокурые волосы, доброта, разлившаяся по всему ее нежному лицу, с родинкой на шее пониже уха, вся светящаяся молочной белизной, с ресницами, бросавшими тень на крылья некрасивого, но ужасно симпатичного носика, и незаконченность во всех движениях.

Старшая шла уверенно, слегка поигрывая ракеткой с маркой «Дэвис», стеклянно блестящей на солнце, а на полшага сзади нее шел ее жених, владелец яхты Вася, коренастый, только что успевший окончить гимназию, еще в гимназической куртке, хотя и без пояса, и было что-то исконно русское, даже, может быть, крестьянское, если не купеческое, в его походке, в его русых волосах, аккуратно постриженных. Из таких пареньков некогда рождались русские миллионеры. Он боготворил свою невесту и назвал ее именем яхту: «Нелли».

Как счастливый невольник, он нес за своей госпожой сеточку с шершавыми теннисными мячами.

И в это же время откуда ни возьмись появился еще один юноша, с загорелым цыганским лицом и жесткими темными волосами,— Васин товарищ по гимназии. Это был я.

Мимо меня как-то незаметно прошла красота старшей, но с первого взгляда до самого сердца дошла прелесть младшей. Я еще не понял, что уже влюблен, но мне уже хотелось идти рядом с младшей, болтать всякий вздор и читать стихи Фета.

Спящий видел на шоссе две парочки, идущие к теннисным кортам.

Но когда все это было? Весной? Летом? Осенью? Во всяком случае, не зимой.

Во сне все времена года происходили одновременно.

Чудо совместимости.

Кажется, было грифельно-темное, почти черное небо, обещавшее майскую грозу, томительно назревавшую, как первая любовь. На фоне грозового неба отчетливо рисовались крупные почки конских каштанов, как бы вымазанные столярным клеем, готовые вот-вот лопнуть,— ...вот они уже лопнули — и выпустили на волю еще бессильно повисшие, как тряпки, новорожденные пятипалые волосатые листья с крошечными восковыми елочками еще не родившихся соцветий.

Каштаны уже распустились и даже бросали тень.

В то же время светилось акварельное осеннее небо с треугольником журавлей над кострами листопада, а ночью серебрилось звездное небо, отраженное в заливе, и, как это ни странно, степная вечерняя заря угасала над белокаменной стеной монастыря и над полуразрушенной башней старого маяка, а в монастыре звонили к вечерне — ...вечерний звон, вечерний звон...— и над обрывом в монастырском саду буйно цвела майская сирень, которую мы ломали, а потом с громадными темно-лилово-сине-голубыми букетами возвращались на трамвае в город, с тем чтобы, едва дождавшись рассвета, отправиться по улицам еще по-ночному безлюдного города в порт, где возле причала покачивалась яхта. А вечером опять в столовую вошла из кухни прокурорша с блюдом, и вся компания навалилась на котлеты.

Компания представлялась спящему чем-то единым, плохо разборчивым, кроме нескольких знакомых лиц. Остальные были просто каким-то сборищем случайно сблизившихся молодых людей, которые даже не вполне хорошо знали друг друга.

Иные из них возникали неожиданно и были безличны. Иные вовсе не появились, а потом опять вдруг начинали один за другим появляться, и все это было в духе того странного времени беспечности и свободы.

После котлет красавица Нелли снова пела. У нее были холодные глаза. А Вася стоял рядом с раскрытым роялем и с обожанием смотрел на свою нареченную.

Потом младшая сестра вышла из душной комнаты на балкон и положила на железные перила руки, уставшие от клавишей. За нею как намагниченный вышел на балкон и я. Маша и я стояли рядом как бы висящие над колодцем двора, положив руки на перила, и молча смотрели на зеленое вечернее небо, уже почти ночное, с первыми звездами над черепичными крышами.

Преодолевая несвойственную робость, я очень медленно, почти незаметно придвинул по железным перилам свою руку к Машиной руке. Я думал, что она отодвинет свою руку, но она не отодвинула. Ее мизинчик вздрогнул, но не отодвинулся. Может быть, даже еще ближе придвинулся. Тогда я как бы случайно, бессознательно положил свою ладонь на Машину руку, прижатую к перилам. Маша стояла неподвижно, как будто бы ничего не произошло особенного, но я чувствовал, что сердце ее бьется, а рука, покрытая моей ладонью, притаилась и замерла, как небольшая птица, например голубь, и так продолжалось довольно долго в полуобморочном безмолвии сновидения. Это могло бы продолжаться вечно, если бы не настала пора расстаться: не стоять же всю ночь на балконе в чужом доме.

На другой день, все еще не говоря друг другу ни слова о любви, мы вдвоем сидели в ее комнатке, где на письменном столике были аккуратно разложены прошлогодние гимназические учебники и откуда-то вдруг появились два небольших зеркала, поставленных друг против друга, а между ними горела стеариновая свеча.

Что это было? Физический опыт или сон во сне?

Меж двух зеркал острей кинжала язык свечи. Сбегаются струйками в зерка́ла ее лучи. Глаза зеркал глядят друг в друга, как два лица. Одна свеча над бездной млечной белым-бела. И, озаренной, бесконечной, ей нет числа.

Очарованные, мы заглядывали в этот зеркальный, бесконечно уходящий в вечность зеркальный коридор взаимных отражений.

Спящий пребывал в перспективе этого бесконечного зеркального коридора, и сон его стал еще более глубок, чем прежде, но ненадолго.

В природе что-то изменилось. Может быть, прошла ночная гроза, которую он не услышал.

Малахитовые волны почернели. Пена на них стала еще белее. Тень Манфреда упала на далекое побережье, где назревал шквал.

Яхта уже ушла далеко в открытое море, и Вася переложил руль вправо, желая поскорее, пока не поздно, изменить галс. Это был поворот оверштаг. Грот и кливер на некоторое время перестали ловить ветер, затрепетали и безжизненно повисли, но почти в тот же миг гик грота медленно и тяжело перешел справа налево, едва не ударив по голове Леньку Грека, крепившего шкот вырвавшегося из рук кливера. Паруса уже ловили ветер, как бы подувший с другой стороны.

Яхта уходила от шквала, который уже покрывал море черной дробью своих порывов. Черная дробь шквала догоняла яхту, ставшую глубоко нырять в рассерженных волнах. Ореховая скорлупка маленького тузика как бешеная запрыгала за кормой, стараясь сорваться с привязи.

«Облака бегут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней»,— пел Манфред своим сильным голосом, стараясь перекричать шум шквала.

Конечно, он не был Манфредом. Это было всего лишь его прозвище. Как было его настоящее имя, никто не знал. И это беспокоило спящего.

Манфред стоял во весь рост, расставив ноги на качающейся палубе, и не спускал слишком светлых влюбленных глаз с Нелли. Она сидела на палубе возле спуска в каюту, обхватив колени руками и положив на них подбородок.

Между Нелли и Манфредом что-то происходило. Какой-то молчаливый спор, в котором Нелли уже готова была сдаться.

Шквалистый ветер порывами клал яхту на бок. Если бы не ее киль со свинцовой сигарой на конце, служив-

шей противовесом всему волшебному инструменту яхты, то яхта, конечно, легла бы плашмя всеми своими парусами на волны — как бабочка, неосторожно попавшая в бассейн.

Яхта звенела под ветром, как мандолина.

Небо стало совсем черное. Всех охватил страх. Девушки вскрикивали, как чайки. Чайки носились над яхтой — белые на черном фоне. Кто-то кинулся в каюту. Кто-то лег плашмя на палубу, схватившись руками за медные утки с намотанными концами шкотов. Кто-то прижался к мачте.

Я обнял Машу за плечи, и ее яркий шелковый платок вдруг развязался и улетел в море, обнажив растрепавшиеся льняные легкие волосы. На ее щеках блестели, как слезы, капли морской воды, даже на вид горько-соленые.

Яркий платок еще некоторое время летал над волнами, как бы желая унестись за черный горизонт, пока не скрылся из глаз, поглощенный грозовой тучей.

Только Манфред и Нелли оставались спокойными, неподвижными, и в их неподвижности было нечто зловещее. Они были как Демон и Тамара. Если бы кто-нибудь обратил на них внимание, то понял бы, что в этот миг решается их судьба.

Добрый милый Вася всем своим крепким телом налег на румпель, изо всех сил заставляя яхту повернуть к берегу, до которого было не так-то близко.

Дельфины, спутники шторма, сопровождали яхту. Их черные горбатые спины то и дело показывались из волн и снова погружались в недра разгневанного моря. Спинные треугольные плавники выскакивали из пены и снова исчезали, не успев поймать отражения далеких молний.

Казалось, неминуемая гибель грозит яхте.

Но Вася, одной рукой навалившись на румпель, а другой изо всех сил сдерживая вырывающийся шкот грота, с лицом, покрытым потом и морскими брызгами, все-таки сумел довести яхту до берега и поставить ее в дрейф в маленькой бухточке, где царило затишье.

Ленька Грек швырнул якорь в воду. Яхта останови-

лась, кружа возле якорной цепи, вертикально ушедшей в глубину.

Вася вместе с Ленькой Греком, оба мокрые с головы до ног, убрали грот и кливер, после чего стали перевозить на тузике, на веслах, всю компанию — по двое, по трое зараз — к прибрежным скалам, обросшим тиной и мидиями.

За грядой скал открылась прелестная картина: берег и камышовый рабочий курень, утонувший в зарослях диких трав, пряный запах которых доносился до белой полосы прибоя... и сети, развешанные для сушки на скрещенных веслах, врытых в глину.

Рыбацкая шаланда, вытащенная на берег, лежала вверх плоским просмоленным днищем, на котором сидели рыбаки, наблюдая за тузиком, перевозившим нашу компанию с яхты на берег.

Под высоким рыжим глинистым обрывом со светлыми дождевыми потеками царила божественная тишина.

Пахло дикими травами.

Босоногие рыбаки с засученными штанинами оказались людьми гостеприимными, и вскоре затрещал костер, сложенный из щепок и камыша, выброшенных прибоем и высушенных на солнце.

В чайнике закипела вода, в которую тут же была брошена заварка: горсть трав и диких цветов, собранных еще в мае. Запах мяты и еще чего-то ромашкового распространился в воздухе, смешиваясь с йодистым запахом водорослей.

Прекрасная заварка, ничем не хуже, а может быть, даже лучше, во всяком случае полезнее китайского чая фирмы «Высоцкий и К°».

Сушившаяся возле костра компания с наслаждением пила лекарственный напиток, обжигая губы и пальцы о жестяные кружки, сделанные из консервных банок. Сахара, конечно, не было. Но это и не требовалось. Чай, настоянный на диких травах, обладал свойством возбуждать воображение: небольшой кусочек прибрежной земли, с одной стороны отгороженный от остального мира высоким обрывом, а с другой — утихающим шквалом, представлялся чем-то подобным блаженной стране, где «не темнеют небосводы, не проходит тишина».

Камышовый курень, костер, запах душистого чая, дымок махорки, которую покуривали рыбаки, добрые друзья — что еще надо человеку для счастья?

Райское местечко, что-то вроде модели того странного мира, в котором мы жили, отгороженные от всего остального, бушующего где-то вокруг мирового пожара. Чудо тайфуна или циклона, в центре которого образуется труба неподвижного воздуха, ласкового солнца, ясного неба, любви, дружбы, безделья, полной свободы. А рядом взволнованное море, из которого выскакивают дельфины с человеческими глазами, а над ними носятся буревестники и чайки, и в темных глубинах моря извиваются осьминоги тоже с человеческими глазами, проплывают тени субмарин, и у скал, как гейзеры, взрываются сорванные с якорей мины — остатки минувшей войны.

Но все это как бы не имело отношения к тишайшему миру, в котором не жили, а всего лишь временно существовали жители нашего города трех маяков, его окрестные деревни и хутора.

Вскоре мы простились с гостеприимными рыбаками, и наша яхта отправилась в обратный путь. Волны улеглись, пошла гладкая мертвая зыбь. Вечерний бриз мягко надувал грот и кливер. Все опасности остались позади. Дельфины уже не сопровождали нас. Можно было подумать, что больше ничего опасного не происходит.

Но спящий испытывал тревогу, как будто бы в глубине сна проник в какую-то чужую опасную тайну, грозящую неизбежной бедой.

Так оно и было.

Он бессознательно проник в тайну Манфреда и Нелли, в их душевную связь, в их молчаливый диалог, который начался уже давно.

Невозможно было предсказать, когда уйдет циклон. И нужно ли было, чтобы он ушел?

Трудно было себе представить иную жизнь. Впрочем, никто не думал о будущем. Один лишь Манфред со своими плотно сжатыми губами страстно мечтал о чем-то другом, о какой-то воистину блаженной стране, куда «выносят

волны только сильного душой». Он считал себя сильным душой. Он давно уже тайно звал Нелли в ту страну, куда он ее повезет и где они оба будут богаты и счастливы. Он был уверен, что за морем есть «та, другая», блаженная страна, куда время от времени уходят из города трех маяков пароходы, увозя богачей, спасающихся от надвигающейся с севера бури. Они увозят туда свои сокровища, свои жизни, свои мечты.

Манфред был сам из семейства богачей — наследником громадного имения в Смоленской губернии, столбовой дворянин, офицер флота, а может быть, и всего лишь гардемарин гвардейского экипажа. Но все это осталось позади, в невозвратимом прошлом. Все надо было начинать сначала.

Он стоял, скрестивши на груди руки, прислонясь к мачте, верхушка которой скользила по розовым вечерним облакам, как бы написанным итальянским пейзажистом. Можно было представить себе Манфреда не в потертом штатском костюме, а в морской форме, с кортиком, выглядывающим из-под мундира с золотыми погонами.

Таким его представляла себе Нелли.

Манфред влюбился в нее с первого взгляда, но был осторожен. Она поняла это сразу и вдруг посмотрела на своего жениха Васю совсем другими глазами. Когда она успела договориться с Манфредом? Никто этого не знал, даже не подозревал. Женщины это хорошо умеют делать.

Он обещал ей райскую жизнь в Италии. Уроки пения. Ей поставят голос. Дебют в театре Ла Скала. Мировая слава. Любовь до гроба. Богатство. Счастье. Но для начала всего этого нужны были большие деньги. Он поклялся их достать любой ценой. Он говорил, что это не так уж и трудно в городе, где промышляют скупщики бриллиантов. Нужно только договориться кое с кем и сделать кое-что.

Яхта приближалась к портовому маяку. Солнце зашло, кануло в розовую пыль новороссийской степи, скрылось за скифскими курганами. Закатный свет меркнул. Звездная ночь поднималась с востока. Красный глаз маяка вращал-

ся впереди. Он то гас, то вспыхивал через ровные промежутки времени. Когда он вспыхивал, у подножия его в гладких складках мертвой зыби извивалась светящаяся красная змея — отражение рубинового глаза господина Маяка.

Яхта вошла в порт. Путешествие закончилось. Паруса были убраны. Голая мачта покачивалась у причала, едва ли не задевая верхушкой дубль-вэ Кассиопеи.

Однако на этот раз Ленька Грек и Манфред не присоединились к компании, весело идущей есть котлеты и пить крепкий чай с сахаром. Не выходя из порта, их тени растворились в вечерней темноте, в неверном свете портовых фонарей. А потом к ним присоединился еще кто-то, третья тень. И они исчезли. Но на это никто не обратил внимания. Каждый поступал по своему желанию, не давал отчета в своих поступках: полная свобода!

Впрочем, может быть, эта мнимая свобода была только плодом воображения, неспособного видеть истину.

Воображение казалось могущественнее действительности. А может быть, действительность подчинялась воображению спящего, который в эти глубокие ночные часы был в одно и то же время самим собой, и всеми нами, и яхтой, и мигающим маяком, и созвездием Кассиопеи, и мною.

Я лежал в полосатых купальных штанишках на горячей гальке так называемого австрийского пляжа. Рядом со мной лежала Маша. Между нами все было сказано. Слова уже не имели значения.

Девушка-подросток в мокром купальнике, высыхающем на жгучем полуденном солнце, лежала на махровой простыне лицом вверх, с полузакрытыми глазами, с полуулыбкой на мягких губах, отдаваясь лучам солнца. На ее голых ногах с короткими пальчиками высыхал крупный морской песок, похожий на перловую крупу. Мы лежали несколько поодаль друг от друга, на расстоянии наших протянутых рук, едва касавшихся друг друга. Эти легкие, неощутимые касания как бы вливали в нас тепло молодой крови. Это уже была телесная близость, заставлявшая нас замирать от смущения.

Я искоса смотрел на ее почти прозрачные, просвеченные солнцем малиновые уши под белокурыми прядями волос, выбивавшихся из-под купального чепчика. На ее

сливочно-белой, не поддающейся загару руке блестел небольшой золотой браслетик в виде цепочки — последняя оставшаяся у нее драгоценность. Она сняла его с запястья и положила в мою протянутую руку, как бы отдавая мне всю себя.

Я подбросил золотой комочек на ладони и вернул его в ее протянутую руку, как бы в свою очередь отдавая ей всего себя.

Она опять бросила мне браслетик, и я снова подбросил его на ладони и снова вернул ей.

Это было похоже на какую-то детскую игру.

Золотой комочек передавал от нее ко мне и от меня к ней жар молчаливой, целомудренной, но жгучей любви.

Мы улыбались друг другу.

А вокруг кипела пляжная жизнь. Неторопливо колыхались мутноватые прибрежные волны, лениво ложась на кромку пляжа, где высыхала на солнце каемка тины, выброшенной прибоем. Море было чем дальше к горизонту, тем синее, но возле берега вода была мутной от взбаламученной глины, похожей на суп, заправленный сметаной. На волнах покачивались плоскодонные шаланды, выкрашенные в разные цвета. Они проезжали туда и обратно вдоль берега, где пестрели купальные чепчики, полотенца, бутылки с водой, зарытые в песок. Голые мальчики из предместий, с животами, крепко перевязанными тряпками, с разбегу бросались в воду. Женщины, надув рубахи пузырем, плавали по-собачьи, болтая руками и ногами. Раздавался булькающий смех и восклицания, звучавшие в нагретом воздухе особенно резко, почти как хищные крики чаек.

Кто-то пришел купаться, неся с собой два надутых бычьих пузыря, скрепленных веревочкой.

Мутные, полупрозрачные пузыри заменяли дорогостоящие пробковые спасательные пояса. На таких пузырях обычно плавали старухи и маленькие дети, выплевывая изо рта соленую воду.

Кто-то ухватился загоревшими руками за корму проплывавшей шаланды, где стоя греб веслами голый по пояс весельчак с волосатой грудью. Его голова была обвязана цветной тряпкой, как у пирата.

Голые маленькие дети ползали по мокрому песку вдоль кромки прибоя, строя города и проводя каналы, где суетились в воде крошечные морские блошки.

Несколько австрийских солдат пришли на пляж купаться. Они сбросили на гальку свои серо-зеленые мундиры, пропотевшие под мышками, и добротные короткие сапоги с двумя толстыми швами на голенищах. Они аккуратно уложили сверх своей снятой одежды брезентовые пояса с цинковыми пряжками.

Они держали себя скромно и довольно вежливо для победителей, не затрагивали купальщиц и, осторожно вступив по пояс в воду, мылили подмышки казенным мылом. Они тоже находились в состоянии блаженства, не предчувствуя, что через некоторое время их райская жизнь победителей кончится и они принуждены будут сломя голову вместе с немецкими солдатами бежать из завоеванной стороны, где им так прекрасно жилось под властью какого-то странного украинского гетмана, посаженного на престол немецким генеральным штабом, разогнанным революцией.

Спящий видел их бегство по степи под холодным осенним дождем. Они бежали, бросая по дороге зарядные ящики, пушки и походные кухни, и штурмовали на станциях поезда, уходившие на запад, «нах фатерланд».

Тень чайки пронеслась по пляжу.

— Что же все-таки в конце концов с нами будет? — сказала она, не размыкая век, опушенных светлыми ресницами, за которыми угадывалась млечная телячья голубизна.

— А ничего не будет,— с бесшабашной улыбкой сказал я.

— Почему?

— Потому чтомы нищие духом. Мы блаженные.

— Да, мы блаженные,— сказала она, вздохнув.

— Мы только кому-то снимся,— сказал я.

— Да, мы только снимся,— сказала она.

— На самом деле нас нет,— сказал я.

— На самом деле...— сказала она.

Мы лежали под жгучими лучами солнца, слушая крики купальщиков, и визги купальщиц, и шлепанье по

воде весел, и басовые гудки пароходов, увозящих кого-то куда-то вместе с их сокровищами, тех, для кого не существовало ни родины, ни прошлого, ни будущего, а только настоящее, длительное, как бесконечное сновидение.

А в то самое время, когда по пляжу пролетали тени чаек и австрийцы мылили себе головы казенным мылом, напуская вокруг себя в воду серую пену, в то самое время, а может быть, позже или раньше в центре знакомого и незнакомого города происходило нечто ужасное, отчего спящий тяжело стонал, обливаясь потом, и сердце его сжималось и трепетало.

...Три человека стояли на площадке маленькой мраморной лестницы, ведущей с тротуара к дверям углового входа в магазин резиновой мануфактуры, над которым висела большая рекламная калоша с красным фирменным клеймом. Все трое были прижаты толпой к тяжелой входной двери магазина, но не могли в нее вбежать, так как она была крепко заперта изнутри на замок. Им не повезло. Случайно запертая дверь их погубила. Если бы дверь не была заперта, они еще могли бы спастись: пройти через магазин и через заднюю дверь выбежать во двор, а оттуда как-нибудь скрыться от толпы через вторые ворота, выходящие в переулок. Но дверь, к которой они были прижаты, была намертво заперта. Может быть, это был обеденный перерыв.

Им некуда было деваться.

Все трое были окружены густой черной толпой, которая с каждой минутой все увеличивалась и уже вселяла ужас.

— Что такое? Что случилось? — спрашивали прохожие, присоединяясь к толпе возле углового дома резиновой мануфактуры на перекрестке двух знакомых и незнакомых улиц.

— Поймали налетчиков, ворвавшихся в квартиру хозяина ювелирного магазина. Они унесли в несгораемой шкатулке на миллион бриллиантов.

Несгораемая шкатулка из числа тех, что сверху выкрашены коричневой краской под дуб, а внутри красной краской, стояла в ногах у налетчиков, как бы излучая из себя снопы бриллиантовых лучей.

С двух сторон уже бежали, расталкивая толпу, чины гетманской Державной Варты и агенты уголовного розыска.

Налетчики возвышались над ревущей толпой, размахивая оружием.

Спящему были знакомы два налетчика. Третий не был знаком. Он впервые появился в сновидении.

Ленька Грек держал в руках направленную в толпу трехлинейную винтовку казенного образца с отпиленным до половины стволом, так называемый обрез. Манфред, высокий, с непокрытой головой и разлетающимися волосами, стройный, как гранитная статуя, держал в поднятой руке тяжелый американский полуавтоматический пистолет из числа тех, которые в конце войны поступили из-за океана на вооружение офицеров армии и флота,— десятизарядный кольт, в рукоятку которого была вставлена обойма с толстенькими патронами. Третий налетчик, совсем незнакомый, в застиранной летней солдатской гимнастерке, без пояса и погон,— дезертир из бывшего запасного батальона — размахивал ручной гранатой-лимонкой, и это удерживало толпу на некотором расстоянии.

Противостояние трех против разъяренной толпы продолжалось невероятно долго: может быть, час, может быть, два или три, и если не все сутки, и это неестественно неподвижное противостояние смерти против смерти, свойственное бесконечно длительному сновидению, изнуряло спящего невозможностью проснуться.

...Солдат-дезертир размахнулся и швырнул лимонку в толпу. Лимонка не разорвалась. В ту же минуту чины Державной Варты и агенты уголовного розыска с разных сторон открыли огонь по налетчикам и убили всех троих наповал. При налетчиках никаких документов не оказалось, и их, неопознанных, отвезли на грузовике в морг. Они были покрыты брезентом и подпрыгивали на поворотах. Из-под брезента высунулась голова Манфреда: растрепавшиеся волосы и открытые остекленевшие глаза, полные ненависти и страсти.

Перекресток странного города опустел, и цветочницы опять расставили на перекрестке двух самых нарядных улиц свои зеленые табуретки с ведрами и синими эмали-

рованными мисками, где плавали розы, мучившие спящего своей невероятной красотой и яркостью, способной убить его во сне, если бы длинная морская волна, гладкая и прохладная, не успокоила спящего.

...Он снова увидел яхту, обходящую известково-белую башню портового маяка.

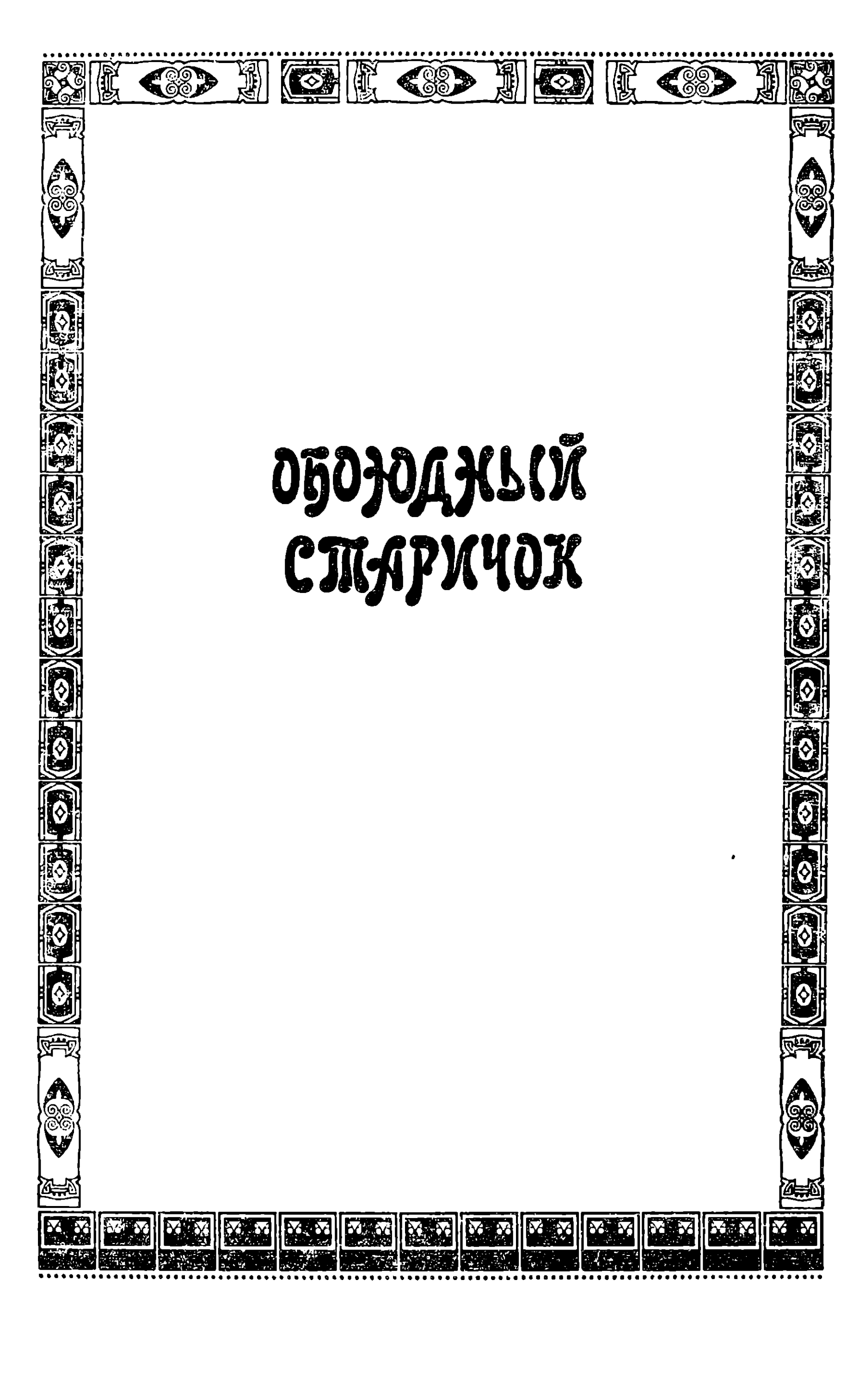
Яхта вышла в открытое море. Погода была чудесная. То, что на очередную морскую прогулку не явились Ленька Грек и Манфред, никого не удивило. Все привыкли к неограниченной свободе поступков: не захотели и не пришли. Одна только Нелли была неприятно удивлена отсутствием Манфреда. Впрочем, она ничего другого от него и не ждала: обыкновенный фат, фразер и хвастун, не привыкший держать слово. Относительно Италии и Ла Скала, богатства и всемирной славы — были пустые слова. Он просто ее обманул и скрылся. Тем лучше. Ее Вася был куда более надежен. Она его почти любила.

Она сидела рядом с ним на корме. Одной рукой он бережно обнимал ее за плечи, а другой рукой держал румпель, все дальше и дальше уводя яхту в открытое море, на горизонте дымили уходящие пароходы.

Остальная компания вела себя обычно, наслаждаясь дыханием легкого бриза и божественной свободой. У всех на лицах, как всегда, блестели капли морской воды, и это было приятно. Особенно мне и Маше.

И, как всегда, одна из девушек, имя которой спящий не знал, сидела в каюте на узком кожаном диванчике и полировала ногти.

1984 21 августа. Переделкино



ОБОЮДНЫЙ СТАРИЧОК

Я постоянно перечитываю Толстого. Никак не могу с ним расстаться. Конечно, речь идет не только о его великих творениях, называть которые нет необходимости. Сегодня, да и всегда, они у всех на устах. О них, кажется, все уже сказано. Мне хочется говорить о Толстом малоизвестном или, точнее, менее известном широкому читателю. В самом деле: мне приходилось слышать от людей весьма образованных, что они никогда не читали или уже не помнят, например, рассказы Толстого «Записки сумасшедшего» или «Божеское и человеческое», в которых Толстой достигает, по-моему, своей вершины.

Читаешь и поражаешься, насколько он был остросовременен и вместе с тем насколько был впереди своего времени, хотя и призывал порой человечество как бы вернуться вспять, к первобытной жизни. Поражает его гениальная противоречивость. Он весь был словно заряжен отрицательным электричеством. Его сила была в постоянном отрицании. И это постоянное отрицание часто приводило его к диалектической форме отрицания, вследствие чего он приходил в противоречие с самим собой и даже делался как бы антитолстовцем. Эта двойственность отражалась даже в его внешности. Достаточно посмотреть на его старческие портреты. Кто это? Добрый старик, тульский мужик в скорбной рубахе, с белой бородой или воплощенный образ грозы, очищающей воздух? Говорят, что однажды в веселую минуту он лукаво сказал о себе самом: «Я старичок обоюдный».

И в самом деле.

Если бы ему, например, сказали, что он политический революционер, можно себе представить, как бы он возмутился. Во всех своих высказываниях он начисто отрицал революцию. Он взывал к рабочим, чтобы они отказались от революции. Он считал революцию делом безнравственным. Однако ни один из русских да и иностран-

ных писателей не разрушал своими произведениями с такой поразительной силой все институты ненавистного ему русского царизма, заодно и западного империализма, как Лев Толстой, не уставая твердивший на весь мир о том, что европейские и американские капиталисты, вооруженные новейшими средствами истребления и уничтожения, беззастенчиво грабят слабые народы Африки и Азии, устанавливая там колониальный деспотизм. С такой силой бороться с империализмом мог только страстный пропагандист передовых общественных идей.

Если бы Толстому сказали, что он атеист, возможно, он бы категорически отверг такое предположение. Однако никто из современных ему писателей, за исключением, может быть, Чехова, не был более атеистом, чем Толстой, не веривший в загробную жизнь, хотя он и прикрывал свой атеизм самыми разнообразными вуалями мистицизма, вплоть до учения лао и буддизма. Для того чтобы почувствовать скрытый заряд толстовского атеизма, достаточно перечесть «Холстомера» — самое, на мой взгляд, материалистическое творение мировой художественной литературы...

Если бы Толстому сказали, что он революционер в искусстве, то он вряд ли бы согласился. Ведь Толстой открыто, страстно выступал против многих новаторских веяний современной ему мировой литературы, и в особенности против французских декадентов Бодлера, Верлена и других. Он приводит стихотворение Верлена по-французски и комментирует: «Как это в медном небе живет и умирает луна и как это снег блестит как песок? Все это уже не только непонятно, но под предлогом передачи настроения — набор неверных сравнений и слов» — но в то же время у него самого в «Анне Карениной» Левин видит на рассвете ущербную луну, похожую на кусок ртути. Берусь подобрать у Толстого десятки таких импрессионистских, чтобы не сказать — модернистских, подробностей. Совершенно ясно, что Толстой-художник жил совсем по другим законам, чем Толстой-эстетик. Теперь нам уже совершенно ясно, что ни один из русских, а может быть, и мировых писателей не совершил такой революции в области языка, в области формы, как Толстой. Каждая его большая и малая вещь всегда новаторская, небывалая по силе изображения. Вспомним хотя бы описание смертной казни в упомянутом мной рассказе «Божеское и человеческое». Вот из него отрывки:

«Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее, и он увидел столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце... Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал... Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

— Еще сюда вот подвинься... или подвиньтесь...— проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице... Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал: «Зачем, зачем они делают это?» И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

— И не жалко тебе меня? — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача.

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

— Ну вас! Разговаривать,— пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и, ловким движением обеих рук сзади обняв Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди...

Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего...»

Здесь за каждым словом повествования кроется еще таинственный подтекст. Ассоциативно связан между собой ряд картин, представлений и самых сокровенных мыслей, вызванных из глубин сознания читателя. Это новаторство, если можно так выразиться, традиционное. А вот новаторство другого рода, уже опережающее те литературные

традиции, в которых до сих пор все еще находился Толстой. Это «Записки сумасшедшего». Не буду передавать содержание этого совершенно гениального незаконченного рассказа. Его нужно прочесть весь от начала до конца. Но вот как видит сходящий с ума герой Толстого окружающие его предметы:

«Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой красной».

Дело происходит в арзамасской гостинице, проездом. «Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было... Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть... Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать... еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный».

Толстой пластически изображает ужас перед неизбежностью смерти, квадратностью белой комнатки, красной гардинкой, пропорциями свечи и подсвечника — свеча немного меньше подсвечника — и зрительным восприятием красного огня свечи. Красная гардинка, красный огонь свечи. Этот, как Толстой определяет, «арзамасский ужас» через некоторое время меняется еще более глубоким ужасом в московском подворье. «Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка-коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает... Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне».

Красный, белый, квадратный ужас — боже мой, кто это написал? Какой-нибудь декадент? Постимпрессионист? А определение душевного состояния геометричностью пропорций, жестами, красками: синие с желтыми полосками обои, узкий размер всего номера! Уж не обстракционизм ли это?

Я, конечно, не специалист, но с моей любительской точки зрения Толстой, отрицавший всяческий модерн, в своих произведениях даже опередил в чем-то и Бодлера, и Верлена, и французскую живопись конца XIX и начала XX

века, и дошедшего до кубизма Пикассо (квадратная комната, соотношение свечи и подсвечника, квадратный ужас).

Я уж не говорю о «Севастопольских рассказах» — быть может, самом новаторском произведении мировой прозы.

Противоречивость Толстого, его, так сказать, обоюдность весьма отчетливо выразилась в его отношении, в частности, к писательскому труду. Лев Николаевич в последние десятилетия своей жизни совершенно отрицал профессионализм в искусстве, считая его делом аморальным. Он с презрением говорил о литераторах, сделавших из своего искусства средство зарабатывать деньги для своего существования. Он был против авторских прав и сам от них решительно отказался. Он считал, что всякое искусство должно быть как бы естественным выражением народной потребности в прекрасном, тем, что сейчас называется самодеятельным. В чем-то здесь он был, конечно, недалек от истины. Но лично мне, писателю профессиональному, живущему на деньги, заработанные своей беллетристикой, очень больно сознавать осуждение этого, то есть — всей моей жизни, великим Львом Толстым. Однако сам он неоднократно высказывал поразительно верные мысли о писательском мастерстве, не о самодеятельном, а именно о профессиональном, сам-то он, что бы там ни говорили, был настоящий профессионал, непревзойденный мастер своего дела и в глубине души от этого не мог отказаться даже в самый последний период своей жизни. Он всегда думал об искусстве, о словесном мастерстве. Даже в статье против алкоголизма «Для чего люди одурманиваются?» он не удержался, чтобы не сказать несколько слов о художественном мастерстве. «Брюллов поправил ученику этюд,— пишет в той статье Толстой.— Ученик, взглянув на изменившийся этюд, сказал: «Вот чуть-чуть тронули этюд, а совсем стал другой». Брюллов ответил: «Искусство только там и начинается, где начинается чуть-чуть». Изречение это поразительно верно»,— подводит итог Толстой.

А вот еще хотя бы возьмем письмо 1886 года, адресованное его последователю Файнерману (Тенеромо). В нем содержались такие строки: «...кончайте скорее начатый вами рассказ и присылайте сюда. Но не увлекайтесь тем, что (бы) сказать в одном рассказе все. Это всегдашний камень преткновения не имеющих привычки писать»,— совет профессионала начинающему, не правда ли? Дальше Толстой советует: «Не ломайте, не гните по-своему события

рассказа, а сами идите за ним, куда он ни поведет вас. Куда бы ни повела жизнь, она везде, во всем, может быть освещена одним светом». И дальше уже совсем гениальная мысль: «Несимметричность, случайность (кажущаяся) событий жизни есть главный виновник ее». Мне кажется, именно исходя из этого толстовского положения работает вся современная так называемая раскованная, эмоционально-ассоциативная проза».

«Не отвлекайтесь далеко от сюжета главного,— учит Толстой молодого писателя,— и кончайте, и — присылайте». И заканчивает свою консультацию уже совсем профессионально: «Сытин платит всем по 30 и 50 рублей за лист». Вот он какой был, обоюдный старичок! Кстати, этому же Файнерману, который, видимо, втерся к Толстому в доверие, в 1897 году Толстой пишет следующее: «Я получил ваше письмецо и рукопись, дорогой И(саак) Б(орисович), и очень сожалею, что не могу ничего приятного сказать вашему знакомому. И по содержанию и по форме этот рассказ не имеет никакого достоинства. Таких пишутся и печатаются тысячи ежемесячно совершенно непонятно для чего. И я не могу сочувствовать этому роду писаний». Уничтожающая рецензия профессионала. Лев показал свои когти. Будучи подлинно профессиональным писателем, величайшим мастером своего дела, Толстой очень часто высказывал разные мысли о своем ремесле. Анализируя с точки зрения стиля библейскую легенду, Толстой поучает всех нас, грешных (в известном смысле даже Томаса Манна): «В повествовании об Иосифе не нужно было описывать подробно, как это делают теперь, окровавленную одежду Иосифа, и жилище и одежду Иакова, и позу и наряд Пентефриевой жены, как она, поправляя браслет на левой руке, сказала: «Войди ко мне», и т. п., потому что содержание чувства в этом рассказе так сильно, что все подробности, исключая самых необходимых, как, например, то, что Иосиф вышел в другую комнату, чтобы заплакать,— что все эти подробности излишни и только помешали бы передать чувство, а потому рассказ этот доступен всем людям, трогает людей всех наций, сословий, возрастов, дошел до нас и проживет еще тысячелетия. Но отнимите у лучших романов нашего времени подробности, и что же останется?»

Вы чувствуете, с каким удовольствием Толстой, отрицая подробности, сам сделал на них упор в пересказе библейского отрывка: Пентефриева жена, поправляющая

браслет на левой руке? Гениальная подробность! А сколько таких подробностей в художественных произведениях самого Толстого — не счесть! Что же, их вычеркивать, что ли? Я думаю, что тут Толстой слукавил. Нет, он был новатор и зря напустился на лучшие романы «нашего времени» хотя бы потому, что его собственные романы были лучшими из лучших «нашего времени». Толстой вечно искал новые формы. Вот некоторые удивительные заметки в его дневнике: «Память уничтожает время», «Если будет время и силы по вечерам, то воспоминания без порядка, а как придется... Очень стал живо вспоминать», «Искусство, говорят, не терпит посредственности, оно еще не терпит сознательности...»

От этих высказываний величайшего художника нельзя просто отмахнуться, о них стоит подумать хорошенько, а подумав, следовать им в своем творчестве.


КУБИК

Неужели этот мальчик тоже я?..

В один прекрасный день ему стало казаться, что в городе орудует преступная шайка.

Кое-где на стенах появились буквы ОВ. Что они обозначают? Не Оля же, в самом деле, какая-нибудь Васильева и не Осип же, в самом деле, какой-нибудь Вайнштейн! Зачем бы им понадобилось шляться по всему городу, по окраинам, по воровским трущобам, за вокзалом, в приморских переулках, на кладбищах, всюду на заборах царапая свои инициалы?

Нет, нет!..

Что-то опасное и в то же время притягательное было в этих то больших, то маленьких буквах ОВ, какой-то тайный смысл. Они были совсем не то что, например, общеизвестные черные буквы ПК на красной железной табличке в нижнем фойе городского театра возле плоского стеклянного ящика с брезентовым пожарным шлангом с длинным коническим наконечником из ярко начищенной красной меди, снабженным лопаточкой, которая придавала трескучей водяной струе форму широкого пальмового листа.

Она — эта табличка — принадлежала к семейству пожарных орудий, таких, как широкий брезентовый пояс с кольцом, асбестовая несгораемая рубаха, топорик, багор, раздвижная лестница, медная каска, в которой в час беды, под звон ночного набата, отражался огненный хвост летящего факела.

Буквы ПК обозначали не что иное, как пожарный кран.

ОВ — были нечто совсем, совсем другое.

Преступников следовало обезвредить, упрятав в тюрьму Синг-Синг, главаря посадить на электрический стул, а сокровища забрать себе. Но необходимо действовать

крайне осторожно, чтобы не спугнуть голубчиков, распутывать клубок не торопясь, ярд за ярдом, пока все нити не будут в руках, в противном случае негодяи могут убить его отравленным кинжалом негуса в спину или покончить с ним выстрелом из бесшумного духового ружья, а труп выбросить в Темзу.

Он видел даже высокий решетчатый мост и желтую луну в ярко-синем лондонском небе над Темзой, куда падало его бедное тело.

Весь погруженный в эти мысли, стиснув зубы, наморщив лоб и сжав кулаки, с безумными глазами, мальчик дошел до угла и вдруг увидел новую девочку, сразу же удивившую его своим бедным клетчатым платьем.

Вы заметили, что удивление — первый шаг к любви?

Ее выгоревшие, стриженые волосы торчали во все стороны из-под ядовито-зеленой, почти синей гребенки из числа тех круглых кухаркиных гребенок, которые, будучи неряшливо положены на чугунную доску кухонной плиты, вдруг покрываются черными язвами ожогов и, прежде чем вспыхнуть, наполняют всю квартиру клубами удушливого, непрозрачно-белого дыма, нестерпимым, пронзительным запахом горящего целлулоида.

У нее были кошачьи глаза цвета еще не вполне зрелого крыжовника; она была прекрасна, как ни одна девочка в мире; у нее были бедные шерстяные чулки на клетчатых подвязках с металлическими пристежками.

Надувшись от смущения и засунув руки в карманы, причем его животик и короткая нагнувшаяся шея сразу же сделали его чем-то отдаленно похожим на кузнечика, мальчик повернулся к девочке боком, как бы собираясь в случае чего подраться, и спросил:

— Девочка, хочешь со мной играть?

Она окинула его презрительным взглядом и сказала:

— Мурло́.

Мальчик опешил.

— Сама мурло́, — немного подумав, ответил он и стал еще более похожим на кузнечика, собирающегося прыгнуть.

Но тут наверху отворилась форточка и женский голос позвал:

— Саня, иди заниматься.

И девочка исчезла.

Неужели этот мальчик тоже я? Если и не вполне, то, во всяком случае, отчасти. Не исключено, что это все тот же милый моему сердцу Пчелкин, только совсем маленький, лет восьми.

— А это видела? — спросил в следующий раз он, или я, похлопывая себя по мелкому карману штанов, откуда выглядывал кончик рогатки.— Знаешь, как бьет?

— А как? — спросила она.

— Навылет!

— Смотря через чего,— заметила она.

— Через чего хочешь,— хвастливо сказал мальчик.

— А через доску? — спросила она.

— Через доску не,— честно ответил он.

— А через фанерку? — продолжала допытываться она.

— Через фанерку тоже не,— выдавил из себя мальчик, вдруг потерявший способность врать перед этой девочкой.

— Так через чего же?..— насмешливо спросила она.

— Через картонку — да. Хочешь, дам стрельнуть?

— Смотря чем.

— Кремушком.

— Тю! Нашел чем! Кремушком даже кицку не подобьешь.

— Зато голубя подобьешь.

— Голубя грех. Голубь — святой дух,— набожно сказала Санька и перекрестилась. — За голубя бог накажет.

— За белого да,— сказал мальчик.— Белый, безусловно, святой дух. Его — грех. А дикаря не грех. За дикаря не накажет.

— Все равно. Дикарь тоже святой дух.

— А вот нет!

— А вот да!

— Много ты понимаешь в голубях.

— Во всяком случае, больше твоего.

— Спорим!

— Не хватало! И не стой передо мной, как лунатик. Ты мне уже надоел. Отлипни. Иди откуда пришел.

— Не твоя улица.

— А вот моя.

— Ты ее не купила. Улица общая. Хочу и стою.

— Ну и стой, если тебе так нравится на меня смотреть. Любуйся. Пожалуйста.

— Саня, иди делать арифметику,— послышался голос из форточки.— А ты, мальчик, ступай отсюда со своей рогаткой и не морочь девочке голову. Иди, иди...

— Ты опять тут? — спросила Санька по прошествии того, что в физике называется временем.

Он притворился, что не слышит, но через несколько земных суток, оказавшись, как по волшебству, на том же самом месте, спросил чужим, как бы безвольно расцепленным голосом:

— Так будешь со мной играть?

— Не буду.

— Почему?

— Потому что не собираюсь.

— А если я тебе подарю свои кремушки?

Она подумала, молчаливо пошевелив губами с небольшой заедой в одном углу рта.

— Смотря какие кремушки.

Мальчик вынул из кармана четыре кремушка и подкинул их на ладони так, что они чокнулись.

— Это не настоящие, а простые: обыкновенные галечки с Ланжерона,— сказала девочка презрительно.— Вот у меня кремушки — так настоящие, ты таких сроду не видел. Они электрические. Их чокнешь — искры летят, как из кресала.

Она из предосторожности и застенчивости повернулась к мальчику худой, твердой спинкой, залезла через квадратный вырез платья за пазуху и достала кукольный чулочек, откуда вытряхнула на ладонь несколько темных от мазута кремушков.

— Обыкновенные железнодорожные,— презрительно сказал мальчик,— таких между шпал валяются миллиарды.

— Зато настоящие кремушки. А у тебя просто галечки. Таких на Ланжероне можешь за одну минуту набрать миллион биллиардов. Они без электричества. А мои с электричеством.

Мальчик засуетился и стал чокать своими кремушками, но искры не высекались. Электричество не показывалось. Один камешек даже мягко раскололся.

Девочка оскорбительно-громко захохотала.

— Можешь спрятаться в будку со своими простыми

галечками и даже не думай равнять их с моими железнодорожными, электрическими, со станции Одесса-сортировочная.

Тогда-то и прилетел воробей, легко сев на забор, утыканный сверху зелеными и голубыми бутылочными осколками.

— Например, в воробья попадешь? — спросила девочка.

— Ого!

Вот этого-то именно и не следовало говорить, да еще так хвастливо. А может быть, именно следовало.

...Как знать, как знать!..

История девочки Саньки и мальчика Пчелкина, которую я собираюсь здесь рассказать, как и все то, что происходит в мире, не имеет начала, а тем более конца, так что примем за точку отсчета тот характерный звук, который раздался на одной из четырех тенистых улиц дачной местности «Отрада» в начале этого века.

«Для меня главное — это найти звук,— однажды сказал Учитель,— как только я его нашел — все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание — литературное искусство!»

«Не смею»,— имел мужество признаться Учитель. Это надо заметить. Он не смел, а я смею! Но точно ли я смею? Большой вопрос. Скорее — хочу сметь. Вернее всего, я просто притворяюсь, что смею. Делаю вид, что пишу именно то, что мне хочется, и так, как мне хочется. А на самом деле... А на самом-то деле?.. Не уверен, не убежден. Кое-кто, правда, осмеливается писать «так, как ему хочется», не согласуясь ни с какими литературными приемами. По-видимому, литературный прием, заключающийся в полном отрицании литературного приема, это и есть мовизм.

Кое-кто написал однажды и даже напечатал черным по белому: «С выпученными глазами и облизывающийся — вот я. Некрасиво? Что делать».

Я так не умею, просто не могу. Не смею! По природе я робок, хотя и слыву нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегка, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унизительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже «все кончено»... Чувство, что меня только что выгнали из гимназии: сон, который повторяется в моей жизни бесконечное число раз, как зеркало в зеркале — уходящий в вечность ряд уменьшающихся в перспективе зеркал,— в одну и в другую сторону — в пропасть прошлого и в пропасть будущего, и мое опрокинутое, полуобморочное трусливое лицо, вернее — бесконечное число лиц и горящих стеариновых свечей и отчаяние, отчаяние...

Мне стыдно во всем этом признаваться, но что же делать, дорогие мои, что же делать?..

Слово «звук» не вполне точно выражает то, что мне нужно, чтобы «остальное далось само собой», как сказал Учитель. Я думаю, одно дело — звук, а другое дело — интонация, музыкальная фраза, мелодия. Учитель, видимо, не отделял одно от другого. Да и надо ли отделять? Ведь и без одного и без другого ничего не сделается само собой. Но лично я очень строго разделяю эти понятия: интонация и звук. Ну, интонация, мелодия — это ясно: то самое, внутреннее, а потом и внешнее, заставляющее сжиматься горло и дрожать на губах — «м... м... м... м...» — запевка всей вещи, ее музыкальный ключ, ее тайная горечь: никто в эту ночь не спал в доме Болконских. Звук же совсем другое дело. Весьма возможно, что звук — самое неисследованное в мире. В звуке содержится гораздо больше того, что мы улавливаем своим несовершенным слуховым аппаратом. Это всегда какая-то тайная информация, поток сигналов, как бы моделирующих звучащую вещь в мировом пространстве. Волшебный «эффект присутствия».

Не может быть звука вне материи, породившей его, так же как не может быть сознания вне бытия. Звук — это сознание колеблющейся материи.

Заседание — это тоже нечто материальное, обладающее присущим ему одному звуком, в особенности если заседает Бодлеровский комитет в Намюре, в душной комнате с видом на мост через реку, по которой буксир с усилием тянул баржу, почти до самой палубы погруженную в воду, и я, подобно этому буксиру, погруженный с головой в медленное течение почти ощутимого среднеевропейского времени, произносил на ужасном французском языке свою речь, свое эссе о Бодлере, и вот уже наконец дотащился до финала, где заключалась мысль, что будто бы каждый великий поэт постоянно умирает и постоянно рождается в поколениях для новой, еще более прекрасной жизни, так непохожей и в то же время так похожей на прежнюю, как звук непохож и вместе с тем до ужаса похож не только на душу композитора, виртуоза, но также на всю материальную структуру инструмента, родящего эти звуки, будь то дыхательный аппарат, горло певца, его носоглотка, маска, диафрагма или группа духовых, ударных или смычковых инструментов. В прелюдиях Скрябина я всегда, кроме души композитора, ощущаю громоздкое тело концертного инструмента, все материалы, из которых он построен на фортепьянной фабрике, ощущаю даже самую фабрику с ее высококвалифицированными столярами, обойщиками, политурщиками и хозяином-немцем, поклонником великого Баха, Бетховена или Моцарта, чьи латунные медальоны украшают его изделия. Фортепьянный концерт как бы проецирует — во всех четырех или даже пяти измерениях — вещественное содержание инструмента, не только его неповторимую конструктивную форму с черным лакированным крылом поднятой объемной крышки, в которой снизу отражается внутренность инструмента, как бы модель целого среднеазиатского города с глухими дувалами, но без крыш, пересеченного натянутыми струнами внутренних коммуникаций, может быть, даже некоего железнодорожного узла,— не только его силуэт, напоминающий выкройку фрака, но также и его вес, его замшелые молоточки, сорта дерева, доску резонатора из бледного бронзового сплава, даже литые стеклянные розетки, подложенные под медные колесики его могучих бильярдных ног. Мощный удар по клавишам, аккорд, является в одно и то же время и смертью звука, и рождением его для новой, уже не материальной, но духовной жизни,— наверное, даже вечной, так как она уже таинственным образом навсегда остается

в сознании человечества и, таким образом, начнет отсчет своего бессмертия, в то время как на маленькой старомодной бельгийской станции резервисты прыгали на ходу в отходящий воинский эшелон, и почти никто из них потом не вернулся живым...

Звук, раздавшийся *тогда*, состоял из множества других, сопутствующих ему звуковых колебаний, которые все время создавали стройную картину небольшого уличного скандала.

Галечка вылетела из рогатки, с шумом выдирая из акации божественно-перистые желто-зеленые веточки; в тот же миг старая, никуда не годная резинка порвалась именно в том месте, где была прикручена проволочкой от домашнего электрического звонка к одному из концов рогатки, выломанной из куста великолепной персидской сирени на даче местного греческого негоцианта Халайджоглу; кожичка тоже оторвалась с собственным, особым звуком, шлепнув мальчика по глазу; рогатка сухо треснула, раздался мелодичный, хотя и жидковатый звон, и выбитое из рамы уличного фонаря стекло — каким-то чудом пока еще почти совсем целое,— с водянистым звуком поколебавшись в воздухе, на некоторое время как бы повисло в пустоте, а затем легко — планирующими зигзагами,— все еще продолжая оставаться совершенно целым, упало на тротуар, музыкально распавшись на четыре разноформатных куска; а воробей как ни в чем не бывало продолжал чирикать на заборе, с большим любопытством посматривая сквозь листву акации то на мальчика, то на девочку с таким видом, как будто бы не имел никакого отношения ко всей этой суматохе.

— Киш, паршивый! — закричала девочка, замахав руками на воробья, который продолжал попрыгивать на одном месте, а затем перебрался на другое, поближе, как бы желая лучше рассмотреть свежий синячок под глазом у мальчика, не понимая, что мальчик хотел его убить.

Синяк, похожий на цветок анютины глазки. Ну — непохожий! Не все ли равно?

— Бежи! — крикнула девочка, но теперь в ее голосе слышался ужас.

Увы, было уже поздно: перед мальчиком, заслоняя собою всю природу, стоял довольно известный в этих

краях дворник Василий. Он подобрал с тротуара четыре осколка, завернул их в фартук, покосился на фонарь, в котором стояла керосиновая лампа с жестяным резервуаром и медной горелкой, из прорези которой высовывался почерневший язык фитиля,— и, широко, медленно шагая, блестя своей нагрудной бляхой, повел мальчика за ухо по мостовой, как арестованного. Рука дворника держала ухо мальчика таким образом, что оно сложилось вдвое, как блинчик.

— Дяденька,— рыдая, произносил мальчик общеизвестные слова, которые еще никогда никому не помогли,— я больше никогда не буду, отпустите, умоляю вас.

— Бежи, дурень,— сказала девочка, в отчаянии ломая руки.— Чего ж ты не бежишь?

— Когда он не пускает,— продолжая рыдать, ответил мальчик.

— Тогда кусай его за руку! Кусай!

— Не достаю,— успел ответить мальчик и тут же был введен во двор, где уже в полном составе стояли родственники и прислуга, на чем я и закончу описание этой ужасной, молчаливой картины, будучи не в силах изобразить дальнейшее: уплату сорока копеек серебром, сожжение в плите остатков рогатки, наложение на ухо тряпочки со свинцовой примочкой и прочее.

— Видала ухо? — спросил мальчик, остановившись перед девочкой, которая, стоя на одной ноге, как цапля, подбрасывала на ладони электрические кремушки.— Теперь уже, слава богу, как слива, а было как вареник с вишнями.

— Дай потрогать.— И девочка протянула светящиеся на солнце розовые пальчики к уху мальчика.

— Не лапай, не купишь,— сварливо буркнул мальчик скорее по привычке.

Девочка отдернула руку и вспыхнула.

— Тогда скатертью дорожка,— сказала она, повернувшись спиной.

— Ладно тебе, ладно. Если хочешь, потрогай. Мне не жалко.

— Не нуждаюсь.

— Почему?

— Потому, что *тó* ты не хотел, а *тó* теперь я не хочу,— сухо сказала девочка, не оборачиваясь,— можешь уходить, откуда явился.

— Пожалеешь, да поздно будет,— горько сказал мальчик.

— А что? — встревожилась девочка, услышав в этих словах тайное обещание, и глаза ее загорелись любопытством.— А что?

— Ничего. Одна тайна,— загадочно усмехнулся мальчик.

— Какая? — еще больше встревожилась девочка.— Скажи!

— А будешь со мной играть?

— Смотря какая тайна.

— Преступная шайка,— прошептал он, раздув ноздри и приблизив свое лицо к ее лицу.— Я их выслеживаю. Уже все нити у меня в руках. Две буквы.

— Какие?

— О и В.

— Ну и что? — равнодушно сказала девочка.

— А то, что это таинственные знаки. Поняла теперь?

— Да? — спросила девочка с непонятной интонацией иронии и превосходства.

Ее лицо было так близко, что мальчик не только видел созревший ячмень на рубиновом веке Санькиного глаза с желтой точкой, как зернышко проса, но также чувствовал жар, исходивший от ее пылающих щек, и луковый запах бедного платья из шотландки, обшитого бордовой тесьмой.

С глазами, сияющими торжеством, она ухватила его за рукав, молча повела через их двор, и они спустились в подвал и на ощупь пошли в кромешной тьме, полной опасностей,— по земляному коридору, где справа и слева нащупывались дощатые двери дровяных сарайчиков с висячими замками на задвижках, которые, будучи задеты локтем, издавали тяжелые звуки постукиванья по неструганым сухим доскам, давая представление о поленницах дубовых дров с их сухо-кисловатым запахом и серебряными лишаями мха, о пустых бутылках и о разной домашней рухляди.

— Не бойся,— шепнула Санька, задевая Пчелкина плечиком, и вдруг отошла в сторону, как бы сразу растворилась в подземной тьме.

Мальчику стало страшно, но сейчас же он услышал успокоительные звуки: девочка рядом с ним рылась в куче хлама, наполнявшего воздух невидимой душной пылью, той особенной пылью, которая свойственна лишь подвалам и чердакам. Раздалось позвякиванье чего-то медного

и шуршание спичечной коробочки, так что в воображении мальчика встала вся картина, скрытая мраком, прежде чем она явилась воочию перед его глазами при лазурно-багровом сжатом пламени огарка, постепенно и таинственно осветившего во всех подробностях старый каретный фонарь с зеркальным рефлектором и толстыми бемскими стеклами, фацеты которых, как бы сквозь слезы счастья, отбрасывали на ракушниковые стены короткие радуги, бессильные полностью преодолеть мрак подвала. Девочка подняла над головой фонарь, и мальчик увидел, что ее глаза при этом блеснули торжеством. Радужный световой круг полез по стене, остановился; в середине этого многослойного хрустального круга мальчик увидел буквы ОВ. На этот раз знакомые буквы были огромны, как будто бы их нацарапали малограмотные великаны. Один нацарапал кривое О, другой — косое В.

Наверное, эти буквы были здесь вырезаны давно, потому что почти совсем сровнялись с поверхностью ракушниковой стены, покрытой многолетним слоем бархатно-черной пыли самоварного угля, некогда хранившегося здесь в туго набитых, звенящих джутовых мешках с сетчатым верхом, сквозь который виднелись крупные куски. Если бы не селитренные кристаллики, выступившие по контуру букв, то их можно было бы совсем не заметить, но при свете фонаря они морозно мерцали — пугающе грозные,— вызывая в воображении груды сокровищ, добытых путем кровавых преступлений неуловимой шайкой...

— Видал буквы? — спросила она.
— Еще раньше тебя,— ответил он.
— А вот я раньше.
— А я еще в прошлом году.
— А я еще в позапрошлом.
— А я еще в позапозапозапрошлом.
— Все равно мои буквы.
— А вот мои.
— А вот я сейчас задую фонарь, тогда посмотрим.— Она проворно открыла стеклянную дверцу и задула свечу.— Боишься? — раздался ее шепот в темноте.

— Не боюсь,— сумрачно пробормотал мальчик и соврал, потому что на самом деле было так страшно, что сердце дрожало как овечий хвост.— Только ты не уходи,— жалобно попросил он.

Она затаилась и молчала.

— Где ты там? — позвал он.

Она молчала. Не слышалось даже ее дыхания. Он сделал несколько плавательных движений руками, как бы желая разогнать темноту, но от этого она стала еще непрогляднее.

— Где ты там, Санька?

Теперь ему показалось, что ее уже вовсе нет в сарае,— наверное, незаметно выбралась наверх, во двор, где в небе горело солнце, а его оставила одного на съедение крысам. Он ужаснулся.

— Ну, Санька же... Не будь вредной...— взмолился он и жалобно заныл.

Молчание, молчание, глухая тишина.

Было слышно, как по стенам бегут сверху вниз маленькие ручейки подземной пыли и что-то потрескивает — может быть, медленно нарастают на таинственных буквах селитренные кристаллики. Он затаил дыхание и вдруг услышал недалеко от себя звуки как бы мягко тикающих часиков, но только это тиканье было не механическое, а живое, теплое и каким-то необъяснимым, волшебным образом давало представление о маленьких ребрах, грудобрюшной преграде, спертом дыхании и нежном шелесте кровообращения. Он протянул руку и пальцами коснулся теплой материи ее платья.

— Это ты? — спросил он.

Она молчала и, видимо, отодвинулась, потому что пальцы Пчелкина перестали ощущать материю и теперь блуждали в темноте.

У него уже успело составиться кое-какое представление о девочках: белые башмачки на пуговицах, английские локоны по сторонам личика, холодное шелковое платье с воланами на разгоряченном теле. Нарядная, с густыми ресницами, опущенными на фарфоровые щечки. Прямая, как струнка, идет прямо на него, покачивая белым атласным бантом. Не доходя двух шагов, останавливается и делает то, что у них называется «реверанс»: одну ножку заводит назад, другую выставляет голым коленом вперед и слегка приседает, как послушная цирковая лошадка.

— Мальчик, хотите со мной играть?

— С девочками не играю.

— Извините.

И уже через минуту — обольстительная и навсегда потерянная — бежит как ни в чем не бывало вокруг громадного газона вместе с другим мальчиком — даже, может быть, с кадетиком в красных погонах, с рубашкой, вздувшейся на спине пузырем! — высоко подбрасывая в небо и ловя на косо натянутую между двумя палочками нить ту новомодную игрушку, странную штучку, как бы составленную из двух черных резиновых конусов — носик к носику — наподобие песочных часов, под названием «дьяболо». А то и ловит деревянный шарик на шнурке в лакированную чашечку на ручке — так называемое «бильбоке», маленькая бессердечная кокетка, холодная, скользкая, как ее шелковое платье, жестокая и, наверное, дура дурой.

Подобное представление о девочках было ничуть не лучше представления девочек о мальчиках: идет мимо, засунув немытые руки в мелкие карманы, плюется через выпавший зуб, заплетает ногу за ногу, делает вид, что ни на кого не обращает внимания, а сам небось норовит зацепить локтем или дернуть за локон.

Может быть, он и был именно таким мальчиком, да она была совсем другая девочка. Ему еще никогда не попадались такие девочки.

— Боишься? — послышалось возле самого его уха.

— Боюсь,— сказал он.

— Ага, трусишка, сознался!

Послышались знакомые звуки фонаря и спичек, появилось лазурно-желтое сжатое пламя огарка, и на стене из тьмы медлительно выступил алмазный вензель.

— А буквы чьи: мои или не мои? — спросила она.

— Твои,— согласился мальчик.

— Так-то лучше. Теперь я буду твоя повелительница.

— Хорошо,— покорно сказал Пчелкин.— Будь.

Они уселись рядом на крупную модель черноморского военного корабля времен Севастопольской кампании — фрегата без мачт и такелажа величиной с маленькую настоящую шлюпку, который лежал на боку, весь в пыли, среди прочего хлама, рядом с медной яхт-клубской сигнальной пушечкой на деревянном ступенчатом лафете, и Пчелкин сейчас же представил себе, как фрегат под всеми парусами огибает маяк на выходе из военной гавани, а из пушечки вылетает маленькое белое облако и звук вы-

стрела сначала катится по синей воде, а потом прыгает по амфитеатру портовой части города и стучит, как резиновый мячик, в каждое окно, неся с собой эффект присутствия великолепной картины выхода в открытое море стопушечного фрегата.

— Тут все мое. И фрегат мой. И пушечка моя. Мой дедушка был боцман, севастопольский герой, его даром пускали в городской театр. А ты просто мурло.

Мальчик был очарован. Неприятный же вопрос о том, кто первый открыл таинственные буквы, решился как-то сам собой: они открыли оба и теперь вместе будут распутывать клубок и следовать за нитью до тех пор, пока не откроют тайну и не завладеют сокровищами.

И тогда...

А что, собственно, будет тогда? Ну что? Что?

— У нас будет мешок денег,— сказал мальчик.

Она засмеялась.

— Чудило. Не мешок, а сто мешков.

— Тысяча тысяч мешков,— поправил он.

— И тогда мы себе купим все на свете.

Кто из нас не говорил так? Или, во всяком случае, не думал. В один роковой миг в детскую душу вселяется жажда обогащения. Является разрушительная идея денег. Вы заметили, что дети часто говорят о деньгах? Они их копят, собирают, ищут на тротуарах. Они вдруг начинают понимать, что за деньги можно приобрести почти все на свете.

Но почему, собственно, кубик? Потому что — шесть сторон в трех измерениях пространства и времени. А может быть, просто имя собачки. А верней всего, просто так. Захотелось. Что может быть лучше свободной воли!

Многие мои детские мечты из-за отсутствия денег так и остались навсегда мечтами, терзая душу своей несбыточностью. С деньгами связано все самое возвышенное и все самое низменное. Звук разбитого стекла уже содержал в себе, кроме всего прочего, страшное требование уплатить сорок копеек, и крупные осколки падали на тротуар со скрежещущим звуком «соррок-соррок-соррок»... Что может быть желаннее иметь рогатку с хорошей, новой резинкой квадратного сечения? Но резинка стоила денег. Прежде чем получить в руки пол-аршина черной резинки

квадратного сечения, надо было положить на прилавок аптеки двадцать копеек... Двадцать! Почти недоступная для меня сумма! Где ее взять? Ах, да о чем речь! Все, все в этом мире стоит денег.

Чижик... Ну да, простой чижик. Птичка, которая летает со своей стаей среди кустов сухого репейника, мелькая мутно-серо-зелеными крылышками; она ничего не стоит до тех пор, пока ее не накроют сеткой, и в тот же миг чижик уже не бесплатный, он уже стоит три копейки. Даже четыре. В этом есть какое-то наваждение, колдовство. Превращение бесплатной, свободной птицы в товар, имеющий рыночную стоимость, в детские годы мучительно терзало мое воображение, мой слабый, невинный ум, еще незнакомый со знаменитой формулой Маркса насчет сюртука и холста.

Время давно скосило мой детский каблук, ботинок покривился, но я до сих пор мучительно переживаю угнетающую мысль, что набойки стоят пять копеек, а то и весь гривенник — круглый, серебряный, с рубчатым краем, с орлом и решкой, с тонким, почти волосяным звоном, когда он бегает, как по треку, по мраморному кружку кассирши и вдруг падает плашмя, придавленный проворным пальцем с новеньким обручальным кольцом.

Я мог бы рассказать сотню историй, где деньги были причиной детских преступлений, не говоря уже о невинных похищениях сдачи, оставленной на буфете, о продаже старьевщику за три копейки еще вполне годных сандалий «скороход»... Всегда нужны были деньги, без которых невозможно было осуществить мечту, пусть самую скромную. Даже пустить обыкновенный монгольфьер из папиросной бумаги стоило денег. Всего два листа папиросной бумаги, немного тонкой проволоки для каркаса, клей, кусочек гигроскопической ваты, несколько золотников спирта, спички... Казалось бы, какие пустяки! Но все это надо было купить.

Чудо полета не могло произойти бесплатно. Неужели и Христос в своем кубовом хитоне ходил бесплатно по водам Тивериадского озера?

В конце концов не так уж дорого: четыре копейки два листа тончайшей папиросной бумаги, пять копеек гум-

миарабик, шесть копеек кисточка. Вата — даром — в ящике у тети. Две унции спирта — десять копеек. Проволока — даром — в сарае, где целыми связками лежат разноцветные стеклянные фонарики для царских дней. Спички — даром — из кухни с плиты. Всего копеек не больше тридцати. Тридцати!.. Громадная сумма. Где ее взять? Пришлось прибегнуть к унизительным просьбам, к мелкой краже сдачи с буфета, наконец, к экономии на церковных свечах и просфорках. Для того чтобы могло совершиться чудо полета, пришлось ограбить бога, в которого я еще тогда так свято, так горячо верил всей своей душонкой. Тем ужаснее была экономия на священных предметах. Подлинное святотатство, связанное с ложью.

— Ты поставил свечку?
— Поставил.
— А купил просфорку?
— Купил...
— А ты положил что-нибудь на тарелку?
— Положил.
— Сколько?
— Эти... три копейки.
— А ты не сочиняешь?
— Святой истинный крест...
— Не крестись, не надо. И никогда не призывай имени господа бога всуе.

Если бы бог действительно существовал, то он бы немедленно разразил меня — маленького лжеца и святотатца, бросил бы на меня испепеляющую молнию, вверг бы мою душу в преисподнюю, в геенну огненную.

К счастью, бога не существовало. Он был не более чем незрелая гипотеза первобытного философа-идеалиста.

И вот мальчик и девочка стоят на краю обрыва, поросшего душистой полынью.

У нее в поднятых руках монгольфьер, неумело склеенный из драгоценной папиросной бумаги, которая крахмально шуршит при малейшем движении голых, худых рук девочки. Она сжала губы и дышит носом. Но даже эта предосторожность не может остановить опасного колебания папиросной бумаги. Мешок монгольфьера, еще не наполненный горячим воздухом, все время никнет, норовит сложиться пополам и свешивается набок. Приходится приподнимать пальчиками его неумело склеенный

купол, готовый вот-вот разойтись по швам, и тогда все погибло!

Под монгольфьером на проволочке висит тампон гигроскопической ваты, облитой спиртом, источающим летучий наркотический запах, от которого у детей слегка кружится голова.

Осторожно, чуть дыша, с остановившимся сердцем, мальчик поджег спичкой вату. Спирт жаркой невидимкой вспыхнул в опасной близости с папиросной бумагой, которая могла загореться при малейшем дуновении морского ветерка. Так уже случалось несколько раз: дуновенье — и монгольфьер уничтожался сразу, лишь на один миг охваченный голубым, а потом розовым огнем — жаркой плазмой пламени,— и вот уже в траву падал лишь почерневший проволочный обруч и продолжающий гореть сине-желтым огнем кусочек ваты...

И огонь бежал по сухой летней траве приморских холмов, и горячо, до головокружения, пахло горящим спиртом...

Сколько невозвратимо погибших усилий!

С неистощимым упорством они снова воздвигали это легкое, почти невесомое здание полета. Теперь они не торопились. Они выбрали самое тихое время за несколько минут до начала вечернего бриза, когда небо, и земля, и море, и круглое нежно-малиновое облако над заливом охвачены мертвым штилем, который Учитель назвал бы Летаргией. Такую полную неподвижность я видел только один раз на сцене городского театра, где среди неподвижно повисших новгородских парусов, мертвых багровых облаков, освещенный со всех сторон неподвижным искусственным светом рампы и софитов, богатый гость Садко в стрелецком кафтане и с подстриженной бородкой, держа в руках свои звончатые гусли, вслед за тяжелым бочонком червонного золота медленно опускался в театральный трап, в пучину океана, как бы скованного переливчатой музыкой Римского-Корсакова, протянув между нарисованным небом и картонным морем свои гусельные струны.

Все вокруг было тягостного штилевого цвета, и даже полная луна на еще дневном небе казалась нарисованной мелом. Спирт горел. Жаркий воздух, струясь вверх, на-

полнял монгольфьер, медленно расправлял складки папиросной бумаги. Монгольфьер сперва принял форму папской тиары, затем округлился, и пальцы детей ощутили, что он становится все более и более невесомым. Они стояли, повернувшись друг к другу, образуя поднятыми руками воздушную арку, как в известной игре: «Паси-паси-пасира, золотые ворота, ключиком-замочком, шелковым платочком»,— и слегка поддерживали самыми кончиками пальцев, чутких, как у слепых, уже совсем невесомый, полупрозрачный белый храм монгольфьера, поднимаемого вверх потоком нагретого воздуха. Миг божественного равновесия — и вот уже монгольфьер поднялся над протянутыми к небу руками и стал уходить в оцепеневшее небо, давая понять о своем движении вверх только тем, что он стал уменьшаться, оставаясь все таким же круглым,— и мальчик и девочка стояли, задрав головы, а он все уменьшался и уменьшался, как бы оставаясь на одном и том же месте — такой же белый, будто нарисованный мелом, как и священная облатка белой июльской луны, к которой он приближался до тех пор, пока воздушное течение не подхватило его и плавно понесло в открытое море по направлению к Констанце, к Турции, к Босфору, к Стамбулу,— все такой же целый, не тронутый невидимым, но тем более опасным огнем, который принужден был нести с собой, пока вдруг не накренился, и тогда гангрена огня с молниеносной быстротой съела папиросную бумагу, и монгольфьер превратился в ничто, освободив место в непомерно громадном небе, а проволочный кружок вместе с горящей ваткой упал в открытом море, где кувыркались дельфины, вспарывая кожаными ножами своих плавников синюю воду Понта Эвксинского, быть может, потому именно Эвксинского, что оно имело густой оттенок синьки...

Но все равно, чудо уже совершилось. Оно было как бы преддверием другого чуда — чуда богатства, которое сулили две буквы: О и В. И хотя очень скоро Санька умерла от дифтерита, как это часто бывало с детьми, и ее узкий розовый гроб увез катафалк с серебряным крестом на крыше и со стеклянными — почти каретными! — фонарями по углам на Второе христианское кладбище, где в нетопленой, промерзшей церкви гроб поставили на ужасный помост, покрытый старым черным ужасным сукном, побитым молью, и рыдал хор мальчиков из сиротского приюта, наряженных в не по росту длинные каф-

таны с дутыми серебряными пуговичками в виде бубенчиков, и синие клубы ладана уже касались белого личика покойницы с печатной молитвой на лбу, а потом на крышку гроба посыпалась земля,— но все равно ничто не изменилось в мире, потому что на месте Саньки явилась другая девочка с голыми полными ногами, в английских локонах, с красным лакированным «бильбоке» в руке, и Пчелкин спросил ее: «Девочка, как тебя зовут?» — а она ответила: «Тебе какое дело?» — и, пожав худенькими плечиками, ушла походкой принцессы, со скрипом затворив за собой калитку, а́ он дерзко крикнул ей вслед: «Сама мурло́!», но в следующий раз они подружились, и он посвятил ее в тайну букв О и В, и они сидели во дворе за домом на досках и строили воздушные замки, охваченные страстной жаждой обогащения, а когда однажды Пчелкина увезли навсегда к бабушке в Екатеринослав, вместо него появился другой мальчик, и новая девочка поведала этому новому мальчику тайну загадочных букв, сулящую им сказочные богатства. Потом на смену новой девочке пришла другая — совсем новая, а на смену новому мальчику, утонувшему против большефонтанского маяка, явился другой — совсем, совсем новый, можно сказать, новейший, и эти новейшие мальчик и девочка, как и прежние, продолжали жить мечтой о сокровище, спрятанном где-то рядом... Разные мальчики и разные девочки росли, вырастали, продолжали оставаться все теми же, первыми, единственными мальчиком и девочкой, и они стояли друг против друга возле старого ракушникового забора с бутылочными стеклами наверху, и перед ними поблескивали селитренным блеском давно-давно выцарапанные кем-то буквы О и В.

Эти буквы забывались и вновь всплывали где-нибудь в самом неожиданном месте — то большие, то маленькие, то кривые, то старые, еле заметные, то совсем свежие, как будто их вот только что — сию минуту — вырезали на стене неуловимые преступники, давая тайный знак своим сообщникам.

Не хочу сказать: «Между тем шло время»,— потому что время никуда и никогда не идет: ни справа налево, ни слева направо, ни вверх, ни вниз. Оно гнездится где-то во мне самом, делая свои отпечатки в самых тайных клетках моего мозга, вернее же всего — оно просто рабочая гипотеза, абстракция, а я человек земной и верю

только в мир материальный, который хотя постоянно изменяется, но всегда остается по самой своей сути единым, и вот однажды в этом материальном мире среди развалин разбомбленного и взорванного города на чудом уцелевшей могиле Канта чья-то недрогнувшая рука написала мелом по-русски:

«Ну что, Кант, теперь ты видишь, что мир материален?»

А мальчик и девочка, так и не открыв тайны OB, претерпев тысячи изменений — качественных и количественных,— вдруг в конце концов из бедных русских превратились в богатых пожилых — как это ни странно — французов, хотя, увидев со спардéка туристского теплохода забытый берег своей бывшей родины, очень взволновались, глаза их наполнились слезами — может быть, впрочем, лишь потому, что в их воспоминаниях это море, куда некогда упала черная железка сгоревшего монгольфьера, и этот берег были совсем другими: неизмеримо более прекрасными, почти сказочными, полными прелестных подробностей и поразительно прозрачных, почти светящихся красок, на самом же деле все оказалось гораздо беднее и некрасивее: новороссийская степь, которую они видели в своих снах когда-то драгоценного, аметистового цвета, в лучах заходящего солнца, и резко очерченные высокие глиняные обрывы, сотни верст песчаных пляжей и отмелей, просвечивающих сквозь малахитовую воду, воображаемые виноградники, их античные листы с бирюзовыми пятнами купороса,— все это превратилось в низкую полосу черной земли, протянувшейся над невыразительной морской водой, и бедный солнечный закат некрасивого, небогатого, какого-то ветрено-красного, степного цвета под бесцветным небом... И не слишком длинный силуэт города, некогда казавшегося лучшим в мире...

Ну и так далее — как любил говорить председатель земного шара Велемир Хлебников, прочитав начало своей новой поэмы и вдруг потеряв к ней всякий интерес...

Уже давно мир охвачен опасной жаждой обогащения.

Лишь в одном месте на берегу моря они увидели две ноздреватые скалы, в подводной части поросшие зеленой

бородой тины и водорослей. Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. Яма между ними, наполненная тихой морской водой, казалось, была та самая, в которой некогда девочка Санька училась плавать. Впервые, со сладким ужасом, голая, худая, покачивая раскинутыми руками, вроде канатной плясуньи, девочка опускала сначала одну ногу, потом другую в мелкую воду, коварно реявшую по смоленской крупе перламутрового песка, а дальше начинались колючие камни и дно стремительно понижалось. Свежая морская вода была так прозрачна, что сквозь нее в глубине во всех подробностях виднелась растительность подводного царства. Девочка на цыпочках начала входить в воду; пальчики ее ног то натыкались на колючие камни, обросшие гнездами старых мидий, то скользили в зарослях водорослей, сквозь которые стремительно проносились стаи почти прозрачных мальков, делая резкие повороты и скрываясь из глаз с молниеносной быстротой. У нее захватывало дух от страха каждый раз, когда она начинала ощущать, как уровень воды ползет вверх по ее телу, сначала до шершавых колен, потом до пупка, потом по ребрам до крошечных, совсем кукольных сосков, до горячих подмышек, и она, чтобы не замочить сухих рук, покрывшихся гусиной кожей, старалась держать их выше уровня поднимающейся воды и с удивлением рассматривала нижнюю половину своего тела, голубого и нежного, почти не преломлявшегося сквозь слой прозрачной воды. Все ее косточки были легки, как у птицы. Наконец вода подступила ей к горлу, коснулась ее узкого детского подбородка. Боясь захлебнуться, она плотно закрыла рот и стала дышать носом и в этот же миг почувствовала, что пальчики ее ног больше не касаются дна, а как бы висят среди полупрозрачных серых креветок, мальков и всего этого японского пейзажа подводного царства. Уровень воды перестал подниматься, остановившись примерно на уровне ее рта. Она осторожно вздохнула, испытывая чувство невесомости, как тот монгольфьер, который некогда на миг неподвижно повис над поднятыми к небу руками мальчика и девочки, а потом стал удаляться по направлению к предвечерней июльской луне, как бы нарисованной мелом в летаргическом небе. И теперь снова — уже не она, не ее тело, а лишь ее не имеющая возраста кочующая душа — стояла около каменистой ямы, где впервые в жизни испытала наслаждение невесомости, вспоминая, как ее

уже теперь не существующее детское тело в первый и последний раз в жизни пришло в равновесие со всей вселенной и стало воистину частью мироздания, как любая звезда, как любой красный или белый карлик, как любой атом космической пыли, как альфа-частица, как позитрон, как любой продукт распада, происходящего в миг превращения одного элемента в другой...

А уж потом не то... совсем не то...

Старая богатая дама в темно-зеленых очках заплакала и стала вытирать щеки шелковистой бумажкой «kleenex», которую вынула из сумочки,— она всегда брала с собой во время автомобильной поездки небольшой запасец этой бумаги, которой так удобно было вытирать руки, стирать дорожную пыль со своих нежных щек.

— Я здесь когда-то училась плавать,— сказала она,— здесь учились плавать все наши девочки.

— А меня,— ответил он,— тоже учили плавать где-то здесь, поблизости, в Сухом лимане.

Ведь, в сущности, он и был я. Во всяком случае, мы оба были созданы из одних и тех же элементарных частиц, но только в различных комбинациях.

— Здесь было село Александровка. Но я его что-то не вижу. Ну что ж, поехали дальше? Давайте. Я сидел на корме шаланды в матроске, в соломенной шляпе, в чулках и башмаках, как приличный городской мальчик. «Умеешь плавать?» — спросил студент. «Не умею»,— сказал я. Тогда он просто взял меня за шиворот и швырнул, как щенка, в теплую, совершенно пересоленную — так называемую рапную — воду лимана, которой я нахлебался на всю жизнь... Но выплыл... И плыл за лодкой по-собачьи, пуская пузыри и рыдая, пока студент не втащил меня в лодку, причем я ободрал не только свою матроску, но и кожу на груди. Зато без хлопот научился в десять минут плавать. До сих пор у меня в горле эта едкая, целебная соль Сухого лимана.

Они поехали посмотреть это место, но вместо него нашли громадный новый грузовой порт — скопление железных кранов, которые в беллетристике обычно сравнивают с клетчатыми жирафами, стальными страусами и тому подобным, что хотя и довольно похоже, но лично на меня уже не производит никакого впечатления, как давно отчеканенная и уже сильно потертая разменная монета.

Пусть ею расплачиваются другие. В крайнем случае, если уж вам так хочется: морды морских коньков.

Интуристы велели поворачивать и поехали обратно в город мимо кукурузных полей, новостроек и каких-то космических ракетных установок, скрытых в пыльной зелени акаций. Уже потянулись пригороды, как вдруг в глаза бывшего мальчика и бывшей девочки бросились знакомые, но давно уже забытые буквы О и В, совсем новые, только что вырезанные на ракушниковых камнях какого-то глухого забора с битым стеклом наверху.

Ошеломленные Мосье и Мадам схватились за руки, как дети.

— Ты видишь? Ты видишь?..

Самое поразительное заключалось в том, что под свежевыцарапанными буквами в небольшой траншее сидели какие-то люди. Не могло быть сомнения, что именно они только что и нацарапали эти буквы.

— Подождите! Остановитесь! — взволнованно крикнул Мосье Бывший Мальчик водителю.

Они вышли из машины и по вскопанной земле неумело пошли к траншее.

(В сущности, им уже не нужны были никакие сокровища; они и так были сказочно богаты; но старая мечта вдруг с новой силой встала перед ними, опьянила, привела в смятение, словно обварила их души кипятком.)

Что же они увидели?

Глубоко в траншее сидели двое: чумазые юноша и девушка, оба в старых рабочих спецовках с новенькими значками какого-то фестиваля; вокруг них валялись черные слесарные инструменты и на разостланной газете «Черноморская коммуна» стояла бутылка кефира — ярко-белого, как в первый день творения, с еще более яркой зеленой крышечкой, на которой был оттиснут день его появления на свет: вторник,— и, разумеется, два бублика. Неожиданно увидев людей, стоящих во весь рост над их ямой, они в замешательстве отпрянули друг от друга — небось целовались! — и залились темным румянцем.

— Простите, мы вам, кажется, помешали завтракать,— на хорошем русском языке вежливо сказал Бывший Мальчик.— Приятного аппетита.

— Милости просим, седайте с нами,— бойко сказала девушка, поправляя косыночку.

— Мерси, мы уже завтракали,— сказала Мадам Бывшая Девочка.— Не можете ли вы нам сказать, кто написал эти буквы ОВ?

— Ну мы, а что? — спросил парень и бдительно насупился.

— Что же это обозначает?

— То и обозначает. А вы кто такие?

— Интуристы.

— Из какой, я извиняюсь, страны?

— Из Франции.

— Ну, из Франции — это еще ничего. Интересуетесь, что обозначают эти буквы ОВ? Пожалуйста. Могу сказать, в этом нет никакой тайны: одесский водопровод. Каждый раз делаем эти отметки О и В, чтобы всегда было известно, где проложены трубы, чтобы даром не ковырялись другие чудаки.

Бывшие Мальчик и Девочка посмотрели друг на друга и невесело рассмеялись.

— Как просто!— воскликнула она.

Штучка посильнее «Фауста» Гёте...

Они взялись за руки и некоторое время стояли перед ракушниковой стеной своего детства, с крупными буквами, которые вдруг потеряли для них всякий интерес, как, впрочем, и все в мире, лишенное тайны, однако же они — эти некогда великолепные буквы — остальную жизнь продолжали преследовать их, время от времени вдруг возникая в воображении, иногда без всякой видимой причины, как, например, однажды совершенно неожиданно Мосье Бывший Мальчик увидел их внутренним взором как бы рядом с собою, когда он поднимался по старой винтовой парижской лестнице, сначала по ковровой дорожке, коегде протертой до основы, а потом уже без дорожки, прямо по деревянным, музыкально поскрипывающим ступеням, и — в соответствии с жанром психологической новеллы — «ловил себя на мысли» и так далее, в то время когда он никогда ни на чем себя не ловил, а просто привычно морщился от сладкого химического запаха дезодораторов, незаметно расставленных кое-где на лестнице, чтобы хоть немного отбить застоявшиеся кухонные и другие, еще более неприятные запахи, вызывавшие в человеке непри-

вычном легкую тошноту; однако дезодораторы не только не устраняли вонь, но усугубляли ее, доводили до непереносимой приторной мерзости, подобно тому как нечистоплотная красавица не может смягчить запах своего тела, натираясь под мышками герленовскими духами, абстрактной смесью амбры, мускуса и болгарского розового масла. Скверный запах на лестнице Мосье переносил стойко, как должное, твердо зная, что есть люди очень богатые, менее богатые и просто бедные, которые живут, как им и полагается, в бедных кварталах, где по железным эстакадам каждую минуту со страшным шумом проносятся поезда метро, а под эстакадами всегда царит сырой сумрак, и бетонные стены воняют мочой, и на мокрой черной земле попадаются окаменевшие собачьи экскременты, почему-то чаще всего принадлежащие таксам,— такие же длинные, узкие, напоминающие бледные стручки перезрелой фасоли.

Тайные свидания. Рассказ в духе Мопассана.

Она открывала ему опрятную лакированную дверь, не дожидаясь звонка, пропускала в свою комнату и через полчаса уже провожала его по коридору обратно до дверей, придерживая голой рукой на горле пестрый халатик, а он небрежно, хотя и не без удовольствия, целовал ей что попало — полный локоть, щеку или шею за ухом — и говорил ей: «А бьенто́, шери»,— на что она неизменно отвечала ему: «А бьенто́, мосье мон ами»,— не решаясь назвать его просто «мон ами» или еще проще — «шери», на что, по парижским неписаным законам, имела полное право, разумеется, наедине.

Обычно в таких случаях принято оставлять что-нибудь на камине, но он изменил этому правилу, деликатно кладя одну или несколько очень крупных ассигнаций на письменный столик, где иногда находил наспех брошенные школьные учебники дочери своей любовницы, которая всегда была или в школе, или на это время уходила к подруге, и когда он подсовывал деньги или узкий голубой чек под учебник алгебры или под изящный светящийся внутри электрический глобус его подруга — назовем ее Николь — довольно холодно благодарила его коротким: «Вы очень любезны». Она была довольно привлекательна, имела ровный, покладистый характер и никогда не обременяла его никакими просьбами, а тем более требования-

ми, видимо довольствуясь тем, что он ей давал, и не делала ни малейших попыток узнать, кто он такой, хотя и подозревала — по разным мелочам его туалета,— что он богат, даже, может быть, очень. Она знала свое место и никогда не пыталась перешагнуть черту, которая их разделяла. Самое же главное — она была добрая женщина и не старалась казаться тем, чем она не была. Догадавшись, что у нее есть дочь-школьница, он спросил: «Но где же ваш муж, Николь?» — «Его нет»,— ответила она коротко, и он больше не стал ее ни о чем расспрашивать, главным образом потому, что ему это было совершенно безразлично. В начале их связи, которую он, в сущности, даже и не считал связью, он сказал ей:

— Вы не должны на меня сердиться, Николь, как-никак я уже старик.

Не опуская ресниц, она сказала:

— Каждому столько лет, сколько он сам себе дает. Вы, мосье, совсем не кажетесь мне старым.

— Мерси,— ответил он на ее любезность.

Как это ни странно, Мопассан до сих пор не вполне признан во Франции.

Зачем она ему была нужна? Просто он давно уже привык иметь кого-нибудь на стороне. Для него не представляло никакого труда взять себе любую красавицу из тех, которые самой природой были созданы для богатых стариков его круга. Они попадались на его пути всюду. Но по всем своим привычкам он был человек умеренных вкусов. Все его тайные подруги были женщины простые, незаметные. Одна сменяла другую, а эту он получил от своей прежней любовницы, которой посчастливилось найти себе мужа. Николь была всегда к его услугам, стоило только ему заблаговременно позвонить по телефону. Вариант отельчиков и студий она отвергла, не желая себя компрометировать, и ему это понравилось. Понравилось ему также и то, что она не сидела дома сложа руки, а работала, так что дни и часы свиданий приходилось сообразовывать с ее рабочим днем. Однажды, через несколько лет, она объявила ему, что завтра будет занята, так как ее дочь выходит замуж, и прибавила, как бы для того, чтобы предупредить его подозрения, что венчание состоится в церкви Сент-Огюстен на бульваре Мальзерб.

— Вот как! — воскликнул он.— Это очень шикарно!

— Да, ее берут в хорошую семью,— ответила она не без скромной гордости.

Ее можно было понять: одна, без мужа, она все-таки сумела дать дочке образование, поставить на ноги и удачно выдать замуж.

...Многие, особенно во Франции, считают Мопассана «мове». Может быть, именно поэтому я его так люблю: мовист! Кстати: рассуждая о женщинах, старик Карамазов тонко заметил: «Не презирайте мовешек», или: «Не пренебрегайте мовешками» — что-то в этом роде, уже не помню...

Ему захотелось посмотреть на эту свадьбу (а может быть, проверить свою любовницу), и он поставил свою машину на стоянке возле церкви, а сам вмешался в толпу любопытных перед церковной оградой. Судя по тому, что несколько дам в толпе были в настоящих норковых шубках, свадьба была богатая. Он едва не опоздал. Таинство только что кончилось. Гости выходили из церковных дверей. Три маленькие девочки с распущенными волосами, в гранатовых бархатных платьях испанских принцесс с длинными тяжелыми шлейфами, не без труда преодолевая каждую ступеньку, спускались по лестнице. Самая маленькая, совсем крошечная, с трудом приподнимала ручками грузную материю, для того чтобы освободить ножки в белых лайковых башмаках, но окончательно запуталась в шлейфе и уже готова была зареветь и сесть на ступеньки, с отчаянием протягивая ручки в длинных белоснежных перчатках к пожилой нарядной даме, которая поправила ей подол и под общий смех свела за ручки маленькую инфанту вниз по лестнице, в то время как из обитых сукном церковных дверей, из холодного мрака, в глубине которого пылали золотые костры свечей, на ослепительно яркий парижский полдень вышли присутствующие при таинстве, среди которых Мосье не без труда узнал немного смущенную Николь; она была в шляпке, белых перчатках, старалась держаться на втором плане, очевидно стесняясь, что попала в такое избранное общество, в то время как отец жениха, красивый старик в визитке, с красной розеткой Легиона и цветной ниточкой Сопротивления в петлице, в полосатых брюках и серых гетрах — точно такой, как в начале века в иллюстрированных журналах было принято изображать диплома-

тов,— все время старался оказывать своей новой родственнице, матери жены его сына, знаки внимания, как бы подчеркивая, что хоть она и женщина другого общества, всего лишь скромная лаборантка, без мужа, но что же делать? — что же делать! — с этим приходится мириться, тем более что она держится превосходно, скромно, ненавязчиво и, надо надеяться, не будет злоупотреблять своим новым положением, жаль только, что отсутствует ее муж, отец невесты — а теперь уже и жены,— потому что два отца, одинаково одетые в визитки, и две матери, примерно в одинаковых шляпках, всегда придают свадебной процессии известную респектабельность, семейную законченность, особенно когда так удачно одеты маленькие сестренки и кузины жениха в своих длинных бархатных платьях, с распущенными волосами — настоящие испанские принцессы,— озаренные этим сверкающим парижским полуднем, когда немного туманный горячий воздух пронизан по всем направлениям зеркальными стрелами проезжающих машин и то и дело — от парка «Монсо» до «Мадлен» — слышится острый визг тормозов,— и он деликатно поддерживал Николь под локоть рукою в замшевой перчатке из самого лучшего перчаточного магазина на авеню Оперá. И вот наконец в открытых дверях церкви, где в черной глубине дрожали огни свечей, появились жених и невеста, оба молодые, строгие, он в очках и белом галстуке, она в коротком платье, в нарядной белоснежной фате — тоже чересчур короткой,— даже как будто немного легкомысленной, но необыкновенно идущей к ее русой, небрежно подстриженной под мальчика голове — на вид жесткой, а на самом деле, если потрогать, мягкой как шелк; она держала в руках белые, еще не вполне распустившиеся розы от Баумана, и ее круглое серо-зеленоглазое лицо с густыми мальчишескими ресницами казалось типичным лицом хорошенькой прилежной сорбоннской студентки из числа тех, которые всегда пишут какую-нибудь диссертацию и временами проводят вечерок в Купóле, где в веселой компании едят шестифранковый луковый суп в маленьком закопченном горшочке и пьют красное «ординер» в очень умеренном количестве, всего два-три глотка за весь вечер.

Пока свадебная процессия рассаживалась за оградой по своим автомобилям, а зеваки снаружи делали, как водится, различные замечания и обменивались мыслями по поводу свадьбы, он потерял из поля зрения Николь и

думал о ее дочери, удивляясь, как долго уже тянутся эти тайные свидания с ее матерью и вообще как быстро летит время. И представлял себе, как молодые муж и жена поедут в свадебное путешествие по-студенчески: по каким-нибудь общеизвестным туристическим маршрутам, как они будут спать в больших отелях и в семь часов утра съедят свой среднеевропейский маленький завтрак — пти дежёне — в постели, пачкая тончайшие линобатистовые, скользкие наволочки абрикосовым джемом, и как они будут подниматься пешком на какую-нибудь лесистую гору, осматривать замок, равнодушно трогать руками средневековую мебель и ходить рядом, прижавшись друг к другу; как он будет забрасывать себе на шею, как коромысло, ее крепкую, покрытую золотистым загаром руку, а она будет обнимать его за талию, и они будут целоваться — он бородатый, в очках, нагруженный фотоаппаратами и транзисторами, в ярко-красном свитере коль-руле, а она в хорошо сшитой, складненькой мини-жюп,— однако целоваться не так уж часто и не так уж откровенно, как все эти разбогатевшие неженатые западные немцы, которых расплодилось великое множество, как будто бы их совсем и не побили, а наоборот — они всех отлупили и победили и теперь пользуются плодами своей победы. И они — он и она — через несколько дней поедут в тесном туристском автобусе по каменистой дороге вдоль болтливой болгарской речки, которая, пробиваясь сквозь горные хребты, стремительно с шумом бежит в Эгейское море, и над ними низко пролетит громадный долговязый аист, свесив свои зубчатые крылья и длинные ноги. А быть может, уже в другой стране, в Молдавии, их повезут на экскурсию, где они увидят в холодных монастырских катакомбах среди груды других черепов череп легендарной Калипсо, гречанки легкого поведения, с которой целовался Байрон и которой, как говорят, великий русский поэт посвятил стихотворение «Черная шаль»,— череп, который теперь, в отличие от других черепов, лежит на особом аналое посреди ледяного погреба и его можно взять за руку, как шкатулку или, вернее, как пустой панцирь черепахи, на котором какой-нибудь ученый румынский монах вырезал мемориальную надпись, и они — он и она,— лежа вечером в постели, будут представлять себе, какой была из себя эта обольстительная гречанка — черноглазая, страстная, с горячим дыханием — и как она после ряда приключений и светских скандалов в русском

аристократическом обществе Кишинева наконец уединилась, выдав себя за юношу, в Румынии, в Нямецкой обители, а потом умерла, и только тогда, при омовении тела, обнаружилось, что молодой послушник — женщина...

Мосье старался представить их во всех тех местах, которые он сам уже посетил отчасти как любитель путешествовать, отчасти по коммерческим делам, которые у него случались почти во всех частях земного шара, а в последнее время также в социалистических странах.

Одно время у него появились крупные интересы в Румынии, и он соединил приятное с полезным.

Если бы он был великим живописцем, то, несомненно, написал бы большое полотно в духе флорентийских фресок Мазаччо или Пьетро Перуджино, а может быть, даже самого Эль Греко. И назвал бы его «Крещение младенцев в Констанце», в той самой Констанце, до которой так и не долетел детский монгольфьер, сгорев в июльском предвечернем небе незадолго до первой мировой войны по дороге в Истрию, в Трою, в Элладу, в Афины, над которыми вечно царит мраморный ковчег Парфенона, терзая человеческую душу своей неслыханной красотой.

Их было четверо, этих румынских младенцев: три мальчика и одна девочка. Они были крепко завернуты в белые парадные одеяльца и лежали на руках у своих крестных матерей, напоминая голубцы или даже плацинды с творогом. Рядом с крестными матерями стояли крестные отцы, напоминая стражей, держа в руках вместо поднятых мечей удивительно большие палки крестильных свечей, украшенных атласными бантами и букетиками живых цветов. Об этих крестильных свечах следует сказать особо. Они были сделаны — скорее скатаны, чем отлиты,— из неестественно белого воска, более напоминающего нутряное сало, чем продукт, вырабатываемый трудолюбивыми добруджскими пчелами, которых здесь — кстати сказать — возят на грузовиках и расставляют ульи возле поля, где начало что-нибудь цвести, а по окончании цветения увозят в другое место, так что пчелам не приходится далеко летать, и они работают со всеми удобст-

вами, имея возможность тратить свою энергию, не только добиваясь количества, но также и качества.

Необожженные льняные фитили этих свечей были сильно выпущены в виде неразрезанной петли, как того, может быть, требовал церковный ритуал.

Окруженные родственниками, просто зеваками, а также иностранными туристами, все эти люди толпились посередине церкви, составляя живописную группу, в которой преобладали парадные цвета упомянутых белых детских одеялец, белых свечей, до синевы белых мужских нейлоновых сорочек, а также смуглые лица крестных матерей, их маслиново-черные прически, так хорошо рифмующиеся с новыми черными брюками, черными пиджаками и оранжевыми, немного волосатыми руками мужчин.

Путешественников-молодоженов не могло не волновать зрелище крещения только что появившихся на свет малюток. Она с нежной, лучезарной улыбкой несколько застенчиво положила руку на плечо своего мужа, который, уже как бы чувствуя себя отцом, начинал возиться со своими фотоаппаратами, чтобы снять младенцев. Один из них уже немного перерос грудной возраст и вертелся на руках у крестной, которая с опаской поглядывала на свое праздничное платье. Вокруг в сумраке летнего полдня матово золотились иконы, в несколько рядов, сверху донизу, покрывая высокие стены, колонны, двери притворов и царские врата с красной шелковой завесой, просвечивающей сквозь червонные завитки деревянной резьбы, кое-где озаренные скупыми огоньками свечей. Это была не слишком старинная православная церковь, известная в Констанце тем, что ее расписал весьма талантливый местный художник, человек бесшабашной жизни. Так как, по румынской восточнохристианской традиции, пришедшей сюда из Византии, храмы расписываются не только внутри, но также и снаружи пестрыми многофигурными фресками, на что обычно уходит несколько лет, то наш живописец нашел для себя самым удобным на все время работ переселиться в церковь вместе с женой, детьми и всеми своими подручными учениками, которые внутри храма не только ели, спали и выпивали розовое добруджское винцо, имеющее тот недостаток, что оно несколько более сладковато, чем бы следовало,— вроде «анжу розе»,— что не мешает ему, как говорят, «очень хорошо давать себя пить»,— но также

жарили мясо на шкаре, раскладывая уголья прямо на каменном полу — к ужасу и тайному восхищению церковной общины.

Больше ничем этот кафедральный собор не знаменит, разве еще тем, что именно здесь венчались родители знаменитой современной художницы Франчески Буковалэ, некогда расписавшей смелыми фресками местный спортивный зал, а теперь приведшей сюда, в церковь, нас, своих московских друзей. Говорят, сохранилась фотография, снятая за несколько лет до катастрофы (имеется в виду, конечно, первая мировая война), на которой изображены родители Франчески: они стоят на ступенях церкви — после бракосочетания,— он во фраке и шапокляке, она в длинной густой фате с флёрдоранжем в волосах и букетом роз в руках, туго обтянутых по самый локоть белыми лайковыми перчатками, и перед ними как бы открывается рай, исполненный вечного счастья, долголетия и всяческого благополучия, в то время как на заднем плане довольно разборчиво получился кусок фрески — фрагмент ада,— написанный на наружной церковной стене: огненно-суриковая река, охваченная сернистым дымом,— по всем видимостям, геенна, фигурки чертей, волокущих в эту самую геенну различных грешников, а также наглядные, почти научно-популярные, как в детской азбуке, изображения семи смертных грехов, из которых особенно удачно вышел на фотографии грех прелюбодеяния: двое довольно прилично одетых любовников на высокой византийской двуспальной кровати с надежной спинкой, смятые шелковые одеяла, а черти с хвостами, рогами, копытами и гнусными свиными рыльцами, угрожая трезубцами, уже собираются тащить бледных от ужаса прелюбодеев прямо в огненную реку, протекающую поблизости.

Я уже не помню последовательности отдельных моментов крещения, да это и не важно, так как хронология, по-моему, только вредит настоящему искусству и время — главный враг художника.

Знаю только, что хора не было, и это очень обедняло торжество, так как молодой человек в штатском, стриженый, бритый и даже в небольших испанских бачках,— псаломщик, заменяющий хор,— исполнял свои песнопения гнусаво, хотя и самоуверенно; к счастью, он торопился и, по-моему, пропустил добрую половину текста — что

называется, пятое через десятое. Он уже сноровисто распоряжался всей церемонией, давая указания, куда кому идти и где стоять; он же в надлежащее время вынул из бокового кармана парикмахерские ножницы и привычным движением обрезал необожженные фитили крестильных свечей, расправил их пальцами, подровнял, зажег, и в церкви как бы сразу прибавилось радости. Священник и дьякон в быстром, бодром темпе делали свое дело, однако относились к службе добросовестно, и если полагалось прочесть из Евангелия, скажем, две страницы, то батюшка читал их полностью, от строчки до строчки, не делая поблажек восприемникам и зевакам, которым не терпелось увидеть поскорее самый торжественный момент — опускание младенцев в купель. Серебряная и, как водится, довольно помятая купель стояла тут же, рядом со столиком, и вода в ней таинственно поблескивала, слегка позлащенная отблесками свечей.

Франческа шепотом высказала предположение, что, наверное, в этой самой колченогой купели крестили и ее и что с тех пор прошло уже несколько войн и одна большая революция, а купель была все та же, лишь немного больше помялась.

Франческа оказалась сентиментальна, и слезы блестели на ее щеках и на длинных ресницах.

Впечатляющим был момент, когда под руководством псаломщика крестные отцы с белыми дубинами своих нарядных свечей и крестные матери с младенцами на руках выстроились в шеренгу, повернувшись лицом к распахнутым церковным дверям, за которыми угадывался знойный портовый город с его музеями, минаретами, генуэзским маяком, с памятником великому римскому поэту-изгнаннику Публию Овидию Назону, с археологическими раскопками на том месте, где в древности находился город-государство Томы, некогда основанное пришельцами из Милета, с торговым центром эпохи императоров Константинов, с площадью и торговым базаром, с крупной городской набережной за площадью Овидия, где совсем недавно был обнаружен фрагмент очень хорошо сохранившейся мозаики, обломок головы Гермеса,— все это у входа в громадный порт, за которым великолепно простиралось Черное море — Понт Эвксинский — и сбоку припека виднелась маленькая прямоугольная гавань для небольших судов, у входа в которую грязные волны сби-

лись в кучу и топтались на месте, как отара овец у тесных ворот загона, как бы подтверждая тревожные, плохо сформулированные мысли Осипа о том, что «проза асимметрична, ее движения — движения словесной массы — движение стада, сложное и ритмичное в своей неправильности; настоящая проза — разнобой, разлад, многоголосие, контрапункт...».

И вот началась церемония Изгнания Сатаны, быстро и умело проведенная бритым батюшкой в старой глазетовой ризе с круглым крестом, рельефно вышитым серебром на горбатой спине. В тонких очках, докрасна натерших его хрящеватую переносицу, с кудрявой серебристо-темной шевелюрой, с живыми глазами, он скорее напоминал не апостола, а школьного учителя — строгого, но справедливого, который публично выгоняет из класса провинившегося ученика. Крестные матери прилежно повторяли за ним гневные слова, обращенные к изгоняемому из младенцев Сатане, и плевали в малюток, причем это было отнюдь не символическое плевание, а самое что ни на есть подлинное, старательное — вроде того, как плюются между собой поссорившиеся девочки, так что обильная слюна восприемниц вполне материально текла по красным, сморщенным личикам младенцев. Затем вслед за не на шутку рассердившимся священником они трижды повторили: «Изыди, Сатана! Изыди, Сатана! Изыди, Сатана»,— а священник при этом непреклонным жестом указывал на распахнутую дверь, так что Сатане ничего больше не оставалось, как покинуть храм, и я живо представил себе изгнанного Сатану, который в призрачно развевающихся одеждах, опозоренный, оплеванный и бездомный, слоняется по всей Добрудже, ища, в кого бы вселиться.

...По ее густым темно-зеленым кукурузникам, по бесконечным пшеничным полям — какого-то особого оранжевого цвета, какого я больше нигде не встречал,— по отлогим холмам и длинным степным, почти незаметным долинам, где так удобно было разбивать коновязи и прятать артиллерийские парки, обозы первого разряда и передки батарей, в то время как трехдюймовочки, укрытые за обратными склонами холмов со звонким тьюканьем, выбрасывая красные кинжалы пламени, стреляли за сухой степной горизонт и с наблюдательного пункта, разместившегося в конце пахучей соломы, стоя наверху, как аист,

я видел в цейсовский бинокль, между его плюсами, черточками и минусами, как, подобно коробочкам хлопчатника, в воздухе лопались наши шрапнели, в то время как походные колонны генерала Макензена из-за горизонта наступали на нас, опускаясь в лощины и вновь показываясь уже гораздо ближе, на каких-то по-турецки сухих холмах, таща за собой толстые пушки крупных калибров, и все это было так красиво и так грустно, и так хотелось получить легкое — о, совсем, совсем легкое! — ранение и Георгиевский крест и героем возвратиться домой — в страну ОВ,— в знойный город, где на бульваре вокруг черноголового Пушкина уже начали желтеть клены и платаны, в цветниках горели винно-красные канны с чугунно-синими толстыми листьями, а на горизонте весь день сонно маячили серые паруса заштилевших дубков с арбузами из Голой Пристани, и сердце мое — а может быть, это был уже не я, а ты — Мосье Мой Друг и Мой Двойник,— но это не имеет значения,— и сердце Мое — или Твое — изнывало в ожидании вечера, предчувствуя свидание, которое наконец успокоит душу́, взбудораженную жаждой любви, которая одна могла нас всех спасти от смерти, но так и не спасла; вернее сказать спасла одного из нас...

Между тем дьякон уже опрашивал крестных матерей и, наклонившись над столиком, заполнял метрики младенцев, те самые метрики, которые, весьма вероятно, в некий час пройдут через опытные руки воинского начальника и будут фигурировать в канцелярии призывного пункта в День Всеобщей Мобилизации, а затем вернутся в семью в казенном пакете с сургучными печатями.

Но торжественная минута приближалась, наступила пауза, легкое замешательство: крестные матери, наклонившись над столом, вынимали из одеял и освобождали из теплых сырых пеленок крошечные тельца слегка запревших малюток, и вот священник, деловито засучив рукава и поправив очки, приступил к таинству: он проворно брал горячего младенца, укладывал его себе на правую руку так, что личико оказывалось надежно прикрытым ладонью священника, и затем — ногами вверх, головой вниз — гоп! — глубоко окунал ребенка в купель, и в тот миг, когда казалось, что младенец захлебнулся, вытаскивал его из купели, поворачивал вверх головкой, по которой ручьями, как с утопленника, текла вода, возносил

вверх, к небу, и снова головой вниз опускал в купель до самого дна, и так три раза — пока наконец ребенок снова не попадал в теплое одеяльце крестной мамы, быстро превращавшей его опять в плацинду. Когда же очередь дошла до девочки — самой крошечной из всех детей,— то между вторым и третьим погружением в купель священник сделал некоторую довольно значительную паузу, высоко над головой держа крошечную голенькую будущую даму, с которой ручьями текла вода, как бы раздумывая, стоит ли ее вообще крестить, достойна ли она этого — крошечное существо, похожее на очищенную раковую шейку,— как бы не вышедшее еще из утробного периода,— но затем махнул рукой и с улыбкой всепрощения окунул ее в третий раз под одобрительные восклицания прихожан. Вообще каждый раз, как из воды появлялся младенец со своими слипшимися волосами, кисло зажмуренными глазками и ртом, открытым, как у золотой рыбки, толпа разражалась сдержанным одобрительным смехом, и я, увидев личико одного из младенцев с головой продолговатой, как дынька, увидев кисло зажмуренные глазки и горестно сжатый лобик,— вдруг вспомнил, как лет около семидесяти тому назад крестили моего младшего брата Женечку, ставшего впоследствии знаменитым Евгением Петровым, и я увидел его, поднятого из купели могучей рукой священника, с мокрыми слипшимися волосиками, с дынькой крошечной головки, увидел страдающе зажмуренные кислые глазки китайчонка, по которым струилась вода, открытый булькающий ротик, судорожно хватающий воздух,— и острая, смертельная боль жалости пронзила мое сердце, и уже тогда меня охватило темное предчувствие какой-то непоправимой беды, которая непременно должна случиться с этим младенцем, моим дорогим братиком, и потом, через много лет, точно с таким же выражением зажмуренных китайских глаз на удлинившемся, резко очерченном лице мужчины с черным шрамом поперек носа лежал мертвый Женя, засыпанный быстро увядшими полевыми цветами в наскоро сколоченном из неструганых досок случайном военном гробу, и взвод солдат стрелял из винтовок в воздух, отдавая ему прощальный салют, знак воинской почести среди этой донской степи, где в разных местах валялись части разбившегося «дугласа», а на горизонте кое-где вставал дым горящих хуторов, и там уже кружились немецкие «мессершмитты».

Под пенье псаломщика, предводительствуемые священником, восприемники со своими пылающими гигантскими свечами трижды обнесли своих младенцев вокруг уже праздной купели, а из-под серебряной крышечки кадила, звенящего всеми своими серебряными цепочками, вылетели клубы бальзамически едкого дыма тлеющего росного ладана, покрывая все вокруг мглистыми лиловыми облаками.

Художница Франческа стояла у распахнутых дверей собора, пропуская мимо себя процессию крестных матерей, которые бережно засовывали под одеяльца окрещенных младенцев метрические свидетельства, где были навечно записаны их имена: Пауль, Петру, Христиан и девочка Даниела — такая крошечная, что среди белоснежных кружев с трудом можно было рассмотреть ее личико величиной с грецкий орех.

Франческа была в коротеньких брючках, туго натянутых, синих, в мелкую розочку. На ней был грубо вязанный толстый свитер с короткими рукавами. Ее полуобнаженные тонкие жилистые, как бы копченые коричневые руки художницы, которая, видимо, также занимается скульптурой, были украшены толстыми серебряными браслетами, а на пальцах горели перстни с крупными янтарями, и ее кокосовое лицо напоминало музейный муляж как бы с нахлобученной конической шапкой иссиня-черных конских волос — лицо пугающее и вместе с тем волшебно-прекрасное своими янтарно-коричневыми, живыми, добрыми, женственными глазами, полными любви и счастья,— говорящее моему воображению о пальмовых циновках, кокосах, Океании, может быть, даже о древней культуре ацтеков, о серебряных рудниках Мексики.

Она была мексиканским божеством, переселившимся на Сен-Жерменский бульвар в кафе «Де Маго».

Скоро новокрещеных младенцев разнесли по всем четырем сторонам Констанцы, где их уже ожидали родители — настоящие отцы и настоящие матери, хлопочущие у праздничных столов, где можно было заметить бутылки добруджского розового, импортного итальянского кампари, графины цуйки, запотевшие голубые сифоны содовой, только что вынутые их холодильников, ну и, разумеется, дымящуюся мамалыгу с четырьмя сортами заку-

сок: соленой и сладкой брынзой, шкварками и жареным карпом из дельты Дуная.

Некоторых, более зажиточных, младенцев везли на такси, и так как свечи не помещались внутри, их выставили в открытые окна наружу, как стволы корабельной артиллерии.

Город снова впал в полуденное оцепенение, и отвесные лучи июльского солнца падали на все его археологические памятники — громадные сосуды из красной глины для зерна, вина и масла, остатки крепостных стен, мраморные капители античных колонн и обломки скульптуры — руки, ноги и торсы,— водруженные в разных местах города на железных полках неутомимым археологом Канараке, страстным поклонником древней культуры Левого Понта, другом Кув де Мюрвиля и восхитительным собеседником, одержимым благородной идеей превратить родную Констанцу в древние Афины или, по крайней мере, в Неаполь; во всяком случае, кажется, по его инициативе на набережной против знаменитого на все Черное море казино выстроен аквариум вроде неаполитанского аквариума на Виа Караччиоло, где в темном коридоре в стеклянных ящиках, эффектно освещенных скрытыми электрическими лампочками, я долго в этот знойный полдень любовался обитателями Черного моря и дельты Дуная, проплывающими мимо меня за толстыми стеклами на фоне марсианского пейзажа подводного царства. Там я лицом к лицу столкнулся с мучительно знакомым молодым осетром, который смотрел на меня своими круглыми выпуклыми глазами наглеца, двигая костяным рылом и шевеля небольшими усиками сукинсына, надежно защищенного от общественного мнения толстым стеклом аквариума и дымчатыми очками.

Я заметил, что иногда телевизор похож на аквариум, где время от времени возникает узкая рыбья голова.

Мы были окружены турецкими названиями: Меджидие, Бабадах, Байрам-Деде, Исакчи, Мэчин, Таравердиев,— а между тем Черное море, которое, если верить энциклопедическому словарю, является всего лишь заливом Средиземного, подобно тому как соловей является не более чем маленькой птичкой из семейства воробьиных, гнало крупную красивую волну на кессоны нового мола, взрывалось, как гейзеры, и крепкий ветер нес нам в лицо тучи соленых брызг, и мы гуляли по мокрой набережной возле казино, попирая ногами мозаичные изображения

крабов и морских коньков, а неистовое добруджское солнце продолжало палить обнаженную голову римского поэта, о котором другой изгнанник сказал, что, «мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью в походе варварских телег»...

Почему лучшие мировые поэты всегда изгнанники?

...Затем, обнявшись, молодожены стояли в маленьком провинциальном археологическом музее перед плексигласовой витриной, где на черном бархате лежал венец чистейшего золота.

Болгария. Город Враца. Фракийские находки. В 1966 году в городе Враца при постройке кооперативного дома нашли остатки фракийской гробницы IV—III веков до нашей эры. Восемнадцатилетняя фракийская принцесса в золотом венце, и при ней нянька, двое слуг, ездовой конь, разубранный серебряными украшениями. Золотой венок остролистого лавра весом в двести сорок шесть граммов чистого золота. Золотая чаша — двести семьдесят граммов, сережки и т. д. Предметы маникюра, весьма напоминающие современные. Она была женой фракийского полководца. Ее убили коротким обоюдоострым мечом и похоронили вместе с мужем. От самой принцессы ничего не осталось, она давно уже превратилась в прах. Но, затмевая все вокруг, ее золотой венец сиял, как желтое солнце.

— Ты бы хотела быть фракийской принцессой? — спросил он, вытаскивая из футляра маленький фотоаппарат, чтобы снять свою молодую жену на фоне золотого венца.

— Ничуть,— ответила она.— Зачем?

— А золотой венец?

— Мне дороже жизнь.

Сначала он не понял, а потом помрачнел.

— Ты уверена, что я умру раньше тебя? Не рассчитывай на это. Я не фракийский полководец.

— Но ты можешь сделаться французским солдатом.

— Только в случае войны.

— Этого-то я и боюсь, шери.

Бородатый и широкоплечий, он действительно мог бы сойти за фракийского военачальника, а она со своими серо-зелено-голубыми глазами и персиковыми щечками, преле-

стная, восемнадцатилетняя, вполне подходила для фракийской принцессы...

Он достал из кармана куртки маленький стеклянный кубик, укрепил его над видоискателем фотоаппарата и несколько раз щелкнул, вызвав в середине кубика с крошечным зеркальным рефлектором магниевые вспышки, как бы вырвавшие из времени и пространства и навсегда сделавшие неподвижными золотой венец фракийской принцессы, хорошенькую француженку в мини-жюп и четырех болгарских милиционеров с револьверами в белых кобурах, которые днем и ночью бдительно охраняли бесценные фракийские находки. Значительно позже, уже вернувшись в Париж, молодой турист проявил свои снимки и остался недоволен: лучше всего получились милиционеры, их белые кобуры, все остальное вышло так себе и не производило особого впечатления, в особенности не удался знаменитый на весь мир золотой венец. О нем можно было только догадываться.

Выходя из музея, он выбросил уже теперь ненужный ему кубик с истраченными лампочками, и долго еще в цветнике возле фонтана валялась эта плексигласовая штучка с маленькой мертвой машинкой внутри, но с еще вполне целым зеркальным рефлектором, в фокусе которого, как в мертвом зрачке, может быть, навсегда остался нетленный отпечаток золотого венца вокруг прекрасного, хотя и невидимого, лица мертвой фракийской принцессы с закрытыми глазами, ждущей часа своего воскрешения, или, как теперь принято говорить научно, «эффекта присутствия».

Воскрешение — это переход «эффекта отсутствия» в «эффект присутствия».

Плексигласовый кубик. Латерн мажик. Эффект присутствия. Мертвый глаз. Зрачок.

У нее на розовом носике возле глаза был след маленькой старой ссадины, белое атласное пятнышко: однажды во время студенческой демонстрации на площади Республики ее саданул какой-то хулиган-фашист палкой, но промазал, зацепил только краем.

Ничего не изменилось после свадьбы дочери.

— Теперь я осталась совсем одна,— сказала она без всякой грусти.— Но я рада, что, по крайней мере, девочка

так удачно устроилась. Выгодный брак по любви — это случается не часто.

Она не изменила своего образа жизни, продолжала работать лаборанткой в маленьком кустарном производстве косметического крема в Нейи, и от ее рук всегда пахло миндальным маслом и душистыми притираниями.

Мосье встречался с ней один или два раза в месяц, попрежнему не удлиняя своих не частых коротких свиданий. Иногда он уезжал по делам или путешествовать, и они не виделись два-три месяца. Но, возвратившись, он звонил ей домой, и свидания продолжались по-прежнему.

— Наверное, без меня вы путались с кем-нибудь другим,— сказал он шутливо.

— Клянусь,— ответила она вполне серьезно и подняла над головой руку.

Всякий раз после более или менее продолжительного перерыва он давал ей денег раза в три больше, чем обычно, считая, что она не должна терпеть убытки потому, что он засиделся на курорте или летал в Америку. Она принимала это как должное и говорила: «Мерси, мерси, вы слишком добры».— «А, пустяки»,— отвечал он.

Поставив дочку на ноги, она как бы еще больше посвежела, стала менее озабоченной.

Однажды он не виделся с ней целых полгода, а когда наконец позвонил, то услышал незнакомый женский голос, чего раньше никогда не случалось. Он положил трубку и позвонил позже. Послышался все тот же чужой, неприятный голос пожилой дамы, по-видимому соседки, подумал он, и попросил позвать к телефону Николь.

— Она умерла,— услышал он в ответ.

— Когда?! — воскликнул он.

— Ровно месяц назад, в пятницу.

Он долго молчал, совершенно не зная, что сказать.

— Если вы тот самый мосье, друг бедной Николь, который время от времени навещал ее, то я прошу вас зайти, я соседка покойной и должна вам кое-что передать.

Он молчал.

— Не беспокойтесь, все останется в строгой тайне.

— Хорошо, мадам,— сказал он,— я сейчас приеду.

На лестнице возле знакомой двери его встретила пожилая дама, которая, недоброжелательно оглядев с ног до головы всю его уже немного расплывшуюся фигуру и все еще

довольно красивое лицо с изящным матово-мучнистым носиком и мутноватыми лазурными глазами, которые когда-то, видимо, были тоже очень красивы, ввела его в свое жилище на той же площадке, жилище, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что здесь обитает одинокая, бедная, порядочная и чистоплотная женщина; и там, не подавая ему руки и не называя по имени,— ведь они не были официально представлены друг другу! — протянула довольно большую коробку из-под бисквитов.

— Покойная Николь просила меня, если вы придете, передать вам это, а также письмо. Вот оно.

— От чего она умерла?

— Ей сделали неудачную операцию запущенного аппендицита. Накануне смерти я посетила ее в клинике, она была уже очень плоха, но в полном сознании и, видимо, сильно страдала.

Он развернул записку, нацарапанную карандашом, и, повернувшись лицом к стене, прочел следующее:

«Мой дорогой Мосье и Друг. Вероятно, я умру, и мне бы не хотелось, чтобы Вы думали обо мне плохо. Возвращаю Вам все то, что Вы мне оставляли, начиная с того дня, когда я поняла, что люблю Вас. Эти бумажки имели для меня ценность только лишь как сувениры, как память о Вас. Я знаю, Вы не любили меня, но иногда — сознайтесь! — Вам было со мной неплохо, и я рада, что могла Вам доставить хоть маленькую радость и минутный отдых. Спасибо за то, что Вы были ко мне всегда так добры. Не сердитесь. Я любила Вас. Николь».

В коробке находились связки кредитных билетов разных достоинств и невостребованные чеки. Он не знал, что с ними делать, и сначала подумал, не отдать ли все эти бумажки пожилой даме, но, взглянув на нее, на ее строгие глаза, не посмел этого сделать. Тогда он взял коробку под мышку и, притронувшись к шляпе, спустился вниз по знакомой вонючей лестнице, почти теряя сознание от слащавого химического запаха дезодораторов, а затем пошел по безрадостной Театральной улице и повернул за угол, где на грязном тротуаре стоял его маленький спортивный «ягуар», где на красных сафьяновых подушках терпеливо дожидался маленький чертенок Кубик, уткнув морду в протянутые лапы.

Потом он некоторое время искал забвения в путешествиях...

...Чернильница, брошенная в черта, была тяжелая, литого иенского стекла, и она со звуком «брамбахер» разлетелась вдребезги, оставив чернильное пятно на облупленной стене недалеко от окна, откуда Лютер иногда с опаской посматривал на карнизы замка, по которым ходили красивые откормленные голуби, на бронзовые пушки возле амбразур, на широкий тюрингенский пейзаж, на верхушки остроконечных черепичных крыш города Эйзенаха, потонувшего в синем тумане лесистого дефиле, в то время как забрызганный чернилами черт, по всей видимости, нырнул в камин, ободрав ноги о громадное буковое бревно, целое дерево, приготовленное для топки, и вылетел из трубы замка в виде хвоста темного дыма, а затем превратился в комету. Однако это не более чем легенда, и не будем на этот счет строить никаких иллюзий, хотя путешественники и экскурсанты, к числу которых принадлежали Мосье Бывший Мальчик, и Мадам Бывшая Девочка, и все сопровождающие их лица, остановившиеся здесь проездом на Лейпцигскую ярмарку, и мы, и все прочие до сих пор с любопытством рассматривают стену с оббитой штукатуркой, под которой заметны не то старые кирпичи, не то почерневшие дубовые балки. Несколько поколений почитателей Лютера брали себе на память по кусочку священной штукатурки, пропитанной чернилами, так что теперь Мадам и Мосье, сопровождающие их лица и мы все не заметили ни малейших следов знаменитой кляксы, которая, как уверяют, была некогда весьма похожа на тень распластанной лягушки.

Как это ни странно, легенду чернильницы и черта разрушил наш Петр Великий, однажды посетивший замок на горе Варбург. Непомерно высокий, как ярмарочный великан, в треугольной шляпе и военных ботфортах, он послюнил свой громадный указательный палец, потер тогда еще сохранившуюся кляксу, попробовал на язык, понюхал, раздув кошачьи усы, затем по-солдатски сплюнул на дубовый пол, вытер палец о полы шелкового, в цветочках камзола и сказал сопровождавшему его обер-коменданту замка:

— Это шарлатанство, герр комендант: чернила-то совсем новехонькие, химические, это я чувствую на вкус и на запах.

Обер-комендант не осмелился, да и не нашелся, что ответить, только поморщился. А лет этак что-нибудь через полтораста другой чужеземец — в просторном сюртуке и белой пуховой шляпе, человек с молодой дымчатой бородой и пронзительными серо-голубыми глазами — хотя и нес-

колько медвежьими — придирчиво, со знанием дела осмотрел тяжелый, грубый деревянный стол, за которым Лютер перевел Евангелие на простой, народный немецкий язык, желая сделать священную книгу доступной не только для избранных, но и для самых простых людей, а затем долго глядел в окно, рассматривая пейзаж с такой тщательностью, словно хотел открыть в нем что-то весьма для себя важное, какую-то самую сокровенную суть. Всласть наглядевшись на этот саксонский пейзаж, он произнес загадочные слова: «Театр военных действий». Обмениваясь мыслями со смотрителем замка, пожилым немецким служакой из отставных военных, чужеземец выказал изрядное знание немецкого литературного языка, но его мысли о боге, о народе, дворянстве, герцогах, королях, о войнах, которые в течение многих столетий терзали — и еще много раз будут терзать — эти живописные, прелестные среднеевропейские земли с их мягким климатом, плодородной почвой, редкостными еловыми лесами драгоценных пород, как бы нарочно созданные природой для счастья человека, весьма смущали, даже сердили смотрителя, принужденного слушать эти дерзкие, смутьянские речи, о чем он впоследствии написал в своих мемуарах. А когда историки прочитали эти мемуары, то заинтересовались оригинальным чужеземцем, имени которого смотритель так и не удосужился узнать. Однако при просмотре толстой книги, где посетители записывали свои впечатления о замке Варбург, была обнаружена запись незнакомца и его подпись: граф Лев Толстой. Вот к каким открытиям привело слово «брамбахер», преследовавшее нас — и их — во все время, пока мы носились по рокадам Восточной Германии, по полям бывших и будущих войн.

Брамбахер.

«Разве вещь — хозяин слова? — слегка шепеляво говорил Изгнанник, высокомерно задирая маленькую лысеющую головку с жиденьким хохолком.— Слово Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела».

Вокруг какой вещи свободно блуждало это мучительно привязавшееся к нам слово, как бы нарочно созданное

для того, чтобы вселиться в грохот сражения, а потом тревожно метаться в подавляющей мертвой тишине внезапно заключенного перемирия?

«Пиши безо́бразные стихи — ударение на «о»,— если сможешь, если сумеешь»,— говорил Изгнанник, стоя на тесном балконе пятого этажа и разглядывая все еще мирные крыши Замоскворечья, на которые уже незаметно наползала тень войны, ночных бомбежек, вой сирен воздушной тревоги, автогенный блеск зажигалок, скрещенные прожектора с кусочком плавящегося сахара над голубым пламенем жженки. «Пиши безо́бразные стихи — если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ...»

Молнии еще нет, добавлю я, есть только та внезапно проведенная между небом и землей борозда — безмолвная и невидимая, может быть, лишь слегка шуршащий зигзаг,— как бы первый карандашный набросок молнии, ее Психея, след, по которому через мгновение, слепя и вселяя в душу восторг грозы, промчится подлинная молния, преображая окружающей пейзаж, делая мир черно-белым негативом. Может быть, это и есть один из главных законов мовизма — начертить бесшумный проект молнии.

«Как странно, как странно»,— звучит из «спидолы» на письменном столе, где пишутся эти страницы, мучительно-страстный голос, как бы опережая или прокладывая путь к чему-то еще более мучительному, страшному, непоправимому, как сама смерть, которая все-таки сильнее любви.

Не знаю, вокруг какого брошенного тела блуждало слово — Психея «брамбахер». Во всяком случае, не вокруг бутылки немецкой минеральной воды с привкусом залежей железного лома, ржавеющего под слоем этой серой земли со времен множеств битв, некогда здесь гремевших, или, может быть, того самого железа, из которого иерусалимские кузнецы выковали некогда синие кустарные гвозди, которыми римские легионеры-захватчики прибили к дере-

вянному кресту молодого пророка-мовиста Иисуса Христа, создателя новой религии — «умеренного демократа», как его назвал однажды Пушкин. Вода в бутылке, ржавая на вкус, лишенная настоящей души, выделяла пузырьки сухого углекислого газа третьего сорта, во всяком случае, не идущего ни в какое сравнение со свежим, острым углекислым газом минеральной воды «борзиг», «апполинарис» или нашего «нарзана», доставать который становится все труднее и труднее, а «брамбахер» преследует меня повсюду, как та оса, которая однажды решила меня во что бы то ни стало погубить.

Лично я предпочитаю «ижевскую» или в самом крайнем случае «перье» в зеленой, отчасти напоминающей ваньку-встаньку овальной бутылке, извлеченной из ведерка с колотым льдом,— воду такую острую и холодную, что ее глоток обдирает гортань и язык, как битое стекло.

Дальше идет описание моей схватки с осой — воспоминание, вызванное, возможно, тончайшим, чисто музейным звуком дрожащего листового золота.

Все осы злы. Но не все умны. Бывают осы злые, как человек, к тому же еще и коварные. Я сразу узнаю их по нервному, целенаправленному полету. Они уже издали узнают меня среди множества других людей и немедленно бросаются на меня в слепой ярости, готовые вонзить свое жало мне в голову и убить на месте. Одна такая оса в течение нескольких дней преследовала меня. Я сразу узнавал ее, потому что она, влетев в форточку, имела обыкновение сначала плавно спуститься по воздуху вдоль стены, как бы измеряя глубину комнаты от потолка до пола, затем она снова поднималась тем же путем до потолка, причем никогда не изменяла строго горизонтального положения своего длинного тела, как бы слегка надломленного посередине вроде коромысла. Мне казалось, что она старается не смотреть в мою сторону, для того чтобы не вызвать подозрений, а все время что-то вынюхивает на потолке, и вдруг она стремительно бросалась на меня, кружась над головой и задевая мои волосы. Я с отчаянием отмахивался от нее руками, норовил убить ее газетой, даже кричал на нее: «Поди прочь, гадина!» Она делала вид, что оставляет меня в покое, но вдруг возвращалась и с удвоенной злостью продолжала свое нападение.

Я боялся этой завистливой, низменной твари, боялся ее полосатого тела, жесткого звука ее полета, в котором мне слышалась дрожащая струна смерти; мне трудно было понять ее необъяснимую ненависть именно ко мне, желание меня погубить. Я становился болезненно подозрительным, меня охватывало нечто вроде мании преследования. Я бросался на нее с открытой книгой, желая ее прихлопнуть, уничтожить, так как понимал, что не я ее, так она меня! Как-то я воевал с ней в течение целого длинного летнего дня и вконец обессилел. Настала ночь, и оса исчезла из поля моего зрения. Форточка была открыта, и я подумал, что насекомое улетело спать в свое мерзкое грушевидное гнездо, слепленное из серого воска. Я еле добрался до постели, лег щекой на еще прохладную подушку и сейчас же увидел свой постоянный, единственный, никогда не прекращающийся сон: человека с узкими глазами убийцы.

Я видел его в виде прямоугольного цветного портрета в обществе других портретов: кудлатого журналиста с крючковатым носом в пенсне без ободков, тыквоголового китайца, молодого рыжеватого неврастеника Бонапарта кисти Антуана-Жака Гро. Поднятые на палках, они бежали, как на ходулях, над невежественной толпой на фоне парижских фасадов, зловеще озаренных багровыми дымными фестонами мусорных куч, подожженных вдоль всего Бульмиша, вдоль позолоченных пик Люксембургского сада и музея Клюни.

Вдруг я услышал нечто, прервавшее мой сон. Это был звук осы, которая вдруг завозилась где-то совсем близко от моего лица, под моей подушкой... Она вывернулась из-под горячей наволочки, выползла и так стремительно бросилась на меня, что я еле успел закутать голову одеялом, но сейчас же с ужасом понял, что она тут же завернута вместе с моей головой и уже путается у меня в волосах, ползет по щеке, катясь, как маленький раскаленный уголек, пытается проникнуть в мое ухо,— Психея, избравшая своим временным убежищем мое похолодевшее тело,— я вскочил, обливаясь потом, с гудящей осой в шевелюре, завернутый вместе с нею в одеяло, и она, путаясь в тяжелых складках, вдруг вырвалась и прожгла мне через рубаху руку, и тогда я наконец бросился на нее, схватил пальцами ее извивающееся, упругое, как бы заряженное электрическим током тело, сжал его, как щипцами, превратил в комок, бросил на пол и окончательно раздавил босой пяткой,

явственно услышав в ночной темноте хруст ее проклятого тела, неповторимый звук, в котором как бы заключалось все: подбородок, крашеные усы, багровая индюшечья кожа его шеи, прищемленная стоячим воротником императорского мундира,— и шелест темного яда, проникшего в мою кровь, заставившего мгновенно распухнуть мою руку... А полосатый комочек все еще катался на полу, и я еще раз раздавил его, надеюсь, на этот раз уже окончательно...

Звук раздавленной осы. Не более чем крошечный «брамбахер», ничем не лучше звука разбитой об стену чернильницы. Не более чем филологический эксперимент. Осип считал, что Лютер был плохой филолог, потому что вместо аргумента запустил чернильницей. В свою очередь, этот аргумент Осипа тоже не имеет ровно никакого значения, потому что на самом деле Лютер никогда не запускал в черта чернильницей. Даже и не думал! А все произошло потому, что на вопрос одного из обитателей замка, где он скрывался от преследования, что он делает по ночам в своей комнате, Лютер ответил: «Воюю с чертом», имея в виду свой перевод Евангелия на простой немецкий язык. «Как же вы с ним воюете? Каким оружием?» — «Чернильницей»,— ответил Лютер, показывая на свою рукопись и на письменные принадлежности: чернильницу и гусиное перо.

Это сразу же превратилось в легенду, которая облетела весь мир. Таким образом, игра слов сделалась метафорой, а метафора, в свою очередь, чуть ли не реализовалась в историческое событие, в театральную сцену с участием Черта, нечто весьма похожее на «эффект присутствия», где изображение, переданное по лазерному лучу, игольчатому лучу квантового генератора — как предсказывает современная физика,— будет не только объемным, но создаст чудо «эффекта присутствия».

Метафора, рожденная в моем воображении, в один прекрасный день сможет материализоваться в комнате моего читателя в полном своем объеме, в абсолютной своей подлинности. Вероятно, к этому с помощью науки в конце концов и придет искусство будущего — мовизм. И пожалуйста, не думайте, что это мои домыслы или, чего доброго, мистификация. Отсылаю неверующих к номеру «Правды» от воскресенья 29 сентября, ищи на первой полосе в самой середине:

«Лазер выходит в эфир. Киев, 28 (ТАСС). Сегодня здесь закончилась Всесоюзная конференция по проблемам передачи информации лазерным излучением. Возможности, которые открывает лазерное излучение для сбора, хранения и передачи информации, кажутся поистине фантастическими. В одном кубическом сантиметре вещества, обладающего эффектом объемной фотографии (голографии), получаемой с помощью оптического луча, может содержаться столько же сведений, сколько в пяти миллионах книг. Игольчатый луч квантового генератора может передать одновременно несколько тысяч телевизионных программ[1]. Причем изображение будет не только объемным, но и создаст «эффект присутствия...»

В конце концов я начинаю подозревать, что все мои странные цветные сны, мои метафоры, обладающие почти полным эффектом объемной фотографии, приходят ко мне откуда-то по вполне реальному лазерному лучу, а оса, с которой я сражался однажды ночью и которая так больно (но, к счастью, не смертельно!) ужалила меня, была, быть может, первым в истории удавшимся физическим опытом.

Слово, рожденное материей, обратно превращается в материю, в вещь. Самый надежный способ организации материи есть превращение ее в отпечаток мысли, потом в слово, в метафору, которая в конечном итоге с помощью оптического луча квантового генератора станет не только объемной, но и создает «эффект присутствия». До этого, конечно, еще очень далеко — не надо обольщаться! — но ведь что такое далеко?

Надо уже сейчас готовиться к этому чуду, приучая себя мыслить образами, ибо это есть один из самых экономных способов художественного — да и не только художественного! — мышления: например, описание пятьюдесятью словами бабочки, моделирующее целый сложный ассоциативный, не только художественный, но также научно-исторический комплекс:

«Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильно развитая, в лодочку. Головка незначительная, кошачья. Ее глазастые крылья были из прекрасного старого адмиральского шелка, который побы-

[1] Какой ужас! *(Прим. автора.)*

вал и в Чесме, и при Трафальгаре». Не хватает только лазерного луча, для того чтобы рядом с нами, вдруг, возникло объемное, цветное и вполне материальное изображение.

О, как страстно жаждет моя душа создания этого феномена.

«Желание создать есть уже создание»,— сказал Скрябин, у которого желаний было все-таки больше, чем созданий, как и у всех нас, впрочем.

«Эффект присутствия» — вот сокровенная суть подлинно современной поэзии.

«Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы,— заметил Осип,— снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рабьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсянико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы».

О как страшен зрительный мир рыбы, в котором агонизирует Пушкин!

«Экутэ ля шансон гриз»,— грустно и мечтательно процитировал все тот же Осип строчку из Верлена. А я уже давно заметил, что он любил «экутэ». Его «экутэ» породило множество подражателей,— например, В. Набокова.

Мы окружены великой анархией вечно разрушающейся и вечно воссоздающейся материи, огромной, неизмеримой, без начала и конца. Она непрерывно уничтожает старые формы и создает новые.

Есть такие небесные тела — пульсары. Они вечно, с точностью атомных часов, увеличиваются в объеме и опадают: так сказать, раздуваются, как «лягушка, на лугу увидевши вола»...

А что, если мы тоже так ритмично пульсируем?

Боже мой, из какой мелочи, из какой трухи, из какой мировой пыли мы все состоим!

Я не пишу, не создаю музыку, не вижу, не слышу, не понимаю,— да и зачем? — я непрерывно звучу, как некий резонатор, волшебный прибор, принимающий отовсюду из мирового пространства миллионы миллиардов сигналов, с непостижимой скоростью несущихся в мое бедное тело, в мою нежную, такую хрупкую Психею. Все, кому не лень, посылают в мою душу, в мой мозг свои сигналы, свои категорические приказы, как бы управляя мною на расстоянии: все эти пульсары, туманности, астероиды, белые и красные карлики, солнечный ветер, магнитные поля, северные сияния, вся беззвучно гремящая вокруг меня бесконечная и безначальная Материя, весь этот космический «брамбахер». Они насылают на меня объемные сновидения, мучающие меня, как события подлинной жизни. Они погружают меня в божественную кажущуюся летаргию вселенной, против моей воли они заставляют меня мыслить, воображать, творить. Со стороны может показаться, что я творю из ничего. Но это совсем не так. Я творю из подручного материала неистовствующей, вечно изменяющейся Материи. Я ее крошечный слепок. Каждый атом, из которого состоит мое тело, мой мозг,— модель вселенной. Я ее раб, и вместе с тем я ее повелитель.

Я жертва космических бурь, протуберанцев, бешенства солнечной плазмы.

«Ум человеческий,— писал Ленин,— открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней...»

«Представление не может схватить движение в ц е л о м, например, не схватывает движения с быстротой 300 000 км в 1 секунду, а м ы ш л е н и е схватывает и должно схватить».

Мое мышление схватывает не только быстроту самого взрыва, но также тишину, наступающую после взрыва, тишину, более могущественную, чем сам взрыв. Чем страшней взрыв, тем страшней тишина. Пустота, возникшая на месте взорванного здания, материальнее самого строения. Строение разрушено, его больше не существует, тишина уже стоит на его месте и будет стоять вечно. Пустота тоже материальна. Но она неразрушима. Ее ничем нельзя взорвать.

«Что ж: броди среди этих развалин, черным воздухом смерти дыши. Как он страшен и как он печален, этот город, лишенный души».

Город нельзя разрушить. Навсегда остается эффект его присутствия, более прочный, чем грубая каменная суть его домов, дворцов, колоколен, башен, эстакад. Разве можно изменить воздух, свойственный только ему одному: сухой, среднеевропейский, насыщенный запахом бурых брикетов, спрессованных из каменноугольной пыли и торфа. Все призрачно в этом абстрактном городе зияющих архитектурных пустот, созданных из самой прочной тишины затянувшегося перемирия, где некогда при свете все того же пепельно-серебряного солнца можно увидеть среди университетских корпусов ту самую маленькую площадь, где некогда горел костер и почерневшие страницы великих книг устилали своим пеплом всю пустынную улицу, вплоть до самых брамбахерских ворот, повернутых всей своей серой колоннадой в туманное Никуда с крылатым гением золотой победы, летящей над призрачной зеленью потустороннего парка.

...Отлично ложилось оно на музыку, ненадолго поселилось в слове «Вагнер», сразу же одухотворив его, придав ему внешний вид: выдвинутый вперед подбородок деревянного щелкунчика, бархатный берет, вставные глаза и стук дирижерской палочки по пульту из черного дерева, как бы по волшебству поднимающей из оркестровой ямы первые парадные такты «Тангейзера», в одном названии которого было больше истинной музыки, чем во всей этой опере, некогда родившейся все в том же легендарном замке на вершине горы Варбург, где Лютер воевал с Чертом, а глубоко внизу, в Эйзенахе, в средневековом домике родился Иоганн Себастьян Бах, и Психея брамбахера, покинув милое тело Вагнера, уже металась по маленькому музею старинных музыкальных инструментов, не в состоянии сразу решить, куда бы ей вселиться: в узкий треугольный еловый столик Цимбало́, откуда некогда своими могучими пальцами молодой Бах извлекал слабые, дребезжащие, какие-то проволочные аккорды, или в европейскую сестру тех самых почерневших от времени дощатых кобз, которые я еще застал в своем детстве на украинских базарах: на холщовых

коленях сидящих среди базарной толкотни слепых белоглазых слепцов-кобзарей с седыми волосами, подстриженными «под горшок», которые пели старинные украинские псалмы и после каждой строфы вертели ручку этой странной «шарманки» с волосяными струнами, производившими жалобное, ноющее жужжанье — очень долго не утихающее, как бы дополняя смысл старинной баллады, поэмы еще каким-то другим, тайным значением, каким-то гоголевским предвечерним степным пейзажем с мучнисто-розовым заходящим солнцем, сухой пылью, запахом скота, чебреца, полыни, предчувствием холодной лунной ночи с матовой росой, лежащей на кавунах и дынях, ночующих на твердой, потрескавшейся земле бахчи; или в семиствольную цевницу Пана, или, наконец, в так называемый гармониум — изобретение Вениамина Франклина — его хобби,— инструмент со стеклянным цилиндром в середине, издающим под опытными пальцами музыканта мокрый звук удрученно поющего иенского хрусталя, подобно тому как поют винные бокалы, если осторожно провести мокрым пальцем по их верхнему фацету,— или в стаканы, которые тетя мыла в полоскательнице своими длинными музыкальными пальцами. Да мало ли куда каждую минуту порывалась вселиться непоседливая Психея, пока мы как очарованные расхаживали по этой средневековой комнате-музею, похожей на старинную гавань, тесно заставленную судами и суденышками, начиная от маленького фарфорового кораблика итальянской окраины, как бы всегда наполненной нежным посвистываньем средиземного ветерка,— до громоздкого баркаса контрабаса с морскими канатами слабо натянутых струн... Стихия музыки, как предметная значимость, как некогда брошенное милое тело, неодолимо влекла к себе Психею, и она, следуя за нами, залетала то под готические своды лейпцигской Томас-кирхи, где посередине громадного, некрасивого и холодного пространства лютеранского храма лежала, как бы распростертая на полу, широкая, совсем простая и все же невероятно торжественная, как его собственная органная музыка, могильная плита Баха, в течение многих лет заставлявшая ежедневно звучать неподвижный воздух, хранящий голос Лютера, раздававшийся иногда с трибуны, высоко прилепившейся к каменному столбу, как маленькая неуклюжая беседка, сделанная руками малоталантливого каменотеса, слепого последователя великого реформатора; то — вдруг капризно променяв музыку на поэзию — проникала вслед

за нами в готический погребок Ауэрбаха, с красноногим Мефистофелем верхом на громадной, овальной бочке, окруженной пьяными студентами...

Я уже не помню, когда именно тайный советник Гёте, надутый господин с высокомерными, отечными глазами немецкого сановника, любивший надевать черный фрак с белой звездой и высокий черный цилиндр, любитель античной скульптуры, анатомии, оптики, минералогии и физики — не говоря уже, конечно, о поэзии,— автор военно-патриотических агиток и апофеозов, а также Вертера, маленький томик которого всегда возил в своем походном чемодане большой мастер истреблять людей — кровавый император Наполеон... Когда именно этот тайный советник превратил плод своей досужей фантазии, Мефистофеля, в пуделя — и превратил ли вообще? Не ручаюсь, но могу дать честное слово, что совсем недавно мы увидели глухой ночью в одном из средневековых закоулков Веймара, где-то на задах городской ратуши, а может быть, между большим домом Гёте и маленьким домом Шиллера, освещенных газосветными призрачными фонарями второй половины XX века,— на мостовой, блестящей, как черная змеиная шкура,— мы увидели — человека с черным пуделем на поводке. «Это он!» — успел воскликнуть я, но в тот же миг человек и пудель повернули за угол и навсегда исчезли из глаз, как бы растворились среди круглых подворотен и нависших чердаков этого старинного переулка, оставив после себя совсем слабый запах паленой шерсти и серы.

Не знаю, успела ли вселиться Психея брамбахера в черного пуделя — плод досужего воображения Гёте,— но кажется, не успела, потому что я еще долго чувствовал ее присутствие сначала в переоборудованном номере старинной веймарской гостиницы под вывеской «Слон», выходящей на средневековую рыночную площадь с фонтаном и весьма некрасивой статуей Нептуна или Тритона, для чего-то вывезенной неутомимым тайным советником из Италии, а потом в разных других местах, где мы побывали, надеясь еще хоть раз увидеть легендарного Доктора с не менее легендарной собакой, еще раз доказавших мне могущество поэтической мысли, превратившей метафору в предмет, в милое тело, в вещь. Однажды нам показалось, что это именно они мелькнули в подземной пустоте, темной, как безысходная ночь, на черных гранитных ступенях, поблескивающих в слабом свете подземных фонарей искра-

ми селитры: там беззвучные рельсы эсбана или унтергрунда плавно заворачивают в никуда, чем-то очень отдаленно напоминая неполное кровообращение в результате удачной операции артериально-венозной системы. Затем пудель мелькнул за углом серого мавзолея, где перед ложноклассическими почерневшими колоннами стояли два серо-зеленых солдата в почти плоских — как тарелки — военных касках,— сухие, вытянутые, желтолицые, как два муляжа, поставленные при входе в гулкое помещение, где нет ничего, кроме черного Камня Каабы, на котором некогда лежал круглый венок из дутого крупповского железа с прорезями дубовых листьев — звонкий сквозной брамбахер,— а теперь там же твердо и вещественно лежит его пустота, его обратный слепок — плод моего воображения! — как бы выдутый «из ничего», прочного, как самая высококачественная послевоенная — или даже предвоенная — тишина... И сухие венки с выцветшими национальными лентами, и черная, никогда не высыхающая сырость под бетонными стенами, навсегда лишенными солнца, жестко, гулко отражающими каждый человеческий шаг, потревоживший кубическую пустоту этого старого городского резонатора, уцелевшего во время катастрофы.

И все-таки мы его наконец настигли, но уже где-то совсем в другом измерении, и тогда увидели, что это был совсем маленький черно-пепельный пуделек на узком поводке, который вечно кружился под ногами у Мосье Своего Хозяина, когда он выводил его погулять. Дома же он бегал на свободе и вечером сидел под стулом, иногда без всякого видимого повода рыча и покусывая ботинки гостей. Довольно часто собачку водили делать туалет в специальное заведение, по-моему, где-то недалеко от Бальмена или Кристиана Диора, в районе Елисейских полей и Рон-Пуэн, в шикарном доме, по всему фасаду которого снаружи в дни рождества среди гирлянд хвойной зелени ярко и празднично горели жирондели электрических свечей, не боявшихся ни дождя, ни снега...

...Но это уже из другой оперы...

Там Кубика фигурно стригли, мыли специальным собачьим шампунем, вычесывали хвост, а так как собачка была нервная, с плохим характером, а главное, избалованная богатой жизнью, то приходилось прибегать к успокоительным уколам.

Поверьте мне. Я сам однажды был избалованной собакой, правда недолго. Тогда меня все раздражало. На меня вдруг нападало необъяснимое желание кусаться. Я думаю, что меня больше всего раздражали запахи. В особенности я не переносил запаха того подлеца, который в собачьей парикмахерской занимался моей внешностью. От него пахло аткинсоновской лавандой, которую он по своему невежеству считал самым элегантным одеколоном в Европе, в то время как все порядочные люди никогда не употребляли ее после бритья, считая это дурным тоном. А он, дурак, почему-то вообразил, что самые изысканные французы употребляют именно эту лаванду. Мне же, с детских лет привыкшему только к туалетной воде Ланвена, одна мысль об аткинсоновской лаванде причиняла чисто физические муки, я начинал рычать и чувствовал непреодолимое желание немедленно укусить парикмахера, распространявшего ненавистный мне запах. Когда же мне делали успокоительный укол, я сразу переставал раздражаться и покорно, даже не без некоторого удовольствия отдавался в руки этого человека, который, завязав мне на всякий случай морду специальной лентой, приводил меня в порядок. И когда за мной заезжал Мосье и надевал на меня поводок, я уже был одним из самых красивых карликовых пуделей не скажу всего Парижа, но, во всяком случае, восьмого Аррандисмана, куда, как известно, входят Елисейские поля, с его лучшим рестораном Фукьеца, где я пользовался разными привилегиями, главным образом той, что меня, в нарушение всех правил, охотно пускали в общий зал вместе с моими хозяевами — Мосье и Мадам — и подавали мне отличный шатобриан, разрезанный официантом на маленькие кусочки, и ставили мне серебряную мисочку, куда Мосье собственноручно наливал для меня превосходную гигиеническую воду швейцарских ледников с красивым названием «эвиан» — единственное, что я переносил из напитков без особого раздражения. В самом крайнем случае я еще мог пить воду «витель». Не буду лгать: все это подавалось мне, конечно, под стол, во главе которого с одной стороны всегда сидела Мадам Моя Хозяйка, а напротив нее, с другого конца,— Мосье Мой Хозяин, а между ними всякий сброд — биржевики, маклеры, валютчики, петрольщики, которых я ненавидел всей душой за омерзительный запах их дорогой, но неряшливой обуви, а также за то, что я внутренним чутьем понимал, что именно они когда-нибудь разорят и ограбят Моего Хозяина, пустят все его богатства под откос,

доведут его до опеки и первые же будут потешаться над его крахом, предварительно хорошенько нагрев на нем руки. Я их всех называл про себя презрительной кличкой «и сопровождающие его лица». Иногда, не в силах совладать со своим характером, я кусал их за ноги, но не слишком сильно, потому что зубы у меня были мелкие и слабые, хотя в случае особенно сильного раздражения я мог ими укусить до крови, что и случилось однажды, когда в бюро я укусил за палец самого Мосье Моего Хозяина, собиравшегося подписать ловко подсунутый ему страшно невыгодный контракт, и другой раз в скором поезде Париж — Довиль, где я цапнул за ногу одну даму, поднявшую такой скандал, что Мосье Мой Хозяин едва его сумел потушить, и то лишь обязавшись платить пострадавшей пожизненную ренту в триста тысяч старых франков, что, в общем-то, для него было в то время сущим пустяком, хотя все же не очень приятно. Я бы еще многое мог рассказать о Своем Хозяине, например, о том, как он в конце концов вдруг, совершенно неожиданно, прогорел дотла и превратился почти в нищего, но мне больно об этом вспоминать, да и нет больше времени, так как моя душа снова вернулась в тело автора этих строк, а я, к несчастью, как был, так и остался довольно глупым и дурно воспитанным неграмотным пуделем, и мой ум постепенно померк, как испорченный телевизор, и уже не способен больше ни на какие обобщения и абстракции.

Снова обретя свою живую бессмертную человеческую душу, я продолжу начатую здесь печальную историю, но уже не как участник ее, а лишь как свидетель, хотя и не вполне посторонний, но достаточно беспристрастный.

Я бы, конечно, мог прибегнуть к старому, надежному литературному приему, которым иногда пользовались Наши Великие: перевоплотиться в животное и писать как бы от его имени. Но я вовсе не желаю очеловечивать этого пуделя с высокой, искусно сооруженной прической и африканскими глазами, весьма похожими на небольшие эскорго. Пусть собака остается собакой со всем ее сложным собачьим характером.

Самое основное в Кубике был черный цвет, несколько пыльный, матовый,— не только цвет самой шерсти, но также и кожи, из которой эта шерсть росла,— черный цвет носа, губ и когтей,— за исключением недоразвитого декоративного ротика — миниатюрной пасти, где за оже-

рельем мелких зубов шевелился узкий красный язык, покрывавшийся легкой горячей пеной, когда собачке вдруг хотелось кусаться. Внезапное желание укусить возникало, как молниеносный припадок безумия,— и тогда берегись!

Но, может быть, подобные припадки вызывал не только какой-нибудь неприятный запах, но еще какие-то частные причины, таящиеся в неисследованных глубинах спящего сознания.

Мадам Хозяйка и Мосье Хозяин были уверены, что более умной собаки еще не видывал свет! Простим же им это невинное заблуждение, вполне понятное, если принять во внимание, что у них никогда не было детей. Собачка заменяла им единственного обожаемого ребенка — гениального, как все единственные сыновья, наследники более чем крупного состояния. С того дня, как Мосье Хозяин принес двухмесячного Кубика в бархатном кармане своего великолепного демисезонного пальто от Ланвена на драгоценной шелковой подкладке, с вышитой гладью большой монограммой и подал Мадам Хозяйке, держа в ладони, как маленькую прелестную игрушку, и Мадам Хозяйка, прижав его к дряблому, но нежному подбородку, под которым матово сверкали четыре нитки самого отборного крупного натурального жемчуга от Картье, воскликнула: «Ах, какой славненький Кубик!» — и бросила на мужа благодарный взгляд все еще прелестных карих иронических глаз,— с того самого мига собачка стала главным существом в этой богатой парижской квартире, занимавшей целый этаж в одном из самых фешенебельных районов, не буду уточнять каком: парка «Монсо», Отейля, Фобур, Сент-Оноре или Марсова поля.

Поздно вечером, перед сном, Мосье Хозяин лично выводил собачку погулять возле дома, предварительно надев на нее вязаное пальто; там он снимал с нее поводок, и собачка бегала по асфальту между кое-как поставленными на тротуаре автомобилями лучших мировых марок последних моделей, брошенными богатыми хозяевами на ночь. Запах дорогих автомобилей, самого очищенного высокооктанового бензина и набора превосходных смазочных масел, первоклассной резины и сафьяна сидений не раздражал собачку, даже наоборот — по-видимому, доставлял ей большое удовольствие, так как она вообще любила запахи богатства, роскоши и очень тонко в них разбиралась, в то время как запахи не то чтобы нищеты, а просто приличной

бедности могли — как я уже говорил — вызвать в ней приступ мгновенного умоисступления и жажду кусаться.

Пока собачка бегала вдоль стен, возле фонарей, по чугунным составным решеткам, плоско лежащим на земле вокруг элегантных платанов, необыкновенно подходивших к стилю высоких парижских окон с низкими балкончиками, просторных подъездов с медными розетками электрических звонков, говоривших о богатстве и комфорте, Мосье Хозяин без шляпы и пальто, подняв воротник пиджака вокруг шерстяного кашне, прохаживался по-домашнему от подъезда до угла и обратно, все время видя над крышей противоположного дома утолщение на верхушке Эйфелевой башни, откуда вырывались в туманный воздух влажной парижской ночи медленно вращающиеся по горизонту два или три луча маяка. Наверху всегда было туманно, и эти немного расширяющиеся лучи всегда напоминали Мосье Хозяину какую-то русскую народную сказку в книжке с картинками, где старуха, а может быть, и не старуха, несет на палке конский череп, из круглых глазниц которого бьют в разные стороны страшные лучи, постепенно поглощаемые непроглядным русским туманом забытого детства.

В эти минуты Мосье Хозяин был вполне доступен для людей, искавших с ним встречи, но только эти люди — увы! — не знали, что он прогуливает по ночам своего песика, а в другое время он был недоступен. Дойдя до угла, он видел ночные огни площади, стоянку такси рядом с отделением «Лионского кредита», несколько угловых бистро, устричных прилавков и два довольно приличных ресторана, создающих впечатление кое-где разбросанных рубиновых угольев,— ночной парижский пейзаж, который он предпочитал всем другим пейзажам мира. В это время он обычно обдумывал свои новые финансовые операции, то самодовольно улыбаясь, то болезненно морщась, если предчувствовал опасную неудачу. А собачка в это время пускала по серым цокольным стенам жиденькие потеки, принюхиваясь к запахам роскоши и бедности, которые всегда тонко сплетаются в туманном парижском воздухе. Она шныряла между мусорницами, полными всякой дневной дряни, выставленными из домов к обочине мостовой,— длинная шеренга баков и цилиндров, из-под крышек которых выпирал мусор: картонная тара, стружки, черные водоросли, пластмассовые бутылки, пергаментные стаканчики, комки оберточной бумаги, кожура фруктов, скорлупа лангустов,

раковины устриц, обглоданные куриные кости, букет засохших цветов... На рассвете сюда приедут мусорщики-негры и опрокинут всю эту дрянь в свои гремящие и воняющие машины — неуклюжие, как танки,— но прежде чем приедут эти машины, появятся с небольшим перерывом — один за другим — несколько нищих стариков и старух и будут копаться в мусорных бидонах, надеясь извлечь для себя хоть что-нибудь годное в пищу.

Собачка видела их однажды на рассвете, когда заболела расстройством желудка, наевшись в ресторане Фукьеца фирменным блюдом так называемого кассуле, которое там обычно приготовляют по пятницам, и ее пришлось несколько раз в течение ночи срочно выводить на улицу.

Старик копался в мусоре, и собачка видела, как он извлек из бидона куриную кость и половину круассана и, завернув все это в пергаментную бумагу, раздобытую тут же, бережно спрятал во внутренний боковой карман поношенного клетчатого жакета. Старик этот вызвал в Кубике припадок такого озлобления, что если бы не понос, обессиливший собачку, то она, наверное, куснула бы этого неряшливого человека, от панталон которого воняло плохо отстиранным бельем.

Дико озираясь по сторонам своими светящимися африканскими глазами, собачка бегала туда-сюда по улице, и черная прическа на ее голове время от времени еще больше поднималась, становилась дыбом, а усы топорщились под дрожащим носом, делая ее чем-то похожей на капитана Скарамуша кукольного театра «Гран-Гиньоль».

Я склонен думать, что это была собака не натуральная, а искусственная, созданная человеческими руками, в лаборатории какого-нибудь гениального экспериментатора-кибернетика или бионика, сумевшего создать во времени и пространстве искусственное существо — подобие гораздо более сложного животного организма по типу обыкновенного карликового пуделя, каких миллионы, очень может быть, того самого, которого мы, как я уже упоминал, однажды ночью видели в Веймаре и который, по словам ныне забытой, но замечательной поэтессы Наталии Крандиевской, кажется, Фаусту прикидывался пуделем, женщиной к пустыннику входил, простирал над сумасшедшим Врубелем острый угол демоновых крыл — или что-то в этом роде.

Я думаю, что экспериментатор создал в своей лаборатории именно этот тип собаки, даже не подозревая, какой оборотень послужил ему моделью. Мне кажется, ученый слишком осложнил нервную организацию этой собачки, сделал ее чересчур восприимчивой к сигналам внешнего мира. Кубик был один из первых, не вполне удачных экземпляров искусственного животного, созданного в упомянутой лаборатории с чисто коммерческими целями — на продажу — ввиду большого рыночного спроса именно на такую породу собак.

В Кубике было множество недостатков, чисто технических просчетов, недоделок. Для обыкновенной натуральной собаки он, например, получился слишком глупым. Его мозг был создан небрежно из недорогого материала, без учета равновесия, гармонии, взаимодействия всех его сигнальных узлов, а уж о сером веществе и говорить нечего: оно получилось совсем не того высшего качества и клетки коры головного мозга не очень закрепляли впечатления и удерживали информацию.

...А потом со страшным скрежетом на улице появились уродливые гиганты-роботы, и негры со светящимися глазами и белоснежными, фосфорическими зубами с хохотом стали опорожнять мусорницы в разинутые пасти своих железных машин, облитых помоями, и распространилось такое зловоние, что Кубик завыл и потерял сознание.

Самый же главный дефект в конструкции этого животного был тот, что аппарат ощущения времени работал крайне некоординированно и эффект времени в ощущении животного не имел той диалектической непрерывности, без которой даже весьма сложное живое существо остается на самой низкой ступени своего интеллектуального развития. «...Отмечая и подчеркивая прерывистость времени,— прочитал я в одной умной книге,— следует опасаться и абсолютизации этой стороны времени».

По-моему, в случае с Кубиком произошла именно эта абсолютизация.

«...Уместно вспомнить апории Зенона, в которых ставится вопрос о прерывности и непрерывности времени, в частности апорию «стрела». В этой апории Зенон пытался доказать невозможность движения ссылкой на то, что летящая стрела находится в каждый определенный момент времени лишь там, где она находится, то есть что каждый дан-

ный момент времени она покоится, а стало быть, в целом она неподвижна».

Мучительная прерывистость времени, каждый миг которого, как проклятая стрела Зенона, останавливался над бедным недоделанным животным, причиняла невероятные страдания его несовершенному мозгу, и Кубик моментами впадал в буйный идиотизм, будучи не в силах справиться с миллионами угрожающих сигналов, летящих в него со всех концов не только возбужденного Парижа, находящегося на грани революции, но и всего мира со всеми его зонами напряжения и военными действиями с применением самого совершенного способа уничтожения людей, животных и растений.

Здесь нельзя не вспомнить задачу, которую великий экспериментатор Капица задал не менее великому теоретику Ландау: «С какой скоростью должна бежать собака, к хвосту которой привязана сковородка, чтобы она не могла слышать грохот сковородки о мостовую?» Ответ Ландау был величественно прост: «Собака должна сидеть на месте».

Настоящая, натуральная собака — да. Но сидеть на месте в то время, когда весь мир грохотал по мостовой бесконечности, как сковорода, привязанная к его короткому хвостику, как бы состоящему из семи или восьми распущенных черно-серых веревочек,— искусственной собаке было не под силу. Стрела Зенона впивалась в ее черное тело, и собака вдруг начинала вертеться на поводке, как бешеная, сверкая своими безумно светящимися глазами, полными статического электричества.

В такие минуты лишь Мосье Хозяин и Мадам Хозяйка могли кое-как ее успокоить: в нем было надежно запрограммировано уважение к хозяевам.

Впрочем, это всего лишь мои догадки. Очень возможно, что я ошибаюсь. И даже наверное. Просто это была паршивая собачонка, воспитанная в буржуазном духе: она ненавидела бедность — все ее оттенки и виды — и бесилась всякий раз, когда чувствовала наступление какого-нибудь социального конфликта. В особенности ее раздражало приближение какой-нибудь забастовки; сначала оно приводило ее в состояние депрессии, а потом она — вдруг — теряла рассудок и могла укусить первого встречного из низших слоев общества.

Однажды в Монте-Карло, где Мосье и Мадам вместе с приглашенными и сопровождающими их лицами проводили пасхальные каникулы — «ваканс»,— занимая целый этаж в лучшей в мире гостинице «Отель де Пари», на прелестной тончайшей японской бумаге которой — с нежно-голубой коронкой наверху — пишутся страницы этой печальной истории, Кубик устроил большой скандал, укусив официанта, вкатывавшего в салон люкс стол с сервированным на нем пятичасовым чаем.

С утра назревала забастовка электриков, и уже было известно, что повсюду в Монако в течение трех часов будет выключен электрический ток.

...О, эти не слишком крупные грушевидные жемчужины яркой, живой белизны, в которой как бы вследствие некоего оптического чуда угадываются все семь светящихся цветов весенней радуги; они свисали с декадентских веточек, набранных из светлых изумрудов чистейшей воды... Что это? Вход в старинную станцию парижского метрополитена или первомайские ландыши, украшающие по бокам пасхальное яйцо из чистого золота, покрытого сеткой голубой или гранатовой драгоценной эмали, выставленное в пустой витрине легендарного Картье — золотых дел мастера и брильянтщика — на черной бархатной подушке среди скрытой электрической сигнализации как символ воскрешения Христова...

А Мадам, в прелестном весеннем костюме от Диора, в туфельках первой весенней модели, в темно-зеленых легких дамских очках на слабых, стареющих глазах, с милой улыбкой, уже несколько сгорбившаяся, идет мимо витрины дальше, все дальше, совершая с Кубиком предпраздничную прогулку по пустынному солнечному Монте-Карло, время от времени заходя в нарядные магазины и делая — нет, не делая, а совершая! — *совершая* небольшие покупки, делая заказы: там пасхальные яйца из шоколада «миньон», которые душистая продавщица с серебряными щипчиками в руках затейливо завертывает в золотую бумагу, здесь выбирает сырые цветы — темно-синие пармские фиалки, белую и лиловую отборную сирень, горшочки с кустиками азалии, густо усыпанными розовыми цветами, розы цвета кардинал — маленькие бутоны на длиннейших

стеблях,— букетики первых незабудок и тигровые орхидеи в прозрачных кубических коробках, перевязанных лиловыми шелковыми лентами с праздничным бантом, а затем, присев на золоченый стул, пишет за крошечным будуарным столиком, скрытым в тропически влажной глубине магазина, среди драгоценных растений, дышащих теплой сыростью оранжерейной земли, поздравительные карточки, вкладывая их в крошечные, совсем кукольные конвертики, а потом идет дальше, в другие лавки и магазины делать заказы на фрукты, касаясь небольшой, изящной рукой в замшевой перчатке разных плодов: авокадо, персиков, очень крупного дымчатого алжирского винограда, манго, лесной удлиненной земляники и сухой садовой желтовато-розовой клубники, мандаринов, черешни, выставленных в плетеных корзиночках, коробочках, нейлоновых сетках, а Кубик — тем временем — вертится на своем поводке под ногами Мадам Хозяйки и сопровождающих ее лиц, благосклонно перенося запахи их, в общем-то, довольно тщательно вымытых тел, надушенных приличной туалетной водой и духами, а также их легкой, модной, очень дорогой весенней обуви, и ему нравится опережать их и первому останавливаться возле тех магазинов, куда они собираются войти.

Он прекрасно изучил эти магазины, наполненные драгоценными пасхальными сувенирами, а также поздравительными картинками, разноцветными восковыми свечами самых причудливых форм, подносами с воспроизведенными на них картинами постимпрессионистов, еще более ярких и художественных, чем их подлинники в холодных холщовых залах парижских музеев. Кубик видел, что у нарядной девушки Ренуара с вишневыми губками, в деревенской соломенной шляпке с маками или васильками, сидит на руках странное мохнатое существо, в котором он не хотел и никак не мог признать своего брата собачку, хотя в глубине души и чувствовал нечто родственное, заставлявшее его еле слышно повизгивать и еще шибче кружиться на поводке вокруг старчески прелестных ножек Мадам Хозяйки.

По календарю еще зима, февраль, но молодой предпасхальный воздух, льющийся вдоль побережья Ривьеры прямо из Италии, дрожит над божественно-лазоревым заливом, над квадратным акваторием гавани, где на якоре стоит яхта легендарного Арахиса — неряшливого старика, носатого грека-пиндоса в больших очках с залапанными

стеклами, с плохо застегнутой ширинкой поношенных серых штанов — как говорят, самого богатого человека в мире и собственника всего, что видит вокруг бедный человеческий глаз,— и ванны литого чистого золота в будуаре яхты,— кроме, конечно, высокой гряды Приморских Альп, не пускающей сюда зимний холод, дожди, парижские туманы, назревающую на Левом Берегу революцию... Таким образом, больше половины года здесь царит мягкая, прохладная весна, светит солнышко и даже в январе, среди влажных газонов, прямо в открытом грунте, под войлочными стволами финиковых декоративных пальм, как бы среди вечного пасхального стола, цветут нежные цикламены, осененные водянистым перезвоном итальянских колоколов, доносящимся сюда из Вентимильи...

...и странные флаги над глупейшими куполами и безвкуснейшими вышками игорного дома — казино,— где в похоронной тишине громадных, недоброжелательно-равнодушных залов днем и ночью бегают по кругу и щелкают по металлическим шипам костяные шарики рулеток.

Все было бы здесь хорошо — лучше не надо! — если бы не забастовка электриков, приближающаяся из метрополии, неотвратимая, как тень давным-давно уже предсказанного затмения, которая вот-вот пересечет высокий гребень Приморских Альп и траурным покрывалом сползет на весь этот сияющий радостью и комфортом весенний мир экс-монархов и миллиардеров.

...сигналы тревоги, сигналы бедствия неслись отовсюду, ну и так далее.

У Кубика были слишком восприимчивые рецепторы и плохо работала тормозная система. Он раньше всех почувствовал приближение тени, сползание ее с горы. А ведь, в сущности, какой пустяк была вся эта забастовка электриков: с четырех до семи; всего каких-нибудь три часа без электрического тока — и то не абсолютно, потому что освещены были электричеством собственной станции больницы, родильные дома, пункты «Скорой помощи», все медицин-

ские учреждения, а также, разумеется в первую очередь, громадное здание игорного дома с его могучим подземным хозяйством: дежурными пожарными командами, нарядами вооруженной охраны, бюро тайной полиции, сейфами, набитыми запасом резервной валюты, золота, драгоценностями и всяческими ценными бумагами.

Ну, и что за беда, если в течение каких-нибудь трех часов в «Отель де Пари» не будет электрического освещения? Там уже давно повсюду в апартаментах, ресторанах, холлах и коридорах на всякий случай были приготовлены спиртово-калильные лампы, свечи в серебряных шандалах, плошки с таким расчетом, что в нужный миг — когда вдруг всюду, как по команде, погаснет электричество — весь отель мягко, хотя и скупо, засветится внутри как бы восковым церковным светом — таким теплым, живым, трепетным, а в роскошном баре нижнего этажа, скорее похожего не на бар, а на библиотеку какого-нибудь английского замка, с его глубокими кожаными креслами, старинными раскрашенными гравюрами на мотивы скачек и охоты, не тесно развешанными на матовых, темно-зеленых стенах, как будто дьявольски элегантного, суконного, охотничьего цвета, с солидной стойкой и круглыми столами ценного палисандрового дерева, что напоминало не только библиотеку, но также некую респектабельную контору в старом лондонском Сити, а в этом роскошнейшем баре, говорю я,— вдруг зашипели калильные лампы в стиле начала XIX века, воспламеняя красное опорто в толстых, как лампады, старинных стеклянных рюмках, поставленных на легкие кружочки прессованной японской бумаги все с тою же голубой коронкой «Отель де Пари»...

Могло показаться, что отсутствие тока даже к лучшему: гораздо красивее, праздничнее, таинственнее — в особенности робкие, даже как бы несколько греховные огоньки парафиновых плошек в конце длинных, заворачивающих куда-то гостиничных коридоров, поглощавших шаги толстой дорожкой, и уже совсем волшебно блестела внизу в громадном холле против входной вертящейся двери бронзовая лошадка с выставленным вперед, как медная ручка, коленом, до золотого блеска натертая руками суеверных игроков в рулетку, верящих, что прикосновение к ноге бронзовой лошадки на высоком пьедестале принесет им удачу.

Однако остановились лифты, и тут уже ничего нельзя

было поделать: как бы ни был богат постоялец отеля, будь он королем нефтяного флота всего земного шара, вроде южноамериканца греческого происхождения Арахиса, все равно ему — хочешь не хочешь — приходилось с легкой одышкой тащиться вверх по ковровой дорожке парадной лестницы в свои апартаменты, выходящие окнами в морской простор. Даже сама мадам Ротшильд бодро поднималась пешком по лестнице в легком распахнутом манто из серебристо-розовых норок, всем своим видом показывая, что ей это даже любопытно. Бывшая югославская королева, дама бедная и сварливая, тоже делала вид, что, в сущности, ничего особенного не произошло, хотя ее склеротические ноги порядком-таки побаливали и даже как бы слегка потрескивали на каждой ступени. Конечно, для Кубика ровно ничего не составляло, крутясь на поводке, взбежать на свой бельэтаж, но животное настолько привыкло ездить вверх и вниз в зеркальном лифте, что один лишь вид парадной лестницы, неярко озаренной канделябрами, по которой надо было бежать наверх, перебирая лапками по жесткому ковру, привел его в состояние скрытого бешенства. Сотни тысяч, миллионы тревожных, пугающих сигналов возбуждали его несовершенную, болезненно-чуткую нервную систему, вселяя в животное ужас перед какими-то непостижимыми силами, власть которых делала бессильным даже Мосье Хозяина — несомненно, самое могущественное существо в мире, разумеется, после Арахиса...

Кубик смутно представил себе всех этих подлецов в старых тергалевых костюмах, пропитанных запахом пота и ненавистной лаванды Аткинсона, которые, где-то собравшись вместе по ту сторону горной цепи, в полутемном помещении, молчаливые и неумолимые, приказали погаснуть яркому электрическому свету и остановиться лифтам ровно на три часа — ни секунды больше, ни секунды меньше, и плевать им на то, что короли, королевы и самые богатые люди в мире — даже Арахис, даже Арахис! — в это время должны, кряхтя и делая вид, что в мире ровно ничего не произошло, подниматься со своими породистыми собаками по великолепной мраморной лестнице середины XIX века с торжественными двойными спусками, как бы созданными для полонеза Огинского.

О, тягостное чувство зависимости от каких-то подлецов, думал Кубик, чувствуя расстройство своего вестибулярного аппарата, от подлецов, называющихся забастовочным комитетом...

...и тень упала на княжество Монако...

Стрела Зенона в каждый данный момент времен висела в состоянии покоя над возбужденной собакой, а стало быть, в целом она — эта стрела Зенона — была неподвижна.

Ну уж!..

Впрочем, все это весьма возможно, однако лишь при условии, если точно известно, что из себя на самом деле представляет слово «момент», не говоря уже о таком противоестественном сочетании, как «момент времени». Таким образом, лишь *не зная,* что такое время, можно себе представить неподвижно летящую стрелу. Но... кто знает доподлинно, что такое время и как его себе вообразить... У Кубика воображение было сконструировано на скорую руку, весьма халтурно, в самом зачаточном виде. Это были какие-то нервные вспышки, дающие обрывки картин и образов, ничем между собою не связанных, что причиняло собачке дополнительные муки. Вселенная постоянно грохотала за ее хвостом, как чугунная сковородка с многочисленными трещинами.

...сковородка Галактики...

Кубик ощущал всю опасность окружающей его вселенной, попавшей в руки негодяев, но эта опасность — или, вернее сказать, миллионы смертельных опасностей — была лишена зрительного или логического воплощения. Она раздражала нервную систему. И только. Если собака была действительно искусственная — в чем я не совсем уверен, даже совсем не уверен! — то, по-видимому, ее сконструировали и пустили в продажу люди определенной социальной среды; в противном случае откуда бы у собаки взялось это как бы врожденное презрение к бедности, ненависть ко всему хотя бы отчасти — не скажу революционному, а просто невинно-радикальному. Эта ненависть приливала и отливала по каким-то еще не исследованным

законам. Именно в данный момент неподвижного времени, собственно говоря, и начался бурный прилив ненависти, и глаза Кубика налились кровью, когда он увидел из-под дивана ноги официанта, вносящего накрытый стол. Это был новый официант, совсем недавно устроенный в «Отель де Пари» корсиканской родней.

Актеры любят видеть своего Смердякова — в гримерном зеркале между двух голых электрических ламп — примерно таким: опрокинутое скопческое лицо сероватого оттенка, лакейский фрак, нервные руки в несвежих нитяных перчатках и под черной кожей штиблет на резинках с синими матерчатыми ушками — раскаленные мозоли, доводящие до исступления; отдаленно подобное было и в этом официанте плюс нечто корсиканское: жгучий брюнет, заросшая шея... Однако при наличии высокой чаадаевской лысины и бритого иссиня-голубого рта, окруженного двумя толстыми саркастическими морщинами, он мог бы сойти за католического священника низших степеней, понапрасну бреющего дважды в день свою неистребимую щетину. Его третье имя было Наполеон. Жан-Пьер-Наполеон: дань преклонения перед Императором, обязанным семье нашего официанта своим спасением, когда вскоре после смерти Людовика XVI Корсикой управлял генерал Паоли, человек энергичный и жестокий, ненавидевший революцию, между тем как Наполеон Бонапарт, молодой артиллерийский офицер, проводивший свой отпуск на родине, в Аяччо, старался использовать все свое влияние, а также влияние членов своей семьи для торжества новых идей. Молодой Бонапарт и генерал Паоли уже враждовали между собой, и случилось так, что во время этой кровавой корсиканской вражды предки официанта спасли будущего императора Франции от неминуемой смерти от рук сторонников Паоли... Или что-то вроде этого... в результате чего впоследствии официант получил имя Наполеона от своей семьи, которая вот уже второе столетие плодилась и размножалась в Аяччо, в той самой узкой и темной, как щель, типично неаполитанской улице с развешанным бельем, где некогда в по-провинциальному большой, но нелепой и запущенной квартире промотавшегося дворянина синьора Буонапарте, едва успев вылезти из портшеза, отпустить носильщиков и, подобрав юбки, добраться по грязной каменной лестнице до своей квартиры, с криками и воплями среди невообразимой суматохи, среди ночных горшков и фаянсовых та-

зов, на скрипучей двуспальной кровати красного дерева в стиле одного из Людовиков синьора Буонапарте произвела на свет злого, крикливого мальчишку, будущего императора Франции, умудрившегося залить Европу кровью и наделать много других гадостей. Ему-то было хорошо: имя Наполеон как нельзя лучше подходило к белоснежной горностаевой мантии с черными запятыми хвостиков, простертому скипетру и драгоценной императорской короне. Все возможности красоты и величия, заложенные в этом имени, были исчерпаны. А вот каково-то пришлось всем другим Наполеонам, расплодившимся с его легкой руки и постепенно вконец измельчавшим и выродившимся? В лучшем случае это были всего лишь жалкие эпигоны. Постепенно теряя все свое величие, это некогда блестящее, кровавое имя в конце концов стало водевильным: авторы маленьких театров с Больших бульваров вроде «Театра де Нувоте», куда обожали водить своих подруг приказчики, описанные Эмилем Золя, чаще всего наделяли этим именем какого-нибудь глуповатого лакея, тайно влюбленного в свою госпожу. Я заметил, что комплекс неполноценности в высшей степени свойствен людям маленького роста, носящим имя Наполеон. Они всегда немного комичны, и сознание этого постоянно держит их в состоянии скрытой ярости. Чаще всего они в конце концов попадают в дурное общество, делаются анархистами, становясь в надлежащее время под черное знамя Ровашоля.

Увидев Наполеона, Кубик сначала попятился к стене, а потом вдруг стремительно выскочил из-под дивана и, утробно рыча — ему даже не сумели как следует сделать аппарат лая, и этот аппарат часто отказывал — и, говорю я, утробно рыча и дрожа мелкой дрожью, он, сверкая своими дьявольскими глазами, впился в лодыжку официанта, порвал черные шевиотовые брюки и трикотажные подштанники и слегка куснул икру Наполеона своими слабыми, совсем детскими зубками.

В течение одного неподвижного мига они — собака и человек,— содрогаясь от бешенства, смотрели друг другу в глаза. О, как они ненавидели друг друга!

«Ровно в 14 часов и одну минуту по астрономическому времени над Москвой будет закрыто 74 процента солнечной поверхности».

Радио 22 сентября 1968 года.

Они были наедине в сумрачном салоне, освещенном несколькими свечами, огни которых бесполезно отражались в огромном глазу померкнувшего телевизора, как бы покрытом пленкой катаракты.

— Ах ты, паршивая собачонка,— прошипел приглушенным басом корсиканец, дрожа и бледнея от негодования.— Ты посмел меня укусить? Да? Меня? Человека? Посмел? Укусить? Так я ж тебе покажу, подлец! — И официант, злобно, хотя и набожно бормоча: «О, санта мадонна»,— стал изо всех сил пинать ногой под диван, пытаясь попасть Кубику в самую морду или, по крайней мере, угодить в живот и отбить внутренности; при этом Наполеон все время оглядывался на дверь, ощерив клыки, из которых один был с золотой коронкой, и на всякий случай улыбался мягкой отеческой улыбкой, которая в случае внезапного появления Мосье и Мадам Хозяев могла обозначать: «Ах ты, мой милый, нехороший песик, разве можно кусаться?.. Или ты хочешь, чтобы я пожаловался на твое поведение Мосье Хозяину? Ай-яй-яй! Ты же знаешь, дурачок, как это его огорчит! Смотри же у меня, будь паинькой!»

Все это происходило почти в полном молчании, как убийство кинжалом из-за угла, не нарушая глубокой тишины этого огромного отеля; однако если бы можно было поймать и аккумулировать все нервные импульсы, излучения и сигналы, летящие от одной животной системы к другой, то это был бы уже не просто шум скандальчика, а грохот новейших скорострельных батарей тактического действия или такой брамбахер ядерных устройств, что на месте семиэтажного «Отель де Пари» со всеми его решетчатыми жалюзи, лепными балконами с видом на Средиземное море,— где в это время воровато шныряли посыльные суда, а на горизонте тяжело выступал из воды силуэт утконосого авианосца VI американского флота,— с видом на океанографический музей, где в гигантских полукруглых окнах таинственно белели скелеты китов, и горки старого мертвого жемчуга серебрились, как сухая рыбья чешуя, и в подземелье в светящихся аквариумах плавали, поводя усами, морские чудовища,— в один миг должно было возникнуть сернисто-желтое *ничто* с йодоформовыми краями гангренозной язвы, неумолимо покрывая Монакское княжество... И в один миг все бы исчезло, перестало существовать —

даже те сухие наивные деревянные кубики на веревочках, которые следовало подкладывать под оконные рамы, в случае сквозняков — надежное старинное средство, которым до сих пор пользовались в этом всемирном отеле, оборудованном по последнему слову техники... А серые деревянные кубики на веревочках не научились ничем заменить... А чем вы замените хорошее, выдержанное дерево скрипки, фагота? «Не архангельские трубы, деревянные фаготы, пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах...»

Однако как ни старались животное и человек — оставшись с глазу на глаз — воевать молчаливо, их напряженно-тихий скандал тотчас же был услышан. За отсутствием времени и свободной бумаги у меня нет охоты описывать, как на пороге салона появились Мадам Хозяйка, Мосье Хозяин и сопровождающие их лица и как все они ужаснулись представившемуся им зрелищу. Мадам, как добрая самаритянка, тотчас же перевязала — скорее символические, чем действительные раны официанта; хорошенькими пальчиками с несколькими колоссальными солитерами чистейшей воды, каратов по тридцать каждый, она деликатно и отнюдь не брезгливо засучила черные служебные брюки с атласными лампасами и в то же время не забыла погрозить хорошеньким морщинистым мизинчиком затихшему под диваном Кубику.

Что касается самого Мосье Хозяина, то он, по-видимому, не очень одобрял прилив подобного человеколюбия, считая его если не вполне притворным, то, во всяком случае, неуместным, так как Мадам приходилось сидеть на полу и Мосье боялся, что она простудит седалищный нерв: Мосье Хозяин предпочитал более реальные и быстрые действия. Нетерпеливо дождавшись, когда перевязка была закончена, он твердо обнял официанта за талию и энергично повел на свою половину апартаментов, приговаривая: «Не будем, мой друг, придавать этой истории слишком серьезного значения. Возьмите это в виде небольшого пасхального сюрприза. Здесь четыре штучки»,— с этими словами он достал из бюро две тысячи новых франков еще не согнутыми, немного липкими, пахучими разноцветными пятисотками, попарно сколотыми особой банковской булавкой, и двумя пальцами подал официанту, который принял их с корректным полупоклоном, как чаевые, а Мосье Хозяин, торопясь поскорее покончить с неприят-

ным инцидентом, распахнул перед официантом все четыре створки гардероба, увешанного набором необходимых мужских костюмов, и сдернул с планки несколько галстуков. Разумеется, я мог бы, как говорят, «со свойственной ему наблюдательностью и мягким юмором» описать эти толстые шелковые галстуки от Ланвена, из которых самый дешевый стоил франков сто двадцать,— но для чего? Кому это надо? А если вам так этого хочется, то «вот вам мое стило и — так сказать — можете описывать сами».

Один из трех галстуков, протянутых рукою Мосье официанту, был винно-красный, цвета хорошего старого шамбертена, другой — ультрамариновый, как Средиземное море в яркий солнечный сентябрьский день, и третий — жемчужно-серый, как парижское утро. «Дорогой друг, возьмите их себе, они более или менее подходят к любому костюму, и носите себе на здоровье...» Но этого мало.

Вернувшись в салон, Мосье Хозяин налил два необыкновенно высоких, строго цилиндрических стакана шотландского виски двадцатилетней выдержки, долил «перье», собственноручно достал специальными серебряными щипчиками с пружинкой из хрустального ведерка ледяной кубик, в тот же миг магически отразивший в себе навсегда освещенный восковыми свечами салон, и опустил его в стакан официанта. «А теперь выпьем».— «Но, мосье, я на работе...» — «Ничего, это я беру на себя»,— тонко улыбнулся Мосье, и двое мужчин сделали по глотку.

Все это произошло так неуловимо стремительно, что обласканный официант первое время чувствовал себя вполне счастливым, как человек, которому неожиданно повезло, и лишь через два дня, поделившись своей радостью с земляком, тоже корсиканцем, шофером изящного грузовичка с плетеным кузовом, привозившим дважды в день в ресторан отеля устрицы, фрукты и свежую зелень, был крайне удивлен, когда земляк пожал плечами и заметил: «Вот уж я никак не думал, что ты такой лопух. Надо было содрать с него, по крайней мере, тысяч двадцать, даже тридцать, конечно новыми. А в противном случае пригрозить скандалом. Закон на твоей стороне! Ты мог потребовать, чтобы он сам, мадам и все их сопровождающие лица и гости были подвергнуты в принудительном порядке прививкам против бешенства и разных

других опасных болезней».— «Но собачонка вполне здорова, только у нее паршивый характер...» — заметил Наполеон. «Мало ли что! — закричал земляк-корсиканец.— Надо было требовать через полицию медицинской экспертизы и привлечь мосье хозяина собачки к суду за увечье. Был бы я на твоем месте, клянусь девой Марией, я бы или содрал с него единовременно пятьдесят тысяч новых, или пожизненную ренту за частичную потерю трудоспособности! — все более и более распаляясь, кричал земляк-корсиканец.— А ты, кретин, польстился на четыре пятисотки да на пару вышедших из моды галстуков от Ланвена. Если об этом узнает твоя Матильда, то лучше не возвращайся в Аяччо, она тебе проломит голову медной ступкой для миндаля...» — «Но я не думаю, чтобы суд...» — начал Наполеон. «Чудак-человек! Неужели ты думаешь, что твой мосье допустил бы дело до процесса? Очень ему это нужно! Ты, наверное, понятия не имеешь, сколько у него миллионов. Для таких людей, как он, сто тысяч не играют никакой роли — лишь бы ему не испортили пасхальных каникул и не мешали наслаждаться жизнью. Чем подвергать мучительной экспертизе своего любимого песика и согласиться, чтобы его самого, его мадам и всех его гостей целый месяц каждый день кололи для профилактики в задницы, он бы, не задумываясь, выложил на стол сто тысяч наличными или чеком на швейцарский банк — и дело с концом: пасхальные каникулы спасены, а у тебя в кармане кругленькая сумма, и ты смог бы наплевать на «Отель де Пари», вернуться в Аяччо и открыть где-нибудь на берегу недалеко от «Дю кап» отличную таверну для приезжих американцев, торговал бы себе потихоньку контрабандными форелями, лангустами, серым домашним хлебом, корсиканским сыром и местным беленьким винцом и в ус себе не дул».— «Ты думаешь?» — дрожа, спросил Наполеон. «Ха! Я в этом уверен».— «В таком случае я пойду к этому подлецу, брошу ему в морду галстуки и потребую деньги!» — «Но торопись, потому что мой друг Гастон слышал в баре разговор Арахиса с каким-то американцем, и этот грек-пиндос на паре колес клялся, что не пройдет и недели, как он пустит твоего мосье в трубу вместе со всей его лавочкой. А что сказал Арахис — то закон. С этим не шутят. Во всяком случае, поторопись. Впрочем, вряд ли что-нибудь выйдет. Надо было это сделать сейчас же после того, как песик тебя цапнул, а теперь, братец, я думаю, поздно. Что с возу упало, то

пропало...» И земляк, хлопнув дверью своего пикапчика, уехал, а Наполеон остался стоять возле служебного входа в отель на тротуаре, как пораженный громом. Неужели он прозевал такой неповторимый, единственный в жизни шанс?

Он видел безупречно постриженные газоны перед главным входом в казино, пальмы, магнолии, кедры, редчайшие породы каких-то тропических деревьев, нежные растения, окунающие свои слабые, декадентские ветви в искусственные водоемы с розовыми лилиями, очень высоким итальянским камышом и лотосом, красные дорожки, кое-где в укромных уголках пустые скамьи, известные тем, что почти на каждой из них кто-нибудь застрелился, и Наполеон представлял себе всех этих самоубийц, несчастных игроков, которых так равнодушно — вот уже в течение ста лет — одного за другим убивала рулетка, но в его корсиканском воображении не менее живо возникали и другие картины — картины громадных удач, счастья, неожиданно свалившегося с неба в руки бедного человека и в один миг волшебно изменившего его жизнь.

Недавно Наполеон дежурил в ночном буфете казино и собственными глазами видел, как один приезжий итальянец из Вентимильи выиграл четыреста тысяч новых франков — что-то восемьдесят тысяч долларов! Сначала ему страшно не везло, он проигрался в пух, у него оставалась всего одна-единственная жалкая десятифранковая фишка, которую он сжимал в кулаке с побелевшими косточками суставов, не решаясь сделать свою последнюю ставку, после которой он делался нищим...

Вот примерно что из себя представляют фишки казино Монте-Карло. Пять франков — голубой кружок, но его ставят главным образом в общих залах, куда пускают туристов и всякую другую шпану. В главных же залах ходят такие фишки: десять франков — белый кружок, двадцать франков — красно-томатный кружок, пятьдесят франков — оранжевый кружок, сто франков — зеленый кружок. Затем начинаются фишки высокого полета: пятьсот франков — уже не кружок, а прямоугольная плитка цвета слоновой кости, тысяча франков — темно-желтый прямоугольник, пять тысяч франков — довольно большой белый прямоугольник с косой красной лентой через всю фишку, напоминающий этикетку шампанско-

го «кордон руж». Затем десять тысяч франков — большой чисто белый прямоугольник и, наконец, двадцать тысяч франков — очень крупный сине-голубой прямоугольник, при одном лишь взгляде на который сладко кружится голова. И все эти фишки были сделаны как бы из прозрачной и твердой, как сталь, легкой пластмассы.

Некоторые веселые игроки называли в шутку прямоугольные фишки котлетками. Это было инфантильно, но, согласитесь, довольно остроумно.

...котлетки, котлетки, котлеточки...

Итальянец из Вентимильи нервно постукивал кулаком по зеленому солдатскому сукну овального стола, не находя в себе сил расстаться с последней иллюзией. Худой сорокалетний мужчина с испитым лицом мелкого собственника из числа тех, кто дома бьет детей, любит выпить стаканчика три анисовой и способен до закрытия стоять в траттории, склонясь над электрическим бильярдом, где, как обезумевший, мечется металлический кубик, то есть, простите, шарик. Теперь его испитое лицо было ужасно: наверное, он уже проиграл все свое имущество: лавочку, клочок земли и, может быть, даже обстановку, платья жены и остаток всех сбережений. На его лице с невыразительными, неподвижными глазами, словно бы отлитыми из темного стекла, был написан ужас, а его жена, такая же, как и он, худая, некогда — даже, может быть, не так давно — миловидная носатая итальянка в черном, очень коротком платье, которое в какой-то мере шло к ее шафранно-загорелому лицу с ввалившимися щеками, иссиня-черным волосам, высокой, но уже растрепавшейся прическе и золотому крестику на шее, который, видимо, должен был принести счастье, так как синьора время от времени незаметным движением страстно прижимала его к сизым губам,— сидела рядом с мужем, прямая, неподвижная, как надгробная статуя.

«Ну, голубчики, вы уже готовы»,— злорадно подумал тогда Наполеон, собиравший по столам пустые стаканы и красивые миниатюрные златогорлые бутылочки из-под голландского пива. Однако когда он через некоторое время снова вышел из буфета в игорный зал, то с удивлением заметил, что итальянец все еще держится и возле него даже появилось несколько стопочек белых фишек. Через час или

два на столе возле итальянца опять уже ничего не было, и он снова сжимал в кулаке томатно-красную последнюю фишку, упершись неподвижным взглядом во внутренность крутящейся деревянной чашки рулетки с перекрещенными над нею никелированными ручками, где, пущенный выхоленными пальцами крупье в обратную сторону, прыгал по шипам белый шарик, носился как безумный туда и сюда по красным и черным клеткам и номерам и все никак не мог найти себе пристанище, пока, наконец, не упал в тесной стойлице и не застрял там, затих, навсегда утратив свое собственное движение, и неподвижно поехал в обратную сторону, покорно подчинившись движению маленькой карусели, которая стала носить его по кругу, как ребенка в своих легких саночках.

А еще через час официант увидел бледное лицо итальянца над довольно высокой стеной, выстроенной из самых разнообразных фишек. Потом эта стена постепенно разобралась, подобно тому как разбирается стена замка, построенного детьми из кубиков,— и когда уже перед рассветом Наполеон заглянул в полуопустевший зал, то увидел итальянца, который поднимался из-за стола с еще более ввалившимися, обросшими щетиной щеками и странной, полубезумной улыбкой, с которой он смотрел куда-то вдаль, мимо своей жены, судорожно поправлявшей вавилонскую башню окончательно развалившейся прически...

Вокруг них стояла неподвижная толпа. «Ну что, голубчики? — злорадно подумал Наполеон.— Вот вы и лопнули!» — и ошибся, так как уже все вокруг знали, что итальянец грандиозно выиграл. Сначала он действительно был на краю пропасти, казалось, ему уже ничто не может помочь, но вдруг и совсем незаметно, как это нередко случается во время азартной игры, удача медленно, с большой неохотой повернула к итальянцу свое колесо, он стал понемножку выигрывать, и весь выигрыш тут же незаметно совал в карманы, дав мысленно страшную клятву деве Марии и сыну ее Иисусу Христу, а также всемогущему Господу Богу не прикасаться к выигранным фишкам до тех пор, пока окончательно не встанет из-за стола. Теперь Наполеон увидел, как они, итальянец и его халда-жена — он впереди, а она на полшага позади,— с неподвижными лицами, как заведенные, прошли через весь обморочно-огромный полупустой зал, остановились возле

кассы размена, где их уже с равнодушным видом ждали клерки, и тогда итальянец стал разгружать свои внутренние и наружные, боковые и маленькие, для часов, и задние, для револьвера, брючные и жилетные карманы, выкладывая на дубовый прилавок множество разноцветных, разнокалиберных фишек, среди которых ярко бросались в глаза пластмассовые котлетки с красной полосой по диагонали, еще более желанные, почти волшебные котлетки цвета средиземноморской волны, не говоря уже о прочей круглой мелочи, в общем напоминающей круглые конторские ластики для пишущей машинки или прессованные таблетки соснового экстракта, еще хранящие тепло человеческого тела,— все эти портативные аккумуляторы, содержащие в себе громадную денежную потенцию.

Молодые прекрасно и скромно одетые клерки тут же сортировали их, молниеносно выстраивая из них башенки и заборчики, высокие и низкие штабеля, и с корректной ловкостью сбрасывали их в особый ящик, а на их место выкладывали на прилавок пахучие кипы новеньких слипшихся разноцветных франков, скрепленных по тысячам небольшой тонкой банковской булавкой, как бы придававшей им еще больше ценности.

О, эти уголки французских ассигнаций со следами неоднократных булавочных проколов!

Итальянец, стараясь держать себя с достоинством, сначала довольно аккуратно, даже не слишком торопясь, запихивал компактные пачки денег во внутренние боковые карманы, но когда увидел, что это неудобно и долго, то стал их брать сначала под мышку, а потом прямо накладывать на вытянутые руки — и в таком виде, с протянутыми вперед руками, на которых, как на двух брусьях, кое-как лежали динамитные пачки денег,— направился к выходу, и они оба — он и она,— он на полшага впереди, а она на полшага сзади, поддерживая пачки, падающие у него из-под мышек,— проследовали, как лунатики, мимо игорных столов, часть которых уже закрывали попонами, как скаковых лошадей, через все громадные залы казино, хотя и расписанные изысканными фресками в духе Пюви де Шаванна, а может быть, и самого Пюви де Шаванна,—

не знаю, не знаю! — несмотря на серые колонны со смугло-золотыми капителями, несмотря на паркеты, блестевшие под ногами, как великолепные деревянные озера, несмотря на величественную кафедральную тишину или, может быть, вследствие этой какой-то пугающей, шаркающей тишины, отсутствия смеха и музыки, юности и любви,— даже черт возьми, разврата! — все эти чертоги с распахнутыми дворцовыми дверями создавали чувство какого-то громадного, но старомодного вокзала — например, унылого, старого, полузаброшенного вокзала в Сан-Франциско, откуда уже давно не ходят поезда, а пассажиров по старой памяти везут именно отсюда в автобусе за город, где и пересаживают в уже готовый трансконтинентальный экспресс с удобными купе, барами, ресторанами, кафетерием и старыми неграми-проводниками в золотых очках и белых перчатках, ласковых и предупредительных, как добрые няньки из хороших домов.

Они прошли через все двери, а затем мимо сухо поклонившегося им ливрейного швейцара, которому, впрочем, ничего не дали,— вышли по каскаду шикарной наружной лестницы прямо в застывший в предутренней летаргии парк и, не заходя в гостиницу, пошли прямо по ярким газонам, облитым зелено-ртутным сиянием газосветных ламп, смешанным с синеватым оттенком приливающего средиземноморского рассвета, мимо белеющих скамеек самоубийц — на вокзал...

Наполеон стоял и смотрел, подавленный, очарованный, полный горького восторга и зависти, но швейцар, видавший виды старый монегаск, посмотрев не без презрения вслед удаляющимся итальянцам, заметил с мудрой, но недоброй улыбкой:

— Ничего. Они вернутся,— сказал он зловеще.— Можете на меня положиться.

Теперь, когда Наполеон вспомнил об этом, в нем с новой энергией вспыхнула надежда. Нет! Надо во что бы то ни стало вернуть потерянный шанс, который, конечно, больше уже никогда в жизни не повторится. Через несколько дней ему удалось подстеречь Мосье одного, возле лифта. «Мосье,— сказал он решительно,— я не могу рисковать жизнью. Несомненно, ваша собака бешеная. Я требую

строжайшей медицинской экспертизы. Я буду настаивать на том, чтобы всей вашей семье и всем лицам, соприкасавшимся с опасной собакой, сделали принудительные прививки, что предусмотрено монакским законодательством. В противном случае...» — «Позвольте,— мягко перебил его Мосье, и его некогда голубые глаза приобрели красивый стальной оттенок,— оставим в стороне монакское законодательство. Все это чепуха. Мне кажется, что мы с вами в расчете, не так ли?» — «Мосье,— сказал официант,— у меня на Корсике семья: жена и дети. Я должен их обеспечить. Я не прошу многого. Дайте пятьдесят тысяч новых франков, и я замну это неприятное для вас дело».

Увидев резко изменившееся, ставшее зловеще-мраморным, несмотря на некоторую старческую одутловатость и лысину, все еще прекрасное, хотя уже и мучнистое лицо Мосье, Наполеон струхнул и почувствовал холод, распространившийся по его спине, и ногам. «Для вас, мосье, эта сумма ничего не составляет, а меня и мою семью она сделает обеспеченными до конца дней»,— неуверенно, почти жалобно произнес официант, заискивающе глядя в непроницаемые, как у греческой статуи, глаза Мосье. «Безусловно, для меня эта сумма ровно ничего не составляет,— спокойно сказал Мосье,— но тут дело принципа: я не могу позволить себе дважды платить по одному и тому же счету — иначе я не был бы коммерсантом и очень быстро вылетел в трубу. Вы меня поняли?» — «Мосье...» — начал Наполеон, но Мосье резко его прервал: «Довольно. Вы, кажется, решили меня шантажировать? Не думаю, что дирекция отеля захочет держать у себя служащего-шантажиста!» С этими словами Мосье вошел в лифт и, отражаясь в его многочисленных зеркалах, поднялся вверх, а Наполеон на ослабевших ногах дотащился до кафельной уборной, где в низких, очень широких писсуарах лежали, подобно кусочкам сахара, белые дезинфекционные кубики, придавая стерильно чистой уборной элегантный запах первоклассного лечебного заведения, сел там на теплое сиденье и заскрежетал зубами: «Ах ты, мерзавец... скот... Презренный буржуа... Кровосос... Ну, погоди... Дай бог, чтобы тебя поскорее сожрал со всеми твоими вонючими потрохами Арахис... А потом... О, потом!.. Я всегда говорил, что потом всех вас нужно вырезать до одного или повесить на фонарях... Мы еще с тобой посчитаемся, подонок!»

Бедняга Наполеон не подозревал, что в этот самый момент всемогущий Арахис уже нанес Мосье смертельный удар и его предприятию остались считанные дни.

Через некоторое время встревоженные Мосье и Мадам и все сопровождающие их лица спешно отбыли на трансатлантическом американском «боинге», делавшем по дороге из Нью-Йорка в Париж короткую остановку в Ницце. Предварительно вкусно позавтракав в стеклянном ресторане аэропорта, любуясь плоской песчаной косой, где каждую минуту спускались и поднимались лайнеры почти всех мировых аэролиний, вся компания — Мадам, Мосье и сопровождающие их лица — забралась в самолет и поднялась в воздух, углубившись на мгновение в море, где на миг перед ними предстало божественное туманное видение Корсики, потом как бы опрокинулась над Лазурным берегом с мысом Антиб, Каннами, Сен-Рафаэлем, и вдруг внизу справа развернулась белозубая панорама Альп со всеми их знаменитыми вершинами, из которых одна была мучительно знакома по цветным путеводителям и открыткам — кривой конус со срезанным верхом — не то Маттерхорн, не то Монте-Роза, не то Монблан,— и все это было так сухо, белоснежно, божественно, в особенности после глотка ледяного шампанского, которое разносил маленький индонезиец — с виду совсем мальчик, а на самом деле седой старичок в очках,— держа в руке толстую бутылку, до горла завернутую в салфетку. Собачку же, которая не выносила воздушных путешествий, отправили с шофером в Париж — на вишнево-красном спортивном «паккарде» с черными сафьяновыми подушками — с таким расчетом, чтобы она встретила своих Хозяев в Орли, чем вся эта история с Кубиком должна была кончиться — и, безусловно, кончилась бы,— если бы не получила огласку у низших служащих «Отель де Пари» и Наполеон сделался общим посмешищем. Теперь его не называли иначе, чем «этот идиот корсиканец, которого укусила собачонка миллионера и он не сумел содрать с него хотя бы какихнибудь паршивых ста тысяч новыми». За спиной Наполеона делали непристойные жесты и хихикали в кулак. Об этом наконец узнала жена Наполеона и прислала ему из Аяччо яростное письмо, полное угроз и намеков на то, что он помимо того, что просто дурак, но еще и рогатый дурак, «кокю».

Сатана вселился в Наполеона.

Взяв расчет, он ринулся в Париж, намереваясь совершить что-нибудь ужасное, адское, кровавое, какой-нибудь поступок, от которого содрогнулся бы мир, вселенная — эта треснувшая в нескольких местах старая чугунная сковородка, привязанная к хвосту взбесившегося животного, не сообразившего, что лучше всего было бы сидеть смирно на раскаленной мостовой Галактики, нервно нюхая свою паленую шерсть. Он сразу же, как это часто бывает с провинциалами в Париже, попал в дурное общество, в темную компанию полууголовных типов — алжирцев-эмигрантов, сенегальцев, мусорщиков, длинноволосых юношей в узких сюртуках и дамских сорочках с рюшем на груди и грязными кружевными манжетами, выдававших себя за «хиппи», а на самом деле продавцов наркотиков, некотирующейся валюты и золота, промышлявших также поставкой агентурных сведений для Центрального разведывательного управления, итальянских анархистов и беглецов из социалистических стран, продавших свою родину, проевших и пропивших деньги в разных кабачках и бистро «Левый Берег», подпольных адвокатов, обещавших Наполеону выколотить из Мосье за укус собаки кругленькую сумму, а пока что вытянувших с официанта последние денежки, оставшиеся у него от ухаживаний за обольстительными девчонками с известково-белыми, почти серебряными, порочными лицами, на три четверти занавешенными волосами утопленниц, как бы вырезанными из белого волокнистого дерева,— умевшими брать деньги и ничего взамен не давать... Так что, когда однажды во Франции началась грозная, могучая и молчаливая всеобщая забастовка, охватившая десять миллионов рабочих, то, вместо того чтобы примкнуть к колоннам настоящего организованного пролетариата, Наполеон очутился среди люмпенов, во множестве примазавшихся к честным студентам Латинского квартала. Вконец опустившийся, пьяный, с немытыми руками, давно уже утративший вид официанта из первоклассного ресторана, он выкрикивал провокационные проклятия, потрясая над головой черным знаменем

Ровашоля, за что ему было выдано наличными пятьдесят новых франков и еще обещано впоследствии сто, и его несло вместе с толпой по улицам и переулкам, как по глубоким траншеям, проложенным среди гор давно уже не убиравшегося, разлагающегося мусора, объедков, картонок, оберточной бумаги, стружек, охваченных языками пламени ящиков, в тучах удушливого дыма, где

время от времени взрывались петарды, патроны, самодельные бомбы, начиненные гвоздями и битым стеклом, и при их вспышках на темном небосклоне погруженного во мрак Парижа на миг возникали то купол Пантеона, то золоченые пики Люксембургского сада, а за ними — лысая могучая голова Верлена, похожего на Ленина, то силуэт церкви, куда некогда хаживал Данте...

Разрушив и уничтожив все, что находилось внутри театра Одеон, разбрасывая вокруг себя превращенные в лохмотья драгоценные исторические костюмы театрального гардероба, осыпанная рваными позументами и кружевами толпа ринулась обратно на бульвар Сен-Жермен. В общей свалке Наполеон потерял черное знамя, и кто-то сейчас же повелительно сунул ему в руки портрет «великого кормчего», и он понес его, раскачивая над головой, что издали имело вид тыквы на палке. Против воинственного памятника Дантона поперек бульвара стояла цепь полицейских. Наполеон бросился на нее, выкрикивая с пеной у рта проклятия всем подлецам и их прислужникам, которые лишили его состояния, ограбили и затравили бешеными собаками. Два черных аккуратных ажанчика в коротких пелеринках и белых воротничках проворно выдернули его из толпы, взяли за руки и ноги и запихнули в черную полицейскую машину, стоявшую в сыром узком дворе Кур-де-Маршан, где некогда справа помещалась типография газеты «Друг народа» Марата, а слева против нее во втором этаже жил тихий и аккуратный доктор Гильотен, изобретатель известной машины для гуманных казней. Тем временем Мосье Хозяин, как обычно, прогуливал своего Кубика по тихой улице, и если бы не отдаленная стрельба, не горы мусора и не отсутствие электрического освещения, а также слишком редкое движение автомобилей, то трудно было бы поверить, что где-то в других районах города происходят крупные беспорядки, что мосты через Сену блокированы войсками, для того чтобы восставший народ не перешел на правую сторону и не ворвался в Елисейский дворец, оцепленный Национальной гвардией с лошадиными хвостами на касках...

Кубик метался на своем поводке, крутился, как безумный, нервничал, почти терял сознание от охватившего его непонятного ужаса, тихонько завывал, и Мосье Хозяин

отвел его по темной лестнице с остановившимся лифтом на третий этаж, впустил в свою роскошную квартиру, тревожно освещенную несколькими красивыми восковыми свечами, при свете которых Мадам просматривала в салоне старые иллюстрированные журналы, отцепил поводок, и Кубик побежал по длинному темному коридору в спальню, и залез там под громадную, низкую супружескую кровать, и затих во тьме, напоминая кучку древесного угля... Я мог бы еще, конечно, рассказать, как Мосье Бывший Мальчик, подавленный, раздраженный, утомленный многодневным отсутствием электрического тока, отсутствием дел и газет, молчанием холодного телевизора, черными мыслями о близком разорении и гибели от руки всевластного Арахиса, для того чтобы хоть немного рассеяться, взял в кухне пустую корзинку, чтобы принести несколько бутылок минеральной воды и хорошего красного вина, и со свечой в руке пошел в домашних туфлях по бесконечно длинной черной лестнице вниз, в подвал, где были расположены винные погреба жильцов этого богатого дома, и там он осмотрел свои драгоценные пыльные бутылки, хранящиеся на бетонных полках, и бутылки минеральных вод из всех стран мира, коллекцию которых он собирал — это было его хобби,— и вдруг он почувствовал себя странно, как будто бы на него внезапно обрушилась страшная тяжесть его годов, и он увидел буквы ОВ, как бы написанные алмазной пылью на каменной стене погреба, и эти буквы завертелись вокруг него, как волчок, и он с трудом удержался на ногах и, обливаясь горячим потом, присел на ящик с немецкой минеральной водой «брамбахер», а в это время Мадам, встревоженная дурным предчувствием, спустилась в погреб, и Мосье Бывший Мальчик увидел со свечой в руке неразборчиволицую фракийскую принцессу — мертвую девочку Саньку! — в своем сверкающем золотом венце. «Что с тобой? Тебе плохо?» — спросила Мадам Бывшая Девочка. «Ничего»,— с трудом ответил он и хотел, для того чтобы успокоить ее, произнести слово «Кубик», но рот его был набит какими-то другими стереометрическими фигурами. Вместо слова «Кубик» он произнес слово «Волчок».

Вокруг них продолжали, действительно как волчок, кружиться алмазные буквы ОВ. Затем Мосье пришел в себя и стал подниматься вверх по лестнице за свечой, которую несла в дрожащей руке Мадам.

Криз прошел благополучно.

Не повесть, не роман, не очерк, не путевые заметки, а просто соло на фаготе с оркестром — так и передайте.

Я бы, конечно, сумел описать майскую парижскую ночь с маленькой гелиотроповой луной посреди неба, отдаленную баррикадную перестрелку и узкие улицы Монмартрского холма, как бы нежные детские руки, поддерживающие еще не вполне наполнившийся белый монгольфьер одного из белых куполов церкви Сакре-Кёр, вот-вот готовый улететь к луне... — но зачем?

1967 — 1968
Переделкино

СОДЕРЖАНИЕ

Валентин Петрович
Катаев

СУХОЙ ЛИМАН

М., «Советский писатель», 1986, 432 стр.
План выпуска 1986 г. № 60

Редактор

М. Р. ГАВРЮШИН

Художественный редактор

Н. С. ЛАВРЕНТЬЕВ

Технический редактор

Е. П. РУМЯНЦЕВА

Корректоры

Т. В. МАЛЫШЕВА* и *М. Б. ШВАРЦ

ИБ № 5483

Сдано в набор 24.03.86. Подписано к печати 10.07.86. А 03459. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 23,08. Тираж 100 000 экз. Заказ № 189. Цена 1 р. 50 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

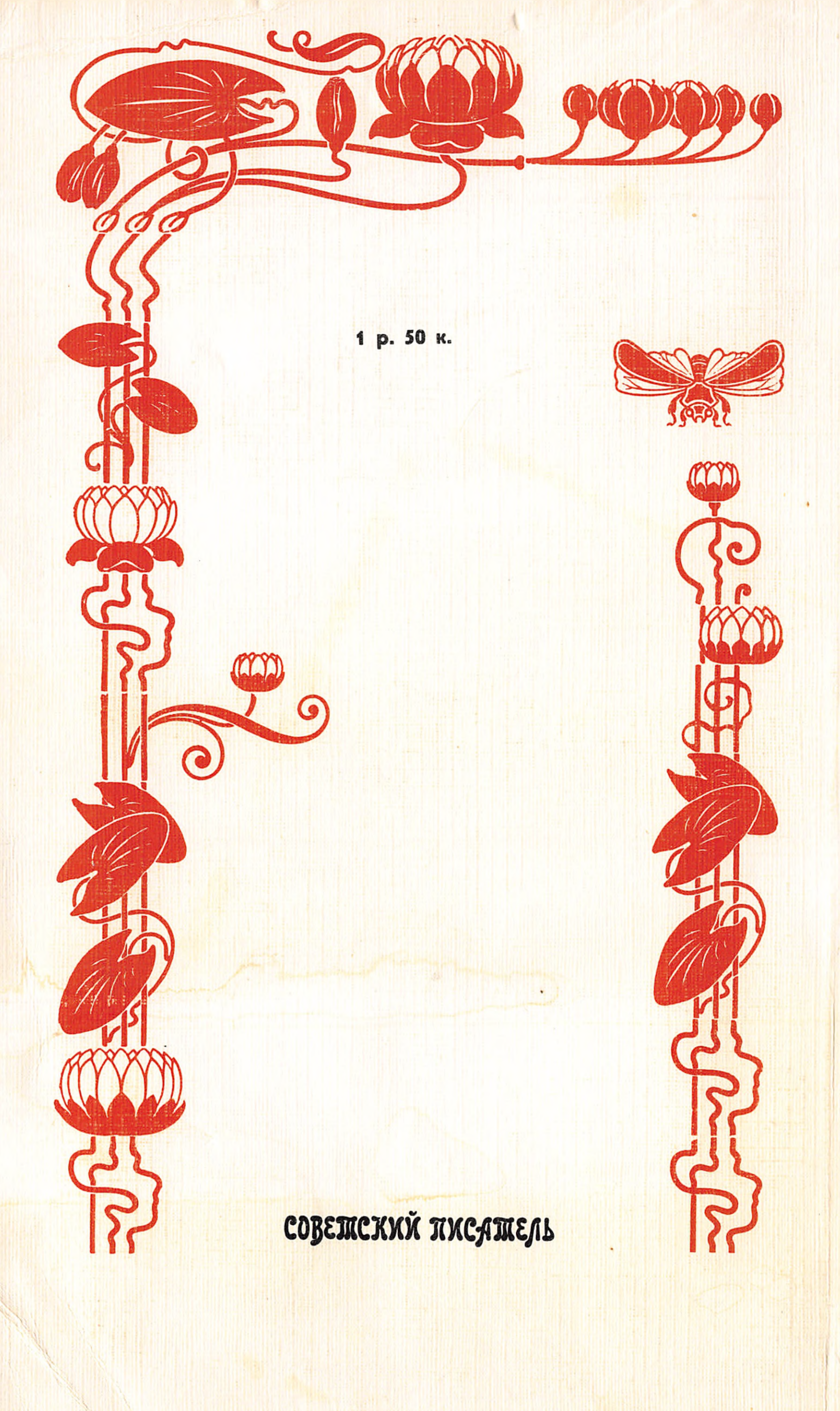
Катаев В. П.

К 29 Сухой лиман: Повести.— М.: Советский писатель, 1986.— 432 с.

В книгу выдающегося советского писателя, Героя Социалистического Труда Валентина Катаева вошли произведения, в которых автор рассказывает о прожитом и пережитом: «Юношеский роман», «Сухой лиман», «Спящий», «Обоюдный старичок», «Кубик».

К $\frac{4702010200-290}{083(02)-86}$ **60—86**

ББК 84.Р7



1 р. 50 к.

Советский писатель